ДАЛЬ

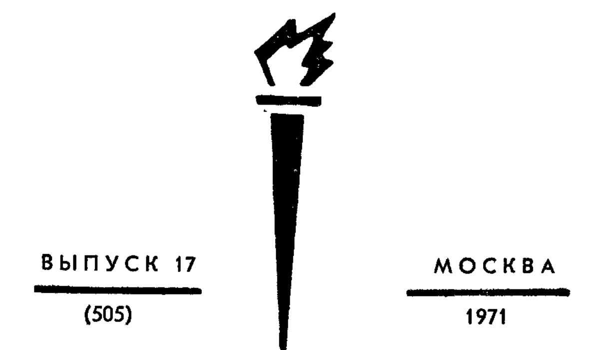


ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей

Серия биографий

ОСНОВАНА
В 1933 ГОДУ
М. ГОРЬКИМ



ВЫПУСК 17
(505)

МОСКВА
1971

Владимир Порудоминский

ДАЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

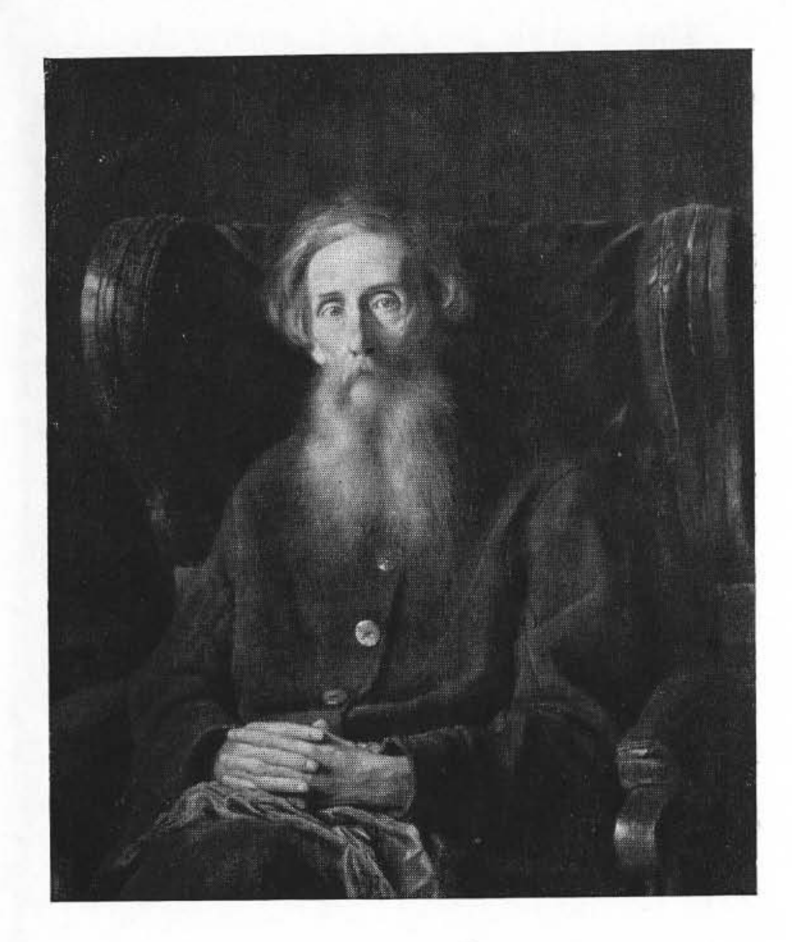
Где только человек с человеком столкнется, там и толки, и разговор; там один другому, поздоровавшись, сказывает, что видел, слышал, думал и делал; говорит про нынешнее, про былое, про будущее, сказывает смех и горе, дело и безделье, на то он человек.

В. Даль

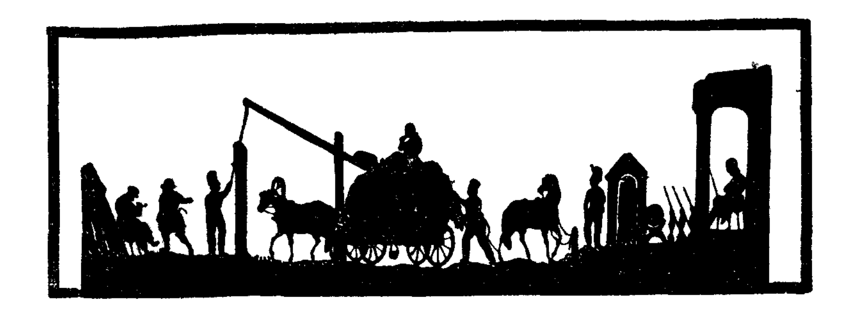
— ...Держитесь слов.
— Да, но словам
Ведь соответствуют понятья.

И. В. Гёте

Издание второе



В. Даль



НАПУТНОЕ

НАПУТНОЕ — все, чем человек напутствуется, снабжается на путь, в дорогу.

В. Даль,
Толковый словарь

1

Отправляемся в путь, в дорогу, — надо снабжаться «напутным» — «пищей телесною или духовною», по объяснению Даля, — «наставленьями, пожеланьями, благословеньями». Жизнь человека — движение, путь, дорога; это в нашем языке — «жизненный путь», «дорога жизни», в наших пословицах — «Жизнь прожить — не поле перейти», «Жизнь прожить — что море переплыть».

«Человек рожден на труд», — писал Даль; труд — смысл жизни и цель ее, жизненный путь, по Далю, — путь труда.

«Пришла пора подорожить народным языком», — объяснял Даль смысл и цель жизни своей: «Мы начинаем догадываться, что нас завели в трущобу, что надо выбраться из нее поздорову и проложить себе иной путь... Говоря просто, мы уверены, что русской речи предстоит

одно из двух: либо испошлеть донельзя, либо, образумясь, своротить на иной путь, захватив притом с собою все покинутые второпях запасы».

Даль сказал это в «Напутном слове» к своему словарю; сборник его пословиц тоже открывается «Напутным». Вместо греческого «пролог», вместо книжных «введение», «предисловие» («изложение начал или общего взгляда по поводу какого-либо сочинения») Даль вообще предпочитал народное слово «напутное».

Отправляемся в путь, проложенный Владимиром Ивановичем Далем; путь долгий — Даль прожил на свете семь десятилетий и еще без малого год, путь не прямой — Даль прошел жизнь не по ровному тракту, пути-дороги его подчас неожиданны, повороты иногда круты, но, вопреки геометрии — «Прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками», пословица учит: «В объезд, так к обеду, а прямо, так, дай бог, к ночи». Даль толкует пословицу: «Укорачивая путь, часто плутают». «Прямой» — это еще «правый, истинный, настоящий» или — чудесное объяснение Даля — «самый он». Непрямой геометрически путь Даля был «самый он» — всего точнее, всего истиннее он вел Даля к цели.

2

В конце концов для нас, потомков, Даль — это четыре тома «Толкового словаря живого великорусского языка», сборник «Пословицы русского народа».

Потомки сами определяют, что для них главное в жизни ушедшего человека. Этим главным (главным делом, итогом) они поверяют жизнь предшественника; в побочном, частном, случайном даже, они стараются усмотреть обязательное звено закономерного.

Восемнадцатилетний Владимир Даль записал в тетрадку первое словцо, последнее слово он попросил записать незадолго до смерти — «Толковый словарь» его уже вышел первым изданием, Даль пополнял его, готовя второе. За полвека Даль объяснил и снабдил примерами около двухсот тысяч слов. Если вывести «среднюю цифру», получится, что при двенадцатичасовом рабочем дне он в течение полувека каждый час записывал и объяснял одно слово.

Даль говорил: дело имеет «начало или корень, побужденье; за ним идет способ, средство, а вершит дело конец,

цель, достиженье ее». Задача биографа (Даль, любивший русское слово, предпочел бы — «жизнеописателя» или «житьесказателя») на первый взгляд упрощается: главное дело растянулось с лишком на полвека, заняло почти всю жизнь Даля, остается вроде бы только отметить начало («корень», «побужденье») этого дела, обрисовать «средства», «способы» и благополучно двигаться к «достиженью цели», к концу.

Но в том и своеобразие посмертной судьбы Даля, что главное дело его — знаменитый и по-своему непревзойденный «Толковый словарь» — как бы заслонило от потомков побочное, частное, случайное, заслонило черты личности и страницы жизни его создателя.

3

Современники не побаловали нас обилием воспоминаний о Владимире Ивановиче Дале. В записках, дневниках, письмах людей, рядом с которыми он прожил жизнь, приходится, как правило, вычитывать о нем лишь отрывочные сведения, беглые характеристики и заметки. Удивляет при этом разноречивость мнений, несопоставимость произведенного Далем впечатления с его словами и делами. Ларчик, видно, не просто открывается!..

Нам еще предстоит присмотреться ко многим из этих суждений и приговоров, определить, что в них от личности самого Даля, а что от времени и от судей. Но суждения и приговоры современников необходимо, конечно, сопоставить с делами ушедшего человека (дерево смотри в плодах, человека — в делах). Их необходимо также поверить документами, наконец — оценкой умудренных потомков (которая тоже меняется со временем). Тогда лишь получим нужный материал (по Далю: «запасы и припасы, что заготовлено для стройки, работ, для обработки письменной, для наполнения издания»).

Даль был морским офицером и врачом в сухопутных частях, участвовал в войнах и походах, отличался в сражениях. Он служил чиновником особых поручений, директором министерской канцелярии, управляющим удельной конторой.

В течение сорока лет Даль выступал и в литературе под собственным именем и под псевдонимом Казак Луганский. Полное собрание его сочинений, изданное в 1897—1898 годах, далеко не полно, хотя состоит из де-

сяти томов (почти четыре тысячи страниц текста!). В них напечатано сто сорок пять повестей и рассказов, шестьдесят две короткие истории из сборника «Солдатские досуги» и сто шесть коротких историй из сборника «Матросские досуги», несколько статей и очерков. А есть еще «очерки русской жизни»; есть произведения для детей; есть стихи, напечатанные лишь однажды и не напечатанные вовсе, есть пьесы, хранящиеся в архиве; есть немало статей на разные темы, разбросанных в периодической печати прошлого столетия и ни в одном собрании сочинений не помещенных; есть проекты и докладные записки, погребенные в недрах министерских архивов.

Кроме бесчисленного множества слов, Даль записал тысячу сказок — он отдал их безвозмездно составителю знаменитого издания «Народные русские сказки» Афанасьеву; свои записи народных песен отослал Петру Киреевскому; богатое собрание лубочных картин передал в Публичную библиотеку.

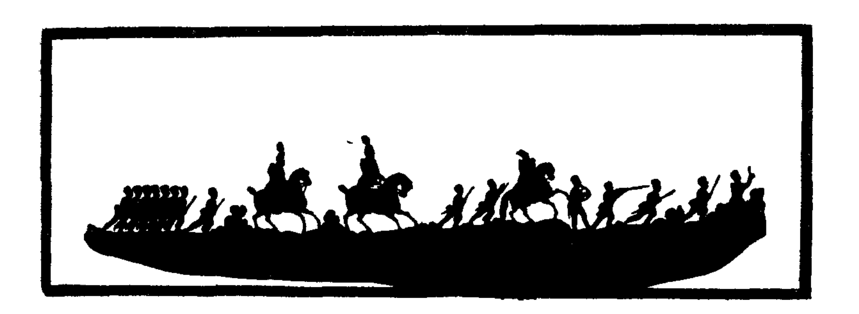
В «Толковом словаре» нет распространенного ныне слова «полиглот». Даль предлагал взамен: «многоязычник». Сам он, кроме русского языка, знал немецкий, французский, английский, знал украинский, белорусский, польский, читал и писал на латыни, изучал болгарский и сербский языки, владел татарским, башкирским и казахским.

Даль был сведущ в разных науках — естественных, точных, гуманитарных («общественных»); к тому же владел многими ремеслами — мог сколотить табурет и изготовить тончайшее украшение из стекла.

Даль в «Толковом словаре» определял: «Жизнь человека, век его, все продолжение земной жизни его, от рождения до смерти; также — род и образ жизни его, быт, деяния, поступки, похождения и пр.».

Деяния Даля многочисленны и разнообразны, поступки любопытны, похождения увлекательны, но, думая о нем, большинству из нас трудно припомнить что-либо, кроме «Толкового словаря» и сборника пословиц: Даль как бы не существует для нас вне главных и наиболее прославленных своих трудов.

Многим ли знакома его внешность (знают разве старика в темно-вишневой кофте, написанного Перовым) — внешность, кстати, достаточно своеобычная и характерная? Многим ли известно хоть что-либо о непростой его натуре? Наконец, о роде и образе жизни его, да и о самой жизни многим ли и многое ли известно?..



КОРЕНЬ

КОРЕНЬ ДЕЛА — начало, основанье, источник.

В. Даль,
Толковый словарь

Без корня и полынь не растет.

Пословица

«МОЕ ОТЕЧЕСТВО РУСЬ»

1

«Отец мой выходец, а мое отечество Русь».

Даль сказал это не в автобиографии, не в записках, не в частном письме. Сокровенные слова поставлены в «Толковом словаре» — среди пословиц и ходячих выражений.

Отечество, — толкует Даль, — «родная земля, отчизна, где кто родился, вырос; корень, земля народа, к коему кто, по рожденью, языку, вере, принадлежит».

Определение, конечно, грешит неточностью. Даль много раз брался толковать понятия «отечество», «свой народ»; толкуя, случалось, противоречил себе в частностях, но в главном был неизменен. Мы приводим неточные — в частностях — определения Даля: они для нас главным

важны, они уже тем для нас важны, что высказаны Далем и связаны с размышлениями, которые были для него вески и дороги.

2

Земля, где родился, вырос: «Где кто родится, там и пригодится» — одна из любимых Далем пословиц. Это глубоко личное, конечно.

Отец — Иван Матвеевич Даль (от рождения носивший имя Иоганн Христиан) — происходил, как свидетельствует формулярный список, «из датских офицерских детей» [1].

Случайность судьбы: шестнадцатилетним юношей оказавшись в Европе, Владимир Даль попал не в какую иную страну, а именно в Данию. «Когда я плыл к берегам Дании, меня сильно занимало то, что я увижу отечество моих предков, мое отечество. Ступив на берег Дании, я на первых же порах окончательно убедился в том, что нет у меня ничего общего с отчизной моих предков».

Осенью 1799 года (когда Владимира Даля еще на свете не было) правление Луганского сталелитейного завода слушало прошение врача Ивана Матвеевича Даля о принятии его навечно, вместе с семьею, в русское подданство. 14 декабря 1799 года доктор Даль был по высочайшему повелению приведен к присяге и стал гражданином государства Российского. Для Владимира Даля, еще до рождения его, «мое отечество» — не «отечество моих предков»; но, видно, что-то всю жизнь томило, толкало к объяснениям.

Внешне противореча собственному, из «Толкового словаря», определению, Даль твердил без устали, что Россия — земля, отечество многих народов, разных по языку и вере, что всякий народ, чей корень гнездится в земле Российской, имеет право считать Россию отечеством и что нерусский, живущий в России и почитающий ее отечеством, есть полноправный и достойный гражданин.

В книжке, изданной для солдатского чтения, Даль объяснял: «В России более шестидесяти губерний и областей, а иная губерния более целой немецкой либо французской земли. Народу... всего более русского; а есть кроме того, много народов других, которые говорят не русским языком и исповедуют иную веру. Так, например, есть христиане не православные: поляки, армяне, грузины немцы, латыши, чудь или финны; есть мусульманские народы: татары, башкиры, киргиз-кайсаки [1] и много сибирских и кавказских племен; есть еще и кумирники, идолопоклонники: калмыки, буряты, самоеды, вотяки, черемисы, чуваши и много других... Все эти губернии, области и народы разноязычные составляют Русскую землю», все они «должны стоять друг за друга, за землю, за родину свою... как односемьяне».

[1] Документы о жизни и деятельности И. М. Даля — Центральный гос. архив литературы и искусства (ЦГАЛИ), ф. 179, оп. 1, ед. хр. 33. Ссылки даются в основном на архивные материалы.

3

Уже в конце жизни на вопрос, кем себя считает, «немцем» или русским, Даль отвечал: «Ни прозвание, ни вероисповедание, ни самая кровь предков не делают человека принадлежностью той или другой народности. Дух, душа человека — вот где надо искать принадлежности его к тому или другому народу. Чем же можно определить принадлежность духа? Конечно, проявлением духа — мыслью. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски».

Вот мнение Даля по поводу «принадлежности к отечеству» по языку.

Один из современников упрекал Даля в «немецком» теоретизировании, в отвлеченности его суждений и проектов. Мы убедимся еще, что Даль, как раз наоборот, был человеком дельным — на путях-дорогах, которыми он шел, неизменно оставались следы его практической деятельности. Но мы уже знаем, что всего более сделал Даль для языка нашего, для языка, на котором он думал, для русского языка. Язык, — писал Даль, — «совокупность всех слов народа и верное их сочетание для передачи мыслей своих». Словарь Даля сохранил и обновил множество слов, скрытых от поверхностного («первого») взгляда и забытых; слова эти в верном сочетании привносят в язык (мысль) тончайшие оттенки, придают языку (мысли) меткость и остроту.

[1] Киргизами, киргиз-кайсаками называли тогда казахов. — *В. П.*

4

Приведенные слова Даля (опять внешнее противоречие) явствуют: вероисповеданию (как «прозванию» или «крови предков») он большого значения не придавал.

Для Даля, мы уже видели, Россия не отечество единоверцев, как не отечество единоплеменников. Для него важно, чтобы жили как «односемьяне».

В семье самого Даля были люди разного вероисповедания: сам он и двое детей от первого брака числились лютеранами, вторая жена и три дочери от нее — православными.

Даля не привлекала религиозная обрядность. «Вот я и выполнил долг христианина», — говорил он, вручив московскому пастору Локенбергу требуемый денежный взнос [1]. «Тупая привычка к исполнению обряда, будто сущности дела, глушит, как сорная трава, добрую пшеницу; внешность заступает вовсе дорогу духовному, обряд вытесняет мысль и чувство...» — читаем у Даля. Даль всегда противопоставлял «внешнее» «сущности».

И все же перед смертью Даль принял православие. Готовые представления времени преобладают подчас над своеобычными размышлениями. «Вероисповедание», по Далю, — «вера, признаваемая каким-либо народом». Отечество Даля — Русь, и язык, на котором он думал, был русский. Даль словно бы поставил точку над «і» — «по вере принадлежит».

Но «вероисповедание», по Далю же, — «образ богопочитания по учению и обрядам внешним». Даль отдал «требуемый взнос» «внешнему», обряду («образу»).

Мельников-Печерский горячо доказывает, что Даль был «с юности православен по верованиям». Он воспроизводит по памяти длиннейшие восторженные гимны, в которых Даль воспевал православие и поносил лютеранство. Но сам Даль писал о различиях в религиозных воззрениях: «Хуже всего то, что и тут и там является нетерпимость, уверенность в святости своей, в избранничестве своем и ненависть к разномыслящим». Велеречивые гимны, приведенные Мельниковым-Печерским, завершаются странным «поворотом»: Даль намеревается перед смертью принять православие, чтобы не пришлось «тащить его труп через всю Москву на Введенские горы», где находилось лютеранское кладбище, тогда как жил он возле православного Ваганьковского — «любезное дело — близехонько».

[1] Воспоминания внучки Даля — О. В. Демидовой (Вейс). Отдел рукописей Государственной библиотеки имени В. И. Ленина (ГБЛ), ф. 473, п. 2, ед. хр. 14—15.

5

Даль мог не принимать православия. Даже в строгом документальном исследовании как-то сами собой отпадают слова «выходец», «подданство», «из датчан» — «из немцев», одним словом, как говорили в старину на Руси. Ни для современников, ни для потомков Даль не был «обрусевшим»; и для тех и для других он именно русский, и даже фамилия его ощущается многими как прекрасное, широкое и вольное русское слово.

«К особенностям его любви к Руси, — писал Белинский, — принадлежит то, что он любит ее в корню, в самом стержне, основании ее, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке нашем называемого крестьянином и мужиком. Как хорошо он знает его натуру! Он умеет мыслить его головою, видеть его глазами, говорить его языком».

«Каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни», — сказал Гоголь о Дале.

Друзья Даля и недруги его, те, кто принимал его творчество и направление, и те, кто не принимал, — все неизменно (охотно или вынужденно) подчеркивали его русскость. Даже недоброжелатели, у которых в адрес Даля срывалось иной раз с языка словцо «немец», имели в виду не национальную принадлежность, но пытались словцом этим обозначить его исполнительность и пунктуальность.

Даль знал до тонкостей приметы народного быта, легко и свободно чувствовал себя с «простым человеком», «на обиходном языке называемым мужиком». Народ дарил Даля словами, пословицами, песнями, сказками. Мельников-Печерский, сопровождавший Даля в поездках по деревням, свидетельствует, что крестьяне не только не видели в Дале человека нерусского, но были даже убеждены, что он вышел из крестьянской среды (вот оно как обернулось, это слово — «выходец»!).

6

Даль мог бы не придумывать сложных, противоречивых определений отечества, в которых сам же путался, сводя «внешнее» и «сущность».

То ли дело, когда пишет он ясно и проникновенно: отчизна — «это зыбка твоя, колыбель твоя и могила, дом и домовина [1], хлеб насущный, вода животворная; русская земля тебе отец и мать...»

7

Нам предстоит еще познакомиться с семьей Даля, с первоначальным его воспитанием, но было событие общее, эпохальное — оно в целом поколении зажгло горячее чувство родины, любовь к ней, гордость за нее, породило в сердцах целого поколения гордость за свой народ и за свою принадлежность к такому народу: это событие — 1812 год.

«Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении, о Березине, с взятии Парижа были моей колыбельной песнью, детскими сказками, моей Илиадой и Одиссеей», — писал Герцен.

И завтрашний товарищ Даля, хирург Пирогов учился читать по карточкам с карикатурами, карточки назывались «Подарок детям в память 1812 года»; вместо привычных «аз», «буки», «веди» дети запоминали азбуку по первой букве стихотворной подписи. Стихи под карикатурами пронизаны были веселой гордостью победителей. На букву «М», например, подпись была такая:

Москва ведь не Берлин, не Вена, не Мадрид.
В ней гроб всей армии французской был открыт!

Но Герцен, Пирогов на десятилетие младше Даля. Их детский патриотизм питался рассказами о 1812 годе, Даль был его свидетелем. Он ровесник Пушкина. Всего на два года младше.

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И в сень наук с досадой возвращались,

---

[1] Домовина — «гроб, особ. деревянный, долбленый, какой любят крестьяне». В. Даль, Толковый словарь.

Завидуя тому, кто умирать
Шел мимо нас...

Вот чувства Далева поколения.

В 1812 году семья Далей жила в Николаеве. Сохранилось семейное предание: Иван Матвеевич посылал старшего сына Владимира на базар «слушать вести»; толпа на базаре дожидалась курьера, который кричал на всем скаку содержание привезенных им депеш.

Приятель Даля декабрист Завалишин опровергает семейное предание и сердится, что такой вздор рассказывается якобы со слов Даля: «Всякий, кто помнит еще 1812 год, знает, что... ни курьер, ни почтальон, ни даже частный приезжий, до сообщения начальству не смел рассказывать и самым близким людям даже того, что и сам видел...» Завалишин, наверно, помнил 1812 год, а дочь Даля, поведавшая историю со «слушанием вестей», знала ее с чужих слов и вообще много напутала в своих воспоминаниях. Но Завалишин «ловит» мемуаристку на фактических неточностях, главного-то он опровергнуть не может, в главном она права: события 1812 года «сильно воодушевляли» мальчика Владимира Даля, порождали и укореняли чувства, которые жили в нем до последнего дня.

Отзвуки Отечественной войны находим и в «Толковом словаре» — мелким шрифтом среди примеров, и в сборнике пословиц — вроде: «На француза и вилы ружье», и в Далевом (особом!) собрании лубочных картинок о 1812 годе, и в рассказах — «Славное и памятное было время, ребята, этот двенадцатый год!».

Может быть, Отечественная война в какой-то мере определила судьбу Даля: Иван Матвеевич горячо переживал события двенадцатого года (даже коням своим дал имена в память о сражениях — Смоленский, Бородинский, Можайский), он горевал, что сыновья малы, что нельзя послать их в действующую армию, — не отсюда ли решение дать сыновьям военное образование?

Но судьба не учебное заведение и не заметки памяти; в судьбе Даля важны не отзвуки Отечественной войны, не следы ее в личной жизни, а прежде всего чувства, навсегда ею вызванные. Эти чувства формировали личность, с этими чувствами Даль прожил жизнь — прожил в своем отечестве и для блага его, прожил русским и посвятил себя русскому слову.

КТО ДОБРУ НАУЧИЛ

1

Владимир Иванович Даль родился 10 ноября 1801 года в Лугани.

Он родился в один день года с Лютером и Шиллером. Видимо, в лютеранской семье, где знали и чтили немецкую литературу, совпадение в датах было замечено; Даль, во всяком случае, припомнил о нем даже в старости.

Шиллер был еще жив, когда родился Владимир Даль, — в семье Далей его, конечно, читали. Гёте был в расцвете славы, творения его тоже, несомненно, имелись в семейной библиотеке; «Фауст» — одна из любимейших книг юного Владимира Даля.

Круг русского чтения Даля-ребенка документально не очерчен, но из воспоминаний современников (в частности, из записок Пирогова) без труда узнаем, что читали дети в первые полтора десятилетия прошлого века. Можно определенно предположить, что новая поэзия — стихи Карамзина, Мерзлякова, Жуковского, Батюшкова — была юному Далю знакома: об этом свидетельствуют направление и ритмика его первых поэтических опытов (должно признать, однако: в стихах он никогда силен не был). Для нас, впрочем, не столь важны имена и названия, не столь важно, нравился ли Далю новиковский журнал «Детское чтение для сердца и разума», который совершенно вскружил голову малолетнему Аксакову, или своеобразная энциклопедия для юношества «Зрелище вселенныя», которой до глубокой старости восхищался Пирогов, важно иное: в доме Далей читали много и по-настоящему. В ту пору во многих семьях, кроме евангелия, календарей и «Письмовника» Курганова, никаких книг не было.

Мальчик Даль, конечно, знал евангелие, заглядывал в календари (пройдут годы, Даль предложит название «месяцеслов»), «Письмовник» же определенно читал и перечитывал, не мог не читать. «Ровесник» Даля, герой пушкинской «Истории села Горюхина», рассказывает об одном из «любимых упражнений» своего детства — чтении «Письмовника»: его помнили наизусть и, несмотря на то, каждый день находили в нем «новые незамеченные красоты». Горюхинский помещик мечтал узнать, кто такой Курганов, но «никто не знал его лично». Иван Матвеевич Даль, если сын спрашивал его о Курганове, мог удовлетворить любопытство мальчика — он, без сомнения, знал кое-что об авторе «Письмовника», возможно, был с ним и знаком.

Владимир Даль, не в пример ровеснику своему, горюхинскому владельцу, узнáет, «кто таков» Курганов, встретит имя его не на одном титульном листе «Письмовника», полное название которого — «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие». Но это через несколько лет; пока мальчик листает книгу, которая (как евангелие и календари) была в каждом доме. По кургановскому «Письмовнику» учились грамоте; из «присовокуплений разных учебных и полезнозабавных вещесловий» черпали научные сведения, стихи на все случаи жизни («разные стиходейства»), анекдоты («повести краткие»). Далю мог впервые открыться здесь «Собор разных пословиц и поговорок»; здесь мог увидеть мальчик и наивный опыт краткого толкового словаря, так и названного Кургановым — «Словотолк».

В «Письмовнике» приведен анекдот про юношу, который сказал надменному вельможе: «Правда, сударь, я молод, однако читал старые книги».

2

Среди пословиц, записанных Далем, есть такая: «Не тот отец, мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил да добру научил».

В «Толковом словаре» Даль объясняет: «Воспитывать — заботиться о вещественных и нравственных потребностях малолетнего, до возраста его; в низшем значении — ...кормить и одевать до возраста; в высшем значении — научать, наставлять, обучать всему, что для жизни нужно». Мальчик Владимир Даль получил дома воспитание «в высшем значении».

Мы мало знаем о детстве Даля, в этом нет ничего удивительного: родителей он пережил, братьев и сестер тоже, дочери рассказывают о его детстве с его слов, а Даль был до автобиографий не охотник и уж никак не относился к людям, придающим значение частным событиям своей младенческой поры.

Не придумывая трогательных сцен из жизни Даля-ребенка, не описывая детских игр его (в коих словно бы «приоткрывалось» будущее), попытаемся, однако,

определить, что было заложено в него за первые тринадцать с половиной лет, что увез он из родительского дома.

3

Иоганну Христиану Далю (отцу) было немногим более двадцати, когда Екатерина Вторая, прослышавшая через кого-то об учености и «многоязычии» юноши, «выписала» его к себе и определила придворным библиотекарем.

Иоганн Христиан (он же Иван Матвеевич) был книгочий, то есть любитель чтения, много читающий. Владимир Даль рассказывал про отца: «В свободное от службы время он все сидел взаперти в своем кабинете, все чем-то занимался, а после его смерти не найдено у него никаких из его бумаг: должно быть, он больше читал». Чувствуется оттенок некоторого удивления: все думали, что еще что-то делал, нельзя же столько и только читать, а он вот, оказывается, все читал.

Смело можно предположить, что круг чтения отца был обширен. Даль сообщает, что Иван Матвеевич был вызван в Россию, когда окончил курс «по двум или трем факультетам в Германии», что «он знал древние и новые языки, даже еврейский». Русский язык Иван Матвеевич знал, по словам Даля, «как свой»: вряд ли не интересовался он нашей отечественной литературой. Иван Даль служил в петербургской библиотеке в ту пору, когда творили Фонвизин и Херасков, Новиков и Радищев, начинал молодой Крылов. Он служил там в ту пору, когда стараниями русских ученых и литераторов составлялся труд, по тогдашним временам (да и по нынешним меркам) огромный — «Словарь Академии Российской», первый толковый словарь языка нашего. Старались (свидетельствует документ) «в сочиненном академией словаре избегать всевозможным образом слов чужеземных, а наипаче речений», примерами часто брали пословицы, — имеем право предположить, что шесть тяжелых томов этого словаря на книжной полке у Даля-отца стояли и что мальчик Владимир Даль в них заглядывал.

Прослужив некоторое время библиотекарем при дворе, Даль-отец покинул Россию, окончил в Германии медицинский факультет и вновь возвратился в Петербург — уже врачом: 8 марта 1792 года «удостоен управлять медическую практику», говорят документы.

Причины столь решительного шага выдвигаются различные. Даль пишет, будто отец «рассудил, что ему нужен хлеб». Дочь Владимира Ивановича сообщает историю романтическую: «Отдадим только за доктора», — сказали Ивану Матвеевичу родители его невесты. Есть и другие версии: «Острая нужда России того времени во врачах послужила причиной выезда И. Даля». И даже: он был вынужден покинуть Россию как человек, близкий просветителям екатерининской поры, и получил право вернуться лишь «после смерти Екатерины». Последняя версия грешит фактической неточностью: Иван Даль возвратился в Россию за четыре года до смерти императрицы.

Какие бы ни были причины «поворота» Даля-отца к медицине, для нас важнее всего, пожалуй, само решение: человек, определивший, казалось, свой жизненный путь, вдруг резко поворачивает на иную стезю. Эту особенность смело менять профессии Даль-отец передаст по наследству сыну.

Женился Иван Матвеевич на девушке также из семьи «выходцев», но «выходцев» более давних и уже окончательно обрусевших. Бабка Владимира Даля по материнской линии — Мария Фрейтаг («из семейства французских гугенотов», как указано в старинном справочнике) переводила на русский язык немецкие пьесы и даже сама сочинила «оригинальную русскую драму в пяти действиях».

Мать Даля, Мария, тоже была хорошо образованна: свободно владела пятью языками, детей своих учила всему сама (только математику и рисование преподавали им педагоги Штурманского училища), вдобавок давала уроки и брала на дом воспитанниц. Позже, овдовев и перебравшись на жительство в Дерпт, она зарабатывала репетиторством среди студентов тамошнего университета. Про мать Даля известно также, что была музыкальна, обладала «голосом европейской певицы», играла на фортепьяно. Даль вырос в доме, где звучали музыка и пение,— это немало значит.

Даль рассказывает: отец «при каждом случае напоминал нам, что мы русские»; дома говорили по-русски Но «древние и новые языки», которыми владел отец «пять языков», на которых говорила мать, — все это не могло не рождать в ребенке острого «чувства языка». Даль к тому же вырос в Николаеве — городе-верфи, ку-

да согнаны были строители из разных краев и губерний и каждый принес с собою свои слова, выражения, говор.

Для будущей жизни Даля существенно также, что вырос он в городе, заполненном различными мастерскими, заполненном ремеслами. Корабль — это труд столяров, канатчиков, токарей, конопатчиков, шлюпочников и иных дел мастеров. А Владимир Даль в старости вспоминал, что был «мальчиком сызмала охочим копаться над какой-нибудь ручной работой».

Черта не только от города, в не меньшей степени — от семьи; мать не только знала много, но и много умела — была рукодельница и учила «рукодельям» детей. Она говорила: «Надо зацеплять всякое знанье, какое встретится на пути; никак нельзя сказать вперед, что в жизни пригодится». Способность «зацеплять» знанья и ремесла останется у Даля на всю жизнь. Его универсальность («Толковый словарь» переводит — «всеобщность») будет удивлять современников.

4

По возвращении в Россию Даль-отец был определен поначалу врачом в Гатчинскую волость, затем в Петрозаводск, затем в Лугань, окончил службу в Николаеве. Опять-таки характерно: в то время недалекая поездка, откуда-нибудь из Тулы в Курск, была серьезным происшествием, дальняя же дорога — событием, которое потом всю жизнь вспоминали, а Ивану Матвеевичу ничего не стоило махнуть из Петербурга в Европу, воротиться назад, перебраться (по собственному прошению) из-под столицы в северный Петрозаводск, а оттуда через всю Россию на юг, к берегам Черного моря. И эту легкость передвижения возьмет у отца Владимир Даль; уже в зрелые годы он отнесет себя к тем, кто «пошатался по разным уголкам Руси...».

По словам Владимира Ивановича Даля, Иван Матвеевич уехал из Гатчины оттого, что «был горяч иногда до безумия и с великим князем (Павлом) не ладил». Хорошо сказано — «не ладил», когда один — волостной лекарь, ежедневно являвшийся к великому князю с рапортом, а другой — завтрашний государь император (и тоже «до безумия» горяч).

Однажды некий майор кирасирского полка опоздал на какой-то парад или смотр, и великий князь закричал

ему такое, что тот снопом свалился с лошади. Доктор Иван Даль подъехал и тотчас определил — удар. «Я слышал от матери, — вспоминает Владимир Даль, — что она была во все время после этого в ужасном страхе, потому что отец мой постоянно держал заряженные пистолеты, объявив, что если бы с ним случилось что-нибудь подобное, то он клянется застрелить наперед виновного, а потом и себя». Опять-таки неплохо сказано: «застрелить виновного»...

Даль не перенял отцовской горячности, всю жизнь был ровен, спокоен и выдержан, — иные черты в характере ребенка появляются не от подражания наставнику, а от противопоставления ему.

Горячность, однако, — «внешнее»; «сущность» же, которая за отцовской горячностью («до безумия») скрывалась, Владимир Даль определил так: «Отец мой был прямой, в самом строгом смысле честный человек».

Такой честностью «в самом строгом смысле» была неустанная врачебная деятельность Ивана Матвеевича Даля. Более чем полтора века назад, 4 апреля 1803 года, доктор Даль прямо и честно докладывал правлению Луганского сталелитейного завода:

«1. Мастеровые живут со многочисленными семьями в весьма тесных казармах ... съестные припасы, воду и все жидкости, также и телят, помещают тут же, отчего испаряющиеся влаги оседают на стены и заражают воздух ... ни чрез какие, кроме дверей, отверстия не возобновляемый.

2. Пищу употребляют не мало болезням непротиводействующую по той причине, что в прошедшую зиму ни одна почти семья не могла запастись ни квашеными, ни свежими овощами и кореньями, при всем том едят солонину, пьют долгостойную воду, а редко квас.

3. Перед самыми дверьми казарм и около оных выбрасывают и оставляют все нечистоты, которые при оттепелях загниваются и вредят.

4. Больные, даже самые трудные, пока еще есть малая сила, ходят по ближним селениям для покупки семейству пищи, для топки носят на плечах уголье и для питья воду...

5. Больные, какого бы рода болезнями одержимы ни были, остаются в своих семействах и тем к сообщению болезней другим и порче воздуха поспешествуют...»

Рапорты доктора Ивана Даля одновременно историче-

ский документ и характеристика его личности. Приведенный рапорт не единственный и не первый. Упрямые хлопоты доктора Даля, случалось, увенчивались успехом: он считается создателем первых лечебных учреждений на шахтах Луганщины («угольных ломках»), им открыта первая в Луганске больница для рабочих.

Прямую и строгую честность в делах Даль у отца «зацепил».

5

Любопытно: в скупой автобиографической заметке Даль заканчивает рассказ о нравственном влиянии на него родителей словами: «Во всю жизнь свою я искал случая поездить по Руси, знакомился с бытом народа, почитая народ за ядро и корень, а высшие сословия за цвет и плесень, по делу глядя, и почти с детства смесь нижегородского с французским мне была ненавистна, как брюква, одним одно кушанье из всех, которого не люблю».

Не отношением ли к «цвету и плесени» объясняется весьма замкнутый уклад семьи Далей: в «обществе» Иван Матвеевич «мало появлялся, и его видели только по службе или на практике». А ведь в неширокой николаевском «обществе», «свете», Иван Матвеевич был лицом значительным — главный доктор и инспектор Черноморского флота. Дома он вечно прятался, запершись в своем кабинете, — мудрено ли, что в николаевском «обществе» прослыл «чудаком»: в карты не играл, не сплетничал, не ужинал с сослуживцами, дочерей хоть в крохотный, но все же «свет» не вывозил. Сидел, от всех отгородившись, и занимался тем, что считал *своим делом*.

Владимир Даль опять отбросит внешнее, то, что, наверно, с детства ему претило, — наперекор отцу он вырастет человеком общительным, до конца жизни он будет работать не в отдельном кабинете, а в общей комнате. Но снова возьмет сущность: после службы работать. Он также будет удивлять «свет», «общество» пренебрежением к принятым занятиям и развлечениям, сосредоточенным трудом ради того, что считал в своей жизни главным. И отметит в «Толковом словаре»: «*Чудак* — человек странный, своеобычный, делающий все... по-своему, вопреки общего мнения и обыка. Чудаки не глядят на то, что-де люди скажут, а делают, что чтут полезным».

Даль вспоминал перед смертью: «Мать разумным и мягким обращением своим, а более всего примером, с самого детства поселила во мне нравственное начало». Он вспоминал также о «нравственных правилах», которые «умел вкоренить» в него отец: «Видя человека такого ума, учености и силы воли, как он, невольно навсегда подчиняешься его убеждениям». В Далевых характеристиках первых своих воспитателей — родителей — есть, как видим, заметные оттенки: мягкий нрав матери и сильная убежденность отца.

«Сын мой, а ум у него свой» — говорит пословица. С определенными убеждениями и склонностями, которые юный Даль не мог не получить у себя дома, однако со своим умом, вступил он в самостоятельную жизнь. Еще одна пословица говорит: «Сосун — не век сосун, через год — стригун, а там пора и в хомут».

«КАК ДАЛЯ В МУНДИР НАРЯДИЛИ»

1

...В бесконечно длинной галерее стоит одиноко мальчик, жмется спиной к нетопленной печи. Вдруг бухают залпом двери классов, и множество кадетов, одинаковых в своей одинаковой форме, мчатся мимо, выкрикивают на ходу: «Новичок! Новичок!» Останавливаются на мгновенье, оглядывают мальчика с живым любопытством, точно зверька; кто-то дернул за руку, кто-то толкнул в плечо. Подходят вразвалку несколько юношей постарше, подводят к мальчику другого такого же, только в кадетском мундире, приказывают: «Подеритесь!» Новичок, отчаянно напрягшись, опрокидывает кадета на пол; ему объясняют, что теперь надо несколько раз ударить поверженного, пока не скажет: «Покорен». И вдруг снова шум, крик, топот, — все исчезают, словно ветром сдуло, — мальчик стоит одиноко в длинной пустой галерее. Появляется дежурный офицер, ведет новичка в цейхгауз.

Картинка заимствована из воспоминаний флотского офицера, поступившего в Морской кадетский корпус несколькими годами раньше Даля. Но так же, наверно, встретили в корпусе и мальчика Владимира Даля.

Он, правда, приехал туда не один — вместе с младшим братом Карлом. Потом их будут различать по номерам: Даль 1-й и Даль 2-й.

Не верится, что Владимир стал сразу меряться силами с «бывалым» кадетом: драчливостью он не отличался, несмотря на шустрость ума и рук. Но пустая галерея, наверно, была, и нетопленная печка, и разгоряченные, искаженные любопытством лица вокруг, и резкие выкрики: «Новичок! Новичок!»

Появился дежурный офицер, отвел Далей 1-го и 2-го в цейхгауз. Форма в корпусе с недавних пор была новая: мундиры черные, золотые пуговицы в два ряда, золотое шитье на воротнике и рукавах, черные же кивера и белые брюки.

Форма нужна для различения людей по служебному положению и для выравнивания тех, чье служебное положение одинаково.

Мундир черный, брюки белые носили в корпусе кадеты, которые, отслужив год-другой, выйдут в отставку, поселятся в глухом имении своем, где-нибудь под Пензой или под Вологдой, и поведут тихую жизнь уездных помещиков: хозяйство, охота, староста, «Федьке всыпать горячих!», редкие и бессменные соседи, газета трехмесячной давности, а в ней удивительное известие — какой-нибудь А. или Б. (в корпусной «умывалке», бывало, дрались с ним) произведен, награжден, умер или — бери, брат, выше! — назначен командовать флотом. И ту же форму (мундир черный, брюки белые) носили кадеты, которые, окончив корпус, будут служить и служить, и жизнь их будет море — качание палубы под ногами, тугой парус над головой, блеск надраенной меди, уверенный шорох бегучего такелажа, штурвал, рупор: «На лоте не дремать!», «Трави канат!»; и смерть их будет море (вместо домовины — брезентовый мешок с прицепленным в ногах ядром) или тесная братская могила в осажденном Севастополе.

В одно время одну форму (мундир черный, брюки белые) носили завтрашний адмирал Павел Нахимов, завтрашний декабрист Дмитрий Завалишин, завтрашний Владимир Даль.

Корпус ставил целью готовить офицеров, одинаково пригодных к морской службе. «Стать адмиралом зависело от каждого из нас», — бодро писал один бывший кадет, который так никогда и не стал адмиралом.

В цейхгаузе Владимир Даль натянул мундир с золотыми пуговицами, тесным и жестким стоячим воротником; оглядел золотое шитье на обшлагах; водрузил на голову громоздкий кивер с серебряным витым шнуром спереди, через лоб, от виска к виску, и кисточкой-помпоном (ее еще называли «репеек»), свисающей над левым ухом. Из цейхгауза в галерею Даль вышел такой, как все. Теперь понадобится время, пока товарищи и наставники сумеют отличать его — не внешне отличать (благо мальчик носатый, приметный. «Рос, порос да и вырос в нос», — посмеивался над собой Даль), а отличать как самобытность, как характер. Да и самому Владимиру понадобится время, чтобы ощутить и осознать себя в отличии от других. Неукоснительная военная дисциплина, распорядок, не оставляющий минуты для собственных дел и раздумий, поначалу не просто подчиняют, но как бы поглощают человека.

«С минуты вставания все наши передвижения были подчинены колоколу», — рассказывает бывший кадет. Колокол звонит в шесть — подъем. Фрунт — дежурный офицер неторопливо движется меж рядов, проверяет, чисты ли руки, подстрижены ли ногти, все ли пуговицы на мундире. Колокол: завтрак. Колокол: классы. Обед. Снова классы. Колокол: ужин. По субботам после обеда кадетов учили танцевать.

2

Даля привезли в корпус летом 1814 года. Запрягли линейку — многоместную повозку без крыши. Для защиты от зноя и непогоды натянули над линейкой холщовый навес. Чтобы дорога не вышла чересчур накладной, подыскали попутчиков на паях. Большая повозка, набитая пассажирами и вещами, неторопливо катится с юга на север. Дорога по тем временам неблизкая — ехали, должно быть, с полмесяца. С берегов Черного моря к берегам Балтики везут мальчиков служить на флот.

Должность главного доктора Черноморского флота давала, видимо, Ивану Матвеевичу некоторые преимущества при устройстве сыновей (он и с морским министром маркизом де Траверсе был знаком: маркиз одно время занимал должность николаевского военного губернатора) Протекция при поступлении в корпус не помеха, но Далю она, наверно, не нужна: в заведение принимали дво

рянских отроков, которые, читая, едва складывали слова, а Владимир был сызмала «охоч» до науки.

Пора стригунку в хомут. Дежурный офицер подтолкнул новичка в плечо, Владимир вышел в длинную галерею. Началась служба Владимира Даля. Согласно формулярному списку Даль числится на службе с 1815 года, в действительности он надел мундир несколькими месяцами раньше. Впрочем, что месяц-другой — служить Далю сорок пять лет.

3

...Дремлет в музее небольшое суденышко — ботик. Его называют «дедушкой русского флота». Мы так называем: для тех, кто жил двести и полтораста лет назад, ботик еще не «дедушка» — «отец».

Сей ботик дал Петру в моря ступить охоту,
Сей ботик есть отец всему Российску флоту, —

говорится в старинных виршах. Ботику суждено было пройти первую милю к морской славе России. Рассказывает Петр Первый, что, найдя суденышко в Измайлове, на льняном дворе, с голландцем Карштеном Брандтом опробовал его на Яузе, и на Просяном пруду, и на озерах Переяславльском и Кубенском, но повсюду вода оказалась узка и мелка. Того ради, рассказывает Петр, «положил свое намерение прямо видеть море».

Чтобы видеть море, чтобы овладеть морем, нужны мореплаватели. 1701 года января 14-го дня учреждена была школа «математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учения». Навигацкая школа разместилась поначалу в сухопутной Москве.

С 1701 по 1814 год, когда Владимир Даль надел кадетскую форму, много воды утекло. Воды, вспоротой острыми носами кораблей, вспененной ядрами. В эти годы уложились славные победы молодого российского флота — Гангут, Чесма, Калиакрия. Исследования Камчатки, Аляски, Сахалина. Первая русская кругосветная экспедиция. И сама Навигацкая школа, обращенная со временем в Морской кадетский корпус, передвинулась в Петербург — ближе к большой воде.

Ни одно событие на флоте не обходилось без воспитанников корпуса. Кадет Владимир Даль только привыкал к морской службе, учился передвигаться по колоколу, а где-то в тамбовской глуши доживал свой век выпускник 1766 года адмирал Ушаков. Уволенный от службы, томился в отставке Сенявин. Заглядывал в классы инспектор корпуса, прославленный мореходец Иван Крузенштерн. Плыл вокруг света Лазарев. Будущие адмиралы, герои Севастополя, Корнилов и Истомин — пока дети малые — робко складывали первые слоги (для них корпус еще впереди). А рядом с Далем жил по одному колоколу будущий их сотоварищ — кадет Павел Нахимов.

И вот об этом-то славном заведении, об этом гнезде орлином, откуда вылетели на простор доблестные моряки, отважные путешественники и великие флотоводцы остались у Даля одни лишь дурные, временем не приглаженные и не обеленные воспоминания.

Он так и напишет в старости: «Нас, двоих братьев, свезли в 1814 году в Морской корпус (ненавистной памяти), где я замертво убил время до 1819 года». В автобиографической записке, продиктованной за несколько месяцев до смерти (одряхлел, сам не имел сил писать), записке неоконченной, с грустной пометкой, завершающей оборванный текст: «Продолжения не было» — и в этом документе о корпусе снова то же: «...В памяти остались одни розги».

«МОРЕХОДНЫХ ХИТРОСТНО ИСКУССТВ УЧЕНИЕ»

1

Все, что Даль говорил в старости о годах учения, о корпусе, заметно отличается от воспоминаний его однокашников, других отставных моряков, бывших кадетов. Старики часто вспоминают детство с улыбкой; посмеиваясь, вспоминают забавные выходки нелепого преподавателя, удалые проказы товарищей. Весело читать про глупейшие перебранки учителей Триполи и Белоусова («Белоус, черноус, синеус...» — «Ах ты, пудель!..»). Весело читать про учителя Груздева, который злился, услышав слово «грузди», или про воспитателя Метельского, который запрещал кадетам упоминать слово «метель»: «Не смей говорить — «метель», говори — «вьюга»!» Весело читать задачки из начального курса арифметики:

Нововыезжей в Россию французской мадаме
Вздумалось оценить богатство в ее чемодане;
А оценщик был Русак,
Сказал мадаме так:
— Все богатство твое стоит три с половиною алтына,
Да из того числа мне следует половина...

Весело читать даже про розги, когда рассказывают, как пороли бывалых кадетов — «стариков». «Старики» грубили воспитателям, держали в рабстве малышей, по вечерам самовольно удирали из корпуса — это называлось «ходить на ваган». «Стариков» именовали еще «чугунными», потому что они не боялись порки. Случалось, брали на себя чужую вину, презрительно говорили ожидавшему наказания: «Ты, поди-ка, разрюмишься да станешь прощения просить! Ну скажи, что это я!» Весело, ах весело читать воспоминания бывших кадетов!

А вот Даль и накануне смерти вспоминает про корпус сердито, вспоминает жизнь по невеселой пословице: «Спина наша, а воля ваша».

В официальном «Очерке истории Морского кадетского корпуса», изданном «по высочайшему повелению» в годы царствования Николая Первого, о времени учения Даля читаем: «Всякий офицер мог наказать, как ему угодно, и иные этим правом пользовались неумеренно». В корпусе велся ударам точный счет, с родителей поротых кадетов брали даже деньги за розги, потраченные «на воспитание». Анналы корпуса сохранили «презабавную» историю: священник трижды приказывал кадету прочитать отрывок из священного писания, и кадета трижды пороли за то, что читает неверно. Первый раз пороли за рассеянность, второй — за непослушание, третий — за упрямство. Потом священник сам заглянул в книгу — там оказалась опечатка!

Самое любопытное: за пять лет учения кадета Владимира Даля ни разу не пороли.

Даль говорил о себе, что был мальчик чулый, то есть послушный, смирный. Но труслив он не был и через десять лет после окончания корпуса доказал это на полях сражений. Наверно, кадет Владимир Даль не «разрюмился» бы под розгой. Но люди с розгой наносили увечья не только телесные, — именно это Далю до конца дней оставалось ненавистно. Даль не в силах был оправдать, простить, забыть бесправного, унизительного житья под розгой; духовно «чугунным» он стать не мог. «Легче болеть, чем над болью сидеть» — говорит пословица. И не случайно, должно быть, управляя удельной конторой, Даль в пятидесятые годы предлагал отменить телесные наказания крестьян.

2

«Не досади малому, не попомнит старый».

Старый Даль «попомнил» дежурного воспитателя, который крушил и топтал новогоднюю «пирамиду» — фонарь из тонкой бумаги, украшенный цветными картинками: «Делай то лишь, что велено!» — а «пирамиды» не велено делать. Самое несправедливое, что «пирамиду» все-таки надо было сделать — тайком: офицеры на праздничном вечере разглядывают освещенные изнутри яркие фонари, сравнивают труды своих «питомцев». И лютый воспитатель, указывая на собранное из уцелевших кусков «творение» поротых «пирамидостроителей», хвастается: «Моя рота!..» Старый Даль «попомнил» истории «тихие», без побоев: ему, завтрашнему морскому офицеру, не дали изготовить «электрическую машину», построить макет корабля — опять же: «Не мудри по-своему!», «Делай то лишь, что велено!» Вспоминать про это со снисходительным стариковским смешком не хотелось — остались горестные заметы на сердце.

Полвека протрубил в корпусе преподаватель математики и инспектор классов Марк Филиппович Горковенко — дослужился в конечном счете до адмиральского звания. Он немало трудов положил на всякого рода усовершенствования учебного дела, но был, по словам его же приятелей, «партизаном долбления и зубрения». И опять-таки историки и мемуаристы рассказывают о Горковенко весело, радостно доказывают, что недостатки его, бесспорно, перекрываются достоинствами. И опять-таки Даль не желает веселиться: «Марк Филиппович Горковенко... был того убеждения, что знание можно вбить в ученика только розгами или серебряною табакеркою его в голову. Эта табакерка всякому памятна. «Там не так сказано, говори теми же словами» и затем тукманку в голову — это было приветствие Марка Филипповича при вступлении в бесконечный ряд классов».

Впрочем, однажды улыбнулся все же, созорничал, как мальчишка, старый Даль: в «Толковом словаре» вслед за словом «табакерка», вместо обычного примера — посло-

вицы, взял вдруг да приписал: «Вот так и пойду стучать табакеркой по головам! — говаривал наш учитель математики в Морском корпусе», — и не хуже официальных историков и самодеятельных мемуаристов увековечил незабываемого Марка Филипповича!..

3

«Истории» из времен «корпусного детства» Даль вспомнил много лет спустя, размышляя о воспитании вообще. Главное положение, которое он утверждал: «Воспитатель сам должен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника».

Даль писал: «Если остричь шипы на дичке, чтобы он с виду походил на садовую яблоню, то от этого не даст он лучшего плода; все тот же горько-слад, та же кислица. Надобно, чтобы прививка принялась и пустила корень до самой сердцевины дерева, как оно пускает свой корень в землю». И дальше: «С чего вы взяли, будто из ребенка можно сделать все, что вам угодно, наставлениями, поучениями, приказаниями и наказаниями? Внешними усилиями можно переделать одну только наружность. Топором можно оболванить как угодно полешко, можно даже выстрогать его, подкрасить и покрыть лаком — но древесина от этого не изменится; полено в сущности осталось поленом».

Верная общая мысль, но сопрягается опять-таки с раздумьями старого Даля о корпусе, где он, по его признанию, «замертво убил время». Свидетель, кажется, надежный, а все же не верится! Не верится, что корпус дал ему одно «воспитание внешнее», одну форму (черный мундир, белые брюки), лишь «наружность» переделал, так уж и оставив «кислицей», «дичком» или, говоря его же грубым словом, отлакированным «полешком».

Невозможно поверить, что одни негодяи, неучи, придурки воспитали целую плеяду замечательных флотоводцев, артиллеристов, кораблестроителей. Военный историк отмечает справедливо, что в «обороне Севастополя все главные флотские начальники» были выпускниками корпуса и что на нашей планете «многие из открытых вновь островов, а также выдающиеся мысы и возвышенности названы именами офицеров, воспитанников корпуса».

От умного научишься, от глупого разучишься. Неужели Даль ничему не научился в корпусе? Неужели только

разучивался? «Но что сказать о науке в корпусе? Почти то же, что о нравственном воспитании: оно было из рук вон плохо, хотя для виду учили всему». «Для виду!..»

Снова припомним человека необыкновенного — Николая Гавриловича Курганова. Если не дома, то в корпусе узнал Владимир Даль, «кто таков» Курганов, узнал, что славен он не одним «Письмовником». За несколько десятилетий до того, как Владимир Даль стал кадетом, Курганов преподавал в корпусе математику, астрономию и навигацию. Он участвовал в экспедициях, составлял карты морей. Он написал книги по арифметике, геометрии, геодезии, по кораблевождению и тактике флота, по фортификации и береговой обороне. В числе учеников Курганова — адмиралы Ушаков и Сенявин. Могло ли случиться, чтобы среди преподавателей корпуса у Курганова не осталось последователей? Он воспитывал не только флотоводцев, но и воспитателей — своих преемников.

И в самом деле, незадолго до поступления Даля в корпус (совсем накануне) там трудился другой замечательный ученый — Платон Яковлевич Гамалея. Особенно известны его труды по морскому делу: «Вышняя теория морского искусства» и «Теория и практика кораблевождения». Он очень заботился также о том, чтобы преподавателями корпуса были дельные и знающие люди. В числе учителей Даля были и воспитанники Гамалеи.

Неучи и тупицы щедро раздавали побои и несли околесицу. Но кто-то учил кадетов высшей математике, картографии, морскому и инженерному искусству. Многие выпускники корпуса — люди образованные, умелые. В конечном счете оставим даже в стороне методу преподавания. При выпуске нужно было сдать экзамены по арифметике, алгебре, геометрии, тригонометрии, высшей математике, химии, геодезии, астрономии, физике, навигации, механике, теории морского искусства, грамматике истории, географии, иностранным языкам, артиллерии, фортификации, корабельной архитектуре — не шутка!

Экзамены принимал не Марк Филиппович с табакеркой, не лейтенант Калугин (он порол всякого кадета, который при нем смеялся). Экзамены принимала специальная комиссия, в ее составе были видные ученые, «морские» дисциплины кадеты сдавали опытным адмиралам и командирам кораблей.

В конечном счете пусть даже учили «для виду» — все же (хоть бы и вопреки плохой методе) заставляли

учиться. Лучшие ученики корпуса подолгу просиживали над книгами (самым прилежным дозволялось даже заниматься «сверх программы» с девяти вечера до одиннадцати ночи в дежурной комнате), проводили часы возле инструментов и приборов, ходили с преподавателями в Горный музей, Кунсткамеру, Медико-хирургическую академию — смотреть опыты.

Даль учился хорошо. Вместе с ним окончили корпус восемьдесят три человека: по успеваемости Даль был двенадцатым. Корпус дал ему заряд знаний на всю жизнь. Двадцать шесть разнообразнейших предметов гардемаринского курса (а до того столько же кадетского) ложились, как семена в удобренную почву, в склонный к универсальности («всеобщности») и развитый домашним воспитанием ум Даля, удобренный его способностью быстро и основательно «цеплять» науки и ремесла.

Но почему же Даль, человек, склонный к здравым и справедливым суждениям, не нашел на старости лет доброго слова для корпуса? Тут напрашивается сравнение с многажды упомянутым уже товарищем Даля — хирургом Пироговым. Отрок Пирогов (он поступил в университет четырнадцати лет) учился у тогдашних корифеев медицины, а в старости в известных записках вдоволь посмеялся над своими наставниками. Полвека пропастью отделили студенческую жизнь Пирогова от его же воспоминаний о ней. Подводя итоги, он глядел вниз с горных высот, на которые привел его путь трудов и открытий. Зная, что стоил университет пироговского времени, мы охотно повторяем вслед за Герценом: «Московский университет свое дело сделал; профессора, способствовавшие своими лекциями развитию Лермонтова, Белинского, И. Тургенева, Кавелина, Пирогова, могут спокойно играть в бостон и еще спокойнее лежать под землей».

Для развития Даля морской корпус «свое дело сделал», но, взирая через четыре и через пять десятилетий на отрочество свое, Даль, как и Пирогов, не захотел вывешивать на весах достоинства и недостатки заведения, его взрастившего, — сказал как отрезал то едкое, сердитое, что всю жизнь томило.

Академик Бурденко объяснял пироговские жестокие оценки «сожалением старика о даром и непроизводительно потерянном времени в молодости». Но Пирогов-то «даром и непроизводительно» терял время на медицинском факультете и сделался потом великим хирургом, Даль же

(напомним похожие его слова) «замертво убил время» в морском учебном заведении, а стал медиком и писателем, этнографом и собирателем слов — менее всего моряком. Любопытно смотреть иллюстрированную историю Морского кадетского корпуса: всё портреты адмиралов при эполетах, бесчисленных орденах, регалиях — и вдруг старик в простецком халате: «Владимир Иванович Даль».

«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ». ОТВЛЕЧЕНИЕ ПЕРВОЕ

Читаем у Даля в словаре: «ОТВЛЕКАТЬ, отвлечь ...брать какое понятие по себе, отдельно, отрешать его от предмета».

Рассказ о жизни Даля — неизбежно рассказ о том, как создавался «Толковый словарь». Жизнь дарила Далю слова: многие слова, помещенные в словаре, не только выражают некоторое понятие, но открывают для нас целые куски жизни Даля, его «быт, деяния, поступки, похождения и пр.». Толкования слов — это личность Даля, его характер, убеждения, взгляды. Рассказ о Дале — непременно рассказ о словаре.

И все же хочется иной раз отвлечь («что от чего» — вопрос из Далева словаря) — «отрешить» словарь от общего повествования, взять его «по себе», увидеть то многое, что скрыто подчас за словами — в словах, вернее. Хочется иной раз идти не от Даля к словарю, а от словаря к Далю — тут сумеем мы о нашем герое немало узнать, кое-что в нем, глядишь, и разгадать, тут рядом с двумя-тремя страницами повествования, на которых умещаются годы Далевой жизни, встает в подробностях день, час, минута одна, для главного дела Даля особенно важные, те самые день, час, минута, которые годов дороже, потому что не время дорого — пора.

Вот одна такая минута, миг один (а сколько еще впереди — «Близко видать, да далече мигать»), минута не столько важная, сколько дорогая, потому что первая, начальная, а почин всего дороже, мал, да дорог.

По серому насту сани идут легко, словно под парусом. Снег лежит в поле длинными грядами. Поле бескрайнее, как море. Ветер гудит, метет снег низом. Ямщик, укутанный в тяжелый тулуп, понукает лошадей, через плечо поглядывает на седока. Тот жмется от холода, поднял воротник, сунул руки в рукава. Новая, с иголочки мич-

манская форма греет плохо. Седок совсем молодой. Мичман — первый на флоте офицерский чин.

Ямщик тычет кнутовищем в небо, щурит серый холодный глаз под заледеневшей бровью, басит, утешая:

— Замолаживает...

— То есть как «замолаживает»?

Мичман глядит недоуменно.

— Пасмурнеет, — объясняет ямщик. — К теплу.

Мичман суетится, вытаскивает из глубокого кармана записную книжку, карандашик, долго дует на закоченевшие пальцы, выводит старательно:

«ЗАМОЛАЖИВАТЬ — иначе пасмурнеть — в Новгородской губернии значит заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью».

Летят сани по снежному полю, метет низовка, а мичману уже не холодно. И не потому, что замолаживает, заволакивает тучами небо — когда еще отпустит мороз! — а потому, что задумался мичман о своем, залетел смелой мыслью далеко за край бескрайнего поля. И про холод позабыл.

Морозный мартовский день 1819 года оказался самым главным в жизни мичмана. На пути из Петербурга в Москву, где-то у Зимогорского Яма, затерянного в новгородских снегах, мичман принял решение, которое повернуло его жизнь. Застывшими пальцами исписал в книжке первую страницу...

«ИМЕЕТЕ ОТПРАВИТЬСЯ В НАЗНАЧЕННЫЙ ПУТЬ»

1

До морозного мартовского дня — всего полтора года, до Зимогорского Яма — каких-нибудь полтораста верст. Но пора не приспела — пока у нас с Далем другой путь, пока рассматриваем «Дневный журнал, веденный на бриге «Феникс», идучи из Санкт-Петербурга в различные порты Балтийского моря. Гардемарина Владимира Даля» [1].

[1] ГБЛ, ф. 473, карт. 1, ед. хр. 1. Про этот дневник Мельников-Печерский писал: «Даль очень жалел, что его записки не сохранились».

Гардемаринами именовали юношей в старших классах корпуса. Гардемарин уже не кадет, но еще и не полный офицер. В переводе слово означает «морской гвардеец».

Шестнадцатилетний «морской гвардеец» Владимир Даль в «дневном журнале» учебного плавания, пожалуй, слишком много пишет о том, что увидел на суше. В журнале подробно описаны города Швеции и Дании. Особенно охотно сообщает Даль о «музеумах», кунсткамерах, мастерских. Перечисляет изрядное количество предметов, привлекших внимание любознательного гардемарина. В стокгольмском музее, например, видели модели рудных насосов, машины для забивки свай, пильной мельницы, телеграфа, а также «стул на колесах, на коем сидящий человек с довольною скоростью сам себя подвигает». Побывали в шведской деревне. Осматривали датскую королевскую библиотеку. Датские кадеты подарили Далю не какую-нибудь картинку с изображением морского боя — стихи. Нельзя ли углядеть во всем этом хоть тоненькую ниточку, которая тянется от юноши в морском мундире к всезнающему старику в халате.

Рассказывая о плавании на бриге «Феникс», можно описать, к примеру, захватывающую сценку. Гардемарин Павел Нахимов, будущий адмирал, взбирается на марс (так называется площадка на самом верху мачты) и спускается оттуда на палубу по веревке вниз головой.

Или нарисовать трогательную картину. В загородном дворце принимает гардемаринов шведская королева. Дама в голубом шелковом платье и шляпе с большими перьями приказывает подать гостям лимонаду, разрешает гулять по саду, разрешает даже ягоды рвать.

Или изобразить, как в Эльсиноре, на том месте, где Гамлету явилась тень отца, гардемарины разыграли сцену из Шекспировой трагедии. (Потом их пригласил настоящий принц датский — Христиан. Он не жил в сером замке, похожем на скалу, — жил в летней резиденции, зеленой и солнечной. Немолодой благополучный мужчина Христиан, у мужчины жена, принцесса Луиза, десятилетний сын Фердинанд. При летнем дворце принца — хорошо налаженное хозяйство: искусно вскопанные огороды, гладкий, чистый скот, сытая домашняя птица.)

Можно сложить милую, полную завлекательных подробностей новеллу о плавании гардемаринов на бриге «Феникс». Но полезнее, наверно, попытаться понять,

что принесло это плавание «морскому гвардейцу» Владимиру Далю, о чем принудило задуматься, какие следы оставило в его характере, в жизни его.

Плавание практически завершало, подытоживало пройденный в корпусе курс морских наук. Гардемарины выполняли на судне поочередно матросские и офицерские обязанности. Далю повезло: обычно гардемарины плавали по «Маркизовой луже» — так «в честь» морского министра маркиза де Траверсе окрестили флотские Финский залив. А тут вдруг настоящий поход к дальним берегам — в Швецию и Данию.

В плавание из всего корпуса назначили двенадцать лучших. Наставник у практикантов оказался тоже отменный — лейтенант флота, поэт, академик князь Сергей Александрович Ширинский-Шихматов. И судно для похода избрано было великолепное — бриг «Феникс». Красивейший корабль на флоте; к тому же и быстроходный — делал двенадцать с половиной узлов.

Пополудни 28 мая 1817 года вступили под паруса, отплыли. Но не случайно во времена парусного флота приказ отплывать заканчивался словами: «При первом благополучном ветре имеете отправиться в назначенный путь». Ночью ветер резко переменился, пришлось возвращаться в Кронштадт. Лишь через двое суток ветер позволил сняться с якоря.

2

С первых же дней плавания выяснилось, что Даль — никудышный моряк. Он знал наизусть все команды, точно определял местонахождение судна, прокладывал курс, но, едва крепчал ветер и волны одна за другой подкатывались под корабль, юный «морской гвардеец», цепляясь за снасти, уползал в каюту. У Даля получалось по матросской поговорке: «На воде ноги жидки».

Но море приносит ощущение простора, чувство свободы. В море тоже служба, тоже колокол, и все же ощущение простора переполняет человека, чувство свободы не покидает его.

После мрачноватых коридоров-галерей — ширь и высь неоглядные. После тесного и жесткого мундира — просторная парусиновая куртка. Ветер ласкает обнаженную шею, вышибает слезу, едко щекочет ноздри, врывается в легкие. Ладони потемнели, от них пахнет смолой; и

первые мозоли застыли на непривычных к матросской работе ладонях янтарными смоляными каплями...

В памяти Европы свежи были недавние сражения: мальчиков принимали с почетом не только как юных российских моряков, но как представителей народа, поборовшего непобедимую прежде Наполеонову армию. Гордость за свой народ укрепилась в гардемаринах.

Принцу Христиану доложили, что отец Даля — датчанин, тридцать лет назад уехавший в Россию. Принц обратился к Далю по-датски; Даль отвечал по-французски, что датского языка не знает. Князь Сергей Александрович Ширинский-Шихматов решил во что бы то ни стало найти Далеву родню. Но родственников не находилось. Князь огорчался, а Владимир радовался. Они были чужими, датские Дали, — однофамильцы, не родственники. Даля никогда не тянуло на чужбину. Единственный раз после плавания на бриге попал он за границу, и опять не по своей воле: с частями русской армии перешел Балканы в турецкую войну. Знакомым, отбывающим в чужие края, писал, что у него дома дела много, в своем отечестве.

Плыла по морю частица Руси. На бриге «Феникс» плыли семь офицеров, один доктор, двенадцать гардемаринов, сто пятьдесят матросов. В плавании Даль — раньше ему не случалось — провел три с половиною месяца среди простого народа, среди матросов. Кают-компания сама по себе, но на ограниченной площади брига от матросов и при желании не убежишь. Приходилось, кроме того, вместе с ними нести службу. Матросы, вчерашние мужики, сыпали неслыханными прежде словечками, прибаутками, поговорками, и Даль, думается, эти словечки и поговорки запоминал.

В юности Даль был охотник подразнить товарища: очень точно изображал других — голос, манеры, жесты. А нет ли мосточка между этой чертой Даля и делом его жизни? Уметь мгновенно схватывать суть того, с чем встретился, — разве не нужно это, чтобы тотчас почувствовать самобытную красоту и точность нового слова?

Рассказывая о работе над словарем, Даль писал: узнать русский язык, что «ходит устно из конца в конец по всей нашей родине», помогла ему «разнородность занятий», в частности и служба морская. На бриге «Фе-

никс» Даль впервые прожил долго с людьми, говорившими на том «живом великорусском» языке, ради сбережения сокровищ которого и был затеян «Толковый словарь».

3

Однажды, много лет спустя, 10 ноября, в день своего рождения, Владимир Иванович Даль написал — видимо, для своих домашних — шуточную автобиографию. Написал раешным стихом, изукрашенным прибаутками, и озаглавил: «Дивные похождения, чудные приключения и разные ума явления... Даля Иваныча» [1]. Про корпус в «Дивных похождениях» рассказывается: «Как Даля Иваныча в мундир нарядили, к тесаку прицепили, барабаном будили, толокном кормили, книг накупили, тетрадей нашили, ничему не учили, да по субботам били. Вышел молодец на свой образец. Вот-де говорит: в молодые лета дали эполеты. Поглядел кругом упрямо, да и пошел прямо. Иду я пойду, куда-нибудь да дойду».

Чтобы стать морским офицером, Даль пересек Россию с юга на север. Окончив корпус, он отправился с севера на юг — из Петербурга обратно в Николаев, на Черноморский флот. Ехал один: младший брат Карл еще на год остался в корпусе. Это хорошо: Карл мог помешать Владимиру записать услышанное от ямщика слово. Из Карла получится хороший морской офицер, Даль 2-й, но служить ему недолго — он умрет молодым.

...Вот мы снова в широком заснеженном поле, в не помеченной на карте точке у Зимогорского Яма. Здесь, по утверждению Даля, начался «Толковый словарь».

Хорошо, что не пропал для нас день, который в памяти Даля остался, наверно, самым прекрасным в жизни.

Сани идут легко, словно под парусом. Мичман Владимир Даль постукивает окоченевшими ногами, дует на руки. Ямщик, утешая, тычет кнутовищем в небо: «Замолаживает...» Даль выхватывает книжечку, записывает слово, принимает решение на всю жизнь.

Молодец вышел на свой образец, но он не пошел прямо и дошел не туда, куда пошел.

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 179, оп. 1, ед. хр. 21.



РОЖДЕНЬЕ

РАЖДАТЬСЯ — происходить или делаться от причин, от начал; являться.

В. Даль,
Толковый словарь

Каково руки родят, таково плеча износят.

Пословица

МОРСКАЯ БОЛЕЗНЬ

1

Даль объяснял: «Похожденье — приключенье, случай, происшествие с кем; особ. в странствовании». Первая после окончания корпуса дюжина годов, прожитая Далем, богата происшествиями и случаями, странствованиями и походами.

Можно писать о «похождениях Даля», но можно о том, как жизненные происшествия, существенные и пустячные, обыкновенные и неожиданные, превращали некоего молодого человека в Д а л я. Можно писать про обстоятельства, которые довелось пройти молодому человеку «со своим умом», воспитанному к тому же семьей и корпусом, прежде чем (и чтобы) стать Д а л е м. «Похождения Даля» — это «причины» и «начала», от которых Даль «происходил», «делался»: «р а ж д а л с я».

В «похождениях» появлялся и проявлялся Даль — «являлся».

Есть солдатская пословица: «Лиха беда полы шинели завернуть, а там пошел». Первую после корпуса дюжину годов Даль еще «завертывал» полы шинели.

2

Есть и другая пословица: «Лихо заложить киль, а кокоры и добрые люди вставят». Кокоры (древесные стволы, выкопанные с корнем) шли на постройку судов. Даль обозначил пословицу «матросская», но, похоже, она родилась и бытовала среди судостроителей; Даль, наверно, в Николаеве ее записал.

Прибыл служить в Николаев странный моряк, который знает, что тихо море, поколе на берегу стоишь; ходит моряк под парусами и в Измаил, и в Килию, и поближе — в Одессу, и подальше — в Севастополь, а из Севастополя ходит и вовсе далеко — в Сухум-кале, русскую крепостцу на абхазском берегу, но всего охотнее ходит моряк по суше.

Идет по зеленому бульвару, повисшему над Ингулом, на крутом берегу; с бульвара видно, как сливаются реки Ингул и Буг. Вдали зеленым дымом, прижатым к земле, клубится роща; Даль с ружьем на плече бродит по роще. Летом шелковица чернеет тяжелыми каплями ягод; тропинки сини от падалицы.

«После корпусного воспитания не было у меня никаких разумных наклонностей: я шатался с ружьем по степи, не брал книги в руки, но при всем том по какому-то чутью искал знакомства и товарищества с лучшими людьми». Это из автобиографической записки Даля, продиктованной незадолго до смерти. «Никаких разумных наклонностей» — старик Даль, воскрешая прошлое, как бы вычеркивал из него Николаев. От этого времени жизни Даля свидетельств осталось немного, но остались все-таки: письма сохранились — матери, брата, сестер (отец умер в 1821 году), письма николаевских друзей сохранились — в них, в письмах этих, есть и про охоту, и про игру в шашки на шоколад, есть и городские сплетни, но есть также и про книги, которые Даль в руки все-таки брал, и про «разумные наклонности» его. Обо всем этом рассказывает и уцелевшая записная книжка — на титульном листе ее Даль написал позже (видимо, в тридцатые годы): «Все, что содержится в этой книге, отнюдь не для печати; это завещаю я всякому, кому могла бы со временем попасться она в руки» [1], — так что уже в 30-е годы требовательный к себе Даль старался не допустить в будущее свое (ему, наверно, казалось, что даром потерянную) молодость. Мы просьбу Даля выполним, хотя некоторые страницы из юношеской записной книжки его походя перескажем; само содержание книжки — ученые статьи, дневники, пьесы — подтверждает, что «разумные наклонности» не просто были у Даля, но, того более, торжествовали.

О главном для будущего Далевом деле — о том, записывал ли он в Николаеве слова и пословицы, книжка и письма ничего нам не открывают, но вот ближайший к Далю из биографов его (тут уж точно лучше сказать — жизнеописателей), Мельников-Печерский, со стариковской «запиской» Даля спорит: «Живя в Николаеве, он, хотя по собственному сознанию, высказанному в автобиографии, не брал книги в руки, а больше шатался с ружьем по степи, продолжал, однако, тщательно собирать народные слова, записывать песни, сказки, пословицы...» В очерке Мельникова-Печерского много неточностей, но сам «спор» с Далем, само слово «тщательно» — слово очень определенное, вызывают доверие. Впрочем, и без того состав «Толкового словаря» и сборника пословиц, сопоставление многих слов и выражений, в них сбереженных, с прозаическими вещами Даля, посвященными морской службе, позволяют вывести, что на Черноморском флоте, в Николаеве, Даль слова записывал.

Море переплыть — не поле перейти. Всякое бывает: корабль болтают волны, бьют бури; смерчи, страшные вихревые столбы проносятся мимо, сокрушая все на пути. Даль не в силах ужасаться — качает. Однако едва стихает, бледный и разбитый, достает, должно быть, из шкатулки тетрадь, заносит матросские названия смерча: «круговоротный ветер», «столбовая буря» и с особым удовольствием — «ветроворот». В письмах родным Даль по старинке пока именует смерч высокопарным греческим словом «тифон»; открыть дверь «ветровороту» в частное письмо еще не настало время.

На берегу Даль переоденется, сунет в карман заветные тетрадки, отправится в свое плавание. Пройдет по

[1] ГБЛ, ф. 473, карт. 1, ед. хр. 1.

бульвару, пыльной улицей спустится к окраине — туда, где, дымя, чадя смолою, ухая балками и громыхая железом, теснятся бесконечные мастерские — блоковые, канатные, парусные, столярные, конопатные, фонарные, токарные, котельные, шлюпочные, компасные. Даль любит этот мир ремесел, царство умелых рук, точных, как слова, движений; любит золотые россыпи опилок, русые кудри стружки, мачтовые сосны, прямые, пламенеющие, похожие на срубленные солнечные лучи; любит густой запах черной смолы, важно пускающей пузыри в котлах; любит косматые, вспушенные усы пеньки, гулкие удары молота, скрежетанье станков, треск вспоротой парусины. Даль присматривается к ремеслам, в уме примеряет их к своим рукам — у него дар «зацеплять» знанья. Но «зацеплять» слова у него тоже дар, потому он и приходит, не может сюда не приходить (ремесло и слово накрепко связаны даже звучанием своим: реме сло — слово), ремесло, дело, рождает слова; человек творит слова, действуя, — «слово-то ряд делу». Слова, прибаутки, пословицы мечутся по мастерской, прорываясь сквозь гул, треск, скрежет, — слова токарей, канатчиков, смолокуров: вот ведь, оказывается, смолу курят, гонят, сидят; «смолой» в Тверской губернии, а на севере «смолиной» называют дерево смолистое для сидки смолы; «смолянка» же — и бочка из-под смолы, и корчага, в которой сидят деготь, и еловая кадушка, и биток, бабка, «налитая за недостатком свинцу смолой», и (повеселился шутник Даль, приписал) «воспитанница Смольного монастыря».

Читаем с вниманием словарь Далев и видим: подобно ископаемому жуку какому-нибудь, встывшему в миллионолетний кусок янтаря, подобно культурному слою, четко проложенному в разрезе археологических раскопок, сохранились в «Толковом словаре» следы, слой николаевской жизни Даля.

Даль все чаще помечает в тетрадках: *мск, тмб, ряз, пск, твр*, то есть слово московское, тамбовское, рязанское, псковское, тверское. Мастера мск, тмб, ряз, твр заселяют окраины Николаева.

3

Имя городу придумал светлейший князь Потемкин: в память о взятии Очакова — а взяли Очаков 6 декабря (в день святого Николая-чудотворца) 1788 года — предложил князь именовать городом Николаевом «нововозводимую верфь на Ингуле». В 1790 году был на верфи заложен и через восемь месяцев спущен на воду первый корабль — фрегат «Святой Николай». Потемкин волновался: от строительства судна этого «зависит честь моя и Николаевской верфи» — удача оправдывала сделанный светлейшим князем выбор места для возведения города. И удача пришла; она любила светлейшего — «...имя странного Потемкина будет отмечено рукою Истории», — писал Пушкин как раз в ту пору, когда мичман Даль служил в Николаеве.

За три десятилетия с николаевских стапелей немало судов сошло в черноморские воды. 7 мая 1818 года закачался на волнах сооруженный мастером Мелиховым сорокачетырехпушечный фрегат «Флора». На нем и начал морскую службу новоиспеченный мичман Владимир Даль (1-й).

По документам судя[1], Даль и на других судах плавал — на бриге «Мингрелия», на военной брандвахте без названия, но так уж повелось, что его корабль — «Флора». Более того, хотя у «Флоры» своя биография была, хотя в русско-турецкую войну 1828—1829 годов она свою славу заслужила, но такова судьба вещей в жизнеописаниях, — они действуют, пока связаны с героем[2]. Потому для биографов Даля важно не только, что «Флора» — его корабль; для них в жизни фрегата едва не самое главное, что он корабль Даля. Палуба «Флоры» (около 160 футов в длину, около 42 — в ширину) стала площадкой, где, отмеряемая звоном корабельных склянок, прошла какая-то часть Далевой жизни.

Конечно, Даль волновался, когда ступил впервые на палубу своего фрегата: первый шаг на палубе «Флоры» — шаг морского офицера, «не мальчика, но мужа» (впрочем, ставшие ныне крылатыми слова эти тогда не

[1] Центральный гос. архив Военно-Морского Флота СССР (ЦГА ВМФ), ф. 33, оп. 1, № 1907; «Общий морской список», ч. VII, Спб., 1893.

[2] Случается читать, будто фрегат «Флора», на котором служил Даль, дотянул до Крымской войны и был затоплен на севастопольском рейде, чтобы преградить путь неприятелю. Но справочники (Ф. Веселаго, Список русских военных судов... Спб., 1872; Боевая летопись русского флота. М., 1948) сообщают, что Далева «Флора» была разобрана за ветхостью в 1837 году. В 1839 году был спущен на воду новый фрегат с тем же названием; он-то и затоплен в Севастополе.

были еще написаны). И хотя «чин чина почитай, а меньшой садись на край», мичман же «меньшой» на флоте офицерский чин, однако «легко сказать, вольный казак — офицер, сам себе господин, в эполетах — с саблей — никто не смеет высечь — легко сказать, а воля ваша, голова закружится от этого внезапного перехода». Так писал Даль о герое своем мичмане Поцелуеве и тут же замечал иронически, что «он видел все, весь мир в радужных цветах и розовой оболочке».

Даль волновался, конечно, голова у него кружилась, но он волновался зря. Ничего интересного, ничего значительного для него, для Даля 1-го, на фрегате «Флора» не произойдет. В «Общем морском списке» про службу Даля на «Флоре» — одна строчка: «1820. На фрегате «Флора» крейсировал в Черном море». В «Толковом словаре» про это: «Крейсировать — крестить по морю... для наблюдения за неприятелем, для охранения берегов и пр.». Под словом «крестить» в словаре дано среди прочих такое объяснение: «Ездить много взад и вперед по всем направлениям».

Строка из «Общего морского списка» раскрывается в уцелевшем дневнике Даля, именуемом «Записки, веденные идучи с эскадрою на 44-х пушечном фрегате «Флоре»...[1] В записках рассказывается о трехмесячных учениях на Черном море летом 1820 года. Останься Даль морским офицером, достигни известных чинов, прославься где-нибудь в Наваринской бухте или при Синопе, — мы, без сомнения, ощупывали бы пытливо каждое слово дневника, стараясь постичь, какую науку для будущего приобрел Даль, «идучи с эскадрою». А наука, бесспорно, была: из «Записок» узнаем о «примерных сражениях с пальбою» (сделали четыре тысячи выстрелов!), да и командовал эскадрой опытный боевой адмирал — Петр Михайлович Рожнов, участник сражений при Гогланде и средиземноморских походов Сенявина.

Но морская наука Далю не слишком пригодилась; для нас дороже разбросанные самоцветами в дневнике подробности — черты и черточки, из которых понемногу складывается портрет и более того — образ.

Даль воинственный: послан в погреба за порохом, принял 52 бочонка пушечного, один мушкетного и три — винтовочного (позже узнаем из «Толкового словаря»:

[1] ГБЛ, ф. 473, карт. 1, ед. хр. 1.

«лучший и мельчайший порох винтовочный, затем мушкетный, ружейный, а крупнейший пушечный»). Даль смешной: долговязый, в мундире, при полном параде, спускался по трапу и... плюхнулся в воду. Даль сердитый: во время смотра, встречая начальство, корабли салютуют пятнадцатью орудийными выстрелами — «не знаю, по какому закону»; когда начинается торжественный бал, Даль отпрашивается на берег — играть в мяч. отъезжая, он успевает, однако, подметить насмешливо — императорский штандарт (на желтом поле черный орел) подняли на мачте, «конечно», вниз головой. Даль не любит Севастополя, города моряков, «заваленного мичманами», где «занятий и развлечений, кроме служебных. почти никаких»; зато влюблен в его прекрасные «окружности» (то есть окрестности), особенно в «Аккерман, как его... обыкновенно называют, или Инкерман, как его называть должно», — здесь Даль охотится на птицу или гуляет «по обширным пещерам, высеченным, как говорят, генуэзцами в известковой скале». Далю в плавании что ни качка — все хуже. Матросы жалеют его, наставляют — хорошо илу с якоря поесть, помогает. Офицеры советуют подать в отставку, но Владимир после смерти отца — кормилец...

4

Но только ли морская болезнь («дурнота») мучила Даля? Не казалась ли ему «морской болезнью» вся служба морская, когда понял он для себя ее бесполезность и — что еще важнее! — для других, для отечества службы своей бесполезность?

Несколько строк из тех же «Записок, веденных идучи...»: «Не только не приносить ни малейшей пользы отечеству и службе, но, напротив того, быть в тягость себе и другим. Неприятная, сердце оскорбляющая мысль — надобно ждать облегчения от времени (если это возможно) или искать другую дорогу»... Похоже, что это — не о качке, не о тошноте — раздумье о жизненном пути, о том, куда прийти «идучи».

Право, умному флотскому офицеру, хваткому до знаний и ремесел и склонному к «всеобщности», и на берегу нашлось бы место — не теплое местечко — место (для других, для отечества) полезное, а Даль сразу — «о другой дороге».

Позже, объясняя причину, по которой оставил он морскую службу, Даль писал, что почувствовал на флоте «бездействие свое, скуку, недостаток занятий», чувствовал «необходимость в основательном учении, в образовании, дабы быть на свете полезным человеком». Он писал это в бумаге официальной, поданной начальству, — куда проще и для начальства яснее было назвать причиной отставки не «высокие материи», а морскую болезнь; Даль, не покривив душой, объясняет, что вышел в отставку, «дабы быть на свете полезным человеком».

НА «СТЕЗЕ ВООБРАЖЕНЬЯ»

1

Даль не ведал, конечно, всех путей-дорог, которые предстоит ему пройти, но, говоря — «или искать другую дорогу», — он проговаривался: неудачливый мичман эту «другую дорогу» уже нашел.

Одновременно со службою флотской избрал мичман новое поприще, которое, следуя обыкновению того времени (в тетрадке — «ветроворот», в письме же — «тифон»), называл возвышенно — «стезя воображенья». Одним словом, он избрал п о э з и ю.

В Морском кадетском корпусе словесность не была в числе высокопочитаемых дисциплин. «Поелику в сей части риторики рассматриваются разные роды прозаических сочинений, то учитель обязан проходить оные, соображаясь с назначением учеников, — говорилось в «Программе учебным предметам». — Например, о всем, что составляет собственно дидактический (наставительный) род сочинений, довольно дать гардемаринам одно общее понятие; правила же сочинений ближайших к роду их службы, как-то: писем, донесений и т. п. должны быть изложены надлежащим образом, вместе с упражнениями в сочинении оных». А Даль в корпусе пописывал стихи — это известно из писем, из воспоминаний, «он писал стишки, несмотря на недавнее свое упражнение в искусстве этом и малую опытность, довольно складно и свободно, даже нередко наобум, вдруг, но — гений его был слабосилен; это была обыкновенно одна только вспышка, и начатое стихотворение оставалось недоконченным». Нет, это не из воспоминаний, это опять из повести Даля

«Мичман Поцелуев», про главного героя, который, окончив корпус, едет служить на флот, в Николаев. Повесть автобиографична, хотя — это видно из сопоставления ее с документами — не в такой степени, как иным читателям (читателям-биографам в том числе) казалось, повесть не основой, не стержнем автобиографична — подробностями.

У Даля в отличие от мичмана Поцелуева были стихи законченные, и не все кануло в неизвестность; 10 ноября 1818 года гардемарин Даль («по роду службы» должно ему упражняться в составлении писем, донесений и т. п.) посылает матери сочиненную им «историческую поэму в белых стихах» — «Вадим»[1]. Сорок шесть пронумерованных четверостиший.

Вот первое — оно сразу прояснит художественные достоинства «поэмы» и стихотворный ее размер:

Все померкло, все умолкло,
Всюду мрак и тишина,
В сон погружены глубокий
Жители подлунных стран.

Для тех, кто не в силах сдержать невольной улыбки, приведем «чужую» строфу, тем же размером написанную, — она, если и не спасает юношескую «поэму» Даля от сегодняшней иронической оценки, то, по крайней мере, честь автора поддержит — «на миру и смерть красна»:

Худо, худо, ах, французы,
В Ронцевале было вам!
Карл Великий там лишился
Лучших рыцарей своих.

Это уже не Даль, это Карамзин: известное стихотворение («древняя гишпанская историческая песня») «Граф Гваринос».

(Правда, рядом, в Петербурге, в том же 1818 году юноша поэт сочинил послание к Чаадаеву — «Любви, надежды, тихой славы», и послание к Жуковскому — «Когда, к мечтательному миру»; маститые поэты смотре-

---

[1] Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), ф. Даля (дальше — ПД), № 27411/CXCVI б. 10.

ли на юношу с восхищенным изумлением и надеждой, сбывавшейся воочию.)

Гардемарин Даль, на жесткой корпусной скамье сидя, сочинял и переписывал «историческую поему» свою, герой которой на протяжении сорока четверостиший страдает и вопит на берегах Ладоги — «потерял он Родегаста, потерял он в нем отца». Конец, однако, счастливый: в избушке «среди густых дубров» герой находит Гостомысла и

Будем жить благополучно
Здесь в пустыне, здесь в лесу,
Я люблю тебя как сына,
Люби ты мя как отца! —

говорит Вадиму «старец» Гостомысл.

Не станем вдаваться в разбор «поемы», — сам автор, возможно, позабыть ее успел, пока перебирался из столицы на службу в Николаев. Заметим лишь, что интерес к прошлому, к старине новгородской вряд ли случаен. Тут и вышедшая незадолго перед тем «старинная повесть в двух балладах» «Двенадцать спящих дев» Жуковского — вторая баллада «повести» (по содержанию с Далевой «поемой» вовсе несхожая) носит такое же имя «Вадим»; тут сюжеты и герои поэзии, которую мы теперь называем декабристской; юношеский лепет гардемарина не проникнут высокой и напряженной гражданственностью поэтов-декабристов, не озарен возвышенным романтизмом Жуковского, но темы и образы, подобно электричеству, пронизывали воздух — Даль это электричество почувствовал (Пушкин в это время писал «Руслана и Людмилу»).

2

Даль долго не оставлял стихотворства, писал стихи и в зрелом возрасте, — дошедшие до нас (их немного) малоудачны. В Николаеве — это нетрудно предположить — поэтический пыл молодого мичмана был в самом разгаре, и Даль, наверно, подобно герою своему Поцелуеву, всегда готов «просидеть ночь напролет над самодарным творением своим, излить все чувства свои в каком-нибудь подражании Нелединскому-Мелецкому, Мерзлякову, Дмитриеву, даже Карамзину, которого стихотворения новостию языка своего тогда еще невольно поражали и

восхищали. Пушкина еще не было; я думаю, что он бы свел с ума нашего героя».

И в Петербурге, и в Николаеве пели Нелединского-Мелецкого «Выйду ль я на реченьку», пели Мерзлякова — «Среди долины ровныя» и Дмитриева — «Стонет сизый голубочек», но Пушкин уже был. Даль либо запамятовал это, когда двадцать лет спустя писал «Мичмана Поцелуева», либо нарочно запутывал время действия повести. Пушкин уже был. «Все его басни не стоят одной хорошей басни Крылова», — писал он в ту пору про Дмитриева. «По мне, Дмитриев ниже Нелединского и стократ ниже стихотворца Карамзина». Пушкин писал это в Одессе — он был, он жил совсем рядом, когда Владимир Даль служил на Черном море; наш мичман мимо Одессы не раз проплывал, «крейсируя», «крестя по морю» на своем судне.

Пушкин уже был, и Даль про него знал. Не просто читал его (это само собой разумеется), он знал про него, как современники знают один про другого. Николаевский знакомый по имени Рогуля писал Далю, что общий их приятель Зайцевский уморительно декламирует стихи: сдвинет брови, закатит глаза и читает без ударений и повышений голоса — «Так читает Пушкин или Туманский, точно не знаю»[1]. Точно не знает, но узнать нетрудно — в Одессе, слыхал, да запамятовал, кто-то говорил, что не то Пушкин, не то Туманский так читает — уморительно. Запросто очень: некто флотский Рогуля сообщает мичману Далю про Пушкина или Туманского — современники.

Приятель Даля, мичман Ефим Зайцевский тоже писал стихи. С годами он сделался Ефимом Петровичем, и капитаном первого ранга, и генеральным консулом в Сицилии. Его стихи много удачнее Далевых, они и напечатаны раньше — и сразу в журнале Рылеева и Бестужева.

Среди николаевских друзей Даля находим Анну Петровну Зонтаг, урожденную Юшкову, впоследствии писательницу. Анна Петровна в родстве, главное же — в близкой дружбе с Жуковским («милая сестра», — он к ней пишет); это небезразлично, видимо, для будущих литературных связей Даля. Писательницей Анна Пет-

[1] ПД, № 27379/CXCVI б. 8.

ровна стала много позже, но нам не это сейчас важно, — нам хотя бы редким пунктиром обнести, хотя бы двумя-тремя вешками наметить литературное окружение Даля в Николаеве, хотя бы несколько человек назвать, кому мог он прочитать сочинения свои. Такой кружок у Даля, кажется, был. В числе его слушателей, без сомнения, были домашние: если не отец, предпочитавший одинокий досуг в запертом изнутри кабинете (да и умер отец через два года после приезда Даля), то уж наверно мать, вышедшая сама из среды литературной, сестры — во всяком случае, сестра Паулина (Павла), женщина одаренная, пусть не как литератор (хотя позже она займется переводами), но как ценительница литературы; Даль, уже известный писатель, спрашивал ее мнение о своих вещах, считался с ее советами.

Один из ближайших друзей Даля в Николаеве — астроном Карл Кнорре; но здесь дружба особая. Здесь не только литературные чтения, не только обмен новостями и разговоры вообще: с Карлом Кнорре беседы научные; научная, исследовательская (испытательская, что ли) жилка сызмала билась в Дале — даже в самом стремлении записывать и объяснять слова слышится это биение.

Карл Кнорре связывал Даля с «другой дорогой», которая отвечала потребности мичмана в «основательном учении, в образовании»; «другая дорога» Карла Кнорре вела Даля в науку, дорогой этой он спустя несколько лет и пошел, «переседлав» из моряков в студенты-медики. Более того, Карл Кнорре сам как бы олицетворял разительную возможность идти этой «другой дорогой», на которую манил Даля. Поступив на богословский факультет Дерптского университета, Кнорре познакомился с замечательным астрономом, профессором Василием Яковлевичем Струве, увлекся его трудами, бросился ему помогать в геодезических работах, в исследованиях астрономических и в науках этих до того преуспел, что, когда в 1820 году в Николаеве основана была обсерватория, Струве смело предложил молодого ученика своего, более того — сподвижника, туда директором. А было тогда Карлу Кнорре девятнадцать лет. Он и Даль погодки.

Кнорре как бы повторил путь отца Даля, Ивана Матвеевича: от богословия — к точным наукам; пример отца и пример друга — это много.

3

Пока Владимир Даль — моряк и на «другой дороге» «сочинитель». В Николаеве он даже известный «сочинитель», известен как сочинитель — это можно смело утверждать. Сохранились две одноактные комедии Даля: «Невеста в мешке, или Билет в Казань», датированная 1821 годом, и «Медведь в маскараде», написанная годом позже[1]. Сохранились наброски третьей комедии; возможно, и она была написана. Главное же, сохранилась пометка, что, по крайней мере, одна из Далевых комедий была поставлена. Это не так мало для Николаева, для «портового заштатного города» (как Даль его называл), где и артисты-любители, и публика наперечет, и все больше или меньше друг с другом знакомы.

В какой-то зале, в собрании или в частном доме, николаевская публика смотрела «Невесту в мешке», комедию мичмана Даля 1-го.

Гарнизонный майор Архипов приезжает со своей племянницей Лизой в имение к старому богатому помещику Петушинскому, прежде служившему при дворе (один из героев именует его «придворной куклой»). Архипов задумал выдать племянницу замуж за Петушинского, а деньги, оставшиеся ей от родителей, прикарманить. Но Лиза любит молодого офицера Горлицкого. При помощи приключений с переодеванием и проделок горничной Аннушки и денщика — татарина Хамета возлюбленным удается провести скупого опекуна и устроить свое счастье.

Сюжет вроде бы не заимствован, хорошо сбит; содержание житейское, быт написан сочно, быт провинциальный, русский, да не просто русский — южнорусский, черты его и в облике действующих лиц, и в речах их (это уже Далево — умение схватить неповторимые местные черты). Возможно, мы комедию эту не до конца понимаем: зрители, возможно, в портретах и положениях, в репликах иных много больше, чем мы, угадывали, — кто знает, не связана ли Далева пьеса с какими-нибудь николаевскими или «возлениколаевскими» событиями. Но тема не бог весть как значительна, чтобы дос-

---

[1] ГБЛ, ф. 473, карт. 1, ед. хр. 1. В оглавлении название первой комедии несколько изменено: «Пашпорт в Казань, или Невеста в мешке»; после названия второй стоит позднейшая авторская пометка: «Глупая комедия».

конально комедию «разгадывать», зато дата заслуживает внимания. Началом Даля-писателя принято считать год 1827-й, когда впервые были напечатаны стихи его, и даже год 1830-й, когда появилась его повесть «Цыганка», и, того более, — год 1832-й, когда с выходом в свет книги сказок стал он сразу известен, а вот на ж тебе, оказывается, в «заштатном» городе Николаеве шла много раньше комедия его!

В обществе мичмана называют, должно быть, «сочинителем», и ему, должно быть, нравится, что так называют: он молод — честолюбивые мечты сплетаются с мечтами об избранности; годы пройдут, пока он, эту «избранность» толкуя, рядом с возвышенным — «выбранный из числа многих для какого-либо назначенья», поставит простое, житейское «не сподряд». Он не подозревает еще, что быть «выбранным из числа многих» да еще «для какого-либо назначенья» опасно, легче живется, когда «сподряд». Особенно же опасно «сочинительство» (как и «не сподряд») для тех, кто на службе; впрочем, и набравшись мудрости, Даль всю жизнь будет стараться сопрячь два занятия — «служить» и «писать», а ему будут, порой весьма наглядно, объяснять, что такое сопряжение противопоказано.

«ДЕЛО О МИЧМАНЕ ДАЛЕ 1-м, СУЖДЕННОМ...»

1

Читаем снова «Общий морской список»: «1822. Был в кампании на военной брандвахте у Очакова. 1823 и 1824. Находился при николаевском порте. 1823. Был под судом за сочинение пасквильных писем...»

Феодосий Федорович Веселаго, историк флота, автор «Морского списка», делает в этом месте снисходительное примечание: «Это было собственно юношеское, шутливое, хотя и резкое стихотворение, но имевшее важное местное значение, по положению лиц, к которым оно относилось».

Примечание, цель которого объяснить, ничего не объясняет, скорее запутывает дело: «шутливое, хотя резкое», «но имевшее важное местное значение» и т. д.

«Общий морской список» — труд официальный, часть со сведениями о флотской службе Даля вышла через

двадцать лет после его смерти, когда все уже и позабыли, что Даль был морской офицер, и знали его — автора «Толкового словаря».

Сообщение биографических подробностей, впрочем, и не входило в задачу историка, собравшего воедино послужные списки русских офицеров-моряков.

Формуляр Даля об этом происшествии (возможно, событии) в его жизни сообщает так же скупо. Графа одиннадцатая: «Был ли в штрафах, под следствием и судом; когда и за что именно предан суду; когда и чем дело кончено». Запись: «Был за сочинение пасквилей и по решению Морского Аудиториатского Департамента вменено в штраф бытие его под судом и долговременный арест, под коим состоял с сентября месяца 1823 по 12 апреля 1824 года»[1]. Запись разъясняет таинственную строку в списке Веселаго: «1823 и 1824. Находился при николаевском порте». Проще сказать, находился под арестом.

2

«Дело 28-го флотского экипажа о мичмане Дале 1-м сужденном в сочинении пасквилей»[2] начато 3 мая 1823 года.

...В течение некоторого времени «благородная публика г. Николаева поносима была разными подметными письмами ...а с 19-е на 20-е число сего апреля месяца ночью во многих местах города приклеены четвертные листы, заключающие в себе пасквиль»[3].

Пасквиль этот приложен к делу — глупейшее стихотворение под названием «С дозволения начальства», написанное от имени преподавателя итальянского языка штурманского училища Мараки (тут же справка: оный Мараки от авторства отказывается).

Сочинитель, пасквилянт (по-Далеву, «пасквильник») объявляет «сброду, носящему флотский мундир», о своем близком знакомстве с некой «подрядчицей», которая «скоро до всех доберется».

Стихотворение могло не отличаться ни умом, ни поэ-

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 179, оп. 1, ед. хр. 15.
[2] ЦГА ВМФ, ф. 33, оп. 1, № 1907.
[3] «Пасквиль» — безымянное ругательное письмо, поносное сочиненье, надпись; прибитый где или разосланный лист с ругательною, безыменною насмешкой». В. Даль, Толковый словарь.

тическими достоинствами, — «публика г. Николаева» отлично понимала, о чем речь.

Главный командир Черноморского флота вице-адмирал Грейг приблизил к себе молодую особу женского пола, которая в глазах «общества» отличалась тремя «пороками»: занималась торговлей, была простого звания и к тому же еврейкой. Созерцать такую женщину рядом со славным российским адмиралом было, по меньшей мере, необычно; тем более сам адмирал откровенно давал понять, что его расположение к окружающим во многом зависит от доброго отношения к ним «молодой особы». Современник вспоминает, как, рассчитывая выслужиться, вертелись офицеры в гостиной у адмираловой пассии...

«По случаю падавшего сильного подозрения в составлении оного пасквиля 28-го флотского экипажа на мичмана Даля 1-го» приказано было полицмейстеру Федорову произвести «в квартире его, Даля, обыск, где и сысканы нового сочинения ругательный пасквиль же вчерне, по собственному признанию Даля, руки его...»

Приложено несколько экземпляров стихотворения «Без дозволения начальства» (подзаголовок: «Антикритика»), стихотворения, также не отличающегося ни остроумием, ни тонкостью насмешки, ни достоинствами слога.

Воспоминания донесли до нас несколько занимательных рассказов о том, как у Даля нашли стихи. Например: полицмейстер закончил обыск и собрался уходить, но матушка Даля указала презрительно на нижний ящик комода, где хранилась старая обувь, — «Что ж там-то не искали?». Дальше как в романах: рассерженный полицмейстер нагнулся к ящику, и... скомканная бумажка с «нового сочинения ругательным пасквилем» у него в руках. Или: полицмейстер, который прямо не мог отправиться к офицеру с обыском, приказал расставить под окнами Далевой квартиры какие-то приборы, якобы для измерений улицы, а сам попросил у матушки Даля листок бумаги; впущенный в кабинет, он быстро обыскал стол и обнаружил черновик стихотворения...

Жаль, не было в живых отца Даля, Ивана Матвеевича, с его вспыльчивостью и двумя пистолетами за поясом: можно было бы для еще большей занимательности устроить пальбу!..

Но ведь с точки зрения «примет времени» и «примет Даля» все произошло гораздо проще и интереснее! Полицмейстеру приказали произвести «в квартире его, Даля, обыск» — он и произвел, не считаясь с положениями закона («примета времени»!). Даль же заявляет следствию решительный протест именно потому, что обыск был произведен с нарушением принятых правил — в его отсутствие, без понятых и т. д. («примета Даля»!).

3

«История» с пасквилем таит в себе некоторый соблазн: так и «подмывает» вывести ее как пример Далева молодечества (иногда усматривают в ней и Далеву «оппозиционность» — «супротивность», «противосилие»).

В самом деле, главный начальник и супротив — мичман, но вот не испугался — написал стихи, высмеял! А про что стишки-то? Ах, да какая разница, главное, замахнулся, руку поднял... И чуть ли не традиция: в жизнеописании Даля помянуть недобрым словом адмирала, вроде: «Все, что было связано с именем адмирала Грейга, так или иначе приводило к «потрясениям».

Но с именем адмирала Грейга связаны были успешные операции отряда кораблей в составе средиземноморской эскадры Сенявина; удачи в Афонском и Дарданелльском сражениях; на Черном море он явился как деятельный начальник, немало труда положивший на укрепление флота, — при нем стали ходить здесь первые пароходы, усовершенствованы и оснащены механизмами николаевские верфи и мастерские, в городе были открыты астрономическая обсерватория, физический кабинет, музеум, морская библиотека; краткий перечень и тот свидетельствует, что с именем адмирала Грейга связаны были не «потрясения» (в кавычках), а достойные страницы в летописи русского флота. Биография Грейга существовала и вне биографии Даля.

Понять Даля можно: он не из тех, кто ищет благосклонность начальника в гостиной его возлюбленной. Даль умел смешные сценки придумывать и представлять: веселил бы этими сценками Грейгову «молодую особу», глядишь, и дождался бы адмиральских милостей. Но Даль возмущен, он «протестует», если угодно, он «сценку» не для гостиной, а **против** гостиной сочиняет. Но он к тому же не настолько «чудак», чтобы во всем пренебречь предрассудками времени и среды.

4

И главный начальник флота оказался не из таких «чудаков»...

Адмирал Грейг стал мичманом на сорок пять лет раньше Владимира Даля: звание было пожаловано Грейгу в день рождения. Крохотное существо кричало в пеленках — уже мичман; существо-мичман было сыном знаменитого адмирала Самуила Грейга (одного из героев Чесменского боя и Гогландского сражения) и крестником Екатерины Второй (Самуил Грейг и лично императрице оказал услугу — участвовал в аресте княжны Таракановой). Алексей Грейг стал мичманом от рождения, с десяти лет плавал на военных судах, с тринадцати бывал в морских сражениях, его хвалили Сенявин и Нельсон. Он не нашел в себе снисхождения к молодому тощему офицеру, который сочинял комедии, боялся качки и до Севастополя ездил в телеге. У адмирала Грейга не хватило гордости, чтобы не заметить бесталанных стишков.

Глупый пасквиль не запишешь в подвиги неудачливому мичману Далю; но и главный командир Черноморского флота не украсил свой послужной список, когда, удовлетворяя личное самолюбие, двинул против молодого офицера всю силу власти, находившейся в его руках, — начал суд, заранее зная, что сам продиктует приговор.

Даль указывал на нелепость суда, где он «ответчик без челобитчика», требовал, чтобы объявили ему, по чьей жалобе (!) начато дело. В ответ его пугали грозными артикулами воинского устава и указами 1683 и 1775 годов, согласно которым «пасквилотворец» наказан быть имеет тюрьмою, каторгой, шпицрутеном и едва ли не смертной казнью. Даль себя виновным, то есть «пасквилотворцем», не признал, хитро утверждая, что сочинение им пасквиля не доказано, найденный же у него черновик стихотворения есть, наоборот, ответ на пасквиль — «антикритика».

5

Хорошо, что в архиве сохранилось «Дело о мичмане Дале 1-м сужденном...» — иначе вообще трудно было бы докопаться до истины. И в изложении самого Даля, и в пересказе его близких «история» претерпела с течением лет существенные изменения.

«В Николаеве написал я не пасквиль, а шесть или восемь стишков, относившихся до тамошних городских властей; но тут не было ни одного имени, никто не был назван и стихи ни в каком смысле не касались правительства. Около того же времени явился пасквиль на некоторые лица в городе (этот второй пасквиль написан был на жившую в доме адмирала Алексея Самуиловича Грейга, близкую к нему личность. — *В. Даль*), пасквиль, который я по сию пору еще не читал. Главный местный начальник предал меня военному суду, требуя моего сознания в сочинении и распространении этого пасквиля, тогда как я увидал его в первый раз на столе военного суда».

Но мы уже знаем, что Даль впервые увидел пасквиль никак не «на столе военного суда», что он его раньше читал (если не написал) и сочинил в ответ эти самые «шесть или восемь стишков» (в действительности — двенадцать). Мы знаем, что стишки эти, хоть и названы «антикритикой», по существу, тоже пасквиль, притом как раз «на жившую в доме Грейга, близкую к нему личность».

В русских пословицах понятия «правда» и «сознание» («признание») часто не совпадают (в сборнике пословиц Даля по разным отделам идут), то есть лгать грешно, а не сознаться иной раз и полезно: «Сам признался, сам на себя петлю надел». Даль не хотел признаваться, хотя приведенную объяснительную записку он сочинял в начале сороковых годов, через двадцать лет после дела о пасквиле.

Воспоминания дочери Даля чуть откровенней объяснительной записки: по городу ходила «глупейшая насмешка в стихах», — автором ее Даль не был; однако дома у него нашли при обыске другое стихотворение («действительно отцовского сочинения»), в котором «он сам трунил над влюбившимся адмиралом». Мемуаристка прибавляет поспешно: никто посторонний стихотворения не читал.

Мельников-Печерский, который, видимо, узнал про «историю» с пасквилем от самого Даля, но уже в 50-е годы, еще осторожнее: «Поседелый адмирал захотел во что бы то ни стало узнать имя дерзкого, что осмелился пошутить над усладою поздних дней его... Кому же написать стихи?.. Разумеется, сочинителю. Дело кончилось тем, что мичман Даль волей-неволей должен был оставить Черно-

морский флот». Мельников-Печерский, как видим, вроде бы отрицает, что Даль «пошутил» над «усладою поздних дней» адмирала. Далю приписали стишки, потому что он слыл «сочинителем».

Даль всю жизнь старался заглушить в окружающих память об этом деле, пресечь разговоры о нем и имел на то основания. Из формулярного списка Даля узнаем, что лишь 12 апреля 1859 года государь император всемилостивейше соизволил «не считать дальнейшим препятствием к получению наград и преимуществ беспорочно служащим предоставленных» дело о «сочинении пасквилей» мичманом Далем. 12 апреля 1859 года! За несколько месяцев до того, как старик уволен был в отставку!.. Даль с этим «делом» за плечами тридцать пять лет прожил, двух императоров пережил, пока наконец третий соизволил «не считать дальнейшим препятствием». Ох, не случайно Даль к слову «формуляр» («послужной список; вся служебная жизнь чиновника, внесенная установленным порядком в графы») дает в «Толковом словаре» пример: «У него формуляр нечист, замаран подсудностью»!.. [1]

6

Грейг продиктовал приговор: «Лишить чина и записать в матрозы на шесть месяцев».

Матросская пословица «не все линьком, ино и свистком» — слабое утешение, рядом живет другая: «Не дотянешь — бьют, перетянешь — бьют». Даль послал прошение на высочайшее имя. В столице у Грейга были, наверно, недоброжелатели, которые с удовольствием прочитали насмешливые строки про влюбленного адмирала. Стихи, хороши ли, плохи ли, совпадали с «мнением света». В «Деле о мичмане Дале» много было предвзятого, да и над доказательствами судьи не слишком трудились. Морской Аудиториатский Департамент отменил разжалование «в матрозы», признав достаточным наказанием «бытие его, Даля, под судом и долговременный арест». Безоружный мичман выиграл битву с поседелым боевым адмиралом, но не следует преувеличивать победы — в том смысле выиграл, что вышло не по-Грейгову. И хотя

[1] Дело о пасквиле было гораздо более известно, чем хотелось бы Далю и чем представляется ныне. Юный Добролюбов, путая события, писал в 1855 году (!), после обыска: «Даль изгнан был из корпуса за написание пасквилей».

одновременно Далю присвоили следующий чин — лейтенант (явная шпилька Грейгу) и перевели служить на Балтику, победа не за Далем.

«Судиться — не богу молиться: поклоном не отделаешься». Окончательный приговор по делу о мичмане Дале — почти поклон, но разве только приговор венчает дело? Молодой человек едва вступил в жизнь — и вдруг военный суд, ни за что, за шутку, пусть неуместную, за шалость, пусть ненужную, недостойную даже; и молодой человек видит с ужасом нацеленную на него, тяжелую и неопровержимую военно-полицейско-судебную махину, которой располагал и повелевал государев наместник на Черноморском флоте. Такое впечатление молодости даром не проходит. Ожегшись на молоке, станешь дуть и на воду. Или не хуже сказано: «Тридцать лет, как видел коровий след, а молоком отрыгивается».

«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ». ОТВЛЕЧЕНИЕ ВТОРОЕ

Однако надо собираться в путь, снова пересекать Россию с юга на север (сколько добра в каждом худе для нашего Даля!). Читаем у Даля, как ездили наши предки по малороссийским и новороссийским дорогам: «Что за потешные снаряды для езды!.. Тут рыдван или колымага, с виду верблюд, по походке черепаха; тут какая-то линейка, двоюродная сестра дрогам, на которых у нас возят покойников; а вот линейка однодрогая, по два чемоданчика на стороне ...или, взгляните вот на эту двуспальную кровать, со стойками, перекладинами, с кожаными, подбитыми ситцем, занавесами на концах; это — линейка шестиместная, то есть в нее садится двенадцать человек».

Середина лета 1824 года...

Пыльные степные тракты, и над ними — неподвижное солнце в выцветшем, тонко звенящем от зноя небе. На обочинах толстые воробьи весело купаются в пыли. Надоедают оводы, глупые и тяжелые, как пули. Тупой стук копыт, щелканье бича, шлепанье тяжелых хвостов по влажным и потемневшим лошадиным бокам.

В Далево время дорога входила в жизнь, становилась ее частью. Была пословица: «Печка нежит, а дорожка учит».

В дороге Даль слушал людей — и схватывал не только суть их речи, но слова, из которых она составлена.

— Проведать бы, нет ли где поблизости кузнеца, — задумчиво молвит возница, сворачивая с тракта на проселок.

А пока куют лошадей, одна из попутчиц охотно объясняет:

— Вот и отправилась в Петербург сынка проведать...

Хозяйка на постоялом дворе предлагает радушно:

— Отведайте, сударь, наших щей.

Случившийся тут же странник-старичок с привычной готовностью принимается за рассказ:

— Поведаю вам, государи мои, историю жизни своей...

Повозился на скамье и, усевшись поудобнее, начинает:

— Не изведав горя, не узнаешь радости...

«Проведать» — «отведать» — «поведать» — «изведать»...

Даль настораживается: слово меняет цвет на глазах.

Слова тревожат Даля. Подобно музыканту, он слышит в речи людей и многоголосье оркестра, и звучанье отдельных инструментов. Он признавался на старости, что, «как себя помнит», его тревожила «устная речь простого русского человека»; поначалу не рассудок — какое-то чувство отвечало ей, к ней тянулось.

Но есть еще дело. Пока просто странность, чудачество, ни к чему большому вроде бы не приложимое, — так, потребность души. Один из будущих героев Даля — и тут уж, без сомнения, слышим мы голос автора, — чувствуя необходимость «соединить с прогулкою своею какую-нибудь цель», «задал себе вот какую задачу:

1) Собирать по пути все названия местных урочищ, расспрашивать о памятниках, преданиях и поверьях, с ними соединенных...

2) Разузнавать и собирать, где только можно, народные обычаи, поверья, даже песни, сказки, пословицы и поговорки и все, что принадлежит к этому разряду...

3) Вносить тщательно в памятную книжку свою все народные слова, выражения, речения, обороты языка, общие и местные, но неупотребительные в так называемом образованном нашем языке и слоге...».

...Солнце вдруг тронулось с места, быстро спускается

по заголубевшему небу, из ослепительно-белого, словно расплющенного ударом кузнечного молота, оно становится огненно-, потом, остывая, малиново-красным четким кругом, сползающим за край степи. Сверкнул, исчезая, последний багровый уголек, яркая полоса заката сужается понемногу, блекнет (будто размывается или выветривается, что ли), становится палевой, но опять ненадолго — вот покрывается пеплом, тускнеет, а с востока надвигается, поднимаясь и все шире захватывая небо, лиловая тьма. Степь за обочиной еще пахнет теплом и созревающими хлебами, но воздух быстро свежеет; скрип колес, шлепанье хвостов, человеческие голоса в густеющей прохладной темноте звучат резче. Легко дышится. Прохлада сначала пьянит, потом нагоняет сладостную дремоту. Повозка останавливается. Даль открывает глаза, но тут же снова задремывает. Слышит сквозь сон, как кто-то спрашивает возницу:

— Куда путь держите?

Другой голос, басовитый, встревает:

— Не кудыкай, счастья не будет.

Возница сердится:

— Чем лясы точить, подсказали б, где тут на постой проситься, чтоб в поле под шапкой не ночевать.

Встречные в два голоса объясняют.

— Далече? — спрашивает возница.

— Верст пять.

— Близко, видать, да далеко шагать, — прибавляет басовитый.

Щелкают вожжи. Повозка резко подается вперед и опять катится, поскрипывая.

Басовитый весело кричит вслед:

— Добрый путь, да к нам больше не будь!

Даль спохватывается; не проснувшись вполне, шарит по карманам: надо тотчас записать слова, поговорки...

Есть загадка про дорогу: «И долга и коротка, а один другому не верит, всяк сам по себе мерит». Даль мерил дорогу встречами, историями бывалых людей и историями, которые случались с ним, превращая его в человека бывалого; главное же — словами.

Мы всё остерегались сочинять сцены, но (право на домысел!) «нам добро, никому зло — то законное житье»: Даль записывал слова на дорогах, записывал, конечно, и на пути в Кронштадт.

«К ЧЕМУ ДАЛЬ БЫЛ НЕСПОСОБЕН»

1

«...Надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг», — сказал поэт. Служба на Балтике — пробел и в судьбе Даля, и среди бумаг тоже. Дотошный историк Веселаго (в «Общем морском списке») полутора годов, отслуженных Далем на Балтике, вообще не отмечает. Как не было. Но были эти полтора года, «Лейтенанту Владимиру Ивановичу Далю. В 5-й флотский экипаж в Кронштадте», — читаем на конвертах писем, адресованных к нашему герою, или очень трогательный адрес (Даль потом предлагал вместо «адрес» слово «насыл») на письмах от сестры Павлы: «Его благородию милостивому государю моему Владимеру Ивановичу господину флота лейтенанту Далю на Широкой Армянской в доме Волчихи».

2

В Кронштадте на берегу сидит лейтенант флота Даль; устроился общежитием с тремя товарищами, тоже неудачливыми моряками: так дешевле — одна квартира и один денщик на четверых.

Про Даля известно только: служил на берегу и выполнял какую-то неинтересную и, видимо, неприятную работу. Иначе вряд ли стал бы проситься с флота, где служить считалось почетнее и выгоднее, куда-нибудь в другой род войск. А он просился в артиллерию, в инженерные части; готов был даже стать простым армейским офицером. Вряд ли стоит говорить здесь о страстном желании исполнять долг гражданский, приносить людям пользу: пехотный офицер в Зарайске или Чаповце мог сделать не больше, чем лейтенант флота на берегу в Кронштадте. Скорее всего служба на Балтике была *лично Далю* чем-то неприятна, лично ему претила.

Видимо, следует прислушаться к мнению Завалишина, повторенному и подтвержденному Мельниковым-Печерским: на флоте совершались страшные злоупотребления (и не вообще, но где-то рядом с Далем) — избежать столкновения с ними было невозможно; эти злоупотребления «требовали или решимости на отважную и упорную борьбу с ними, к чему Даль, по его собственным словам, не имел ни средств, ни расположения, или пассивного подчинения и уживчивости с ними, к чему Даль был неспособен». Мнение дорого для нас, так как открывает некоторые существенные черты Далевой натуры; мнение как будто и достоверное, так как несколько лет спустя Даль по тем же соображениям оставит службу в военном госпитале.

Творится вокруг непонятное: боевых командиров обходят чинами, наградами; бездари и проныры ездят в Петербург: выслуживают чины на балах, награды — в приемных. В чести мастера докладывать, что дела отменно хороши. Румяный император проследовал на катере вдоль кронштадтского рейда, кивал головой, оглядывая стройный ряд кораблей; а корабли покрасили только с одной стороны — с той, которая на виду. Придворные щелкоперы воспевают в журналах прогулки в Кронштадт, мощь грозных орудий, которые «дышат громами», а в Кронштадте списывают целые форты «по совершенной гнилости». Даль ходит по берегу, видит изнанку Кронштадта — разрушенные форты, непокрашенные борта кораблей, — опускает глаза и помалкивает. «На отважную и упорную борьбу не имел ни средств, ни расположения» — это о натуре, да и военный суд научил его уму-разуму, а ум-разум народом помянут во множестве пословиц про два уха и один язык, про много знай, да мало бай, про молчание — золото.

3

По датам определяем события, которых Даль оказался свидетелем в Кронштадте.

Он оказался, в частности, свидетелем знаменитого наводнения 7 ноября 1824 года, — вода унесла в море мосты и склады, разрушила береговые укрепления, слизнула батареи и пороховые погреба; вода смыла следы воровства и обмана. Как в пословице «вода все кроет, а берег роет»: беспорядок, нехватку — все покрыла вода. Воры, сколотившие тысячи на копеечном матросском довольствии, торговцы контрабандным товаром, любители расцветить труху яркой краскою составляли длинные ведомости, списывали амуницию, продовольствие, оружие, всего небрежнее списывали людей: «неизвестно, где команда, в живых или в мертвых».

За сто с лишним лет перед наводнением, когда только закладывали Кронштадт, вели по приказу Петра строгий

счет убыткам. Тогда точно так же: каждую сваю, каждую скобу разносили по графам, посылали доклады о павших лошадях; рабочие гибли от голода и холода — их в ведомости не записывали. Как и сто с лишним лет назад, взамен погибших и занемогших присылали еще людей — в России народу много. В Кронштадте стучат топоры, пахнет мокрым деревом: рубят ряжи, забивают сваи, настилают доски; растут укрепления, поднимают город над водой. Вода ушла в берега. Все становится на место.

Ничего не стало на место, хотя стала Нева и Финский залив затянуло прочным ледяным покровом. Рядом, в Кронштадте, жили люди — такие же морские офицеры, однокашники по Морскому корпусу, которые, видя непокрашенную изнанку кораблей, изнанку флота, всей России изнанку, не желали опускать глаза и помалкивать, которых уму-разуму пока никто не научил, а может, ум-разум которых в том и состоял, чтобы не опускать глаза̀ да не помалкивать: «Единою пищей сделалась любовь к отечеству и свободе», — писал один из них. Братья Беляевы, Александр и Петр, Арбузов, Дивов — все знакомые по учению, по службе, Дмитрий Завалишин, наконец. Про Завалишина говорилось в обвинительном заключении, что поручал братьям Беляевым «распространять свободомыслие, увеличивать число недовольных и давал читать книги и стихи, наполненные самыми дерзкими и гнусными клеветами на августейшую фамилию».

У нас нет никаких свидетельств того, что Даль имел хоть какое-нибудь касательство к делу 14 декабря 1825 года. Хотя Завалишин при всяком удобном случае и подчеркивает особого рода откровенность, существовавшую между ним и Далем, он, судя по всему, Даля в заговор не посвящал.

4

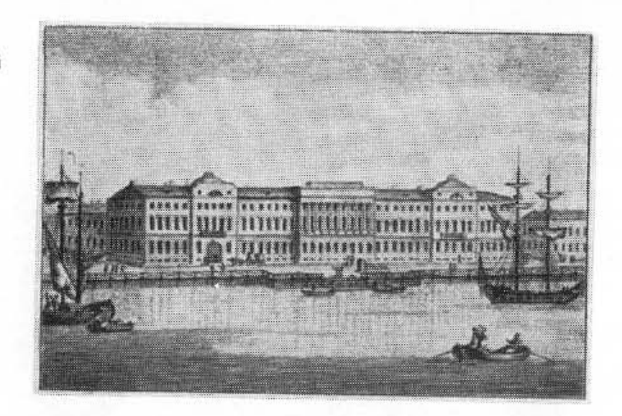
К декабрю 1825 года ничего не изменилось в жизни Даля: он не выиграл в карты богатого имения, не получил наследства. Но, как свидетельствует формуляр: «1 января 1826 года уволен от службы с тем же чином, лейтенант».

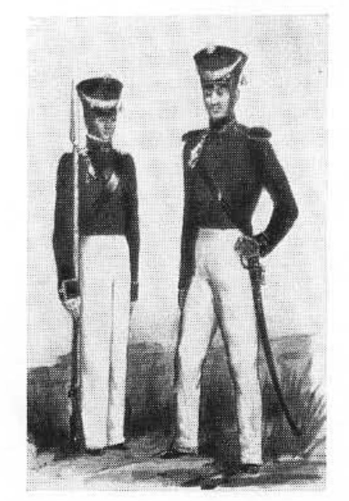
«Я почувствовал необходимость в основательном учении... Я вышел в отставку, вступил в Дерптский универ-



В. И. Даль на тридцатом году жизни. Портрет работы неизвестного художника.

Морской кадетский корпус.

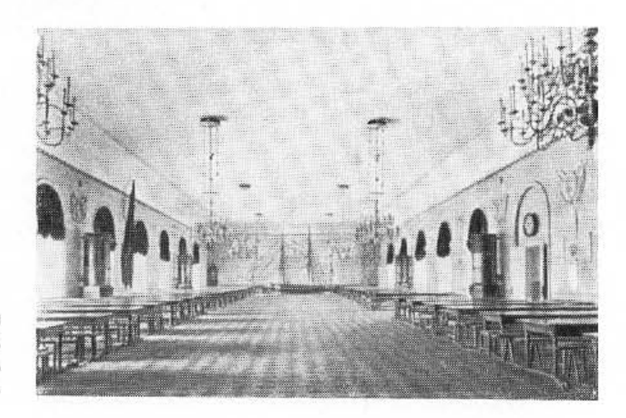




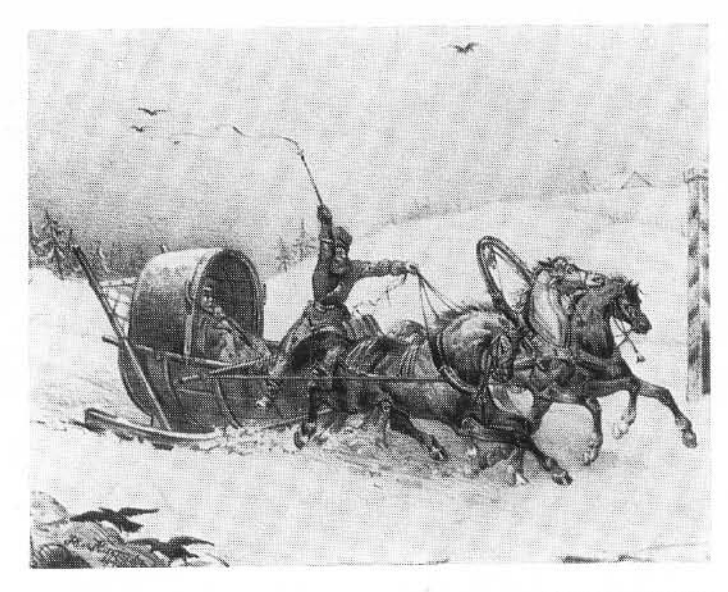
«Замолаживать — иначе пасмурнеть — в Новгородской губернии значит заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью...»
Эти строки, написанные на морозе в 1819 году (они сохранялись у Даля), были зародышем... «Толкового словаря живого великорусского языка».

П. И. Мельников-Печерский

Кадет и офицер Морского корпуса. Форма, введенная в 1812 году.

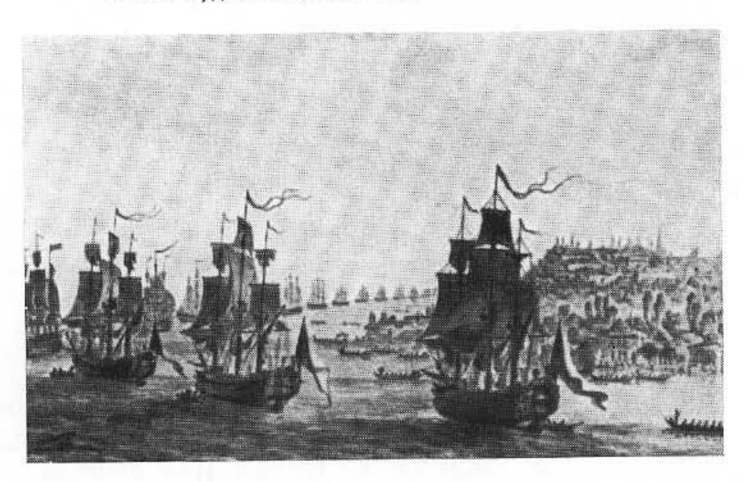


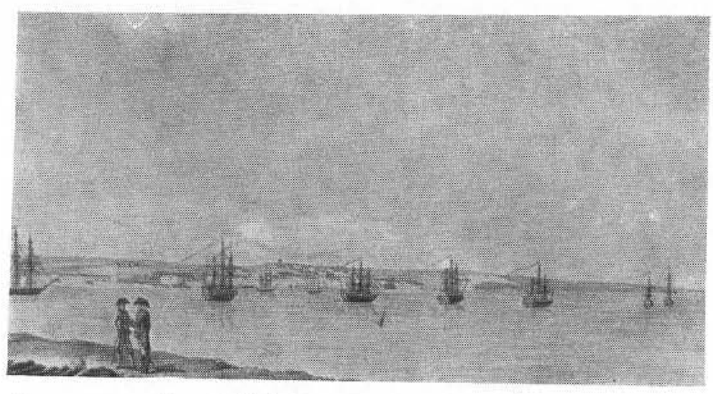
Столовая в Морском кадетском корпусе.



Ямская тройка.

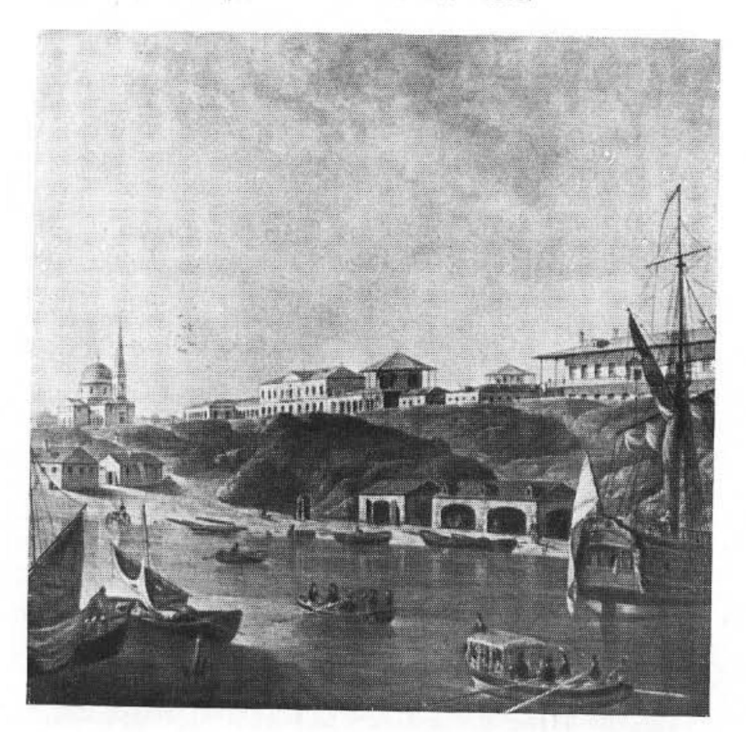
Российская эскадра, идущая Константинопольским проливом. Худ. М. Иванов. 1799.

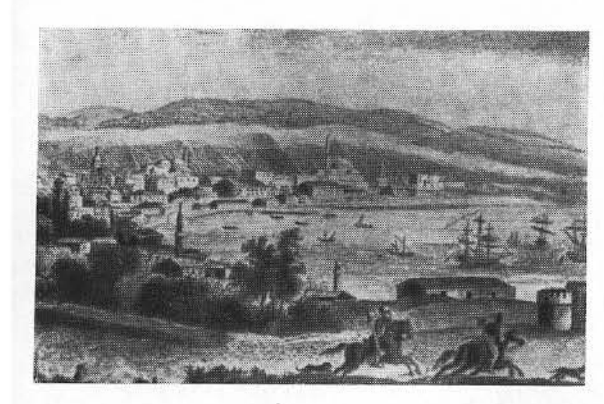




Севастополь. Рис. Г. Х. Гейслера. 1793.

Вид Николаева. Худ. Ф. Алексеев. 1797—1800.





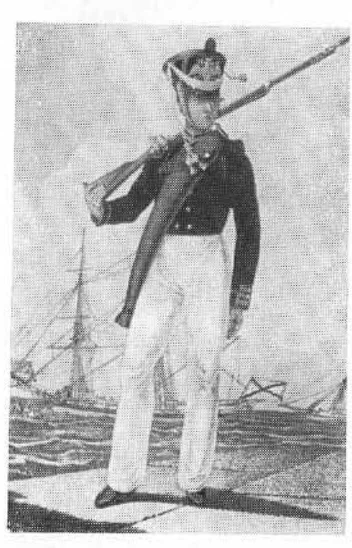
Евпатория.
Худ. Г. Сергеев,
грав. Рудакова.
1803.

Морем плыть — вперед глядеть.

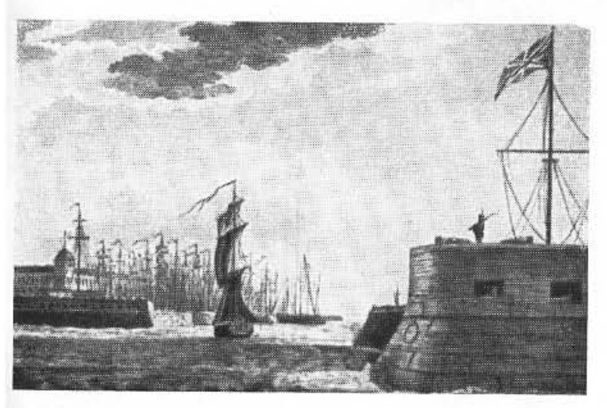
Пословица

Разнородность занятий и службы: морской, военной врачебной, гражданской ...ознакомили его, по языку и по понятиям, с бытом разных сословий...

В. И. Даль



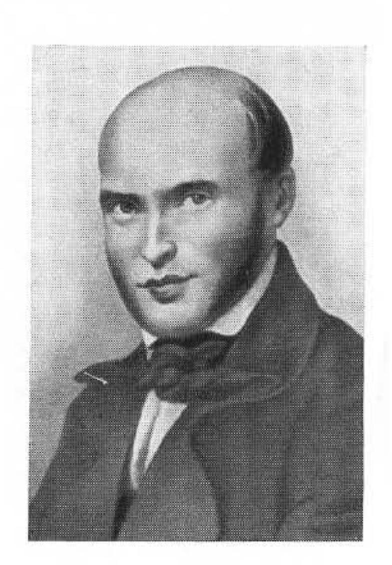
Матрос. Гравюра.



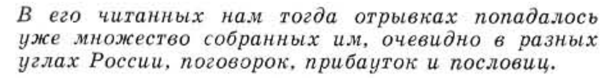
Кронштадт.
Рис. П. Свиньина,
грав. С. Галактионова. 1821.



И. Ф. Мойер.



Н. И. Пирогов.



В его читанных нам тогда отрывках попадалось уже множество собранных им, очевидно в разных углах России, поговорок, прибауток и пословиц.

Н. И. Пирогов



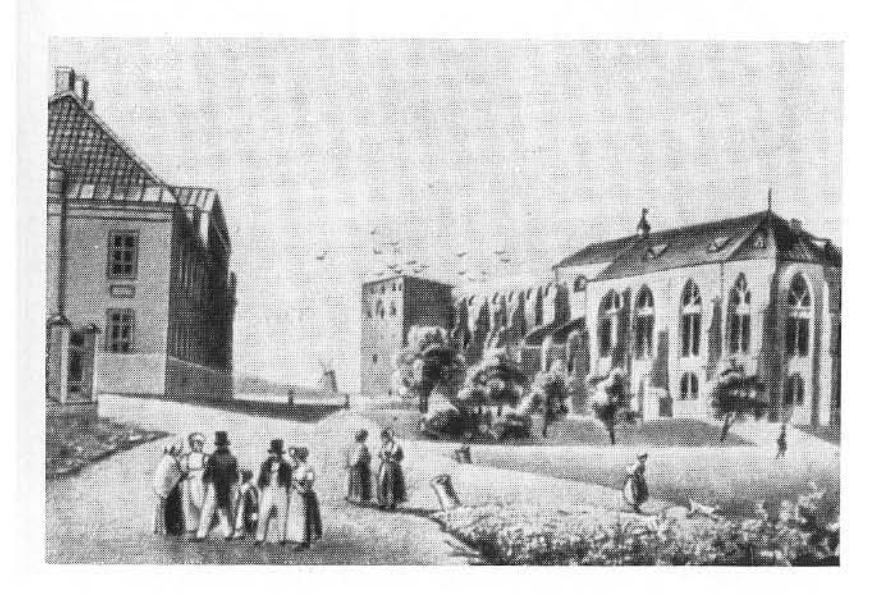
Хирургическая клиника Дерптского университета.



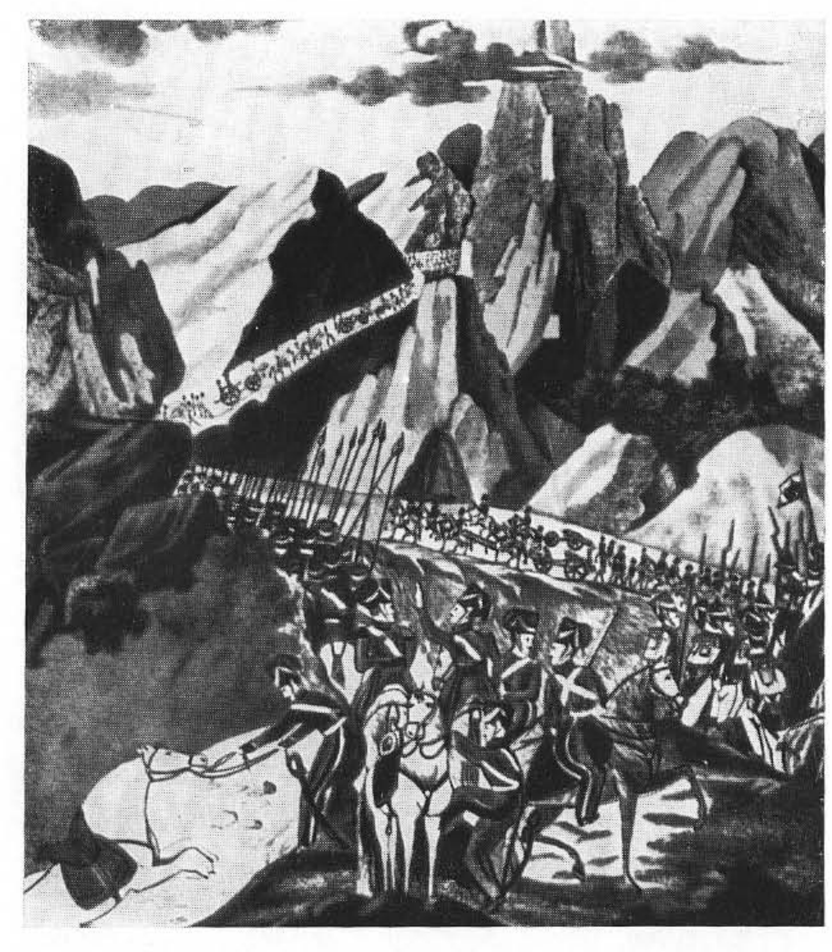
Н. М. Языков. Литография по рис. А. Д. Хрипкова. 1829.



В. А. Жуковский. Портрет работы А. Воейковой. 1820.



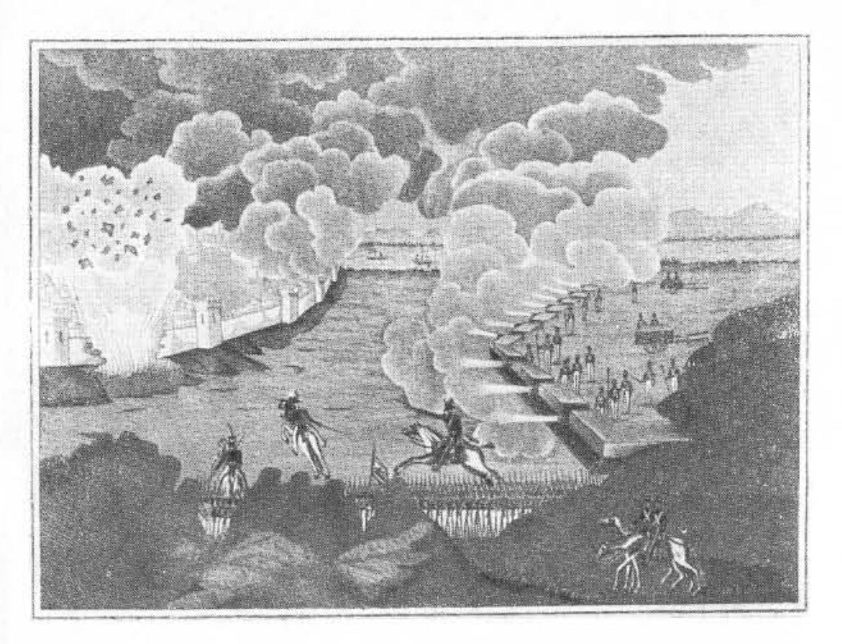
Дерпт. Университетская библиотека.



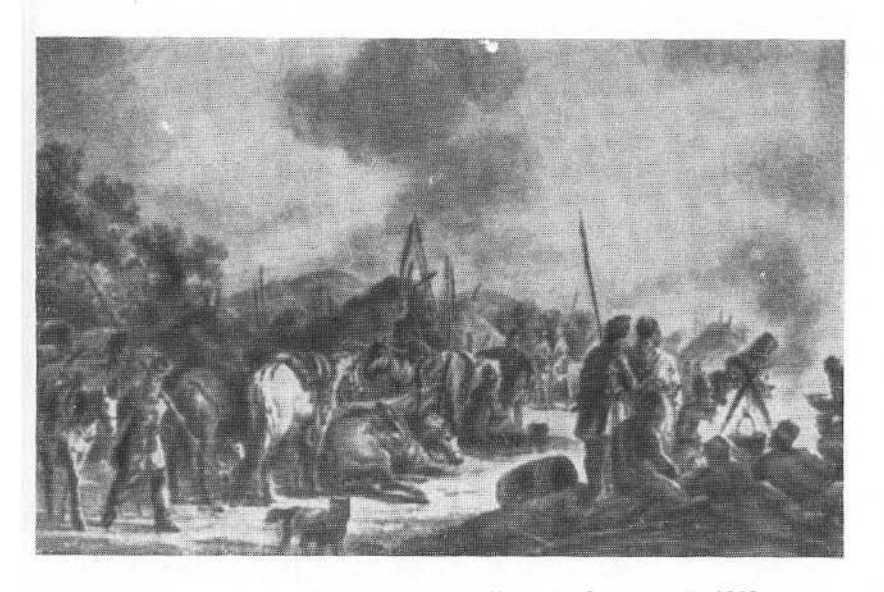
Переход графа Дибича-Забалканского. Лубок. 1829. Фрагмент.
Из собрания В. И. Даля.

Жадно хватая на лету родные речи, слова и обороты, когда они срывались с языка в простой беседе... записывал их, без всякой иной цели и намеренья, как для памяти, для изучения языка, потому что они ему нравились.

В. И. Даль



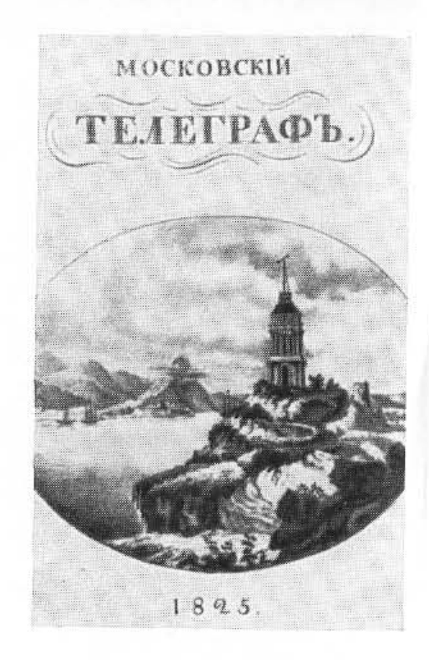
Осада крепости Браилова. Лубок. 1828.



Казачий лагерь. Худ. А. Орловский. 1820-е годы.



Н. А. Полевой. Гравюра.



«Московский телеграф». Обложка журнала.

Повесть Даля «Цыганка» (в «Телеграфе») не без достоинства.

В. Кюхельбекер



Цыганский табор. Рис. Т. Г. Шевченко.





Шут Ларя. Лубок. XVIII в. Из собрания В. И. Даля.



Гренадер гвардии. Лубок. XVIII в.

Вот вам сказка гладка; смекай, у кого есть догадка.

В. И. Даль



Шемякин суд. Лубок. XVIII в. Фрагмент.



А. С. Пушкин. Портрет работы неизвестного художника. 1831.

Пушкин прибыл нежданный и нечаянный...

В. И. Даль

Я здесь со вчерашнего дня... Завтра еду к яицким казакам.

А. С. Пушкин



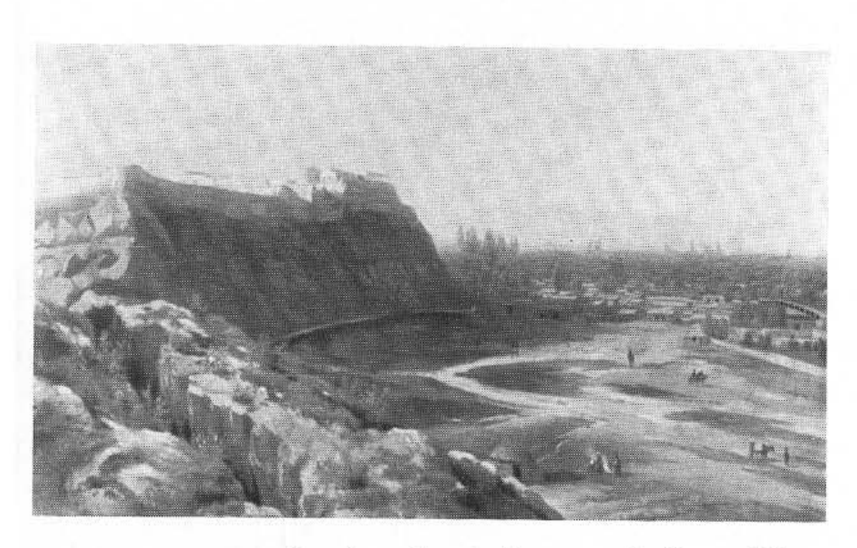
Портрет Пугачева, приложенный А. С. Пушкиным к первому изданию «Истории Пугачевского бунта».

Городничий. Рисунок, который А. С. Пушкин подарил Н. В. Гоголю.

Уральск. Дом Устиньи Кузнецовой, жены Пугачева. Фото.

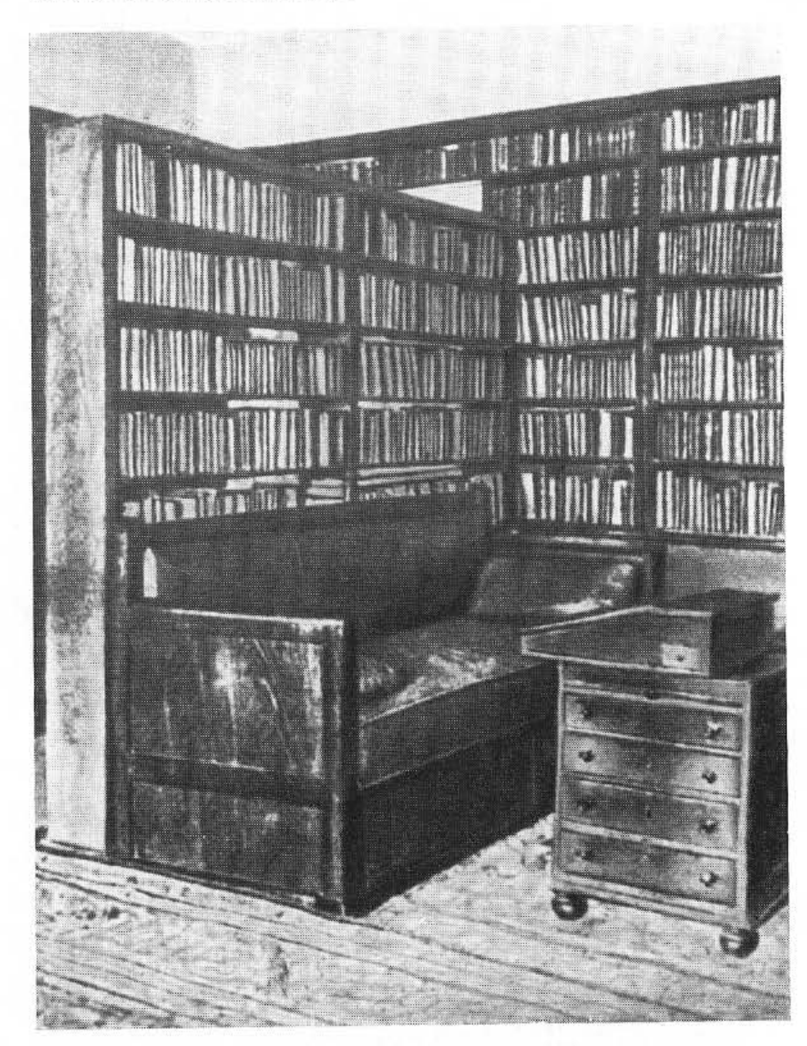






Оренбург. Худ. А. Мартынов (?). Начало XIX в.

Кабинет А. С. Пушкина. Фото.



А. С. Пушкин.
Автопортрет. 1836.



А как Пушкин ценил народную речь нашу, с каким жаром и усладою он к ней прислушивался, как одно только кипучее нетерпение заставляло его в то же время прерывать созерцания свои шумным взрывом одобрений и острых замечаний и сравнений — я не раз бывал свидетелем.

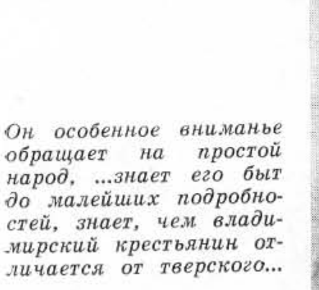
В. И. Даль

Первая половина ночи безпокойна, последняя лучше. Новых угрожающих припадков нет; но также нет, и еще и быть не может облегченія.

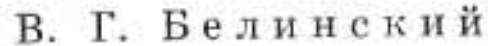
Бюллетень о состоянии здоровья А. С. Пушкина, написанный В. А. Жуковским.

В. Г. Белинский.
Худ. К. Горбунов.
1838.





Он особенное вниманье обращает на простой народ, ...знает его быт до малейших подробностей, знает, чем владимирский крестьянин отличается от тверского...



В. Г. Белинский

Нам нужны общие правила, как и чем одно наречие отличается от другого, чем говор рознится от говора. В этом деле найдем мы необходимое подспорье... для изучения родного языка.

В. И. Даль



Великороссы. Из альбома XIX в. Слева направо: Ярославль, Владимир (2), Нижний Новгород, Рязань, Орел, Тамбов (2).

ситет студентом...» Но Даль сжимает события: «почувствовал» — «вышел» — «вступил». Между «почувствовал» и «вышел» полтора кронштадтских года, но «вышел» вдруг решительно. Может быть, появились какие-то обстоятельства, ускорившие решение? Может быть, именно в этот час он оказался готов ступить на поприще науки? В сжатой автобиографии, написанной по просьбе видного русского филолога Я. К. Грота, Даль заявляет вполне определенно: «Без малейшей подготовки, сроду не видав университета, безо всяких средств, я вышел в отставку...»

Почему Даль оставил службу 1 января 1826 года, а не 1825-го или 1827-го, надежно объяснить мы не в силах, но то, что в течение важного для всей России 1825 года лейтенант Владимир Даль осмыслял, обдумывал свою судьбу, мы знаем точно: этому свидетельство неоконченный «Роман в письмах», датированный как раз 1825 годом [1]. Мечтательный молодой человек пишет письма другу, рассуждает в них о всевозможных занимающих его предметах, в частности о собственной судьбе, о выборе жизненного пути. В одном из писем размышляет о самоубийстве: рассказывает историю юноши, который «не мог более жить» как все; затем следует оправдание самоубийства— человек возвышенных мыслей подчас так жить не может.

5

Тема «Даль и 1825 год» вряд ли нуждается в изучении, но некоторые частности привлекают внимание.

Первые сказки, по свидетельству самого Даля [2], написаны им раньше, чем принято считать, — еще в Дерптском университете. Среди них — сказка «О Иване, молодом сержанте, удалой голове, без роду, без племени».

Пройдя многие испытания, навязанные ему царем Дадоном, и окончательно уверившись в злобе и коварстве царя и советников его, молодец Иван «выпустил войско свое, конное и пешее, навстречу убийцам, обложил дворец и весь город столичный... — и истребил до последнего лоскутка, ноготка и волоска Дадона, золотого ко-

---

[1] ГБЛ, ф. 473, карт. 1, ед. хр. 1.

[2] Письмо к Н. А. Полевому. Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ), ф. 124, № 1445.

шеля, и всех сыщиков, блюдолизов и потакал его». Там есть еще такая подробность: когда Иван «построил армию несметную прямо против дворца царского», Дадон, «струсив без меры», послал к войскам губернатора, который грозил Ивану: «На тебя виселица готова давным-давно!» — но солдаты убили губернатора.

Конечно, не намек (зачем ставить под сомнение «благомышление» Даля!), но отзвук, пусть ненамеренный, пусть непроизвольный, слышится в этой сцене, кажется, и непредвзятому читателю. Даль перебрался в Дерпт в начале 1826 года — горячие следы?..

Через две недели после восстания лейтенант Владимир Даль разом зачеркнул десять лет жизни — корпус, Николаев, Кронштадт. Он менял все: место жительства, образ жизни, распорядок дня, одежду, круг знакомых, привычки. Одно с ним оставалось — слова. Дорожный баул со словами. Даль ехал искать свое будущее и не знал, что везет его с собою. Как в прибаутке:

— Чего ищешь?
— Да рукавиц.
— А много ль их было?
— Да одни.
— А одни, так на руках.

«ЗОЛОТОЙ ВЕК НАШЕЙ ЖИЗНИ»

1

Города — как люди: у каждого свое имя, свое лицо, свой характер. Попросту говоря, по-Далеву говоря — пословицей: что город, то норов.

У города, куда завела Даля (беспокойная до поры) его судьба, три имени: русское — Юрьев, эстонское — Тарту, немецкое — Дерпт (Дорпат, если совсем точно). В Далево время город звали по-немецки; Дерптский университет — это имя всей Европе было известно. Однако Даль опять по-своему: Юрьев-городок! И правто, между прочим, «немец» Даль: Юрьев — имя исконное: в 1030 году основал город, утверждая власть свою на западном берегу Чудского озера, русский великий князь Ярослав, при крещении названный Юрием. Юрьев.

Конечно, Юрьев! И все-таки для нас, когда думаем про то время, — Дерпт; потому что для Пушкина — Дерпт, и для Жуковского, и для Языкова, и для Пирогова; тогда — Дерпт, как теперь — Тарту: случается, города меняют имя вместе с судьбою, как урожденная такая-то — в замужестве, как в миру такой-то — в монашестве.

Лицо Дерпта. Добротные дома прижимаются к холму, окутанному густой зеленью; улицы упираются в холм, лезут вверх, превращаясь в аллеи и тропинки, растворяются в зелени. Название холму — Домберг, или запросто — Дом; по-немецки Дом — кафедральный собор, еще — купол, но для дерптского студента Дом — дом (без перевода), дом родной. На старом мостике — латинская надпись: «Otium reficit vires» — «Отдых возобновляет силы»: собирались на холме, пили, пели, прыгали через костер, с факелами в руках спускались в город, шли по улицам, тревожа опасливых, хотя и ко всему привыкших (а может, потому и опасливых) горожан. «Otium reficit...», но сквозь густую листву белеют на Домберге здания университетских клиник — и это тоже дом (дом родной): vires, силы, нужны тем молодым людям, кто приехал сюда за наукой, приехал человеком делаться — приехал ради «кипучей жизни в трудах, во всегдашней борьбе, в стремлении и рвении к познаниям», как — несколько возвышенно — говорил Даль. Vir — муж, человек, vireo — быть зеленым и быть свежим, бодрым; юноши постигали латынь (Даль исполнительно выучивал сто слов в день) — изречение на мостике приобретало более глубокий смысл и новые оттенки; по этому мостику многие юноши выходили в люди — в мужи.

Как дома к холму, город жмется к университету. Всюду студенты: на площади перед ратушей, в аллеях парка, на берегу неширокой реки Эмбаха. По дотошному подсчету из каждых двухсот студентов пять находило кончину в водах Эмбаха — злому коварству волн способствовала влага, вливаемая внутрь славными viris — мужами: пиво — громадными кружками, жженка, вкусно дымящаяся на столах, ром и знаменитая «дубина» — крепчайший напиток (про него говорилось: «Единственная дубина, которой бурш разрешает сбить себя с ног»).

Но те же бурши, по словам Пирогова, «потом как будто перерождались, начинали работать так же прилежно, как прежде бражничали, и оканчивали блестящим образом свою университетскую карьеру».

Город-студент — это и лицо и характер.

2

Даль всегда радостно вспоминал Дерпт, веселые студенческие проказы: «Если мы, в шаловливом порыве своем, мстили непомерно дорогому переплетчику, зазнавшемуся сапожнику или обманувшему нас на прикладе портному тем, что обменивали ночью их вывески, или надписывали на них, вместо настоящих имен ремесленников, приданные им по какому-либо случаю забавные прозвища, если привешивали к малому оконцу огромный ставень и наоборот, если обменивали таким же образом два деревянные крыльца, приставив, вместо маленького крылечка и лесенки, к полуразвалившемуся домишке, огромное крыльцо со львами и резными перилами, запрудив таким образом вход и выход, то шалость эта, без всякого прекословия, вина виноватая, но не злобная, не злонамеренная, не коварно умышленная: мы на другой же день, проспав хмель шалости и необузданной шутки — а другой хмели в нас не бывало — готовы были справить все опять своими же руками...»

Но «шаловливые порывы», душистая жженка, удалые студенческие праздники, «коммерши», и буршеские поединки (противники наносят друг другу несколько неопасных ударов шпагой и бегут по знакомым хвастаться дуэлью) — все это «наружность», «внешнее», «сущность» же, которая навсегда оставила в Дале светлые и радостные воспоминания о дерптской жизни, в других («немногих») словах его: «Нет розог, нет неволи!»

Даль снова про те же розги! «Не плачь битый, плачь небитый»: для «небитого» Даля розга — постоянный символ, «знак» определенного жизненного уклада (символ — «сущность в немногих словах или знаках»).

И вот еще символ, «знак» — студенческий сюртук с потертыми локтями: «А помните ли, друзья, как счастливы мы были в этих фризовых сюртуках? Как мы смело и бодро входили во всякое общество?.. И помните ли, что нас всюду в этом виде принимали и никогда не ставили и не сажали ниже тех, которых судьба и портной ссудили голубым фраком со светлыми пуговками?..»

Даль веселился и радовался в Дерпте, в трудах праведных он отдыхал от всей прошлой жизни своей — ему вольготно жилось в его Юрьеве-городке: «Здесь... каждый сам располагает собою и временем своим, как ему лучше, удобнее, наконец, как хочется. Радушно приемлется достойными наставниками каждый алчущий познаний — и ради науки, как ради Христа, во всякое время подают ему милостыню познаний и откровений...»

3

В воспоминаниях Даля вся дерптская жизнь его — только наука и веселые шутки: уж и «другой хмели», как от шалости, в студентах не бывало, и песни они пели одного лишь «благородного содержания», и не было в них «ни одной преступной, ниже грешной мысли», и «политических прений чуждались мы гораздо более, чем загадочных жителей луны и планет...».

Не верится!..

Дерптский друг Даля, поэт Николай Языков, возглавлявший в университете кружок русских студентов, вспоминал другое:

Мы вместе, милый мой, о родине судили,
Царя и русское правительство бранили!

Не станем утверждать, что Даль вместе с друзьями царя и русское правительство бранил, но чтобы вовсе отказался судить о родине, чуждался политических прений — не верится!..

Год 1826-й — год суда над декабристами, год приговора, год казни. Мог ли молчать о событиях Языков, товарищ Рылеева, поэт «Полярной звезды»!

В шкатулке, как великую драгоценность, хранил он копию письма Рылеева к жене — того, что перед казнью: «Я должен умереть, и умереть смертью позорною» — и словно в ответ на него писал вдохновенно:

Рылеев умер, как злодей! —
О, вспомяни о нем, Россия,
Когда восстанешь от цепей
И силы двинешь громовые
На самовластие царей!

Неужели возможно, чтобы об этом не говорили?..

Первые годы николаевского царствования — «надежда славы и добра», а пока: новый цензурный устав, тотчас названный «чугунным» (вокруг Даля немало литераторов, издатели — ужели о «жителях луны» беседовали?), слухи о преобразовании в университетах, широко известное дело о московском студенте и поэте Полежаеве,

которого новый государь сам отправил в солдаты!.. Бог с ними, с «обитателями далеких планет»: на нашей земле, в Российской империи, многие стали судить да рядить, «что сделается с рабством» (слова современника), — ужели в Дерпте ни у кого такая «грешная мысль» не промелькнула?.. В Дерпте Даль «прожил» всю русско-персидскую войну, от Шамхорского сражения до Туркманчайского мира, и первую половину войны русско-турецкой; кампания в Европейской Турции складывалась не слишком удачно («В столице уныние» — слова того же современника), войсками командовал фельдмаршал Витгенштейн, сыновья главнокомандующего жили в Дерпте, встречались с Далем и его друзьями, — ужели и о войне, о военных неудачах дерптские студенты, занятые боевыми действиями против портных и сапожников, «чуждались прений»?..

Но возможен и другой взгляд: как Даль фризовому сюртуку, Языков слагал оды домашнему халату; для Языкова халат (как для Даля сюртук с потертыми локтями) — символ студенческой «вольности», противоположность «тесной ливрее». Языков славит студенческую жизнь, охраняемую, поелику возможно, от казенного уклада:

> Мы вольно, весело живем,
> Указов царских не читаем...

Не это ли — свободу от жизни «в строю» — имел Даль в виду, говоря о «политических прениях»?..

О поведении в Дерпте молодых русских ученых специально приставленный человек регулярно доносил петербургскому начальству; за студентами приглядывали у себя в учебном округе; понятие «нравственные свойства» разъяснялось: «религиозные чувства и преданность престолу» (Даль в словаре своем толковал: нравственный — «согласный с совестью, с законами правды, с достоинством человека, с долгом честного и чистого сердцем человека»).

И все-таки Далю повезло с Дерптом.

Это опять про лицо и характер города, университета, про лицо и характер, которые могут меняться с обстоятельствами. После незабвенного 14 декабря Дерптский университет всех дольше не попадал в число «крамольных», взгляд владыки не достигал мирной Лифляндии; «Афины на Эмбахе» — такое прозвище кое-чего стоило!..

Не оттого ли годы спустя Даль в вицмундире, в «тесной ливрее», будет вспоминать восторженно: «Нет! Ничто в мире не может заменить эти три года, протекшие в безмерном и бескорыстном рвении усвоить себе науку», время «стремления к познанию высоких и полезных истин», «время восторга, золотой век нашей жизни».

У БЛАГОСКЛОННОГО ПОРОГА

1

Даль, видимо, не случайно избрал Дерпт местом «познания высоких истин».

Двумя годами раньше, едва закончился военный суд над мичманом Далем, матушка его снялась с насиженного места и с младшими сыновьями Львом и Павлом перебралась из Николаева именно в Дерпт (Даль писал ей туда из Кронштадта; адрес: «Дерпт, 2-37»). Вскоре брат Лев (любимый Далев брат) вступил в армию, полк его расквартирован был в шестидесяти верстах от Дерпта — в Верро; мать поселилась со Львом. Даль, рассказывают, любил «дальние прогулки» — проходил пешком эти шестьдесят верст туда и обратно.

Студент Даль устроился в каморке на чердаке («в вышке» это называлось). Языков тоже ютился под крышею, но у Языкова за плечами симбирское родовое имение, его тесное «поднебесье» (точнее — «подкрышье»), как и старый халат, — «знак» студенчества. Потертые локти Далева сюртука, «вышка», которую он выбрал для жилья, не от прихоти.

«Печь стояла посреди комнаты у проходившей тут из нижнего жилья трубы. Кровать моя была в углу, насупротив двух небольших окон, а у печки стоял полный остов человеческий — так, что даже и в темную ночь я мог видеть с постели очерк этого остова, особенно против окна, на котором не было ни ставен, ни занавески». И вот однажды (право, забавный случай стоит того, чтобы о нем рассказать) «во время жестокой осенней бури» Даль, проснувшись ночью, услышал, что в комнате стучит что-то мерно и ровно, будто маятник. А «дождь и ветер хлещут в окна, и вся кровля трещит», и ветер «завывает по-волчьи», и «темь такая, что окна едва только отличаются от глухой стены»; но вот стучит, и Даль встал

с постели и пошел на стук, и остановился в недоумении «носом к носу с костяком». И точно — «маятник явным образом ходит в скелете». Даль «ближе, ближе (а ведь многие бы на его-то месте — дальше, дальше, но Даль любопытен, нет — любознателен, он — ближе), «чтобы рассмотреть впотьмах такое диво» (!), — и тут «остов мой, с кем я давно уже жил в такой тесной дружбе, внезапно плюнул мне в лицо». Удивленный Даль принялся шарить в темноте, оглаживать скелет руками — он хотел понять явление; и вот «погладил череп по лысине» — «вздохнул и улыбнулся, все объяснилось. В кровле и потолке, подле трубы или печи, сделалась небольшая течь, капля по капле, на лысую, костяную, пустую и звонкую голову моего немого товарища!» В смешных положениях полнее порой раскрывается натура человека: Даль и в смешном положении весел, а не смешон; умен, а не глуп!

2

Но дом Даля в Дерпте не только «вышка» чердачная, и не матушкина квартира в недалеком Верро, и даже не «Дом» — Домберг с университетскими клиниками. Спустимся по шатким ступеням из утлой чердачной каморки, спустимся с зеленого Домберга в город, придем в дом профессора Мойера, просто в дом — в жилище, в квартиру — в семью.

Были преподаватели — длинный список имен, сохранившихся на титульных листах старинных книг, а большей частью в табелях, донесениях и ведомостях, но был наставник — по-Далеву, «учитель», «воспитатель», «руководитель», — имя его живет в жизнеописаниях замечательных его учеников, воспитанников; был наставник — профессор хирургии Иван Филиппович Мойер.

Семья — трое: сам Иван Филиппович Мойер, его теща — Екатерина Афанасьевна Протасова, его дочь — тоже Екатерина, Катенька, как ее все называли. Жены Мойера, Марии Андреевны Протасовой, уже не было в живых — она умерла в 1823 году. И все-таки семья благополучная: добротный эстляндец-профессор, теща из хорошего русского дворянского рода Буниных и прелестное дитя — Катенька, «милой ангел», «эдельвейс». Достаток, всегда доброжелательность (у Мойера его ученики — «воспитанники» слово более подходящее — обедали, и

ужинали тоже, и многие пользовались от него полученной бесплатной комнатой), всегда отменное общество (самый интересный дом в городе, все замечательные люди из числа студентов, профессоров, просто гости Дерпта — все у Мойера в гостиной; проезжая Дерпт, заглянуть к Мойеру — обычай и потребность).

3

Приезжал Жуковский Василий Андреевич, знаменитый поэт, а Мойерам еще и родственник — брат Екатерины Афанасьевны по отцу. Покойная Мария Андреевна, Маша, была не просто племянница — любовь поэта, запретная, безнадежная. Екатерина Афанасьевна взяла с брата обещание «не обнаруживать своего чувства»; и «не обнаруживал» — люди чести. В доме Мойеров Жуковский — дорогой гость, в семье Мойеров — самоотверженный друг, заботливый советчик, желанный собеседник.

Несмотря на разницу лет, Жуковский подружился с Далем, обнаружив в нем литературный дар и возвышенную мечтательность.

Жуковский. Языков — он тоже в доме Мойеров свой, известны его стихи, посвященные Катеньке: всеобщая любимица росла сиротою и, поощряемая родней и гостями, очаровательно разыгрывала роль хозяйки дома.

Даль быстро сошелся с Языковым. Он приехал в Дерпт изучать медицину, но и «другую дорогу» не оставил: не знаем, писал ли комедии — в каких-то играл (своих ли?), но стихи сочинял, и, пожалуй, дерптские стихи у Даля самые удачные.

Сказки Даля тоже «берут начало» в Дерпте. Даль знакомил Языкова с первыми литературными опытами своими — с теми, что увидели свет много позже, и с теми, наверное, что вообще не увидели света; и это недаром: Языков (хотя на два года моложе) — поэт признанный, всеми признанный и еще одним признанный, но этот один — Пушкин:

Языков, кто тебе внушил
Твое посланье удалое?...

Даль пять лет после Дерпта спустя посвятил Языкову одну из первых сказок своих; но и Языков пять лет после Дерпта спустя в списке друзей, которым наме-

рен подарить авторские экземпляры книги своих стихов, пометил: Крылову, Пушкину, Вяземскому, Гоголю, Далю...

Жуковский. Языков. Воейков Александр Федорович — поэт, прозаик, переводчик, издатель и тоже родственник: он женат был на младшей сестре Марии Андреевны Протасовой-Мойер — Александре Андреевне. Одно время Воейков занимал в Дерптском университете кафедру русской словесности. Вскоре после приезда Даля в Дерпт (но, понятно, вне всякой связи с сим событием) Воейков принялся за очередное свое предприятие — издание «военно-литературного» журнала «Славянин». Зато Даль оказался в связи с сим событием: в «Славянине» и были впервые напечатаны его стихотворные опыты.

Жуковский, Языков, Воейков — кто еще? Круг друзей и гостей мойеровского дома очерчиваем не интереса ради — это круг Даля, люди, с которыми, возле которых он три года жизни провел, — кто ж еще?..

Сыновья историка и писателя Карамзина — Даль, кажется, был еще в Дерпте, когда они учиться туда приехали (один из них, Александр, совсем мальчиком написал сказку, Жуковский напечатал ее в виде маленькой брошюры со своим предисловием, в котором придал сказочке шуточную важность). И еще сыновья фельдмаршала графа Витгенштейна.

Из медиков всех ближе к семье Мойера талантливый терапевт Карл Карлович Зейдлиц: окончив Дерптский университет, он поселился в столице, но тесная связь с Дерптом, с Мойером ни на день не прерывалась. Катенька, нет, уже Екатерина Ивановна, и не Мойер уже — Елагина, на старости лет сказала о Зейдлице коротко и выразительно: «всегда друг». У Даля с Зейдлицем много лет доброго товарищества впереди — русско-турецкая война, Петербург. Доктор Зейдлиц был не чужд литературе: он выпустил в свет обширные исследования о жизни и творчестве Жуковского, ближайшего друга своего.

Ну вот, круг замкнулся — с Жуковского начали и опять встретились с Жуковским, — можно, конечно, еще называть посетителей мойеровской гостиной — стоит ли? Круг замкнулся, и круг определился: это не Далев николаевский кружок, где Ефим Зайцевский — высший парнасский судия, а Карл Кнорре — высший авторитет научный.

4

И что заметно: в Мойеровом круге Даль быстро свой. И не потому свой, что студента способного пригрели, а *семейно свой*. Вот Екатерина Афанасьевна и через двадцать лет пишет ему в столицу, важному чиновнику, на «ты»: «Мой доброй Далюшка», «милый друг», и поручения просит его исполнить самые семейные — «зайти в училище правоведения, приласкать сыновей их соседа и друга», и подписывается: «А я твой навсегда. Е. Протасова». Вот младшая Екатерина (Катенька), тоже годы спустя, пишет ему — и опять же «милый друг», и дружеское «ты», и благодарность тому, кто сделал веселым детство сироты: помнит, как катал ее по городу в кресле на колесиках и сказки сказывал.

Даль *семейно свой*: его матушку Мойеры скоро пригласят давать Катеньке уроки немецкого языка и пения — по Катенькиным того времени письмам видно, что и матушка не репетитор, а свой, семейный человек; с ней в доме Мойера появляется и меньшой «братик» Даля — Павел; и Лев (у Мойеров его зовут Леон) заезжает из своего полка [1]. Отгадка этого быстрого «вхождения» Даля в мойеровский дом, должно быть, в том, что ехал он в Дерпт не просто так, а с рекомендациями: за него могла замолвить слово Анна Петровна Зонтаг, родная племянница Екатерине Афанасьевне (дочь сестры ее), и знаменитый военачальник фельдмаршал Витгенштейн — он был знаком с семьей Даля (матушка, кажется, обращалась к нему за помощью, когда мичману Далю грозило разжалование в матросы), и скорее всего сама его матушка, которая в Дерпт прежде него перебралась (и, наверно, с рекомендациями той же Зонтаг, Витгенштейна того же).

Как бы там ни было, Даль в доме Мойера свой: и это не потому важно, что придает некоторое благополучие дерптскому житью Даля, но потому, что после корпусных наставников, им не любимых, после николаевских знакомых, им, быть может, и любимых, но не слишком высоко почитаемых, Даль нашел в доме Мойера людей, до которых тянуться хотелось, которых он беспрекословно почитал судьями: поэтов, ученых, друзей.

И даже знакомство со всеми этими детьми — сыновья-

---

[1] ПД, № 27355/CXCVI б. 7, 27375/CXCVI б. 8.

ми Карамзина или Витгенштейна — тоже не так смешно и не так бесполезно, как на первый взгляд кажется. Не потому, что «дети Карамзина», а потому, что дети Карамзина (и племянники Петра Андреевича Вяземского, между прочим), — от них ниточки, тропки в такой мир тянутся, о котором бывший «мичман-сочинитель», а ныне «отставной лейтенант-студент» и мечтать не смел.

5

Вообще круг Мойера, кроме того что сам по себе, вот этими нитями, тропками, связями дòрог.

Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой
Да Языкова поэта
Затащи ко мне с собой...

Это Пушкин — своему приятелю «Его благородию милостивому государю Алексею Николаевичу Вульфу. В город Дерпт». А вот — прямо Языкову:

...Клянусь овидиевой речью:
Языков, близок я тебе,
Давно б на Дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой
И к благосклонному порогу
Понес тяжелый посох мой.

Но есть еще и письмо «Его превосходительству милостивому государю... г-ну Моеру. В Дерпт», письмо, запечатанное перстнем-талисманом. Пушкин рассчитывал выбраться из михайловской ссылки, просил отпустить его в Дерпт к Мойеру для операции «аневризма»; Пушкину отказали, Мойер сам готов был прибыть в Псков, но поэт не об «аневризме» заботился — о свободе: он просит Мойера, «человека знаменитого и друга Жуковского», не хлопотать и не отвлекаться «от занятий и местопребывания».

От Пушкина — через Жуковского, Языкова, Мойера — тянулась в Дерпт торная тропа, Пушкин давно шел по дерптской дороге, шел и приносил к благосклонному порогу если не тяжелый посох, то стихи свои; о Пушкине у Мойеров, конечно же, говорили и творения его читали; сохранилось свидетельство Пирогова: «Я живо помню, как однажды Жуковский привез манускрипт

Пушкина «Борис Годунов» и читал его Екатерине Афанасьевне».

В сказке, посвященной Катеньке Мойер, Даль, не называя имен, пишет о «баянах-соловьях», наиболее почитаемых (и читаемых) в доме Мойера: того, кто «беседует с веками прошлыми, завещает нам двенадцать толстых книг летописных, полных правды русской»; того, кто «песни чудные слагает о Светлане, о Вади́ме и поет во стане русских воинов»; того, наконец, кто «Руслана и Людмилу воспевает и царя Бориса жи́тие слагает»...

Таких дорог, тропок таких немало сходилось в Дерпт, в дом Мойера; мы одну только наметили — ту, о которой не сказать невозможно, — пушкинскую дорогу.

Дом Мойера, гостиная Мойера — тоже «Дерптский университет» Даля. Здесь приобрел он то просвещенное общество, которого ему не хватало, он неизменно искал такое общество и стремился к нему. Он приобрел это общество, но и оно приобрело Даля — в Дерпте способности ученого и литератора, хотя и не приспела пора им раскрыться полностью, однако уже совершенно явственно обнаружились.

6

Даль вспоминает о Дерпте общо: он как бы пронес через всю жизнь единое и цельное ощущение дерптских лет, «золотого века»; лишь свидетельства современников да случайно оброненные Далем слова помогают нам называть имена, восстанавливать частности.

«Всем товарищам нашим профессорского института», — читаем посвящение одной из Далевых сказок.

В российских университетах отобрали двадцать достойнейших выпускников — решено было подготовить из них молодых профессоров. Будущие профессора должны были некоторое время усовершенствоваться в Дерпте, после чего их ожидала поездка за границу. Так появился в Дерпте Николай Пирогов.

Кружок профессорских кандидатов («профессорский институт») тотчас оброс не очень многочисленными здесь русскими студентами.

Пирогов вспоминает: «Однажды, вскоре после нашего приезда в Дерпт, мы слышим у нашего окна с улицы какие-то странные, но незнакомые звуки: русская песнь на каком-то инструменте. Смотрим — стоит студент в виц-

мундире; всунул он голову чрез открытое окно в комнату, держит что-то во рту и играет: «Здравствуй, милая, хорошая моя», не обращая на нас, пришедших в комнату из любопытства, никакого внимания. Инструмент оказался органчик (губной), а виртуоз — В. И. Даль; он действительно играл отлично на органчике».

Рассказ довольно известный; мы не для того его привели, чтобы лишний раз напомнить о знакомстве Даля и Пирогова: подробности и в них существенное — вот что привлекает. Общительность Даля — узнал, что русские приехали, без церемоний голову в окошко; веселость — сама шутка, и органчик губной, и песенка бесшабашная; и навсегда запомнившийся Пирогову артистизм — вот это «не обращая на нас никакого внимания», на самом-то деле — будто не обращая, на самом-то деле и шутку затеял, и голову в окно, потому что обратил внимание и чтобы на него обратили, но вот так все изящно, артистически тонко, что проницательному умнице и скептику Пирогову показалось, будто не обращая.

В записках Пирогова про Даля немного, в бумагах Даля про Пирогова — почти ничего, но ощущение прочности их отношений удивительное. Оно подкрепляется несколькими сохранившимися письмами (шестидесятых годов) Пирогова к Далю, письмами, поражающими предельно откровенным изложением очень глубоких и серьезных мыслей, — такое возможно лишь в послании к близкому человеку, когда пишешь к нему, чтобы прояснить себе. Даль и Пирогов встречались после Дерпта, в 40-е годы, в Петербурге, — нередкие встречи продолжались в течение восьми лет. Видимо, духовная близость сложилась именно в Петербурге. Но истоки отношений Даля и Пирогова, конечно, в Дерпте; правда, рассказ о дерптской поре их отношений почти неизменно сопровождается каким-то обманчивым ощущением времени, «временным миражем», если можно так выразиться (Даль вместо «мираж» советовал говорить «марево» или «морока»). Все кажется, что в Дерпте Даль и Пирогов очень долго прожили бок о бок; между тем они были там одновременно всего семь месяцев: Пирогов приехал туда в конце августа 1828 года, Даль покинул город в последних числах марта 1829-го. Тем лучше — ощущение прочного совместного долгожития («морока временная») говорит о емкости отношений.

«Товарищи наши профессорского института» приехали в Дерпт на два года позже Даля; известны имена немецких и лифляндских студентов, с которыми Даль дружил (и сохранил дружбу), сам он вспоминает «незлонамеренные» шалости в компании веселых буршей, и все же не слишком долгое житье с «товарищами профессорского института» как бы заслонило предыдущие два года. Пирогов не единственный друг Даля среди профессорских кандидатов: со многими из них Даль подружился быстро и навсегда.

«Профессорский институт» не просто приятели по учению или по шалостям. В «Толковом словаре» слово «друг» объясняется — «ближний» и еще (удивительно хорошо!) — «другой я, другой ты»; «товарищ» — «сотрудник», «соучастник», «собрат». Приехала в Дерпт ровня, каждый (сам по себе личность) мог стать «другой я, другой ты». «Профессорский институт» (скинем со счета отдельные распри и частные отношения) — один труд, одна участь: братство.

ДЕРПТСКАЯ ВЫУЧКА

1

Красавец Мойер — высокий, дородный, с крупными чертами лица и умными голубыми глазами за стеклышками больших очков в серебряной оправе, но дело даже не в чертах лица, а в какой-то гармонии, которая всем, видимо, бросалась в глаза. У Пирогова с Мойером свои счеты, и, кажется, не до гармонии ему, Пирогову, когда в стариковских воспоминаниях рассказывает он о Мойере, но пишет: «Мойер мог служить типом мужчины... Речь его была всегда ясна, отчетлива, выразительна. Лекции отмечались простотою, ясностью и пластичною наглядностью изложения...» И вот для Пирогова признание едва ли не важнейшее: «Как оператор, Мойер владел истинно хирургической ловкостью, несуетливой, неспешной и негрубой. Он делал операции, можно сказать, с чувством, с толком, с расстановкой».

Хирург Мойер был учеником знаменитого Антонио Скарпы, позже он усовершенствовался у не менее знаменитого Руста.

Строгий к наставникам Пирогов говорит про Мойера: «личность замечательная и высокоталантливая». Но в дру-

гом месте: «талантливый ленивец». И объясняет: «В наше время Мойер... к своей науке уже был довольно холоден; читал мало; операций, особливо трудных и рискованных, не делал...» Дальше следует, однако, нечто очень своеобразное и интересное и, если вдуматься, гармонию Мойеровой натуры подтверждающее: «По-видимому, появление на сцену нескольких молодых людей, ревностно занимавшихся хирургией и анатомией, к числу которых принадлежали, кроме меня, Иноземцев, Даль, Липгардт, несколько оживили научный интерес Мойера. Он, к удивлению знавших его прежде, дошел в своем интересе до того, что занимался вместе с нами по целым часам препарированием над трупами в анатомическом театре». И затем: «Мойер своим практическим умом и основательным образованием, приобретенным в одной из самых знаменитых школ, доставлял истинную пользу своим ученикам».

Да ведь прекрасно это: воспрянул, загорелся, обрел самоотверженность, когда почувствовал, что пришла пора о т д а в а т ь с е б я. Понял высший тип отношений между побеждаемым учителем и побеждающими учениками. В тридцатые годы, когда Пирогов останется без места и снова окажется в Дерпте, Мойер поймет, что не нужен. Он не станет отделываться советами уехать на кафедру куда-нибудь в Харьков или Казань — просто уступит свое место. Вот Мойер каков — у ч и т е л ь!

Мойер рассказывал ученикам:

— Послушайте, что случилось однажды с Рустом. Я приехал к нему в Вену из Италии, от Скарпы, и увидел, что великий хирург окружил себя прилипалами и подпевалами. Руст показал мне в госпитале одного больного с опухолью под коленом. «Что бы тут сделал старик Скарпа?» — спросил он. Я ответил, что Скарпа предложил бы ампутацию. «А я вырежу опухоль», — сказал Руст. Прилипалы и подпевалы уговаривали его показать прыть перед учеником Скарпы, то есть передо мною, и Руст тут же приступил к операции. Опухоль оказалась сросшейся с костью, кровь брызгала струей, больной истекал кровью; ассистенты со страху разбежались. Я помогал оторопевшему оператору перевязывать артерию. И тогда Руст сказал мне: «Этих подлецов я не должен был слушать, а вот вы не советовали мне начинать операцию — и все-таки не покинули меня, я этого никогда не забуду».

Мойеру не нужны были прилипалы и подпевалы: он радовался, что появились у ч е н и к и. Он поручал ученикам сложные операции и смотрел без досады, как они оставляют его позади. Мойер «доставлял истинную пользу ученикам», принося им познания в хирургии, но он доставлял им пользу не меньшую и, возможно, более истинную, когда давал им уроки благородства в науке.

2

И преуспел. Во второй половине тридцатых годов Пирогов издал собрание историй болезни — «Анналы хирургического отделения клиники императорского университета в Дерпте». Сейчас для нас самое интересное в этих «Анналах» — честная исповедь хирурга. Для врача не просто признавать свои ошибки; а Пирогов объявляет решительно: «...Я положил себе за правило, при первом моем вступлении на кафедру, ничего не скрывать от моих учеников, и если не сейчас же, то потом, и немедля, открывать перед ними сделанную мною ошибку».

В те же годы Даль занялся вошедшей в моду гомеопатией.

В забытой ныне работе «Об омеопатии» и в газетных статьях Даль признается, что поддался сперва мнению видного петербургского профессора и выступил против новой теории. Своих данных у него не было, и в доказательство он приводил выдержки из чужих статей. Многие врачи-аллопаты боялись модных конкурентов и потому горячо приветствовали выступление Даля. Но он был собой недоволен: настоящий ученый должен сам во всем убеждаться, а не повторять за другими.

Даль начал собственные исследования: пять лет ставил опыты на больных и на себе самом, испытывал действие различных препаратов при различных болезнях. Чтобы определить, когда подействовало лекарство, а когда самовнушение, он применял наряду с настоящими лекарствами «крупинки» из сахарной пудры. (Сто тридцать лет назад Даль проверял подлинную ценность лекарств способом, который получил широкое распространение в современной клинической фармакологии под названием «слепой методики», или «слепой техники».) В итоге Даль «убедился в действительности омеопатической медицины» и в продолжение многих лет пользовал больных «крупинками».

Многих ли вылечил?.. Да нам интереснее, пожалуй, что кое-кого и не вылечил и что известно нам это не от кого-нибудь — от самого Даля: результаты испытаний он оглашал в печати. Он публично «повинился» перед всеми в поспешности своих первоначальных суждений (нет, не следом за Пироговым пошел, оба вместе шли, в одно время), он взывал к врачам разных школ, чтобы не бесчестили друг друга, чтобы больных людей ради подали «один другому руку братской помощи».

Белинский писал, что в статье «Об омеопатии» Даль «со всею искренностию и со всем самоотвержением благородного человека и ученого, предпочитающего святую истину личному самолюбию, признается в своей прежней несправедливости...» — «советуем всем читать эту прекрасную статью: предмет ее близок душе всякого».

3

Любопытно: еще в Кронштадте, размышляя, как стать «полезным человеком», Даль написал басню «Заяц и Черепаха»[1]. Однажды Заяц сел с размаху на Черепаху...» — впрочем, басня предлинная, и не литературные ее достоинства нас привлекают, а суть, смысл. «...Вдруг наткнувшись на зверя страшного с тарелкой на плечах, с кохтями на ногах», заяц в ужасе сбежал, но вскоре стал по всему свету рассказывать про зверя странного, «подобного горе, но с гривой, как у льва, — и вот уже осел-профессор издал три фолианта,

> В которых от ушей и до копыт с размаху
> Описывает он с горбом, как драмодер,
> Но с гривой — черепаху!..

А в словаре своем Даль выводит определение науки «в высшем значении»: «разумное и связное знание; полное и порядочное собранье опытных и умозрительных истин какой-либо части знаний».

Далю повезло с университетом. Несколькими годами раньше в Казани закрыли анатомический кабинет — препараты положили в гробы и, отслужив панихиду, похоронили на кладбище. В Москве студенты изучали анатомию по картинкам, за четыре года университетского курса должны были написать одну историю болезни.

---

[1] ПД, № 27412/CXCVI б 10.

Потом кое-кто из таких студентов выбивался в профессора и описывал «с горбом, как драмодер, но с гривой — черепаху».

Как тут добром не помянуть Дерпт, Мойера, как Дерпт Мойера добром не помянуть!

Дерптская научная выучка — стремление к «разумному и связному знанию» — во всей жизни Даля ощутима: здесь не только медик, не только хирург Даль, здесь вообще Даль-ученый окончательно сложился. Здесь получил он «полное и порядочное собранье опытных и умозрительных истин» — и, что еще важнее, привык полагаться на таковое собранье истин, привык делать выводы, лишь на это собранье истин положась.

4

Вернемся, однако, к медицине, к хирургии, потому что именно постижение медицины, хирургии формировало Даля-ученого, частное рождало общее, «ветвь науки» (слово Даля) тянулась от могучего ствола и питалась его соками. Для постижения же медицины, хирургии Дерпт двадцатых годов прошлого столетия был куда как хорош: анатомический театр и вскрытия трупов, опыты над животными, наконец — повседневная практика в клинике, пустовавшие койки которой стали быстро заполняться, едва профессор Мойер воспламенился, увидев, что пришли к нему не просто студенты — ученики.

У нас не слишком много сведений о научных занятиях Даля в Дерпте, — какое там «не слишком много» — просто мало, но зато у нас есть свидетельство Пирогова; скупой на похвалу Пирогов причислил Даля (в одном ряду с Иноземцевым и собою!) к числу людей, «ожививших научный интерес Мойера», и высоко оценил (по его, пироговской, метке куда как высоко оценил!) Далевы хирургические таланты: «Находясь в Дерпте, он пристрастился к хирургии и, владея, между многими другими способностями, необыкновенной ловкостью в механических работах, скоро сделался и ловким оператором».

Ловкость Даля-оператора выдержит проверку на полях сражений и в переполненных госпиталях, и не одна ловкость, но также столь необходимая медику точная наблюдательность, внимательный цепкий ум и склонность к обобщению.

Сохранились рукописи статей Даля по хирургии[1] — описание операций, произведенных им во время русско-турецкой войны и польской кампании: хирургического лечения ран, операций пластических и глазных. Для биографа интересно, конечно, узнать, что Даль успел стать в Дерпте хирургом широкого размаха, но всего в этих статьях интересней заглядд вперед, догадки и мысли, время опережающие. Даль, например, сопоставляет две ампутации ноги — одну на поле боя, удачную, а другую, неудачную, — больному, долго лежавшему в госпитале, и объясняет неудачу госпитальными «нечистотами», отравляющими организм, — мысль, над которой даже Пирогов задумался лишь несколько лет спустя.

Из скудных же документов дерптской поры узнаем, что на экзаменах, в письменных работах, во время анатомических демонстраций студенту Далю пришлось показать свои знания в лечении дизентерии, воспаления легких и перемежающейся лихорадки, умение делать камнесечение и трепанацию черепа и что справился он с этими испытаниями успешно — «sehr gut», «ziemlich gut», «ausgezeichnet gut»[2] — читаем в табеле.

5

Подробность: Даль держал испытание и по русскому языку. Официальный отчет о деятельности Дерптского университета признавал: русский язык остается в сем учебном заведении «не довольно уваженным предметом». Принимал экзамен профессор русской словесности Перевощиков. Языков говорил, что «по литературной части» Перевощиков «раскольник, старовер, даже скопец». Любопытно и смешно, что Перевощиков (русский профессор) Далю (датчанину, «немцу») после экзамена начертал в табеле: «Он владеет русским языком, как настоящий русский». Высокомерный старовер-словесник Далю комплимент сделал — «как настоящим русским» назвал. Смешнее же всего, что фразу сию в табеле исконно русский старовер-профессор начертал по-французски!..

Впрочем, что нам профессорские «bien» или «exellent»![3] «Владеет русским языком» о Дале — для нас слова и пословицы, которыми он владел, первые сказки, в Дерпте сочиненные (написанные или только рассказанные), стихи, впервые опубликованные...

[1] ПД, № 27512/CXCVII б. 4.
[2] «Очень хорошо», «изрядно хорошо», «отлично» *(нем.)*.
[3] «Хорошо», «отлично» *(франц.)*.

Стихи заметно лучше прежних, однако все равно «не свои», не Далевы:

Не стоял, не дремал, я скакал в перевал,
От зари до зари, со скалы на скалы,
И о плиты копыта стучат и звенят.
По полям, по кустам, через терн, через дерн.

Несомненно, баллады Жуковского покоя Далю не давали: и размер стихотворения — тот же анапест, что в «Ивановом вечере» Жуковского, только во второй и четвертой строках добавлена стопа. У Жуковского:

До рассвета, поднявшись, коня оседлал
Знаменитый Смальгольмский барон;
И без отдыха гнал, меж утесов и скал,
Он коня, торопясь, в Бротерстон

Далевы стихи называются «Отрывок (из длинной повести)». Но «длинная повесть», кажется, так и не состоялась.

Про запасы для будущего словаря вспоминает Пирогов: материал к лексикону «в виде пословиц и поговорок он начал собирать еще, кажется, до Дерпта. В его читанных нам тогда отрывках попадалось уже множество собранных им, очевидно в разных углах России, поговорок, прибауток и пословиц».

«ВОЗВРАТИСЬ, УТЕШЬ ДРУГА»

1

Похоже, Даль решил прочно обосноваться в Дерпте. Занятия шли успешно: Даль превращался в хорошего медика — повторял путь отца. Оставалось кончить курс, заняться практикой, обеспечить наконец себя и семью; ну, а на досуге сочинять стихи и сказки, перебирать слова в тетрадках.

Но до чего смешно сказал Даль: «Каждый располагает собой и временем своим, как ему лучше»! Будто не знал, будто на себе не испытал, что человек лишь предпола-

гает... Предполагает, строит планы, не предвидит многих событий, которые произойдут через несколько лет и за несколько тысяч верст. А они тут как тут, большие события, они происходят своим чередом, и им оказывается дело до каждого человека: они ломают и поворачивают его жизнь.

Даль оперировал, зубрил латынь, проводил вечера у Мойеров, а в полутора тысячах верстах южнее русская армия готовилась перейти Дунай, и еще верст на пятьсот южнее готовились к походу войска Кавказского корпуса. Весной 1828 года началась русско-турецкая война, и тут выяснилось, что планы Даля рушатся, что в Дерпте ему не жить, надо ехать на фронт. Вышел приказ: послать на театр войны студентов-медиков: в армии не хватает врачей.

Даль не доучился положенных лет, но ему повезло: ему разрешили поехать на войну не лекарем-недоучкой, а окончившим курс врачом: Далю разрешили защитить диссертацию на степень доктора медицины. Он заслужил это везение — он был старателен, профессора все три года учения отмечали его как одного из способнейших.

18 марта 1829 года он защищал «Диссертацию на соискание ученой степени, излагающую два наблюдения: 1) успешную трепанацию черепа, 2) скрытое изъязвление почек».

И вот уже товарищи торжественно по студенческому обычаю прощаются с Далем: развели костер на главной площади, выпили пуншу за здоровье отъезжающего; потом, освещая путь факелами, вели его до заставы. Ямщик тряхнул вожжами. Лошади тронули. Факелы, как далекие звезды, растаяли в темноте.

2

Четвертый раз Владимир Даль пересекает Россию. Пока его маршруты пролегают с севера на юг и с юга на север. Во второй половине жизни он будет больше ездить с запада на восток. Далю всего двадцать семь лет, а он уже проехал тысячи верст; в те времена мало кто столько путешествовал.

Ехал быстро. Пушкин той же весной отправился на войну, только на кавказский театр — в Арзрум; от Москвы до Тифлиса он добирался без трех дней месяц (правда, сделал небольшой крюк: навестил в Орле опального

генерала Ермолова); Даль приехал на фронт быстрее — всего десять дней был в дороге. Маршрут: Изборск — Нейгаузен — Шклов — Могилев — Бердичев — Скуляны — Яссы — Браилов и, наконец, «Калараш, селение на этом берегу Дуная, верстах в четырех ниже Силистрии». В формуляре Даля записано: «29 марта 1829. По прибытии во 2-ю армию к крепости Силистрии назначен ординатором в подвижной госпиталь главной квартиры».

Он уже под Силистрией, а Дерпт еще держит его, не отпускает; Катенька Мойер выводит детские полупечатные буквы (каждая чуть не с ладонь) на разлинованном листке: «Как грустно, милый друг, знать тебя больным и окруженного больными. Даже и страшно. Я только тогда буду покойна, когда тебя увижу... Возвратись, утешь друга

твою Катерину Мойер»[1].

Дерпт не отпускает, и Далю грустно, наверно: столько лет дожидался дня, пока сдерет с себя опостылевший морской мундир — теперь на него натягивают сухопутный. Мундир студенческий («фризовый сюртук») оказался сладкой, но — увы! — короткой передышкой.

3

Большие события вломились в жизнь Даля, сорвали его с места, бросили на вечно бегущую, бесконечную путь-дорогу. Даль не знал своего будущего, строил планы — ему помешали. Оттого грустно, обидно, должно быть. Но мы-то знаем — будущее Даля для нас позади, — и мы радуемся, что ему помешали.

Пусть идет по дороге этот глазастый, все подмечающий человек! Любитель передразнить, который схватывает на лету и способен передать каждую черточку в чужом облике, каждое движение. Умелец, который, что называется, с ходу вникает во всякое ремесло и понимает его. Рукодел, который видит вокруг множество предметов, созданных человеком, и разгадывает их суть, навсегда скрытую для тех, кто сам не делает вещей, а лишь бездумно ими пользуется. Тонкий музыкант, для которого лучшая музыка — богатые звуки человеческой речи; он не устает ее слушать и записывать. Ему нельзя сидеть

[1] ПД, № 27355/CXCVI б. 7, 27375/CXCVI б. 8.

на месте. Пусть идет Даль по дороге! Он еще не знает, что нигде и никогда не пополнит так обильно запасы слов, как в походе. Он не знает, что идет навстречу словам! Не было бы счастья, да несчастье помогло.

ОРДИНАТОР ПОДВИЖНОГО ГОСПИТАЛЯ

1

Изборск — Нейгаузен — Шклов — Могилев — Бердичев — Скуляны — Яссы — Браилов и, наконец, «Калараш, селение на этом берегу Дуная, верстах в четырех ниже Силистрии». Здесь Даль переночевал, «укрывшись от дождя в глухом, обширном подземелье — вновь выстроенной на живую нитку запасной житнице, где чутко отдавались одиночные выстрелы подсилистрийских батарей» [1]. В темном подземелье услышал он впервые гулкий, ухающий голос войны: где-то стреляли орудия, и каждый выстрел нес кому-то смерть...

Впрочем, Даль встретился со смертью еще по дороге на войну, на одной из станций, неподалеку от Браилова; смерть носила имя «чума». Благополучно переночевав на станции, Даль вышел из комнаты и узнал, что «через сени лежит при последнем издыхании унтер-офицер, заведовавший тут должностью смотрителя». Даль заглянул к нему на половину — любопытство врачебное потянуло. Позже посты пошли, так называемые «окурные»: в камышовом балагане сидит старик сторож возле дымящегося чана; взяв подорожную, он немилосердно колет ее шилом, подхватывает клещами аршина в полтора длиною и бросает в окурный чан, чтобы «выкурить» из нее «заразу». Картинка смешная: сторож берет «заразную» подорожную в руки и руками сует ее в клещи, а потом ворчит презабавно, что уксусу нету, а марганец не курится («чтоб его разорвало»). В «Толковом словаре»

[1] Даль ехал из Дерпта на войну не один Его попутчиком был скорее всего доктор Барбот де Морни (см воспоминания дочери в «Русском вестнике», 1873, № 7) Встречающееся утверждение, будто Даль отправился на фронт с К Зейдлицем, совершенно неосновательно. Зейдлиц ехал к театру военных действий несколькими месяцами позже и не из Дерпта, а из Петербурга См «Воспоминания доктора Зейдлица о Турецком походе 1829 года» («Русский архив», 1878, № 4).

Даль писал о юморе: «веселая, острая, шутливая складка ума, умеющая подмечать и резко, но безобидно выставлять странности нравов или обычаев».

Были и другие сценки на пути: по узкой неосвещенной улице какого-то селения медленно движется запряженный волами воз, доставляющий погибших от страшной моровой язвы к последнему их пристанищу; впереди бредет чокла (так именуют здесь тех, кто обрек себя за плату быть при больных) и кричит, размахивая факелом: «Чума! Чума!» Впрочем, и здесь Даль успел ухватить взглядом забавную черточку: другой чокла сидит на возу и преспокойно курит трубку...

Укрывшись на ночь в подземной житнице, Даль размышлял о безмятежных карантинных сторожах и равнодушных чоклах, о чуме, которая, по врачебным понятиям того времени, «исцелялась природою, а не людьми», и о мудрости тех, кто умеет «покорствовать в молчании перед всемогущими усилиями законов природы». Голос далеких орудий перебивал мысли; возможность умереть равнялась, как тогда говаривали, «числу неприятельских выстрелов»; главное было впереди — война. На другой день Даль был под стенами Силистрии.

«И вот вам главная квартира! Целый город красивых шатров и палаток, рядами, улицами, кварталами, огромный базар, гостиницы, сапожники, портные, даже часовщики... Пушечная пальба день и ночь раздается за горою, а всякий занят своим делом или бездельем, не оглянется, не прислушается, хоть земля расступись. Всюду мирные занятия, гостиные разговоры, как будто майдан военных действий в тысяче верстах; а о войне и ни слова! О, привычка!..

Главная квартира расположена была верстах в трех от крепости; мы прошли гористое пространство это в полчаса, и Силистрия явилась перед нами как на ладони. Черепичные кровельки, высокие тополи; из числа каких-нибудь двух десятков минаретов или каланчей стояли только две; прочие были уже сбиты. Батареи наши заложены были на прибрежных крутостях и на противолежащем острове; редкая пальба шла в круговую и очередную, то с нашей стороны, то с острова, то с канонирских лодок, которые выказывались, стреляли и снова прятались за возвышенный лес, пониже крепости. Каждое ядро, попадавшее в город, обозначалось тучею пыли, которая в жаркую и тихую погоду медленно и лениво про

носилась по городу... Мы взобрались на покинутую, старую батарею и глядели во все глаза. Два солдата, стоявшие ниже, во рву, только что успели предостеречь нас, сказав, что на днях полковнику, стоявшему неподалеку нашего места, оторвало ядром руку, как увидел я на обращенном к нам бастионе крепости дым и вместе с тем прямо на нас летящее ядро, или, как после оказалось, гранату, чиненку, которую могу сравнить по оставшемуся во мне впечатлению с черною луною».

Сказано древними про сотворение мира: «Сердце его раскрылось: из сердца вышел разум, из разума — луна». Неразумная черная луна — граната-чиненка — летела в сердце Далю, чтобы убить. Так началась для него настоящая война — боевые действия.

2

Послужной список Даля свидетельствует, что довелось ему быть «при осаде крепости Силистрии», и «при разбитии армии Верховного визиря в сражении под Кулевчами», и «при взятии трех редутов близ Шумлы», и «при разбитии отряда фуражиров казаками», и «при переходе войск 2-й армии чрез реку Камчик и чрез Балканы», и «при взятии города Сливно», и «при занятии второстоличного города Адрианополя» [1].

Список — неоценимо дорогой документ для исследователя и все же не более как «список» — «поименованье чего-либо», по толкованию Даля. За перечислением — человек, который «переходил», «разбивал», «занимал» и всегда оставался собой, отличался от другого, который рядом, в том же строю, также «переходил», «разбивал», «занимал». «Поименованье» необходимо, но, как говорится, «помяни его по имени, а он и весь тут».

3

Капля в море?.. Где-то за полторы тысячи верст, в Петербурге, или за три версты, в главной квартире, кто-то водил пальцем по карте, и тысячи капель, собранные воедино, переправлялись через Прут и Дунай, осаждали Силистрию и Шумлу, сражались под Кулевчами и на реке Камчик, переходили через Балканы.

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 179, оп. 1, ед. хр. 15.

В Петербурге считали, что армия вооружена, — на месте каждое четвертое ружье признали непригодным. «Кремневые ружья нашей пехоты не имели ни одного качества, необходимого для верной стрельбы», — сетовал участник кампании. В Петербурге полагали, что армия обута-одета, но из 149 тысяч пар сапог годных оказалось только 25 тысяч, а из 923 тысяч аршин рубашечного холста — всего 70 тысяч. «Для перевозки раненых было привезено из Петербурга множество закрытых и открытых экипажей без рессор и очень тяжелых, — рассказывал Далев коллега и военный товарищ доктор Зейдлиц.— Нам пришлось-таки с ними помучиться на тамошних невозможных дорогах... Для закрытых экипажей, в которых можно было положить двоих больных, требовалось 4 лошади, кучер и форейтор. Открытые экипажи были вроде деревянных дрог, на которых помещалось человек восемьдесять здоровых, но поместить столько же раненых не представлялось возможности».

О госпитале в Адрианополе свидетельствует сам Даль: «Здание было так велико, что в нем помещалось под конец десять тысяч больных. Но как они помещались и в каком положении находились — это другой вопрос... Несколько сот палат с кирпичными полами, без кроватей, разумеется, и без нар, и притом с красивенькими деревянными решетками вместо стеклянных окон. Дело походное, земля, в которой, при тогдашних обстоятельствах, и соломки-то почти нельзя было достать, а ноябрь пришел... Сперва принялась душить нас перемежающаяся лихорадка, за нею по пятам понеслись подручники ее — изнурительные болезни и водянки; не дождавшись еще и чумы, половина врачей вымерла; фельдшеров не стало вовсе, то есть при нескольких тысячах больных не было буквально ни одного; аптекарь один на весь госпиталь. Когда бы можно было накормить каждый день больных досыта горячим да подать им вволю воды напиться, то мы бы перекрестились. Между тем снежок порошил в окна и ветерок подувал».

И все-таки капли, соединенные в море, в поток, катились по дорогам и полям, и после неудач минувшего года кампания года 1829-го шла успешно: полная победа под Кулевчами, взятие Силистрии, переход через Балканы, овладение Адрианополем. В августе 1829 года русские авангарды вышли на подступы к Константинополю. Командующий Дибич получил титул Забалканского —

граф Дибич-Забалканский; государь Николай Павлович писал Дибичу из Петербурга: «Словом, полное торжество!..» И следом смиренно: «Теперь более, чем когда-либо, отнесем все к богу»...

«Отнесем все»... Опять, как всегда, в порыве ликования списали тысячи капель, тысячи солдат русских, погибших от пули, от сабли, от лихорадки и чумы, от драных сапог и плохих ружей, — а ведь потому и победили и ликовали потому, что не просто слитые воедино, в армию, капли (и капля-Даль среди них) двигались у Силистрии и у Кулевчей, переходили через Балканы и брали Адрианополь, но потому, что каждая из капель этих была море, поток, личность — человеком была каждая капля; по определению Даля — «высшим из земных созданий, одаренным разумом, свободной волей и словесной речью».

4

И человек Даль не просто следовал движению чьего-то перста, маршируя от Силистрии к Шумле и от Кулевчей к Камчику, — человек Даль глядел по сторонам, оглядывался назад и вперед заглядывал, слушал, размышлял и время от времени излагал словесной речью то, что видел, слышал, то, о чем думал.

Нет, он не просто тащился в громоздком обозе, этот военный лекарь 2-й действующей армии («ординатор подвижного госпиталя главной квартиры», затем Адрианопольского, Ясского госпиталей, прикомандированный вдобавок к конно-артиллерийской № 26 роте). Он не просто тащился в громоздком обозе («Каждый походный госпиталь состоял из 50—80—100 фур, при нем были: своя аптека, кузница, от 40 до 80 палаток со всеми принадлежностями, кроме того, были рубашки, чулки, халаты, постельное белье, соломенные тюфяки на 200 или 300 человек, складной стол для операций, несколько стульев, хирургические инструменты, лубки для перевязок, бинты, корпия и т. д.») — «наделенный свободной волей» лекарь Даль при взятии Сливно вскочил на коня, вырвался из обоза и поскакал в бой вместе с передовым казачьим отрядом; он одним из первых влетел в оставленный неприятелем город, в каком-то доме, поспешно покинутом хозяином-турком, заметил на столе посудину с горячим еще кофеем, озорства ради тут же выпил кофе, а медную посуду спрятал в карман на память. Направляясь к Кулевчам, он не дремал в тяжелой и тряской госпитальной фуре, «свободная воля» толкала его своими ногами отмерять нелегкие военные версты, он смотрел горестно на «пламенем объятые села — избы горели по обе стороны дороги ...аист среди дыма и огня сидел спокойно на гнезде своем и, казалось, ожидал смерти». И под Кулевчами «одаренный разумом» ординатор Даль не ждал сложа руки в аптеке или у складного стола для операций: «видел тысячу, другую раненых, которыми покрылось поле и которым на первую ночь ложем служила мать — сырая земля, а кровом небо ...толкался и сам между ранеными и полутрупами, резал, перевязывал, вынимал пули с хвостиками; мотался взад и вперед, поколе наконец совершенное изнеможение не распростерло меня, среди темной ночи, рядом со страдальцами».

5

Крикнул бы кто Далю в сражении: «Уложит тебя пуля — ротный командир твой и сам полковник придут поклониться памяти твоей... и скажут: не грешно бы этого молодца и с ружьем схоронить — кабы не казенное добро!.. смирен и тих на постое, а велик буян, покойник, в чистом поле» — крикнул бы кто такое Далю, разгоряченному боем, глядящему напряженно по сторонам и ждущему выстрела, — право, засмеялся бы Даль, рукой махнул. А ведь сам десять лет спустя написал нарочитые, ухарские эти слова. Нарочитое благомыслие не уживается со здравомыслием — «прямым, толковым сужденьем, правильным понятием». Это особенно ясно видно в книжке Даля «Солдатские досуги», где житейски мудрые были перемежаются «удалыми» официальными статейками «Угождай службе, узнаешь, что такое честь».

«Честь — условное, светское, житейское благородство, нередко ложное, мнимое. Не на кафтане честь, а под кафтаном», — писал Даль в «Толковом словаре». И когда под Сливно бросился Даль, непрошеный, с передовым отрядом, и когда под Кулевчами «мотался» он всю ночь на поле боя между ранеными, звала его, видно, та честь, что «под кафтаном». Про нее у Даля в «Толковом словаре» тоже сказано: «Внутреннее нравственное достоинство человека, доблесть, честность, благородство души и чистая совесть».

Легко говорится: «Рассудите сами, ребята, какой тут толк: смерти бояться, от штыка, от пули бегать». Но «легко» — слово двусмысленное, оно — объясняет Даль — значит не только «нетяжелый», «нетяжкий», но «маловесный», «необременительный», «неосновательный», «поверхностный»: «Легко пришло, легко и ушло». «Уложила его пуля вражья наповал, сбила с ног, осадила на мать — сыру землю, да душу молодецкую вынес он — и вечная ему память!» — маловесно, неосновательно. Но когда под крепостью Силистрия «турецкая бомба упала прямо в середку батареи, и трубка ее горела ярким огнем», и «солдаты отшатнулись и ждали разрыва: кого бог помилует, кого нет», а «бомбардир 1-й батарейной роты 16-й бригады Демьян Рудаченко подошел спокойно к горящей бомбе, ухватил ее на руки, подошел к амбразуре и выкинул в ров» — это спокойное «подошел», «выкинул» — словно не бомба с горящим запалом, а чугунок со щами, — это вот настоящее «смерти не бояться» — храбрость и военная честь.

И когда раненный в бою старый застрельщик спешил вернуться на поле боя, объясняя: «Тороплюсь, чтобы сгоряча подоспеть, да поработать; а как сердце отойдет, да рана разболится, так после, чай, уже и не смогу», — это основательная, «здравомыслящая» смелость, чистая совесть и благородство души.

«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ». ОТВЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Но на войне у Даля был еще свой поход, свои победы.

«Мал язык — горами качает». В горах Балканских слушал Даль язык своего народа, слушал в таком изобилии и разнообразии таком, что после признавался: преимущественно в турецком походе изучил он наш язык со всеми его говорами. Еще бы не изучить — мужики, крестьяне (по-Далеву говоря: «корень» народный) говорили вокруг; «из шестидесяти губерний и областей» собрались мужики, крестьяне, объединенные в роты, полки и корпуса; из шестидесяти губерний и областей мужики прошли Молдавию, освобождали болгарские селения, брали второстоличный турецкий город Адрианополь, который сами турки называли Эдырне. Шли пермяки мимо краснеющих к осени виноградников, вологодцы устраивались на привал в фисташковой роще, архангельцы разбивали палатку под вечнозеленым дубом, а денщик Даля говорил с изумлением: «Эдакой земли, ваше благородие, я сроду не видывал» («Не мудрено, подумал я, — продолжает Даль, — когда ты только и видел землю, которую в Воронежской губернии и в Павловском уезде пахал...»).

«Солдату на походе, что день, то новоселье». Из шестидесяти губерний и областей мужики становились на привал, хоть «с голого солдата пуговку не сорвешь», но Далю и пуговки не надо, ему бы слова, солдат же русский, как известно, за словом в карман не полезет, у него пасеное словцо за щекой; а уж коли у русского солдата поясница поразомнется да ноги поразмотаются, так только держись подметки! Он языком и клочит, и валяет, и гладит, и катает, он и шьет, и порет, и лощит, и плющит.

Вот она, речь пословичная, — красна речь с притчею, без пословицы не проживешь — в ней, как говорится, «загадка, разгадка, да семь верст правды»; эти семь верст правды объяснил Даль в предисловии к словарю, в «Напутном слове»: «Жадно хватая на лету родные речи, слова и обороты, когда они срывались с языка в простой беседе, где никто не чаял соглядатая и лазутчика, этот записывал их без всякой иной цели и намеренья, как для памяти, для изученья языка, потому что они ему нравились. Сколько раз случалось ему среди жаркой беседы, выхватив записную книжку, записать в ней оборот речи или слово, которое у кого-нибудь сорвалось с языка — а его никто и не слышал! Все спрашивали, никто не мог припомнить чем-либо замечательное слово — а слова этого не было ни в одном словаре, и оно было чисто русское! Прошло много лет, и записки эти выросли до такого объема, что, при бродячей жизни, стали угрожать требованьем особой для себя подводы...»

Тут самое время рассказать необыкновенно занимательный случай про Далева верблюда, тем более что случай этот — не вымысел, а из упомянутых «семи верст правды» (он, конечно, в этих верстах всего саженка одна, зато саженка прелюбопытная). И хотя всякая прибаска хороша с прикраской, но здесь и прикраски не понадобится, потому передаем слово самому Далю, который рассказывает деловито и походя (в примечании к тому же «Напутному», собственно, к тому месту, на котором мы и остановились):

«Живо припоминаю пропажу моего вьючного верблюда, еще в походе 1829 года, в военной суматохе, перехода за два до Адрианополя: товарищ мой горевал по любимом кларнете своем, доставшемся, как мы полагали, туркам, а я осиротел с утратою своих записок: о чемоданах с одежей мы мало заботились. Беседа с солдатами всех местностей широкой Руси доставила мне обильные запасы для изучения языка, и все это погибло. К счастью, казаки подхватили где-то верблюда, с кларнетом и с записками, и через неделю привели его в Адрианополь. Бывший при нем денщик мой пропал без вести».

Неприятель не пощадил воронежского мужика, а вот на тюки, на тетрадки и записки Далевы не позарился. Есть турецкая пословица: «Слово в мешок не положишь»; очень смешно: туркам попался в плен верблюд, а на нем мешки со словами — не позарились! Десять лет жизни Даля и еще полгода (самые урожайные, походные полгода, когда Далевы богатства вдвое, втрое, вдесятеро выросли) не понадобились туркам — и слава богу! Не одному Далю — всем нам привели казаки в Адрианополь верблюда, нагруженного словами. Говорят: «Мал сокол, да на руке носить; велик верблюд, да воду возить». Золотого царского сокола дороже был этот бурый двугорбый водовоз. Цену узнаешь, как потеряешь. Даль говорил, что о с и р о т е л с утратою своих записок. Пропажа, наверно, подсказала Далю, что слова в его жизни не увлечение (как игра врача-приятеля на кларнете) — п р и з в а н и е.

Записи Даля утратились с годами и без турецкого плена. Впрочем, утратясь как записи, они превратились в «Толковый словарь живого великорусского языка»: Даль успел «обработать» их — «выработал вещь из припасов», «улучшил приложением труда». Мы сожалеем о пропаже Далевых записей оттого, что хотелось бы воочию увидеть, к а к, по какой методе, способом каким собирал и записывал Даль первоначально сокровища свои — слова.

Держим в руках листок, четвертушку, от большого листа оторванную, на ней карандашом: *«Октябрь»,* возле наскоро — «паздерник, грудень, листопад»; «грязник, свадебник, зазимье», «Октябрь ни колеса, ни полоза не любит»; «Свадьбы; срок всем наймам, сделкам»; «Март, апрель, май, июнь вино в бочках сушит; июль, август, сентябрь, октябрь хозяина крушит».

Есть еще месяцеслов, Далем составленный, то есть «календарь, означенье месяцев и дней всего года, с показанием особого их значенья», — там, например, про октябрь: «Коли белка в Покров чиста (вылиняла), то осень будет хороша» [1], «Захвати тепла до Покрова» (вычини избу), «Придет Покров, девке голову покроет»; или 4 октября: «На Ерофея лешие пропадают — они ломают деревья, гоняют зверей и проваливаются. Крестьяне в лес не ходят. Леший бесится»; или 22 октября: «На Казанскую дождь лунки нальет — зиму приведет» [2].

Но это позже — месяцеслов; да и листок с полустертой карандашной записью *«Октябрь»* — позже, не из верблюжьих вьюков; листок — заготовка к рассказу. Однако очень уж интересно, как в записях Даля обрастало плотью, оживало слово.

Дополнения и поправки Даля к первому изданию словаря (Даль вносил их, готовя второе издание [3]) — как вода живая: «взбрызнутое» ими слово из «словарного» (если можно так сказать, — «словарное слово») становится живым, зримым, крепко связанным с предметом, оно вызывает в памяти не просто смысл, но образ.

Настоящий художник, мастер, одним мазком оживляет картину. Даль к слову «КАЛАЧ» добавляет только: *«У калача* различают: *животок* с *губкою* и *ручку, дужку* или *перевясло».* В гнездо «КЛЕЙ» вписывает: *«Клей восковой* или *уза,* обножка, вощечек на ножках пчелы, взяток, цветень с цветов; уложенный в ячейки, он называется перга, хлебец, хлебина, краска, колошка». К слову «КАБАН» подставляет лишь один мазок-пословицу с указанием местности, откуда взята: «Зверовщики в Сибири говорят: *На медведя идешь, соломки бери* (для подстилки на лабазе), *на кабана идешь, гроб теши...»* Какую палитру, однако, надо иметь, сколько красок перетереть, смешать, с какой точностью видеть надо, чтобы ухватывать такие мазки! У Даля есть множество слов, гнезд словарных и побогаче, и поярче, и полюбопытнее, но здесь виден ход дела, наращивание «плоти», оживление; ж и в о е слово — очень необходимое и важное отличие словаря ж и в о г о великорусского языка.

---

[1] Праздник Покрова пресвятой богородицы приходится на 1 октября по старому стилю.

[2] Казанская икона божьей матери праздновалась 22 октября (в память избавления Москвы и России от польского нашествия в 1612 году).

[3] ГПБ, ф. 234, ед. хр. 4.

Но мы увлеклись, отвлеклись (оправдание: глава называется «Отвлечение»), мы вперед лет на тридцать, на все сорок забрались — пора бы и возвратиться туда, на Балканы, в Адрианополь, под Силистрию. Туда, где богатства Даля приумножались с немыслимой быстротою. Шутка ли, верблюд, нагруженный словами!..

Даль рассказывал притчу о дятле: «Дятел красноголовый лазил день-деньской по пням и дуплам и все стучал роговым носом своим в дерево... К вечеру, глядишь, голова у красноголового разболится, лоб словно обручем железным обложило, затылок ломит, не в силу терпеть. Ну, говорит, «полно, не стану больше долбить по-пустому; завтра посижу себе смирно, отдохну, да и вперед не стану, — что в этом проку?..» А наутро, ни свет, ни заря, как только пташки в лесу проснулись и защебетали, дятел наш опять пошел долбить»... Даль к тому рассказывал притчу, что попусту зарекаться не след, но нам охота увидеть в ней настоятельную потребность человека следовать призванию своему, то есть «природному расположенью, наклонности, дарованью, назначенью, предопределенью», — потребность, которая побеждает, подчиняет себе физические возможности человека (все это «лоб обручем», «затылок ломит»); нам охота увидеть в Далевой притче рассказ о чувстве высокого нравственного долга: «На этом свете не устанешь, так на том не отдохнешь».

Даль говорил: «Счастлив человек, могущий следовать своему призванию»; сам же он никогда прежде таким «могущим следовать» не был, как в походе, — в перерыве между боями, в короткий отдых у закопченного, вкусно дымящегося солдатского котла.

«С ВЕРШИН ХРЕБТА БАЛКАНСКОГО»

1

Даль рассказывает о взятии Сливно: «Вокруг нас все летело вверх дном, но это была одна только минута: турки ускакали, кроме небольшого числа покинутых здесь раненых... Пехота кинулась тушить пожар... Болгары мало-помалу начали выглядывать из домов своих, встретили нас хлебом и солью, выносили продажные съестные припасы и напитки, город снова ожил... Необузданная радость обуяла мирных жителей, которые от роду не видывали еще неприятеля, судили о нем по образу турецкого воинства, и увидели вместо того братский, крещеный народ, коего язык, созвучием своим с их родным языком, напоминал о родстве и братстве!.. Обоюдная дружба жителей и победителей утвердилась с первой взаимной встречи».

И словно в подтверждение — две как бы уравновешенные историйки из времен русско-турецкой войны, вспомянутые позже Далем. В одном из сливненских двориков Даль обнаружил раненого болгарина, осмотрел и обмыл его раны — два сабельных удара по голове и по плечу — и перевязал их. А болгары прятали раненого в сражении русского воина; солдат, страшась, что «самоотвержение» спасителей дорого им обойдется, просил выдать его туркам, «болгары, однакож, не хотели этого слышать», говорили, что брата своего не предадут, и, поскольку постоянно могли быть застигнуты врагом, передавали раненого «с рук на руки далее». Взаимному «состраданию не было конца» — вот она, черточка этой войны.

2

Победители-освободители. В «Толковом словаре» определяются война наступательная, оборонительная, малая, партизанская; про войну освободительную там не говорится. Но в качестве толкования слова «освобождение» читаем: «Народ освобожден от чужого владычества, от ига, гнета». Про «иго», в свою очередь, сказано: «ярем, ярмо; более употребляется в значении тягости нравственной, гнета управления, чужеземного владычества и порабощения, рабства».

(Даль, в скобках заметим, рассказывает для солдат, для воинов, для победителей, недлинную историйку про сотника Белоусовича, который под Шумлою «срубил» турка с коня, а потом сам был ранен пистолетною пулею в ладонь навылет. В госпитале сотник заметил того самого турка, с которым дрался, вынул из кармана двугривенный и подал раненому неприятелю: «Не прогневайся, брат, больше нету; да не помяни меня лихом; в поле съезжаются, родом не считаются; бил я тебя по службе, а дарю по дружбе».)

Но это в скобках история, речь о другом: в турецкой кампании 1829 года Даль видел войну освободитель-

ную; «освобождать» — «дать свободу, пустить на волю», — объясняет он; давали свободу, пускали на волю «братьев и сестер по племени, языку и вере».

3

С конца двадцатых годов, с войны русско-турецкой, сочувствие к освобождению славян не оставляло Даля.

Разговоры о «славянофильстве» самого Даля глухи и неосновательны — в серьезных источниках их не обнаружишь. Правда, когда, в старости уже, он перебрался в Москву и целиком отдался работе над «Толковым словарем», среди посетителей его московского дома находим деятельных славянофилов. Но Даля сближало с ними прежде всего участливое их отношение к его труду.

Слово «идея» в «Толковом словаре» «переводится» — «умопонятие». Даль приятельствовал с иными из славянофилов, но «умопонятие» о том, что именовалось в минувшем столетии «славянским делом», оставалось у него свое. Это не «панславизм», стремление объединить славянские страны и освободившиеся от гнета Турции славянские народы под главенством России, — политическое течение, наиболее близкое славянофилам (в «Толковом словаре» Даль так и объясняет: «панслависты — славянофилы»). Во время Крымской войны Даль отрицательно отозвался о «политическом взгляде» Погодина, предлагавшего государственное объединение славян «под покровительством России». Союз, — объясняет Даль, — «не самим приставить себя пестуном», а «держаться вместе, вкупе, не расходиться врознь, жить в согласии, в дружбе». По Далеву «умопонятию», главное в «славянском деле» — освобождать: он себя с похода 1829 года освободителем чувствовал.

Даль был мальчиком, когда народ его страны поднялся на войну Отечественную; в турецкой кампании 1829 года увидел он не просто утверждение русского влияния на Балканах — там, за Балканами, увидел он войну, «в которой весь народ принимает, по сочувствию и поводу раздора, живое участие».

В московском доме Даля находили приют славянские деятели — беженцы, ускользнувшие от расправы и стремившиеся снова туда, где над их головою занесена была кривая сабля поработителей.

Даль поселил у себя черногорского священника Матвея Саввича, «попа Мато», как его именовали. Поп Мато привез в Россию младшего сына Савву учиться, а сам собирал среди москвичей пожертвования. Ему было пятьдесят, — огромного роста, в плечах косая сажень, всегда одет в национальный костюм и, несмотря на священный сан, увешан кинжалами и пистолетами; на улицах за ним толпа зевак ходила. Поп Мато называл Даля «отец», жену его — «мать»; всем в доме говорил «ты». Тихий, вышедший в отставку старик чиновник Даль — и вдруг предоставил кров невесть откуда взявшемуся ражему молодцу (такому, право, не всякий даже из соображений благонамеренности дал бы убежище)...

Неожиданно, — но мало ли в жизни Даля такого неожиданного?.. Историк Бартенев в письме к князю Вяземскому мимоходом (оба с Далем были хорошо знакомы, оттого и мимоходом) упомянул о «странностях и причудах» Даля[1]. То и дело наталкиваешься на что-то такое, чего никак не ожидал, что «противоречит» устоявшемуся «образу», что приоткрывает в нем какие-то черты, спрятанные не только от нас, потомков, но и от современников. Пословица учит: «Сердце без тайности — пустая грамота». Так появляются вдруг эти «неожиданности»; не для Даля, конечно, — для нас неожиданности.

Вот Иван Сергеевич Аксаков, приглашенный шафером на свадьбу дочери Даля Ольги, не смог участвовать в церемонии и прислал вместо себя молодого своего приятеля — болгарина эмигранта Станишева («эмигрант, — объясняет Даль, — выходец на чужбину, большей частью по политическим причинам»). Константин Станишев заканчивал в те годы Московский университет по математическому факультету. Молодой болгарин стал частым гостем в доме Даля и сделал в конце концов предложение другой его дочери — Марии. Обвенчались они уже после смерти Даля: кажется, Даль поначалу отказал болгарину — не отдал свою «Елену» «Инсарову» — именно потому, что болгарин, эмигрант, человек с беспокойной и неясной судьбой. Впрочем, Станишев «Инсаровым» не сделается, освободителем Болгарии Станишев не станет — станет благонравным российским учителем (лучше сказать: будет служить по ведомству народного просвещения).

Но что нам до судьбы Станишева, до будущего его, — нам важно, что в шестидесятые годы, о которых идет речь,

[1] ЦГАЛИ, ф 195, оп. 1, ед хр 1407

в шестидесятые годы, когда Станишев сделался частым гостем в доме Даля, был он заметным лицом среди молодых болгарских эмигрантов. О круге его друзей свидетельствует одно письмо к Погодину, мало интересное по содержанию, но весьма значительное по тем подписям, которые под ним стоят[1]. Следом за Станишевым (он первый) идут подписи Петко Каравелова, Нешо Бочева, Марина Дринова — люди хорошо известные в болгарском освободительном движении.

Круг друзей Станишева небезразличен для нас — это люди, с которыми Даль, прямо или косвенно, сносился, которые у него в доме бывали или виделись с ним у того же Погодина хотя бы, или у профессора-славяноведа Нила Попова, или на литературных вечерах у писателя Александра Фомича Вельтмана. Именно в шестидесятые годы знаменитый болгарский художник Павлович работал над иллюстрациями к роману Вельтмана «Райна, княгиня Болгарская», а сам писатель оказался очень известен и популярен среди болгар. Александр Фомич был старинный приятель Даля — еще с русско-турецкой войны, с похода 1829 года, когда был он, Вельтман, адъютантом генерального штаба при главной квартире, а после начальником исторического отделения.

4

Имя Вельтмана снова возвращает нас в год 1829-й; из кабинета Александра Фомича, в котором плавали густые облака табачного дыма, возвращает на горные высоты Балкан — к роскоши «синих небес в их ночной тишине», как писал поэт, или, как рассказывал в прозе Даль: «Изныв на пустынных, голых и знойных степях, мы вдруг очутились среди величественных гор, прохладных лесов и невыразимо изумлены были наконец, когда с вершин хребта Балканского раскрылся перед нами новый мир...»

Там, между прочим, на горном перевале, сойдясь отдохнуть, достали Даль и Вельтман из походных чемоданчиков своих, как по заказу, одну и ту же книгу, и книга эта была «Фауст». Им казалось в ту минуту, должно быть, что мир, широко раскинувшийся внизу, и впрямь мир новый, обновленный, что, спустившись с «горных высот», утопающих в прохладно-пьяном воздухе, они найдут внизу прекрасную землю счастья и мечты. Но мимо, возвращая друзей-мечтателей к жизни, стуча и скрипя, катились тяжелые госпитальные фуры, заполненные хворыми и ранеными; тяжело дыша и ступая не в лад, шли мимо одетые в шинели мужики, которым, возможно, предстояло умереть там, внизу, — и знаменитые слова Гёте о том, что за жизнь и свободу нужно каждый день идти на бой, здесь под скрип обозных телег и нестройный топот разбитых сапог воспринимались по-своему.

[1] ГБЛ, ф. 231, р. II, п. 31, ед. хр. 20.

5

«Легко про войну слушать, да страшно ее видеть».

«Помню и вечно помнить буду, поколе искра жизни таится в мозгу моем, то впечатление, которое сделало на меня первое предсмертное молебствие и первая битва, — писал Даль. — После и я привык к этому и смотрел, как смотрят другие; исполнял спокойно жалкую обязанность свою и досадовал на неправильные и неосторожные удары палаша и шашки, на причудливый путь пули-дуры и разглядывал неказистую, невидную ранку нахального штыка, который обыкновенно избавляет нас от напрасного труда, от пластыря и повязки».

Рядом с перечислением ратных подвигов читаем в послужном списке Даля одну только строчку — и то в графе, называющей места службы: «В свирепствование холеры в Каменец-Подольске заведовал 1-й частью города».

Воротясь с армией из похода, исполнял он здесь долг врача: медицинский его участок был «царство сырости, неопрятности, нищеты, тесноты». «Суеверие, недоверчивость, недостаток в пище, в средствах, в присмотре — все это... могло бы свести с ума того, коего попечению доверено было бедствующее человечество...»

«Кто убился? — Бортник. — А утонул? — Рыбак. — А в поле убитый лежит? — Служилый человек». От чумы, от лихорадки, от вражеских пуль и гранат погибло более двухсот докторов из трехсот прибывших в армию. Даль полтора года ходил возле смерти и выжил.

Возвратясь с войны, Даль, в общем-то молодой еще человек, рассказывал о бесконечном испытании натуры его смертью: «Судьба обнесла меня этой чашей, подносив ее для искушения в смиренномудрии, целый год сряду к изнемогшим, иссякшим устам... И доселе еще жадный

жить и готовый умереть, шагаю или бегу взапуски с вами, по общему нашему поприщу, по пути юдольной жизни...» «Жадный жить и готовый умереть» — отношение Даля к смерти как к неизбежной части жизни, то мудрое, здравое, спокойное, какое встречаем мы в бесконечных народных пословицах, и не только мудрых и спокойных, вроде: «Думка за горами, а смерть за плечами», но, того более, мудрых и веселых, вроде: «Избу крой, песни пой, а шесть досок паси!»

Даль относился к смерти скромно и достойно и скорее всего принес это с войны. Такое отношение особенно немаловажно, особенно дорого, потому что оно помогло вызреть в Дале, закалило в нем высокое человеческое убеждение, также выразившееся в пословице народной: «Не тот живет больше, кто живет дольше».

За ратные подвиги Даля наградили орденом святой Анны третьей степени. За то, что выжил, получил по окончании кампании «установленную на Георгиевской ленте медаль». Об этом событии Владимир Иванович отозвался насмешливо: «Узнал воевода, когда был Иваныч имянинник, да подарил ему на ленте полтинник. Служи-де, не робей, напередки будешь умней» [1].

«ЕХАЛ КОЗАК ЗА ДУНАЙ»

1

Почта доставляла письма от «девицы Катерины Мойер». Теперь не часто доводится читать, что и как писала «милому другу» на войну девятилетняя девочка полтора столетия назад [2]. Письмо трогательно-смешное; но не только, в нем вычитываются все те же дорогие подробности, пусть не слишком приметные, к общему образу («пошибу») что-то они добавляют.

«Милый друг! Могу сказать, что утешил меня, мой добрый Даль, своим письмом. а ежели бы ты его видел, как его отделали на почте всего искололи, изрезали, как лихова Татарина [3]... Мы все очень рады, что ты с нашим милым добрым Зейдлицем вам вместе ловчее воевать...

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 179, оп. 1, ед. хр. 21.
[2] ПД, № 27355/CXCVI б. 7.
[3] Это делали в карантинах при окуривании Даль писал, что сторож исколол его бумаги «немилосердно и нещадно огромным набойным шилом». — *В. П.*

А это очень хорошо что вы много пушек отняли туркам нечем будет по вас стрелять. Как я не люблю пушек такой неприятный звук я только тогда слыхала, когда полицмейстер стрелял в коронацию Императора. У вас я думаю громче бывает. Скажи мне пожалуйста познакомился ли ты с какой-нибудь девочкой турецкой... У нас живет твоя добрая матушка и делает милость учит меня по-немецки и еще чему-то да не скажу это будет тебе сюрприз. Маменька твоя у нас довольно часто бывает она здорова также и братик твой Павел. Ждем сюда скоро и Леона. Но когда я дождусь моего Владимира. Все уверяют, что вы взяли уже Константинополь, но в газетах еще нет. Как бы я желала получить от тебя письмо оттудего. Не думай дружок чтоб я не умела читать твоих писем мой друг нет! сударь читать-то я умею вот писать моя беда. Я начала учиться грамматике и чистописанию у доброго Пирогова который меня с большим прилежанием учит... Прощай мой милой Даль описание твоего лошака очень меня прельстило поглядела бы на него красавца. Скажи от меня милому Зейдлицу что я его очень люблю... Покорная вам обеим слуга Катерина Мойер».

«Покорная слуга», «девица Катерина» (она и так подписывала свои послания) не дождется «своего Владимира». И пройдут годы, когда она уже не «своему Владимиру», а почтенному, обремененному высоким чином и семьей Владимиру Ивановичу расскажет, что это за «сюрприз» был, которому учила ее Далева маменька А маменька учила Катерину петь — и песню с нею разучивала «Ехал козак за Дунай»: козак должен был вернуться из-за Дуная в Дерпт и услышать песню. Но «козак» не вернулся из-за Дуная в добрый и веселый Юрьев-городок, события привели его к иным берегам — к встревоженным орудийными залпами и ружейными выстрелами берегам Вислы. В ноябре 1830 года началось польское восстание, весной 1831 года корпус, в котором служил лекарь Владимир Даль, был отправлен на подавление «мятежа». Шли быстро, «не слезая с лошадей по пяти ночей сряду», — вспоминал Даль.

2

«Мятеж», он же «возмущенье, смятенье, восстанье, народное волненье»; он же «крамола, бунт, заговор на деле»; он же «общее непослушанье»; толкований Даль пред-

лагает хоть отбавляй, а ведь не одно и то же — все с оттенками («малозаметными разностями и уклонениями»).

Надежных данных, чтобы определить отношение Даля к польскому восстанию, нет. Мельников-Печерский сообщает факты, однако про Далевы оценки помалкивает. Диалоги, приведенные в воспоминаниях дочери Даля и внучки его[1], малозначащи и вряд ли вполне достоверны: то сообщается, будто Даль называл «польскую войну» «рядом различной чепухи», то пересказываются разговоры Даля с пленными повстанцами, крестьянином и офицером («шляхта безмозглая бунтует» и пр.). Заявлениям самого Даля: «...в продолжение Польской войны имел случай и счастье показать свой образ мыслей не на словах, а на деле», «я не думал о жизни своей, где долг службы этого требовал», — тоже нельзя вполне доверять: писались эти заявления много позже в ответ на бумагу Бенкендорфа, где высказывались сомнения в Далевой благонадежности. Да и есть ли смысл на основании случайных и косвенных доводов отыскивать «малозаметные уклонения»?..

В глубинах многотысячного пехотного корпуса шел «со всеми», «как все», лекарь Даль, обобщенных выводов о положении в Европе не делал, писем и стихов об этом не писал и, наверно, мог бы повторить вслед за Пушкиным:

Сбылось — и в день Бородина
Вновь наши вторглись знамена
В проломы падшей вновь Варшавы,

но день этот, когда сбылось и вторглись, был для Даля не торжества день, а день печали: «Сидел я, крепко задумавшись, в землянке своей... прислушиваясь к глухому гулу варшавских батарей и как бы стараясь распознать выстрелы моего артиллериста, — и вещее, скорбящее сердце меня не обмануло; был тут и такой выстрел, который обдал его картечью и положил на месте». В «проломах падшей вновь Варшавы» нашел свою гибель любимый брат Владимира Даля — Лев. (О том же есть рассказ более мистический: «...Мне в тот день было не по себе, тоска какая-то напала... То было предчувствие. Одним из слышанных нами выстрелов был смертельно поражен любимый брат мой Лев...»)

[1] ГБЛ, ф. 473, № 2/14, 2/15.

И, наверно, вслед за Пушкиным мог повторить Даль:

В бореньи падший невредим;
Врагов мы в прахе не топтали...

Да и не просто повторить: лекарь Даль перевязывал и зашивал раны «врагам».

Но это можно и по должности, а вот не по должности — по долгу сердца, по долгу человеческому: в Любельском воеводстве «подобрал» Даль «мальчишку лет шести, сиротку» Францишека. Мальчик был из числа «забавных и жалобных зверьков, проживающих на форпостах и пикетах или пристающих к полку на походе, как голодная собачонка, которой солдаты кинут косточку или корку хлеба и которая из благодарности остается при полку на все время похода... Полунагие зарываются ребятишки эти на ночь в солому, ползут под плащ солдата, переходят при смене поста из рук в руки, пекут преискусно на бивачном огне вырытый ими по соседству картофель или пшеничные колосья и довольствуются крохами сострадательного казака или солдата». Катенька Мойер спрашивала Даля, не познакомился ли он с девочкой турецкой. Про девочку турецкую ничего не знаем, а про мальчика-поляка, которого Даль пригрел ласково «под плащом солдата», знаем от самого же Даля. Всего замечательнее появление Францишека: отец его, вдовец, был убит под Любартовом, и Даль взял малыша «под свою опеку».

«Врагов мы в прахе не топтали»: историю с польским мальчиком, сыном убитого повстанца, Даль в оправдательной записке не припоминает, а ведь тоже пример того, как «показал свой образ мыслей не на словах, а на деле».

3

Польская «кампания» вписала в биографию Даля несколько неожиданную страничку. В корпусе генерала Ридигера не нашлось инженера, который взялся бы из подручных средств навести мост через широкую, полноводную Вислу и обеспечить переправу войск. Эту сложную задачу решил в короткий срок лекарь Даль. Решил своеобычно: «понтонов не было; он употребил бочки, плоты, лодки и паромы и навел необыкновенный мост сначала у Юзефова, а потом другой раз у местечка Казимержа».

Генерал Ридигер отмечал в докладной «отличную прочность» моста — «так что артиллерия и тяжести без всякого опасения переходили оный в обыкновенном своем маршевом порядке». Мост, верно, был не только хорош, но и нов по конструкции — недаром в 1833 году в Петербурге вышла книжка «отставного флота лейтенанта и доктора медицины» В. Даля «Описание моста, наведенного на реке Висле для перехода отряда генерал-лейтенанта Ридигера», недаром в том же году книжку перевели на французский и издали в Париже.

Мы к этой книжке (точнее, брошюре) отсылаем любознательного читателя, который заинтересуется устройством моста и ходом работ. Лишь бегло укажем, что наведение моста вновь обнаружило сокрытые в Дале разнообразные и недюжинные способности, а уничтожение моста вновь подтвердило незаурядную храбрость Даля: когда русские части уже закончили переправу, к мосту прорвался вдруг большой отряд повстанцев, конные уже «доскакали до середины моста» — и «в сию минуту Даль, находясь на мосту с несколькими рабочими ...перерубил в мгновение ока несколько канатов якорных ...и мост быстрым течением воды унесло»; под выстрелами Даль доплыл до берега и остался невредим.

Брошюра «Описание моста, наведенного... и т. д.» — не писателя брошюра, но «отставного флота лейтенанта и доктора медицины» — рассказывает необычную и выигрышную историю деловито, без красок — без оценок. Вот только «мелочь», пожалуй, — эпиграф: «Сегодня счастье, завтра счастье — помилуй бог! Надобно сколько-нибудь и ума. Суворов».

В семейных воспоминаниях рассказ Даля про мост сохранился как рассказ иронический, насмешливый: не снискав почестей в качестве строителя, Даль чуть было не подвергся наказанию за разрушение моста; «высокие власти» заснули — мост был, пробудились — моста нет. Мельников-Печерский, который вряд ли от кого, кроме Даля, мог знать про мост, описывает происшествие без насмешки, но опять-таки с тем смыслом, что «инженер-самоучка за такой подвиг, за спасение войска» сначала вместо благодарности «получил в награду» разнос. Лишь «впоследствии, когда император Николай Павлович из донесения главнокомандующего Паскевича, основанного на рапорте генерала Ридигера, узнал о подвиге Даля, он наградил его Владимирским крестом с бантом».

(Заметим подробность: о подвиге Даля было сообщено императору.)

Насмешливые и даже сердитые оценки могли прийти со временем — «молодой на битву, а старый на думу». Но если молодой Даль и на битву шел с такими же думами, то и тут противоречия нет никакого: насмешки насмешками, а Даль (капля в потоке, «как все») спешил к «проломам» Варшавы — навел мост и тем, несмотря на «малозаметные уклонения», впрямь «показал свой образ мыслей на деле».

История с мостом, широко известная и Даля отчасти даже прославившая, и история с мальчиком Францишком, прошедшая незаметно и теперь совершенно позабытая, — не говорят ли эти истории обе вместе о Дале и польском восстании 1830—1831 годов, не подтверждают ли делом мысль пушкинских стихов, где рядом и «плен Варшавы», и милость к «падшим в боренье»?..

«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ». ОТВЛЕЧЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Даль по-своему вспоминал военные походы: «Бывало, на дневке где-нибудь соберешь вокруг себя солдат из разных мест, да и начнешь расспрашивать, как такой-то предмет в той губернии зовется, как в другой, в третьей; взглянешь в книжку, а там уж целая вереница областных речений».

Хотим заглянуть вместе с Далем в заветную книжку его; пусть она не сохранилась, что ж, имеем ведь мы право, если не на вымысел, то на домысел, — разница немалая, объясняет Даль: вымысел — выдумка, домысел же — догадка, разумное заключение. Теперь еще говорят: «реконструкция»; у Даля такого слова нет, зато есть «воспроизведенье», «воспроизвести» с прекрасным, выразительным толкованием: «созидать былое». Попробуем «созидать былое», воспроизвести страницу из записной книжки Далевой и, более того, само заполнение ее, движение записи, и, еще более того, обстановку, в которой книжка заполнялась; попробуем воспроизвести одну из таких дневок, приносивших Далю «целые вереницы речений». Это дает возможность лишний раз побродить по словарю, заглянуть в потайные и манящие закоулки его, подивиться лишний раз обилию, бесценности и необычности сохраняемых в нем сокровищ, лишний раз над содержанием

его поразмыслить: «воспроизводить» — «созидать былое», — по замечанию Даля, говорится «особенно о предметах духовных и о действии воображения».

Предоставим читателю самому вообразить пылающий с веселым треском костер, и котел с кашей, кулешом, похлебкой, и толпу солдат вокруг: один еще выбирает что-то из походного котелка, другой, ловко выхватив из костра пушисто-серый тлеющий уголек и перебрасывая его с ладони на ладонь, раскуривает трубочку. Коротко говоря, предоставим читателю самому **в о с п р о и з в е с т и** обстановку, сделать подмалевок картины, себе же оставим в этом «созидании былого» иную роль: попробуем проследить, как приходят слова в заветную книжку Даля, как начинают жить в ней по-новому.

...Солдат оступился, выругался в сердцах:

— Чертова лужа!

— Калуга! — подтвердил другой, оказалось — костромич.

Даль и прежде слыхивал, что в иных местах лужу называют калугой. Заносит в тетрадь:

л у ж а, к а л у г а.

Но артиллерист из тверских не согласен: для него калуга — топь, болото. А сибиряк смеется: кто ж не знает, что калуга — рыба красная, вроде белуги или осетра.

Пока спорят из-за калуги, вестовой-северянин вдруг именует лужу лывой.

— Лыва? — переспрашивает Даль.

— А как же? Налило воды — вот и лыва.

Даль пишет:

л у ж а, к а л у г а, л ы в а.

Но удивляется вятич — у них лывой называют лес по болоту. Лениво спорит с ним архангельский мужик: «Лыва, брат, и не лес вовсе, а трава морская, та, что после отлива на берегу остается».

Между тем какой-то тамбовец дает злополучной луже новое имя — мочажина. Астраханец поправляет: не мочажина — мочаг; озерцо на солончаках. «Болотце, — расплывается в улыбке добродушный пензенец. — Когда на болоте косят, сено мочажинником называют».

В тетрадке выстраивается рядком:

л у ж а, к а л у г а, л ы в а, м о ч а ж и н а.

Однако точку поставить нельзя. Вон ведь калуга выросла в отдельное большое слово.

К а л у г а: по-тверски и по-костромски — топь, болото; по-тульски — полуостров; по-архангельски — садок для рыбы; по-сибирски — вид осетра или белуги.

И л ы в а тоже: она и лужа, и лес, и трава, принесенная морем.

К м о ч а ж и н е, как называют во многих губерниях непросыхающее место, прилепились ее собратья по смыслу, несколько отличные, однако, по облику: астраханский м о ч а г, новгородская м о ч е в и н а, псковская м о ч л я в и н а, курские м о ч а к и.

А тут еще зацепилось за л у ж у и вылезло откуда ни возьмись псковское словцо л у́ з ь.

— Да ведь лузь по-рязански и по-владимирски — луг, а не лужа, — дивится Даль. — Даже песня есть «Во лузях, во зеленыих лузях».

— По-рязански не знаю, — отзывается псковитянин,— а у нас лузь — лужа замерзлая.

— Дорога обледенелая, — добавляет артиллерист из тверских.

Слова густо заселяют тетради. Пишет Даль.

И конечно, размышляет порой, не может не размышлять над тем, куда ведет его увлечение, призвание: громадное количество запасов как бы не выдерживало собственного своего обилия, собственной тяжести, — оно таило в себе новое качество, которое Даль, собирая поначалу эти запасы п р о с т о т а к (хотя и благодаря увлечению, призванию), до поры не осознал. «Пришлось призадуматься над ними и решить, хлам ли это, с которым надо развязаться, свалив его в первую сорную яму, или хлам этот ряд делу и с добрым притвором пойдет в квашню, и даст хлебы, и насытит? Просмотрев запасы свои. собиратель убедился, что в громаде сору накопилось много хлебных крупиц, которые, по русскому поверью, бросать грешно».

Это сам Даль пишет про то, как убедился, что в поле Маланья не ради гулянья, а спинушку гнет для запаса вперед. «Просматривая запасы» и «обнаружив в них много хлебных крупиц», он пока не знал, для какого «запаса вперед» гнет спинушку, однако уже чувствовал, что вот э т о впереди — нечто большое и важное.

Даль любил пересказывать притчу, которой потчевал товарищей Карп Власов, первый солдат в полку, шутник и весельчак.

Жил-был мужик, и задумал он построить мельницу. Было у него сватов и кумовьев много, он и обошел кругом, и выпросил у всякого: ты, говорит, сделай вал, а ты одно крыло, ты другое, ты веретено на шестерню, ты колесо, ты десяток кулаков, зубцов, а ты другой десяток; словом, разложил на мир по нитке, а сам норовил выткать себе холста на рубаху. Сваты да кумовья что обещали, то и сделали: принесли нашему мужику кто колесо, кто другое, кто кулак, кто веретено. Что ж? Кажись, мельница готова? Ан не тут-то было. Всяк свою работу сделал по-своему: кулаки не приходятся в гнезда, шестерня на веретено, колесо не пригнали к колесу, крылья к валу — хоть брось! А пришел к мужику старый мельник, обтесал, обделал да пригнал на место каждую штуку — пошло и дело на лад: мельница замолола, и мужик с легкой руки разжился.

Точно старый мельник из притчи, Даль разбирался в записях, подгонял одну к другой разрозненные части. Но много еще времени пройдет, пока завертятся весело мельничные крылья и золотой рекою потечет к жерновам зерно. Того дольше до прекрасной, желанной поры, когда разнесется по всему дому не сравнимый ни с чем запах свежего хлеба. Калач приестся, а хлеб никогда, — тут только не поспешить от радости преждевременной (славы ради или со страху, что до конца дела не доживешь), только не вынуть раньше прочих один хлеб из печи — не то, как в народе говорят, все хлебы испортятся, тут только не поспешить, потерпеть, погнуть спинушку — и вот оно: хлеб на стол, а стол престол!..

ЯВЛЕНИЕ КАЗАКА ЛУГАНСКОГО

1

Ехал «козак» за Дунай, навел мост через Вислу и объявился в столице Российской империи: «Определен ординатором Санкт-Петербургского военного госпиталя — 1832 года, марта 21 дня».

Про петербургский военно-сухопутный госпиталь знаем со слов Пирогова. Огромные палаты, на 60—100 человек, без доступа свежего воздуха; сырость; грязь. Повязки и компрессы перекладывали с гноящихся ран одного больного на раны другого; пропитанные гноем и

кровью зловонные тряпки складывали в ящики, стоявшие тут же в палатах, и после просушки снова пускали в дело. Воровство, по словам Пирогова, «было не ночное, а дневное». Крали лекарства из аптеки: больным отпускали бычью желчь вместо хинина, какое-то масло вместо рыбьего жира, с хирургов взыскивали за то, что тратят много йода. Крали провизию: подрядчики везли казенные продукты на квартиры к госпитальным начальникам; больные голодали. Операционной не было, оперировали прямо на койке в палате. В госпитале свирепствовала зараза — «гнилокровие», рожа и гангрена; смерть косила больных. Тяжело продираться между койками, чувствовать зябливой спиной горестную точность слова: «Та душа не жива, что по лекарям пошла», «Кто лечит, тот и увечит», «Чистый счет аптекарский — темны ночи осенние», — не здесь ли, в госпиталях адрианопольских и петербургских, родились эти пословицы?.. Даль знает и такую: «Тяжело болеть, тяжеле того над болью сидеть».

Главный доктор, действительный статский советник и кавалер Флорио делал по утрам обход: вертя на палке форменную фуражку, шел из палаты в палату, притопывая ногою, громко распевал с итальянским акцентом: «Сею, сею, Катерина!» Все болезни Флорио объявлял лихорадкой, ординаторов высмеивал и бранил матерно, больных оскорблял непристойными шутками. Не всякий, видно, наделен зябливым сердцем, не всякому ёжится, когда другим неможется. Даль ёжился, глядя на страдальцев больных, на госпитальные мерзости, на безумные выходки негодяя Флорио. Через девять лет придет в госпиталь Пирогов, закусит удила, примется все ломать, поворачивать по-своему. Но Пирогов придет сюда уже всемирно известным профессором, а Даль — рядовой ординатор («ординарный» — простой, заурядный). Да и натура, конечно: «Себе досадить, а недруга победить» — это для Пирогова: Даль ёжился, хотя, наверно, и ежи́лся, выставлял подчас иголки — отказывался писать подложные отчеты. Биографы считают, что Даля выжили из госпиталя злоупотребления, которых он оказался свидетелем, и неприятности (он вспоминал позже, что Флорио очень его не жаловал).

Однако госпиталь госпиталем, была еще медицина: наука и врачевание. За несколько месяцев жизни в столице Даль заслужил славу хорошего врача и умелого хирурга. Лучше всего у него получались глазные операции

«Глазные болезни, и в особенности операции, всегда были любимою и избранною частию моею в области врачебного искусства». Читаем письма современников: люди просят «подать надежду» на приезд доктора Даля, приезд доктора Даля «облегчит участь» больного. В письмах современников, даже литераторов, даже тех, для кого Даль — литератор, неизменно упоминается доктор Даль. «Вы, конечно, не забыли доктора Даля» — это больше, чем литератор литератору, это товарищ-литератор другу-литератору пишет: Плетнев — Жуковскому.

2

Даль на этот раз прожил в столице всего год с небольшим (июль и половину августа, кстати сказать, он в Кронштадте — временно прикреплен к тамошнему морскому лазарету), но год этот в жизни его необыкновенно важен — год поворотный (когда «какое-либо движенье изменяет свое направленье»). В этом именно году появляется рядом с Далем, соперничая с ним в известности, «некто» Луганский. По укоренившейся привычке чуть было не соскользнуло с пера: «Казак Луганский», да, спасибо, помог завалявшийся в архиве листок с перечислением «статеек» Даля[1]. От листка этого потянулась ниточка к «Северной пчеле»; в номерах 127 и 128 от 6 и 7 июня 1832 года находим большую статью Даля «Слово медика к больным и к здоровым», подписанную — «Владимир Луганский».

Статья пока еще доктора Даля — он считает нужным представиться читателям: «Прошу не забыть, что она написана медиком; медиком, сверх того, который, из любви и пристрастия к нынешнему званию своему, уже в зрелые лета посвятил себя оному и выменял саблю и эполеты на диплом Доктора Медицины, что он, хотя и был некоторым образом обманут, не нашел всего того, чего искал, — но любит звание свое...»

3

В «Северной пчеле» Даль еще не добавил к имени «Луганский» важное словцо «казак», хотя и начал статью словами: «Не слезая почти три года сряду с казацкого седла...» Прозвище это появилось четырьмя месяцами позже.

[1] ГБЛ, Пог. III, к. 4, ед. хр. 8.

От своего исконного имени Даль не откажется, но рядом с «В. Даль», «В. Д.», «В. И. Д.» заживет псевдоним. «писатель под чужим именем, подыменщик»: «В. Луганский», «К. Луганский», главное — «Казак Луганский» или «Казак Вл. Луганский» (Николай Станкевич, упомянув имя Даля в письме, считает нужным разъяснить в скобках: «Это — Казак Луганский»).

Почему-то понадобился Далю псевдоним, и почему-то захотелось объявить себя казаком — то ли оттого, что «вольный казак» — «не раб, не крепостной», оттого, что вольный — «независимый, свободный, самостоятельный», то ли оттого, что «терпи казак, атаман будешь».

О рождении Казака Луганского поведала в октябре 1832 года объемистая (двести одна страница) книга, названная по-старинному длинно: «Русские сказки, из предания народного изустного на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные казаком Владимиром Луганским. Пяток первый».

РОЗЫСК О «ПЯТКЕ ПЕРВОМ»

1

Даль, о сказке размышляя, называет ее «окрутником» — «переряженным»: «кто охоч и горазд, узнавай окрутника, кому не до него — проходи».

Говорят: «Не узнавай друга в три дня, узнай в три года». Чтобы «узнать» Далевы сказки, и трех дней не понадобится.

Молодец Иван побивает царя Дадона, который «царствовал, как медведь в лесу дубы гнет: гнет не парит, переломит не тужит!», и его «блюдолизов придворных» во главе с губернатором графом Чихирем, пяташной головой (из Далева словаря узнаем толкование имен: Дадон — «неуклюжий, нескладный, несуразный человек»; Чихирь — «беспутный пьяница, шатун и дармоед»).

«Судью правдивого» Шемяку «за хитрые увертки и проделки» посадили на воеводство: «Ах ты, окаянный Шемяка Антонович! Судья и воевода и блюститель прав-

ды русской, типун тебе на язык! Лукавый сам не соберется рассудить беспристрастней и замысловатей твоего...» По милости Шемякиной «ныне на свете все так»: «Малый хлеб ест, а крестного знамения сотворити не знает, — а большой правою крестится, а левую в чужие карманы запускает!» Само название сказки «О Шемякином суде» народу русскому за себя говорит.

Сказка «О похождениях черта-послушника Сидора Поликарповича» тоже куда как ясна. Черт спустился на землю, пошел в солдаты, «думал переиначить всю службу по-своему», да на первом же смотру «ему это отозвалось так круто и больно, что он... проклял жизнь и сбежал». Потом попал черт в матросы — «а не приноровишься никак к этой *поведенции* в морской *заведенции:* не дотянешь — бьют, перетянешь — бьют». Кончилось дело тем, что пристроился черт по письменной части, чиновником, и зажил припеваючи — «места же своего покинуть не думает, а впился и въелся так, что его уже теперь не берет ни отвар, ни присыпка». Историю Сидора Поликарповича завершает Даль пословицей: «Вот вам сказка гладка; смекай, у кого есть догадка». Особой догадки, чтобы смекать, и не требуется.

2

Историк и переводчик Комовский сообщал поэту Языкову: «Даль издает свои сказки; цензура, говорят, очень милостиво обошлась с ними». Сказки не изданы еще, лишь цензуру благополучно проскочили, а те, кто читал их в рукописи, рады и удивлены: не надеялись, что легко проскочат. «Славно!» — заканчивает свое сообщение Комовский. Позже он писал про сказки Далева «Первого пятка»: «Толкуют, будто им снова позволено будет явиться на белый свет в торжестве и славе; но мне это невероятно».

Невероятно, чтобы сказкам Даля разрешили увидеть свет, — таково мнение доброжелательного современника, а вот и не слишком доброжелательный — московский почт-директор Булгаков — ворчит: «Здесь ходили по рукам какие-то басни или сказки Луганского... Я удивляюсь, что цензура допустила печатание».

Друзья Даля радовались, что в «Пяток первый» не попала сказка «Сила Калиныч, душа горемычная, или Русский солдат ни в аду, ни в раю»[1]: «Хорошо, что не напечатана, как сначала предполагалось, сказка о Калиныче, который тузит и святых и грешных. Была б тогда возня еще и с попами. Эту сказку, позволенную также цензурою, Смирдин припасал для своего альманаха — теперь едва ли можно и думать о ней».

Не уверены, прав ли автор приведенных строк, говоря, будто цензура дозволила сказку о Силе Калиныче. Сказка эта, как явствует из письма Даля к Полевому[2], была написана еще в Дерпте, до отъезда на войну, и передана автором Языкову для доставки в «Московский телеграф», но «некоторые выражения, без дурного намерения в сказке употребленные, не допустили тиснения оной». Даль пишет затем, что выражения эти «легко можно было бы переменить, если остальное... достойно сделаться гласным». Да вот беда: остальное-то, хотя и в пересказе самого Даля, — история о том, как солдат попал в рай и «бил праведных, отгоняя их по шеям». Вряд ли такое «остальное» могло соблазнить издателя «Московского телеграфа»!..

Даль, наверно, смельчаком непреднамеренно оказался. Он сочинял многословные свои сказки (считая, что лишь перелагает народные), никак не собираясь придавать им «определенное направление». Но отзвуки подлинно народных сказок слышатся в творениях Даля. Жизнь подбрасывала ему впечатления, Даль укладывал их в свой «Пяток», не осторожничая, очевидно не полагая поначалу увидеть книгу напечатанной. Выбор тем и впечатлений, и не выбор даже, скорее то, что впечатляло, равно как характер пересказа, — это со счета не сбросишь!

Профессор словесности и цензор Никитенко, который — как и сам Даль, конечно, — ничего «крамольного» в сказках «Первого пятка» не находил («Просто милая русская болтовня о том, о сем»), объяснял: «Отними у души возможность раскрываться перед согражданами, изливать перед ними свои мысли и чувства, —

---

[1] Напечатана М Бессараб в журнале «Огонек». Автор публикации пишет: «Упоминаний об этой сказке... в архивах Даля не обнаружено» Между тем сказка упоминается и в письмах Даля, и в письмах к нему (см. рукописные фонды ПД и ГПБ). Упоминается она также в опубликованных материалах (см., например, «Лит. наследство», т. 19—21).

[2] ГПБ, ф. 124, № 1445.

это заставит ее погружаться в себя и питать там мысли суровые, мечту о лучшем порядке вещей. В смысле политическом это опасно».

3

Нашлись «охочие и гораздые», заглянули под размалеванную пословицами и прибаутками маску «окрутника», ряженого.

Директор канцелярии Третьего отделения статс-секретарь Мордвинов докладывал своему начальнику, шефу жандармов Бенкендорфу, находившемуся в Ревеле: «Наделала у нас шуму книжка, пропущенная цензурою, напечатанная и поступившая в продажу. Заглавие ее «Русские сказки Казака Луганского». Книжка напечатана самым простым слогом, вполне приспособленным для низших классов, для купцов, солдат и прислуги. В ней содержатся насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдата и проч. Я принял смелость поднести ее его величеству, который приказал арестовать сочинителя и взять его бумаги для рассмотрения».

Оставшиеся у книгопродавцев экземпляры «Русских сказок» были изъяты, «Пяток первый» в один день сделался редкостью.

Как тут не прославиться — всякому любопытно, что за книжка, что за сочинитель... Это, конечно, не навеки слава, какую принес Далю «Толковый словарь», это сиюминутная, мимоходная известность — слава («Про Казака Луганского слыхали?»), и все-таки слава; о ней пословица: «Дал денежку, а славы на рубль».

В самом деле, едва «Пяток первый» русских сказок, «на грамоту гражданскую переложенных», появился на прилавках (вернее, с прилавков исчез), мир тотчас о Казаке Луганском заговорил. Не весь мир, конечно, не «божий свет», но мир-«общество» (петербургский мир, московский), мир литературный. Не весь «божий свет», конечно, но петербургский свет, даже высший, тот, о котором Даль в словаре хорошо писал: свет — «род людской, мир, община, общество, люди вообще» и свет — «отборное, высшее общество, суетное в обычаях». Даль сразу прославился; и, надо признать, общество отборное, суетное в обычаях — «свет» — немало тому поспособствовало.

«Нашли в сказках Луганского какой-то страшный умысел против верховной власти и т. д.», — записал в дневнике Никитенко. Сам Даль потом вспоминал: «Обиделись пяташные головы, обиделись и алтынные, оскорбились и такие головы, которым цена была целая гривна без вычета». Вот она какова, денежка, обернувшаяся рублевой славою, — тоже недешева.

Даль в Третьем отделении под арестом, бумаги его взяты жандармами для рассмотрения, а книжку, «наделавшую шуму», перелистывает на предмет вынесения приговора не кто-нибудь — сам «его величество», государь император.

Никитенко мрачно пророчит: «...Люди, близкие ко двору, видят тут какой-то политический умысел. За преследованием дело не станет». Для такого пророчества особой дальновидности не требуется.

Но самое удивительное: преследований не было. Ранним утром Даля арестовали, а освободили вечером того же дня. Статс-секретарь Мордвинов утром встретил его «площадными словами», вечером же рассыпался в любезностях («Это больше всего поразило меня в тот черный день», — говаривал Даль). Более того, Бенкендорф, возвратясь из Ревеля, потребовал Даля к себе: «Я жалею об этом; при мне бы этого с вами не случилось...» Удивительная подробность: Бенкендорф перед лекарем Далем извинился! И не выдуманная, не может быть выдуманной, — Даль о ней упоминает в бумаге, предназначенной для Бенкендорфа (!).

Странная история!

4

Дочь Даля пересказывает ее крайне недостоверно, фальшь бьет в глаза, однако в дочернем пересказе штришки есть прелюбопытные: «Отца привезли в великолепную гостиницу (?)... Отец лежал (?) без сюртука (?), вдруг дверь к нему с шумом отворилась, и вошел Бенкендорф или Дубельт — не знаю (не знает: Бенкендорф — в Ревеле, Дубельт — начальник штаба корпуса жандармов с 1835-го, управляющий Третьим отделением с 1839 года. — *В. П.*), ибо, поминая об этом, отец всегда выражался «Бенкендорф — Дубельт...». И далее: «Генерал намекнул о каком-то пасквиле на императора, который ходит по городу и сочинителем которого сочли отца.

— Кто же будет моим судьей?..

— Сам государь император будет вашим судьей!

— Знаю, что он наш общий судья, но не станет же он заниматься такими пустяками.

— Да, да, пустяки!.. Так знайте же: пока вот я здесь говорю, пасквиль, в котором вас обвиняют, и сказки ваши поданы государю, и он сличает слог обоих.

— Тогда я спокоен! — воскликнул отец.

На следующее утро тот же генерал влетает с нежными восклицаниями и поздравляет отца с освобождением. «Разве вы читать не умеете, разве вы сами не могли видеть, — было написано рукой его величества (?) на поданном ему пасквиле, — что одно написано даровито, другое безграмотно».

Суд государя так тронул отца, что он всегда с особенным чувством...» и т. д.

Тошнотворно сладко, но не лишено интереса: событие иначе, нежели у остальных жизнеописателей, изложено.

5

Вот привычная схема (по-Далеву: «образец») — ее четко придерживается Мельников-Печерский: пресловутый Фаддей Булгарин нашел сказки Даля «грязными, неприличными и свое усердие о приличиях простер за приличную черту» (пересказываем биографический очерк Мельникова-Печерского); Даль был арестован; он «и сам не знал, как об этом проведали Жуковский, бывший уже тогда воспитателем государя наследника, и находившийся тогда в Петербурге дерптский профессор Паррот... И Жуковский и Паррот ходатайствовали пред государем о Дале. Жуковский объяснил, что слова сказки, навлекшие беду на автора, выражают вовсе не то, что о них доложили. Вечером того же дня Даля освободили из-под ареста...».

Привычный образец кажется надежным необыкновенно; оттого и надежен, что привычен: Булгарин — доносчик, Жуковский — ходатай.

Правда, Мельников-Печерский ссылается на Даля, но ведь через сорок-то лет старик мог кое-что и запамятовать, а кое-что мог и не пожелать вспомнить — в биографическом очерке Мельникова-Печерского (хотя он и со слов Даля) много пробелов (и подчас в «острых» местах); похоже, Даль помогал Мельникову «творить» свою биографию.

У Мельникова-Печерского дело так представлено, что Булгариным «в одной из Далевых сказок некоторые выражения перетолкованы в дурную сторону» и что Жуковский «слова сказки, навлекшие беду на автора», как бы заново перетолковал.

С той же невинно-недоуменной интонацией писал о происшествии Я. К. Грот: «Сказки были задержаны за несколько превратно истолкованных слов».

Но Мордвинов-то, директор канцелярии Третьего отделения, не выражениями («некоторыми выражениями», «несколькими словами») разгневан, а духом сказок: «...насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдата и проч.» (здесь очень важно это «и проч.», то есть вообще, вообще насмешки и жалобы); Мордвинов слогом сказок разгневан — «самым простым, вполне приспособленным для низших классов».

Слог тоже проступок, преступление. За семь месяцев до Далевых сказок была представлена царю и также запрещена другая книга («Двенадцать спящих бутошников»). Бенкендорф отмечал: «Будучи написана самым простонародным площадным языком, она приноровлена к грубым понятиям низшего класса людей». Слог тоже проступок, современники Даля это знали. Друг Пушкина, поэт и критик Плетнев писал: в книге Даля «что-то нашли непозволительное или слишком простонародное»[1]; то есть для Плетнева «непозволительное» равно «слишком простонародному», и каждое само по себе есть проступок, преступление, причина для запрета книги, а Мордвинов обнаружил в Далевых сказках и то и другое.

6

В докладе Бенкендорфу директор канцелярии Третьего отделения поставил «Русские сказки» Даля в одном ряду с «отвратительными известиями из Варшавы», с «опасным настроением умов в Новгородских военных поселениях» и тотчас за сообщением о «революционной книжечке или прокламации», которую неизвестный человек бросил в темноте солдату, находившемуся в карауле у Екатерининского института. Неизвестного, несмотря на приказ государя, найти не удалось, — не оттого ли спешил Мордвинов подсунуть царю (взамен?!) «нашумевшую» книжку Даля? И не отсюда ли в воспоминаниях дочки (она ведь тоже с чьих-то, скорее всего отцовских,

[1] Разрядка наша. — *В. П.*

слов вспоминает) появился путаный рассказ о каком-то пасквиле, с которым якобы царь лично сопоставлял Далевы «Русские сказки», — не с той ли «книжечкой или прокламацией» сопоставлял? Слово же «пасквиль» потому всплыть могло, что Даля царю пасквилянтом представляли (как «доказательство» на случай обвинения).

Как бы там ни было, пасквиль и сказки в жандармских бумагах о Дале, в мыслях жандармских о нем будут отныне рядом; восемь лет спустя Бенкендорф напишет министру внутренних дел: «Из имеющихся в 3-м отделении собственной его величества канцелярии сведений видно, что... Даль... сочинил книгу под названием «Русские сказки Казака Владимира Луганского», в которой помещено было столько предосудительных мест, клонившихся к внушению презрения к правительству и к возбуждению нижних военных чинов к ропоту... Сверх того известно мне, что Даль был под судом по случаю павшего на него сильного подозрения в сочинении им одного пасквиля...»

У Мордвинова в докладе — «насмешки над правительством», здесь — «презрение к правительству»; там — «жалобы на горестное положение солдата», здесь — «возбуждение нижних военных чинов к ропоту». А ведь восемь лет прошло!..

7

Письмо-доклад Мордвинова к Бенкендорфу (что книжка Даля «шуму наделала») датировано 7 октября. Никитенко отмечает, что при дворе нашли в книжке крамолу значительно позже — 26 октября, причем отмечает не как давно прошедшее, а как новость — «за преследованием дело не станет». Комовский рассказывает Языкову о злоключениях и аресте Даля — 8 ноября. Недоброжелатель (Булгаков) ворчит того позже — 27 ноября (но уже как о деле прошедшем). Наконец, приятель Даля, профессор Петр Александрович Плетнев, тихий, благонамеренный Плетнев, до поры «бесстрашно» приводит в лекциях пословицы из «Пятка первого»; сообщая же другу о происшествии с книгой (ну Плетнев-то явно запамятовал), пишет, что произошло оно «перед Рождеством». Скорей всего письмо Мордвинова датировано неверно. Могла быть описка, опечатка при публикации. Не точнее ли датировать письмо 27 октября?..

Для нас даты не только сами по себе любопытны — они нарушают привычный «образец».

17, 18 и 19 октября, в трех номерах подряд, о «Русских сказках» Даля сообщала булгаринская «Северная пчела».

Сначала читаем «Письмо в Дерпт», помеченное 9 октября. Автор письма, спрятавшийся под буквой N, сообщает, между прочим, дерптскому другу: «Надеюсь прислать тебе на следующей неделе Русские Сказки Казака Луганского, оригинальные и необыкновенно замысловатые: они оканчиваются печатанием». Известно, что Булгарин проводил значительную часть времени в Дерпте (у него вблизи города была дача); если предположить, что N — это друг и соиздатель Булгарина по «Северной пчеле» Николай Греч[1] и что письмо не только литературный прием, то у Булгарина — алиби. Если же письмо — прием, выдумка, то трудно представить себе, что, зная мнение Мордвинова («насмешки над правительством» и проч.) и не зная окончательного решения дела, Булгарин вылез бы в своей газете с заблаговременной похвалой еще не вышедшей книге. Еще не вышедшей — сказки «оканчиваются печатанием», — сообщает «Северная пчела» 17 октября (правда, с пометкой «9 октября»). В письме же Мордвинова к Бенкендорфу от 7 (?) октября (какая странность!) говорится, что книга не только напечатана, но и поступила в продажу.

18-го и 19-го «Северная пчела» дает «Русским сказкам» Даля оценку восторженную: «В Сказках Казака В. Луганского находим мы воображение живое и творящее... Все это украшено, без излишества и натяжки, пословицами, поговорками, шутками и прибаутками истинно Русскими... Содержание всех сих Сказок весьма заманчиво, по большей части забавно; и конечно, многие прочтут их, не отставая от книги, как сие случилось с Рецензентом». И не просто оценку восторженную, в ней и надежда: «Сказки Казака Луганского, верно, разлакомят многих любителей чтения, которые, вместе с Рецензентом, пожелают скорого появления следующих пятков». И не просто надежда в ней, того больше — реклама: «Продается: в С. П. Б. у А. Ф. Смирдина; в Москве у А. С. Ширяева; в Туле у г. Титова; в Киеве у г. Лапиц-

[1] В 1860 году Даль благодарил Н. Греча за «руку помощи»: «Вы подали мне ее в самом начале моего письменного поприща...» (ГПБ, ф. 874, оп. 2, № 188).

кого; в Одессе у г. Клочкова». Знаем, что лобзание Булгарина оборачивалось иной раз поцелуем Иуды, но за десять дней до того, как бежать с доносом, воспевать и рекламировать книгу, которую хулить собрался, воспевать, не ведая, каков будет приговор? Сомнительно!.. Когда сыр-бор разгорелся, Булгарин, возможно, свое словечко тоже вымолвил (тем более что успел прежде времени «крамольную книжку» воспеть), но чтобы сыр-бор по доносу Булгарина разгорелся — сомнительно!..

И еще, кстати: Даль был человек осторожный, но имеем ли право предположить, что переосторожничал в ущерб своему достоинству (по собственному его объяснению — тому, «чего стоит человек»)? Мог ли Даль, зная, что страдает по извету («по указанию») Булгарина, печатать статьи в газете его? Даль (по свидетельству Мельникова-Печерского) знал и — или но — печатал: уже в 1833 году, еще года не прошло (первая же статья из Оренбурга), и в 1834-м, и в 1835-м.

«Непричастность» Булгарина к «шуму» вокруг «Первого пятка» только «придает весу» Далевой книжке. «Пяташные» головы, «алтынные» и такие, «которым цена была целая гривна», увидели в сказках Даля «страшный», «политический» умысел. Не просто донос, не превратно перетолкованное слово — книжка вообще показалась запретной.

8

Свобода была возвращена Далю «благодаря предстательству нескольких хорошо знавших его лиц (особливо Жуковского)», — повторяет даже приятель Даля, обстоятельный академик Грот.

Но про запрещение Далевых сказок Жуковский узнал с большим опозданием из письма Плетнева: за четыре месяца до появления книги, именно 18 июня 1832 года, поэт отбыл в заграничное путешествие, откуда возвратился лишь через пятнадцать месяцев, в сентябре 1833 года. Впрочем, если бы Жуковский и остался в России, он ненадежный «предстатель» («ходатай, защитник и заступник»). В феврале того же 1832 года был закрыт журнал И. В. Киреевского «Европеец»; когда Жуковский сказал царю, что ручается за Киреевского, Николай Павлович возразил: «А за тебя кто поручится?» Жуковского подозревали в принадлежности к «либеральной русской партии», он писал царю, что «не либерал», что «привязан

к законности и порядку». Эти события — одна из причин отъезда поэта за границу.

Другим «ходатаем» за Даля называют «дерптского профессора» Паррота. Иногда ему присваивают титул ректора Дерптского университета. Все вроде бы правильно: Георг Фридрих Паррот был и профессором, и (четверть века подряд) ректором Дерптского университета, но до 1826 года, до того самого года, когда Даль приехал в Дерпт. Правда, сын Паррота, Иоганн Фридрих, занимал в университете кафедру физики и был одним из учителей Даля; правда, старик наезжал к сыну в Дерпт из Петербурга и мог встречаться с Далем (в гостиной Мойера хотя бы), но чтобы к царю просить помчался — сомнительно! Да и о чем просить? Доказывать, что в книге, где «нашли страшный умысел против верховной власти», ничего «дурного» нет?.. Было время, Паррот (по словам историка-биографа) «шел прямо в государев кабинет, где по целым часам оставался наедине с царственным хозяином» (то есть Александром Первым). Но затем «хозяин кабинета» охладел к «ученому другу»; при Николае Павловиче отношения Паррота с царем «окончательно потеряли дружеский и сердечный характер». Кто знает, возможно, Паррот и предпринял что-либо в пользу Даля, но чтобы это были решительные и решающие меры — сомнительно!..

Тут скорее приятель Паррота, князь Ливен, мог прийти на выручку попавшему в беду сочинителю. До 1828 года (то есть почти все время, пока Даль в университете учился) Ливен был попечителем Дерптского учебного округа, а затем (до 1833 года) — министром народного просвещения. К Далю министр относился, кажется, доброжелательно; Мельников-Печерский и некоторые мемуаристы указывают, будто Ливен собирался назначить Даля в Дерптский университет на кафедру русской словесности (именно так: лекаря на кафедру словесности), причем вместо диссертации на степень доктора филологии предполагал засчитать злополучные «Русские сказки». Это важное обстоятельство: коли так, министру приходилось защищать книгу.

9

И все-таки главным заступником Казака Луганского был, наверно, отставной флота лейтенант и доктор медицины Владимир Даль. Вспомним: «Когда император

Николай Павлович из донесения главнокомандующего князя Паскевича, основанного на рапорте генерала Ридигера, узнал о подвиге Даля, он наградил его Владимирским крестом с бантом». Историки утверждают: «Николай относился к Паскевичу не только с большим уважением, но был привязан к нему и постоянно называл его своим «отцом-командиром»; да и сам Николай говорил о своем сыновнем чувстве к Паскевичу. Историки утверждают также: «Николай Первый был в восхищении от искусных военных распоряжений Ридигера и его эволюций». Паскевич и Ридигер были государю подороже мечтательных поэтов и ученых менторов.

Сохранилось «свидетельство о В. Дале», подписанное в январе 1832 года генерал-адъютантом (то есть в свите царской был) и генералом от кавалерии Ридигером, — свидетельство, где «особенная ревность по службе и способности» Даля отмечены и все подвиги его при наведении и разрушении моста подробно описаны. Император Николай Павлович мост через Вислу запомнил. Кажется, этот мост и вывел Даля из Третьего отделения. Государю, похоже, вся эта история с мостом нравилась.

Следующей после сказок вышла книжка Даля «Описание моста через Вислу»; когда некий генерал-майор хотел Далю печатно в чем-то возразить, ему, г е н е р а л у, было сие запрещено.

Уже п о с л е «истории со сказками» Даль был «за труды, понесенные в минувшую Польскую с мятежниками войну, Всемилостивейше пожалован бриллиантовым перстнем с аметистом».

Историк Комовский объясняет Языкову: «Даля спасли, без сомнения, его нелитературные подвиги в Турции и Польше, известные государю; а цензору — бедняку миролюбивому — нагоняй!» Здесь особенно последние слова интересны — про «цензора миролюбивого»: не тем, значит, дело кончилось, что государю правильно сказки «перетолковали»; Даля простили за «нелитературные подвиги», а цензора — нет: подвигов «нелитературных» у цензора не было. Даль спасся не оттого, что был правильно истолкован, — о н п р о щ е н был, п о м и л о в а н за «особенную ревность по службе», «за труды, понесенные...».

Не понят, а помилован — в Далевой объяснительной записке 1841 года это в каждой строчке сквозит. «Прибыв в Петербург, я издал в 1832 году пять народных сказок, причем имел в виду и с к л ю ч и т е л ь н о о б р а б о т к у я з ы к а нашего в народном духе. Сказки эти навлекли на себя неудовольствие правительства и были запрещены. Но статс-секретарь Мордвинов объявил мне в то же время, высочайшим государя императора именем, что «случай этот не будет иметь никаких вредных последствий и влияния на будущность мою, и что хорошая служба моя во время восстания в Польше его императорскому величеству известна...» Когда Бенкендорф снова вытащил на свет «историю со сказками», Даль напоминает властям про царское обещание. И на всякий случай прибавляет, что сказки его противостоят «лжемудрым суждениям и умствованиям нынешнего веку».

Полюбившаяся мемуаристам «сцена извинения» Бенкендорфа — тоже помилование, прощение Даля, никакого «раскаяния» шефа жандармов, никаких «извинений»: «Граф А. Х. Бенкендорф, возвратившись из поездки своей в Ревель, потребовал меня к себе, удостоил нескольких приветливых, ободрительных слов в том же смысле и присовокупил: «Я жалею об этом, при мне бы этого с вами не случилось».

«Несколько приветливых, ободрительных слов в том же смысле», то есть что на будущность Даля случай этот вредных последствий иметь не будет; Бенкендорф его, Даля, ободрить изволил: за царем служба не пропадает. Что же до последних слов — «при мне бы этого с вами не случилось», — то неизвестно, имел ли в виду шеф жандармов слишком скоропалительный арест и грубость («встретили площадными словами») или то, о чем писал один из современников: Бенкендорф «мог помешать заранее» печатанию сказок.

Царь помиловал Д а л я, а н е с к а з к и Казака Луганского.

ПИСАТЕЛЬ В. ДАЛЬ

1

Через несколько лет в серьезной статье Даль объяснит по-новому смысл издания своих сказок: «Но цели, намерения его[1] не понял никто... Не сказки по себе были ему

[1] То есть сочинителя сказок. Даль пишет о себе в третьем лице. — *В. П.*

важны, а русское слово, которое у нас в таком загоне, что ему нельзя было показаться в люди без особого предлога и повода — и сказка послужила предлогом. Писатель задал себе задачу познакомить земляков своих сколько-нибудь с народным языком, с говором, которому открывался такой вольный разгул и широкий простор в народной сказке».

Нельзя сказать, чтобы Даль справился полностью с задачей своей, хотя народных слов в его сказках хоть отбавляй, а пословицы ожерелками нанизаны одна к другой. Но сюжетов Даль не умел (и никогда не научится) придумывать, язык же от излишней тороватости (Даль щедро сыплет из мешков накопленные запасы), от неумеренного желания казаться народным нередко сложен и затейлив.

Даль придумал своим сказкам честный заголовок — «...на грамоту гражданскую переложенные, к быту житейскому приноровленные и поговорками ходячими разукрашенные»... «Переложенные» — «приноровленные» — «разукрашенные» — определения означают, что хоть «Русские сказки», но не народные, а, как тогда выражались, *на манер* народных; «на манер» — всегда хуже, чем подлинное.

Точнее всех, пожалуй, и хотя жестко (жестоко?), зато беспристрастно оценил Далевы сказки Белинский. В шуме, поднятом вокруг «Первого пятка», он услышал разные голоса, острая и бурная известность книги (та, что от запрета, от ареста) не помешала Белинскому книгу *по-своему* прочитать: «Сколько шуму произвело появление Казака Луганского!.. Между тем как это просто балагур... Вся его гениальность состоит в том, что он умеет кстати употреблять выражения, взятые из русских сказок; но творчества у него нет и не бывало; ибо уже одна его замашка переделывать на свой лад народные сказки достаточно показывает, что искусство не его дело»...

С годами Даль сделается мудрее и бережливее, перестанет выделывать сказки «на манер»: сперва признает, что если бы он «вздумал когда-нибудь издать собрание русских сказок, то, конечно, написал бы их гораздо проще и незатейливее» (однако здесь еще несоответствие: «вздумал издать» и «написал бы»), потом он от этого «написал бы» вовсе откажется.

2

Однако, как говаривал Даль, «вперед людей не забегай, а от людей не отставай», вернемся к тем дням в жизни нашего героя, когда (опять же по словам его) «взялись русские сказки, за которые и похвалили и побранили писателя, погладили по голове и просили садиться, между тем как другие просили его ходить и жаловать только на задний двор».

Но вот ведь что любопытно и, пожалуй, забавно: двумя годами раньше тихо, без шуму, родился почти не замеченный писатель В. Даль. Именно так — «В. Даль» — была подписана напечатанная в ноябрьских номерах «Московского телеграфа» за 1830 год повесть «Цыганка». Событие это оттого и любопытно, оттого и забавно, что прошло тихо и незаметно, тогда как именно в «Цыганке» заложены — еще не проросшие, в семечке еще — те черты литературного дарования, которые принесли известность и писателю Далю, и писателю Луганскому, как бы он ни подписывался.

«Цыганка» населена боярами молдавскими в шапках с пивной котел и оборванными мальчишками в красных фесках, кучерами в цветных шубах с кистями, стражниками-арнаутами, одетыми по-турецки, но с белым крестом из полотенец на груди, бродячими кузнецами в изодранной рубахе и шароварах, перепоясанных широким ремнем, украшенным медными бляхами. В «Цыганке» ездят на арбах и каруцах («первые поражают неуклюжею огромностию своею и тяжелыми дубовыми колесами на тонких буковых осях, которые никогда не смазываются и потому ревут несносно; вторые, каруцы, собственно почтовый экипаж, перекладные, бывают полтора аршина длины и едва ли не более вышины от земли... вы садитесь, согнув ноги или подвернув их под себя, ямщик верхом на левой коренной, и четверка с выносом мчит вас через пень, через колоду...»). В «Цыганке» по дорогам куют лошадей на походной наковаленке (цыганы-кузнецы носят ее в кожаном мешке за плечами); путешественник проезжает городки — «узенькие, досками мощенные улицы; неправильность и вольность постройки беспримерные, смесь азиятского и европейского вкуса; кровли с навесами, — подставки, подпорки на каждому шагу». В «Цыганке» на улицах торгуют шербетом, «коего фонтанчики бьют на деревянных, выкрашенных станках и

искусно повертывают собою поставленные на шпильке жестяные куклы, к ногам коих еще навешивают пуговки и побрякушки, ударяющие в расставленные вокруг стаканы», а в домах подают кофе «в черном кофейнике, в котором варят его с особенною сноровкою и искусством, густой, рыжеватый и крепкий», пьют его «из маленьких чашечек, не употребляя никогда блюдечек, — для нас иногда подают сахару, но сливок никогда». В «Цыганке» услаждают слух возлюбленной игрою на двух, квартою или-квинтою взаимно настроенных варганах (варган — не орган и не органчик губной, но «железная полоска, согнутая лирой, со вставленным вдоль посредине стальным язычком») — звуки варгана тихи, однообразны и приятны. «Цыганка» до краев заполнена этнографией — «описаньем быта, нрава и обычая народа», заполнена «народоописаньем», бытоописаньем, обычаеописаньем, но заполнена пока описаньем народа, быта и обычаев, мало знакомых читателю русскому.

Даль этого направления никогда не оставит — знакомить русских с жизнью иных народов. В рассказах и повестях его встречают читатели украинцев, башкир, казахов, лезгин, сербов и прекрасную болгарку, которая идет по излучистым тропинкам вдоль виноградника и, держа в руках небольшое веретено, прядет на ходу шерсть. Даль этого не оставит и тем самым слово свое в отечественной словесности скажет, но, слово это говоря, он видит необычное, особое, исключительное — такое, что не увидеть трудно; он тому удивляется, чему туляк, или нижегородец, или пензенец не удивиться не может, тому, что непривычно и оттого колоритно (Даль толкует реченье только как живописное, но и в этом толковании — «яркий красками» — оно нам подходит). «Цыганка» привлекает густым, колоритным описанием быта, нрава и обычаев народа, однако народа чужого и уже оттого для русского глаза колоритного. С годами (и скоро!) взгляд Даля сделается острее и метче — и не в молдавском городке, не в болгарской деревне, но во всяком селе — тульском, нижегородском или пензенском — обнаружит он свою «этнографию» («народообычье»), найдет множество ярких красками подробностей быта и нрава, удивится им, как чуду, и будет отмечен Белинским за великолепное знание «малейших подробностей» этих.

3

Даль и сам не понимал вполне достоинств своей «Цыганки»: обращаясь к издателю «Московского телеграфа» Полевому, он все старается сказки пристроить («восхитительные порывы свои») и лишь походя, на худой конец, предлагает издателю «быль» — «Цыганку».

«Базар цену скажет» — еще не приспела пора таких повестей. Правда, Полевой в обзоре журнала назвал повесть «превосходным сочинением», а несколькими годами спустя Плетнев писал Жуковскому, что «Цыганка» Даля «очень замечательна» — «у него оригинальный ум и талант решительный»; и Кюхельбекер, заточенный в крепость, прочитав с понятным опозданием «Московский телеграф», в дневнике отметил: «... Повесть Даля «Цыганка» (в «Телеграфе») не без достоинства, особенно хороши главные два лица».

Но еще не вызрел в обществе, в читающей публике необходимый и острый интерес к подробностям народного быта и нравов, к подробностям, которыми щедро уснащена Далева повесть и которые от щедрости этой придают рассказу некоторую вялость и растянутость. «Цыганка» вышла той же осенью, когда Пушкин писал свои «Повести Белкина», — она, «Цыганка», примерно равна по объему «Станционному смотрителю», «Выстрелу» и «Метели», вместе взятым, а много ли в ней сказано-то, если отбросить эти щедрые описания быта и нравов?.. Оттого для общества, для читающей публики рождение писателя В. Даля или К. Луганского (как бы он ни подписывался) — «переложенные», «приноровленные» и «разукрашенные» русские сказки, а не «Цыганка» с ее «этнографией», с «народоописанием» ее.

4

Удивительна и почти таинственна скорость, с которой в злополучном и счастливом 1832 году родился писатель Казак Луганский (В. Даль). Ибо рождение писателя есть не только выход книги в свет, но и признание, почитание человека писателем — Даль же был признан писателем необыкновенно скоро.

Заглянем в формуляр: Даль определен ординатором Санкт-Петербургского военного госпиталя 21 марта

1832 года (к этому времени напечатана лишь «Цыганка»), 6 мая 1833 года он определен чиновником для особых поручений к оренбургскому военному губернатору (к «Цыганке» прибавился лишь нашумевший «Пяток первый» сказок), но Даль (ничего, по существу, кроме незамеченной повести и конфискованной книги не издавший), как свидетельствуют сохранившиеся письма, уезжает в Оренбург уже известным литератором. И что интересно, хотя и не удивительно: поскольку труды его широко не разошлись, он уезжает в Оренбург литератором, известным именно не читателю (пока не читателю!), но собратьям по перу — литераторам. Уезжает добрым знакомым Пушкина, Плетнева, Одоевского, Погорельского, желанным автором многих журналов и газет.

Академик-филолог Я. К. Грот вспоминает: «Имя Даля, как и псевдоним его Казак Луганский, было у нас, начиная с 30-х годов, одним из самых популярных, с самого появления в литературе известность его быстро распространилась, благодаря, между прочим, неожиданному запрещению, которому подверглись изданные им в 1832 году сказки...» Но одновременно Грот вспоминает, что Даля в те годы можно было встретить в петербургских домах, где любили русскую литературу, и не просто встретить в уголке сидящим или у стены стоящим, но увидеть его, так сказать, в центре внимания: «Даль обладал... талантом забавно рассказывать с мимикою смешные анекдоты, подражая местным говорам, пересыпая рассказ поговорками, пословицами, прибаутками». Видимо, талант этот имея в виду, Гоголь просил приятельницу заставлять Даля «рассказывать о быте крестьян в разных губерниях России». В приведенных двух свидетельствах, выбранных из других подобных, отметим слово «рассказывать». Даль в столичном обществе быстро стал известным рассказчиком и по этому таланту (Даль бы предпочел: «дарованию») — по дарованию рассказчика, автора устных рассказов, признан был литератором.

Рассказывать, толкует Даль, — «передать в беседе, объявить, поведать, повествовать, подробно сказать словами, устно»; и добавляет: «иногда говорят и о письменном». Слова «литератор» и «писатель» Даль объясняет: «сочинитель», «сочинять» же значит «изобретать, вымышлять, творить умственно, производить духом, силою воображенья». И все это надо бы связать, стянуть в один узел — «Без узла и в сорок сажен вервь порвется»,— и все это можно связать: наверно, не только за то ценили в обществе Даля и почитали хорошим рассказчиком, что умел, по словам Грота, рассказывать «забавно», но и за то (и это Гоголю дорого), что было ему что рассказывать — Даль не просто хорошим рассказчиком был, но рассказчиком хороших рассказов, он творил умственно, силою воображенья, он сочинителем был (литератором!). Сочинение есть не один вымысел, но силою воображенья, словно резцом обточенный, обработанный жизненный материал, или, как говорилось уже со ссылкой на Даля, «припас, заготовленный для обработки письменной» или устной, добавим, когда речь идет о проявлении творческого духа, когда о сочинении речь идет. Припасов же у Даля накопилось хоть отбавляй; ведь он, Даль, и в Белоруссии бывал, и в Малороссии, и в Новороссии, и в Молдавии, и в Крыму, и на Висле, и за Балканами; он и в столице бывал, и в губернском городе, и в уездном городишке, и в селе, и в деревеньке — «Три кола вбито да небом покрыто»; он на суше бывал и на море, в армии и на флоте, и в солдатской палатке, и в матросском кубрике, и в студенческой аудитории, и в пропахшей смоленым деревом мастерской, и на бесконечных бывал колдобинами изрытых российских дорогах, — он много где успел побывать, наш Даль, он был человек бывалый, из тех, кому, по собственному его признанию, «не в диковинку, о чем идет речь». Скоро Белинский, читая Даля, начнет превозносить именно бывалость автора, но, видно, современники сумели оценить бывалость устных, не записанных еще, не закрепленных на бумаге рассказов его, и потому за какие-то месяцы он, лишь начинающий на поприще изящной словесности, был, однако, причислен лучшими представителями ее к сонму литераторов, и потому довольно оказалось одной лишь нашумевшей книжки, чтобы собратья по искусству связали с ним немалые и по-своему оправданные им надежды.



ПУШКИН

...Перстень Пушкина, который звал он — не знаю почему — талисманом, для меня теперь настоящий талисман... Как гляну на него, так и пробежит во мне искорка с ног до головы, и хочется приняться за что-нибудь порядочное.

В. Даль — В. Одоевскому.
5 апреля 1837 года.

Был я у друга, пил я воду слаще меду.

Пословица

«НО ПОСТИГАЮ ЕГО ЧУВСТВОМ...»

1

О прошлом размышляя, мы нередко (для себя незаметно, бессознательно) в снежном поле памяти расставляем приметные вехи («значковые шесты», по Далеву объяснению): вехи бывают нужны во времени, как в пространстве. Дата — несколько цифр, в строку написанных, — для неисторика, незнатока бесцветная, но поставь ее рядом, соотнеси с известным знаком, с вехой — и бесцветная дата заиграет алмазом. Год 1814-й (Даля привезли в Морской корпус), соотнесенный с 1812 годом, вызывает в памяти и белые палатки казаков на парижских

бульварах, и определенное настроение русского общества, народа; начало 1826 года (Даль оставляет морскую службу и едет в Дерпт) ощущается иначе, едва вспоминаешь декабрь 1825-го. 1812, 1825, 1848, 1861-й — это и для неисторика, и для незнатока не цифры в строку — даты. Даты-вехи. «Грамоте не знает, а цыфирь твердит»: 1812 или 1825 — «цыфирь», которую затвердили и те, кто «грамоте не знает»; эта «цыфирь» живет в людях.

Пушкин говорил Далю про Петра Великого: «Я еще не мог доселе постичь и обнять вдруг умом этого исполина: он слишком огромен для нас, близоруких, и мы стоим еще к нему близко — надо отодвинуться на два века, — но постигаю его чувством...» Как Пушкин возле Петра, так Даль, и не один Даль, — поколение, пора, время, век (у Даля в словаре: век — срок жизни; столетие; время, замечательное чем-либо), пушкинская пора, пушкинский век, возле Пушкина прожили, — не обнимая вдруг умом, но постигая чувством. «Его имя уже имело в себе что-то электрическое», — писал Гоголь. Мы зорче, мы на полтора столетия отодвинулись, мы уже не только «возле», уже и он в нас (хотя, конечно, всего обнять умом не сумели), — Пушкин живет в нас, как «1812», как «1825», как век, пора, эпоха; события и даты пушкинской жизни широко известны — затвержены и постигнуты чувством: стали вехами во времени.

И жизнь Даля до встречи с Пушкиным — годы «рождения» — можно (для лучшего нашего уразумения — вехи во времени!) с жизнью Пушкина соотнести (недаром — «пушкинская пора»!); тридцать лет жизни Даля можно тридцатью годами пушкинской жизни поверить («поверить» — здесь не «верить» и не «проверить», но «сверить»), с этими тридцатью пушкинскими годами сверить.

2

Долговязого подростка привезли в Петербург, в кадетский корпус, — неподалеку от столицы бродил по царскосельскому парку привезенный сюда из Москвы юноша низкорослый, «живой, курчавый, быстроглазый»; оба (как ни смешно — оба!) бормотали стихи (впрочем, долговязый умел строить модели кораблей, решал задачи по инженерному делу, был исполнителен и прилежен;

низкорослый, по отзывам воспитателей, был «легкомыслен, ветрен, неопрятен, нерадив» и имел «особенную страсть к поэзии»). Потом они жили рядом, на юге, куда одного послали служить, другого сослали; этот «другой» смотрел с надеждой и мечтой на далекие белые паруса, под которыми маялся от морской службы и болезни морской тот «один». Оба слышали шум одного моря. Они могли встретиться в Крыму, в Одессе, наконец — в Николаеве, который Пушкин проезжал. Оба (по-разному) не поладили с начальством, и оба за то поплатились: один — военным судом, другой — новой ссылкой (31 июля 1824 года, через несколько дней после того, как Даль вынужденно, тоже словно в ссылку, отправился дослуживать на Балтику, Пушкин проследовал через Николаев по дороге из Одессы в Михайловское). В Дерпте круг Даля — люди, близкие к Пушкину, которые навещали его или с ним переписывались. Потом оба отправились на разные театры одной войны (подобно военному лекарю Далю, который, покинув обоз, догонял верхом передовой казачий отряд и в его рядах преследовал неприятеля, поэт Пушкин при внезапной неприятельской атаке в долине Инжа-Су «выскочил из ставки, сел на лошадь и мгновенно очутился на аванпостах»). На войне Даль подружился с Вельтманом, Пушкин и Вельтман встречались в Кишиневе, не может быть, чтобы Вельтман Далю о Пушкине не рассказывал: в 1829 году, когда шла война, Пушкин — уже «солнце русской поэзии», главное же — интерес к нему у Даля очень велик. Сохранилась записка Даля о поединках Пушкина, в ней подробно описана кишиневская дуэль с полковником Старовым; Даль объясняет, что слышал историю «от людей, бывших в то время на месте». После войны Даль и сам оказался в Бессарабии, привез оттуда «Цыганку» (как Пушкин некогда замысел «Цыган» оттуда привез). «Цыганка» — первый шаг Даля в большую литературу — написана в 1830 году: автор повести в Бессарабии и в Каменец-Подольске воюет с той самой холерой, которая заперла Пушкина в нижегородской вотчине, подарила нам болдинскую осень.

3

18 марта 1832 года Пушкин, гуляя по Невскому, купил альбом, вывел заголовок «Исторические записки А. О. С. ***»; под заголовком он записал стихи «В тревоге пестрой и бесплодной»; поэт преподнес альбом Александре Осиповне Смирновой (Россет): «Вы так хорошо рассказываете, что должны писать свои Записки». 21 марта 1832 года доктор Даль определен ординатором Санкт-Петербургского военно-сухопутного госпиталя; скоро он станет известен в столице как человек бывалый и отменный рассказчик. И до тех и до других Пушкин был великий охотник — не одной Смирновой он альбом подарил: меньше чем за год до смерти подарил актеру Щепкину тетрадь, чтобы писал воспоминания, которых начальные строки сам и набросал; и друга своего Нащокина Павла Воиновича побуждал писать записки; и огорчался, что Грибоедов не оставил своих записок («Замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны...»); и уже готовые записки «кавалерист-девицы» Надежды Дуровой встретил восторженно и напечатал в своем «Современнике»; и брата Дуровой, Василия, с которым встречался в 1829 году на Кавказе, прекрасного рассказчика, заставлял без конца вспоминать свои приключения; и каких-то бывалых людей из нащокинских «челядинцев» (по слову Пушкина — «сволочь»), какого-то «актера, игравшего вторых любовников, ныне разбитого параличом и совершенно одуревшего», или монаха из евреев-выкрестов, обвешанного веригами, он готов слушать, они смешат его до упаду, — до бывалого человека, до хорошего рассказчика Пушкин был охоч чрезвычайно.

4

Но такое «охоч» — это лишь к Далю интерес, к личности его; у Пушкина же шире — к делу Далеву интерес, охота «Изучение старинных песен, сказок и т. п. необходимо для совершенного знания свойств русского языка» — это Пушкин еще прежде Даля высказал, до того как Даль объяснял свой опыт со сказками, говоря, что «не сказки по себе ему важны, а русское слово...». Пушкин еще прежде Даля записывал сказки, не приноравливая, не разукрашивая; он записывал и песни на ярмарке в Святогорском монастыре — «рубаха красная, не брит, не стрижен, чудно так, палка железная в руках; придет народ, тут гулянье, а он сядет наземь, соберет к себе нищих, слепцов, они ему песни поют, сказки сказывают». Потом он в Болдине собирал песни для Кире-

евского, и не просто собирал, но, сличая с напечатанными, приводил «в порядок и сообразность». Был какой-то пакет с собственноручно записанными Пушкиным пословицами и поговорками, — время сохранило о нем лишь предание. Предание сохранило рассказ об «одном пожилом человеке, не принадлежащем к обществу Пушкина, но любимом им за прибаутки, присказки, народные шутки. Он имел право входа к Пушкину во всякое время...» (У Даля позже такой старик тоже был — солдат-сказочник Сафонов, — он к Далю, начальнику канцелярии министра, в любое время являлся.) Но вот и не преданье: в столе у Пушкина припрятана «Сказка о попе и о работнике его Балде», и начатая «Сказка о медведихе» («Как весенней теплою порою»), и запрещенные государем «Песни о Стеньке Разине»: «...при всем своем поэтическом достоинстве, по содержанию своему не приличны к напечатанию. Сверх того, церковь проклинает Разина, равно как и Пугачева». «Сказка о царе Салтане» была в 1832 году как раз напечатана.

5

Даль точно обозначил время своего знакомства с Пушкиным: «Это было именно в 1832 году, когда я, по окончании турецкого и польского походов, приехал в столицу и напечатал первые опыты свои». Он и Бартеневу спустя много лет (а именно 17 января 1860 года) то же говорил: «Познакомился с Пушкиным 1832 в Спб. Жуковский долго хотел поехать с ним вместе к Пушкину, но ему было все некогда. Даль взял свою новую книжку и пошел сам представиться»[1]. Повод для знакомства — «первые опыты», «новая книжка», иначе говоря, «Русские сказки». «История со сказками» — конец октября, а пока круги по воде бегут — и начало ноября; встретились Даль с Пушкиным во второй половине ноября или в декабре. От появления Даля в Петербурге до встречи с Пушкиным — месяцев восемь; Пушкин о нем, наверно, слышал от Жуковского, от Плетнева или Греча, возможно, еще от кого; бывали иной раз в одних домах, общих знакомых уже накопилось немало; Пушкин, должно быть, слыхал не только про Даля — бывалого человека, рассказчика, не только про собирателя слов и пословиц (если про такого Даля до встречи вообще слыхал), Пушкин, наверно, и про доктора Даля слыхал; но встретиться все не доводилось.

[1] Бартенев записал рассказ Даля в третьем лице.

Это у Мельникова-Печерского необыкновенно просто: «В Петербурге... дружба с Жуковским сделала Даля другом Пушкина, сблизила с Воейковым, Языковым, Анною Зонтаг, Дельвигом, Крыловым, Гоголем, кн. Одоевским». Но с Воейковым и Языковым, которого в то время и в Петербурге-то не было, Даль познакомился в Дерпте, с Анною Зонтаг и того раньше — в Николаеве, свидетельств близости его с Гоголем и Крыловым не имеем, Дельвиг же к приезду Даля в Петербург больше года как умер.

О знакомстве с Пушкиным Даль писал, что «виделся с ним раза два или три», — так о дружбе не пишут. Дружба, — объяснял Даль, — «взаимная привязанность», «тесная связь», «стойкая приязнь». Все будет: и привязанность, и взаимность — дружба будет, но надо ли наперед забегать?..

6

Год тысяча восемьсот тридцать второй; осень. В середине октября Пушкин возвратился в столицу из Москвы («Состоящий под секретным надзором полиции отставной чиновник 10 кл. Александр Пушкин, квартировавший Тверской части в гостинице «Англия» 16 числа сего месяца выехал в С.-Петербург, за коим во время жительства его в Тверской части ничего предосудительного не замечено», — доложил московский полицмейстер). Он занят первым томом «Дубровского» (главный герой именуется пока Островским), ждет разрешения на издание политической газеты («журнала»), — тот же Мордвинов и в те же дни, когда начиналась «история со сказками» Даля, сообщил Пушкину, что представил «образцы журнала» Бенкендорфу, а «его высокопревосходительство располагал представить оные государю императору по возвращении своем из Ревельской губернии. — До воспоследования же высочайшего по сему предмету разрешения, не полагаю я благонадежным для вас приступить к каким-нибудь распоряжениям». Пушкин и сам не полагал это для себя «благонадежным»: год начался с

выговора за напечатание без высочайшего дозволения стихотворения «Анчар, древо яда» и с переданного через Бенкендорфа многозначительного царского подарка — Полного собрания законов Российской империи.

То ли во второй половине ноября, то ли в декабре Даль взял книгу своих «Русских сказок», отправился к Пушкину. 1 декабря Пушкин перебрался с Фурштатской, где снимал квартиру неподалеку от Литейной полицейской части, в дом Жадимирского на углу Гороховой и Большой Морской. Даль поднялся на третий этаж; слуга принял у него шинель в прихожей, пошел докладывать. В том, как расставлена была мебель в комнатах, чувствовалось что-то непостоянное, временное: чувствовалось, что ее часто двигали и опять будут передвигать. Комоды, столики и ширмы еще не вросли в свои места, не вписались в них; казалось, если переставить, будет лучше. После женитьбы, за год с небольшим, Пушкин сменил уже четыре квартиры — Наталье Николаевне все не нравились, и сам он (от неумения хозяйствовать, наверно) находил «большие беспорядки в доме» и злился, что «принужден употреблять» на домашние дела «суммы, которые в другом случае оставались бы неприкосновенными».

Даль, волнуясь, шел по комнатам, пустым и сумрачным, — вечерело. Где-то в следующей комнате или через одну Пушкин (П у ш к и н) встал из кресел и сделал шаг к двери, чтобы встретить его.

7

Попробуем воссоздать эту первую встречу — внешне хотя бы.

Пушкин двигался легко и быстро, хотя хромал и опирался на палку: у него сильно болела нога в ту осень, — он жаловался знакомым, что его замучил «р ю м а т и з м», что р е в м а т и з м поразил его в ногу (он говорил и так и этак). Пушкин усадил Даля в кресло, а сам, жалуясь на «проклятый рюматизм», устроился на диване: сунул подушку под бок, левую ногу поджал, правую, больную, вытянул бережно. Даль отметил неуловимо легкое, изящное движение, которым Пушкин, садясь, откинул фалды фрака. Фрак был дневной, серо-голубой (Даль про себя назвал его сизым), не

новый. Свежая сорочка была с широким отложным воротником, без галстука. С одеждой Пушкин обходился вольно, однако в этом чувствовалась не небрежность, а уверенность, что все и так сидит на нем ладно и красиво. Волосы Пушкина оказались светлее, чем представлял Даль; и глаза поражали — большие, светлые на желтоватом и словно слегка подернутом серой пылью лице. Пушкин сразу показался Далю очень русским — не африканцем. Может быть, оттого, что Даль привык не только рассматривать людей, но слушать: у Пушкина был великолепный московский говор. И слова ложились точно, одно к одному, весомые, нужные, крепкие, — ни одного не выкинуть и лишнего не прибавить. Даль не сразу даже заметил, что речь Пушкина не плавна, что он прежде вдумывается в то, что хочет сказать, и как бы выбирает единственное точное слово, — оттого говорит, пожалуй, отрывисто.

Пушкин, надо полагать, первый заговорил, когда они встретились с Далем: вряд ли Даль сумел тотчас справиться с понятным волнением и робостью; да и пришел он к Пушкину не просто так, побеседовать, — пришел услышать слово Пушкина о своем деле. Какая удача, что они не познакомились раньше, что Жуковский (которого чуть ли не упрекают — как же раньше-то не собрался их познакомить) укатил за границу, что лето Далю пришлось провести в Кронштадте, а осенью Пушкин уезжал в Москву, — какая удача! Пока не явился в свет «первый пяток» «Русских сказок», всякая встреча (а как она важна, пророчески важна подчас, первая встреча!) обернуться могла мимолетным светским «здравствуйте! — до свидания!» — великий поэт Пушкин и Владимир Иванович Даль из военно-сухопутного госпиталя, доктор («известный»), бывалый человек («занятно рассказывает»), напечатал повесть в «Московском телеграфе» («Давно ли?» — «Два года тому». — «Не помню»): не с чем было подойти к Пушкину, тем более прийти, — дело, которое сам Даль еще не ощутил как дело жизни своей, на пальцах не растолкуешь. Теперь на двухстах страницах, под плотным черным переплетом, хранился образчик Далева дела; теперь к поэту Пушкину пришел сказочник Казак Луганский.

Главный разговор и начался скорее всего с «Первого пятка»: человек, вступивший на литературное поприще, пришел услышать мнение старшего и признанного

собрата; да и повод трудно найти удобнее, чтобы начать разговор.

— Сказка сказкой, — говорил Пушкин, перелистывая «Пяток первый» Казака Луганского, — а язык наш сам по себе...

В сказках «Первого пятка» он именно то увидел, что Даль хотел показать, — образцы народных сокровищ.

— Что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото!..

Открывал книгу с начала, с конца, где придется. Радостно посмеиваясь, перебирал вслух низанные Далем ожерелки из чудесных слов и пословиц. Приговаривал, смеясь: «Очень хорошо»; иные отчеркивал острым и крепким ногтем. Вдруг замолчал, захлопнул книгу, положил ее на подлокотник; откинулся на диване, разбросав руки, — одна на подлокотнике, другая вдоль спинки. Глядя мимо Даля, залетел куда-то мыслью.

— Однако, надо нам выучиться говорить по-русски и не в сказке...

Даль подхватил, что-то пытался сказать о «Борисе Годунове» и «Повестях Белкина», он еще не знал ничего об «Истории села Горюхина», не знал, что на рабочем столе Пушкина лежит рукопись «Дубровского» — уже появились на свет и заговорили по-своему и старый кучер Антон, и Архип-кузнец. Пушкин изредка прерывал Даля быстрыми замечаниями: Даль всякий раз удивлялся — именно это вертелось у него самого на уме, да не находил слов, чтобы высказать точно.

Пушкин сказал:

— Ваше собрание не простая затея, не увлечение. Это еще совершенно новое у нас дело. Вам можно позавидовать — у вас есть цель. Годами копить сокровища и вдруг открыть сундуки пред изумленными современниками и потомками!

...Шел снег. Петербургский, мокрый, шел вдоль проспектов. Даль поднял ворот (только нос торчит), навстречу ветру понесся по Гороховой. «Вам можно позавидовать — у вас есть цель». Каково! Искал рукавицы, а они за поясом. Искал коня, а сам на нем сидит. Даль не заметил, как отмахал полквартала не в ту сторону. Ну и дела! Лапти растеряли, по дворам искали: было пять, а стало десять...

Сам Даль вспоминал про первую встречу с Пушкиным: «Пушкин по обыкновению своему засыпал меня множеством отрывчатых замечаний, которые все шли к делу, показывали глубокое чувство истины и выражали то, что, казалось, у всякого у нас на уме вертится и только что с языка не срывается. «Сказка сказкой, — говорил он, — а язык наш сам по себе, и ему-то нигде нельзя дать этого русского раздолья, как в сказке. А как это сделать, — надо бы сделать, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке... Да нет, трудно, нельзя еще! А что за роскошь, что за смысл, какой толк в каждой поговорке нашей! Что за золото! А не дается в руки, нет!»

Много, много сказано — и все же до боли мало: как хотелось бы подробностей, тех драгоценных крупиц, которые приходится у других собирать или, того более, додумывать.

А что мы еще от самого Даля знаем? Запись с его слов в тетради историка Бартенева: «Пушкин живо интересовался изучением народного языка, и это их сблизило. За словарь свой Даль принялся по настоянию Пушкина»?.. Важно, необыкновенно, но опять до чего коротко!

Мельников-Печерский пылко утверждает, будто «Пушкин был в восхищении» от Далевых сказок. Но имеем ли право безоговорочно верить Мельникову-Печерскому?.. «Пяток первый» Пушкину, должно быть, понравился: дело новое, важное и для Пушкина дорогое: Даль один из первых задумал подарить читателю сказки (пока принаровленные, разукрашенные). Однако чтобы Пушкин был от них в восхищении!.. Пушкин, когда пришел к нему Даль, был уже не только великий поэт, прозаик, драматург, но и сказочник. Народная сказка под его пером становилась литературой, поражавшей проникновенной народностью. Осенью, когда познакомился он с Далем, занимался Пушкин «Словом о полку Игореве», горячо отстаивал подлинность древнего эпоса. Гениальная мысль Пушкина так далеко залетала, куда лишь десятилетия спустя добрались пытливые умы ученых, — Пушкин за горизонт заглядывал, угадывал, как сказали бы теперь, «сверхзадачу»: «Мы желали бы с благоговением и старательно... воскресить песнопения баянов, сказки и песни

веселых скоморохов... Нам приятно было бы наблюдать историю нашего народа в сих первоначальных играх творческого духа».

Пушкин вряд ли мог восхищаться содержанием «Русских сказок» Казака Луганского («переложенных», «приноровленных», сочиненных «на манер»). Вряд ли мог Пушкин восхищаться «складом речи» Казака Луганского — по собственным словам автора, затейливым и непростым. Да ведь и сам Даль это подтвердил, слова Пушкина передавая: «Сказка сказкой, а язык наш сам по себе...» Это же почти пренебрежительно — «Сказка сказкой»! Бог с ними, дескать, со сказками, но вот язык — не Далев язык, не «ваш», — а язык **наш** сам по себе. Даль писал вскоре (мы говорили уже об этом), что не сказки были ему важны, а русское слово, сказка была поводом и предлогом показать собранные запасы, — Даль мог быть доволен. Пушкин понял его; если восхищался, то обилием накопленных слов и пословиц («поговорок»).

«Под влиянием первого пятка сказок Казака Луганского он написал лучшую свою сказку — «О рыбаке и золотой рыбке», и подарил Владимиру Ивановичу ее в рукописи с надписью: «Твоя от твоих! Сказочнику казаку Луганскому — сказочник Александр Пушкин», — утверждал Мельников-Печерский. Никогда! Про «Сказку о рыбаке и рыбке» речь впереди, но здесь и доказывать не надобно — довольно «Сказку о рыбаке и рыбке» с любой Далевой из «Пятка первого» сопоставить. «Под влиянием»! Но у Пушкина за плечами и «Балда», и «Салтан», и незаконченная «Медведиха». А коли подарил — «сказочнику сказочник», то, быть может, правы те, кто полагает, что не простой подарок — урок: «наглядный пример того, как следует пересказывать народные сказки» (по словам ученого).

«Сказка сказкой, а язык наш сам по себе...» Пушкин поддержал Далево увлеченное собирательство; может быть, придал ему толк, смысл, значение, которых сам Даль до поры не осознавал («За свой словарь Даль принялся по настоянию Пушкина»), — вот чем знакомство и встреча их для нас всего дороже. «Я не пропустил дня, чтобы не записать речь, слово, оборот на пополнение своих запасов», — писал Даль на закате дней. И дальше: Пушкин «горячо поддерживал это направление мое».

ДОРОГАМИ ПУГАЧЕВА

1

И вот снова встреча, а всего их было три — не по дням и не по часам, — три встречи-**монолита** (Даль говорил: «каменища»); и вот снова встреча — не в доме на углу Гороховой и Большой Морской, не на «пятнице» у Одоевского, не у Плетнева: чтобы стать этой новой встречи Даля с Пушкиным свидетелями, нам придется из осени 1832 года перешагнуть сразу в осень 1833-го, со столичных проспектов — в далекую Оренбургскую губернию. 19 сентября 1833 года Даль и Пушкин ехали из Оренбурга в Бердскую слободу, бывшую пугачевскую ставку, или, как говорится в «Капитанской дочке», «пристанище».

С мая того же года Даль — чиновник особых поручений при оренбургском военном губернаторе (в документах это событие названо «О переименовании доктора Даля в коллежские асессоры»). Даль говаривал, что нашел в Оренбурге «кусок хлеба», но тут перемену в жизни «куском» не измерить: шутка ли — из докторов в чиновники, из столицы едва не на край света; тут (Даль шахматы любил) ход сразу через всю доску, и, если не пешка в ферзи, ходом этим бедный офицер превращался на другой стороне доски в ладью.

Даль говаривал: «Хороша и честь и слава, а лучше того каравай сала»; в Оренбурге он больше, чем «кусок хлеба», он «каравай сала» нашел. В старости он писал, что «всегда мечтал посвятить себя с 60-ти лет одному этому делу», то есть составлению словаря своего. «Я откладывал ежегодно все остатки и заработки и теперь этим могу жить». Писать и не служить Даль до пенсионных годов не рискнул; «писать» (заниматься литературой и словарем) легче и лучше было с «куском хлеба» в Оренбурге, — кто знает, не зависело ли решение Даля от того, что Пушкин «горячо поддерживал это направление» его.

Может быть, и в Оренбург Даль попал не без совета — может быть даже, не без помощи — Пушкина. Оренбургским военным губернатором за три недели до «переименования» Даля из докторов в асессоры был назначен Василий Алексеевич Перовский, человек в петербургском «свете» хорошо известный. Василий Алексеевич был дру-

том Жуковского — возможно, поэт успел его с Далем познакомить; возможно, Василию Перовскому не только Даль, но доктор Даль был нужен: генерала Перовского мучила рана в груди, полученная в 1828 году под Варною (генерал и лекарь были на одной войне). Жуковский мог Даля и Перовского познакомить, но считать, что Перовский «взял» к себе Даля по просьбе Жуковского, не имеем права: весной 1833 года поэт не возвратился еще из-за границы. Кто-то ведь просил Перовского за Даля. Очень вероятно, что главным ходатаем выступил старший брат Перовского — Алексей Алексеевич, автор известных романов и повестей, писавший под псевдонимом «Антоний Погорельский». Даля связывали с Погорельским общие литературные и научные интересы; Перовский-старший не только писатель, но видный чиновник, к тому же и ученый, член Общества испытателей природы, мог по достоинству оценить разносторонние способности и образованность ординатора военно-сухопутного госпиталя и автора «Русских сказок». Но и Пушкин с Василием Перовским весьма коротко знаком — на «ты»; он тоже мог замолвить словцо за Даля.

Перовский, адъютант государя в прошлом, друг государыни, с непостижимой скоростью и настойчивостью (по тогдашней волоките — молниеносно!) Даля себе отхлопотал и, наверно, с ним вместе выехал бы в Оренбург, но Даль на месяц задержался в столице по немаловажной причине — женился. Женой его стала «девица Юлия Андре», «родная внучка учителя Петропавловской школы Гауптфогеля», по собственному Даля разъяснению. Нам оно ничего не разъясняет — ни Андре, ни Гауптфогель, ни Петропавловская школа, а ведь были, наверно, какие-то «ниточки», не просто так Даль слова «нагородил», были «ниточки» — затерялись. Не станем их нащупывать — про Юлию Даль (Андре) разговора у нас не будет; чтобы заполнить «пустоты» Далева жизнеописания, приведем отрывок из дневника современницы: «Мадам Даль мила как нельзя более, миньятюрная, голосок тоненький, звонкий; ну точно колибри...» Маленькая (тяготение к противоположному?) мадам Даль родила сына и дочь, пела вместе с мужем русские песни и безвременно умерла через пять лет после свадьбы.

Даль, едва женился, тотчас отправился в Оренбург; прибыл туда в середине июля, немедленно послан был Перовским по губернии (об этой поездке еще говорить

придется), сразу все «ухватил», «зацепил знанья», оказался в губернских делах едва не более старожилов осведомлен — и снова в путь... вместе с Пушкиным.

2

Пушкин, по словам Даля, прибыл в Оренбург «нежданный и нечаянный и остановился в загородном доме у военного губернатора В. Ал. Перовского, а на другой день я перевез его оттуда...». За этим «перевез его оттуда» следует обычно примечание: перевез-де в городскую квартиру Перовского. Но вот один из исследователей[1] рассказывает, будто в печатных текстах пропуск, будто в рукописи Даля: «Перевез его оттуда к себе». Правда, исследователь тут же добавляет осторожно: «Сообщение Даля, что он перевез Пушкина к себе, надо понимать не в том смысле, что Пушкин вообще переселился к Далю. Видимо, он просто посетил Даля, побыл у него некоторое время, а затем хозяин и гость отправились в свою «экскурсию» по городу и его окрестностям». Что Пушкин «просто посетил Даля», было известно и до обнаружения этого «к себе», но также известна запись рассказа Даля, сделанная Бартеневым: «...В доме генерал-губернатора поэту было не совсем ловко, и он перешел к Далю; обедать они ходили вместе к Перовскому». В сочетании с новонайденным «к себе» свидетельство звучит определеннее.

Пушкин «прибыл нежданный и нечаянный» 18 сентября. Он путешествовал стремительно: 17 августа выехал из Петербурга, 20-го был в Торжке, 21-го — в Павловске, 23-го — в Яропольце, 25-го — в Москве (прожил здесь несколько дней), 2 сентября он уже в Нижнем Новгороде, с 5-го по 8-е — в Казани, 10-го — в Симбирске (отсюда ездил в имение братьев Языковых — оно в шестидесяти пяти верстах от города; поэта Николая Языкова дома не застал и вместо записки алмазным перстнем вырезал свое имя на оконном стекле), из Симбирска он выезжал дважды (заяц перебежал ему дорогу — «дорого бы дал я, чтобы быть борзой собакой; уж этого зайца я бы отыскал», — на третьей станции не оказалось лошадей, он вернулся), наконец 18 сентября он достиг цели — прибыл в Оренбург.

[1] Н. Е. Прянишников, Писатели-классики в Оренбургском крае. Чкалов, 1956, стр. 43.

В конце июля он просил разрешить ему поездку. Мордвинов (все тот же Мордвинов) спрашивал: «Его величество... изъявил высочайшую свою волю знать, что побуждает Вас к поездке в Оренбург и Казань?..» Пушкин отвечал уклончиво: «Это роман, коего большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани...» Едва получив высочайшее дозволение, он тронулся в путь немедля. Пугачев («мой герой») манил его — уже в Нижнем Новгороде, Васильсурске и Чебоксарах, в Казани и Симбирске («Синбирске») он разыскивал и расспрашивал стариков, очевидцев восстания; 16 сентября он переправился у Самары на левый берег Волги — ноздри его шевельнулись, почуя принесенный встречным ветром дымок пугачевского стана, в ушах тихо звучал слышанный где-то напев разбойничий. вместе печальный и удалой. Пугачев манил его, и манила свобода: государь Пушкину четыре месяца свободы отвалил, дозволил оставить занятия, на поэта «возложенные», Пушкин в дальний путь не только Пугачеву навстречу — навстречу свободе бросился; вырвался орел из вороньего стана, мчался стремительно (успевая, однако, все, что надо, не столько записывать, сколько замечать, порами вбирать. «Здесь я возился со стариками современниками моего героя, объезжал окрестности города, осматривал места сражений, расспрашивал, записывал и очень доволен, что не напрасно посетил эту сторону» — это жене из Казани, но записей немного; материал для «Истории Пугачева» легко ложился на сердце, тотчас схватывался, обнимался умом, осмыслялся). Пушкин мчался, обгоняя секретные предписания, в которых (цена воли государевой, государем данной воли!) указывалось, что с ним, с Пушкиным, по его прибытии в то или иное место делать надо. (Через месяц после отъезда Пушкина из Оренбурга туда пришло «Дело № 78. Секретное»: «Об учреждении тайного полицейского надзора за прибывшим временно в Оренбург поэтом титулярным советником Пушкиным».) Впрочем, одна бумага Пушкина догнала: негласное предупреждение, посланное нижегородским военным губернатором оренбургскому, о том, что-де литературные занятия — только предлог, на самом же деле титулярному советнику Пушкину приказано обревизовать секретно действия оренбургских чиновников; отсюда началась, кажется, идея «Ревизора», которую Пушкин подарил потом Гоголю.

Ну да черт с ними, с предписаниями и бумагами, главное — Пугачев и свобода, а тут еще осень, сухая и прохладная, и мечта забраться в Болдино на обратном пути. Пушкин оживлен, весел, разговорчив; его будоражит тысячеверстное путешествие, осень будоражит. Настает его пора, он чувствует: сердце у него колотится порывисто, чуть-чуть кружится голова, немеют кончики пальцев. Ощущения обострены: приложит ухо к земле — услышит, как трава растет. «Уехал писать, так пиши же роман за романом, поэму за поэмой. А уж чувствую, что дурь на меня находит — я и в коляске сочиняю, что ж будет в постеле?..» Это Пушкин жене пишет 19 сентября 1833 года.

3

19 сентября 1833 года Даль и Пушкин ехали из Оренбурга в Бердскую слободу.

Кто знает, возможно, он и Далю сказал, что дурь на него находит — он и в коляске сочиняет (Пушкин любил повторять понравившееся ему словцо). Семь верст до Бердской слободы — недолгий путь; коляска катится резво.

Память людская устроена странно: «И крута гора, да забывчива». Но, возможно, оно и хорошо, что люди забывают подчас «круту гору», зато помнят пригорок или кочку, — это приносит нам из прошлого подробности, мелочи, как ветер приносит из степи запах дыма или далекий напев, подробности, мелочи помогают воспринимать прошлое не одним умом, но сердцем. За такими подробностями Пугачевщины отправился Пушкин в Оренбург.

Даль «толковал» Пушкину «сколько слышал и знал местность, обстоятельства осады Оренбурга Пугачевым; указывал на Георгиевскую колокольню в предместии, куда Пугачев поднял было пушку, чтобы обстрелять город, — на остатки земляных работ между Орских и Сакмарских ворот, приписываемых преданием Пугачеву, на зауральскую рощу, откуда вор пытался ворваться по льду в крепость, открытую с этой стороны; говорил о незадолго умершем здесь священнике, которого отец высек за то, что мальчик бегал на улицу собирать пятаки, коеми Пугач сделал несколько выстрелов в город вместо картечи, — о так называемом секретаре Пугачева Сычугове, в то время еще живом, и о бердинских старухах, которые помнят еще «золотые» палаты Пугачева, то есть обитую

медною латунью избу». Даль «толковал» Пушкину историю осады города в главных ее чертах и в мелочах, в подробностях; так же «толкует» он нам в своих воспоминаниях историю посещения Пушкиным Оренбурга: байка о том, как бердские старики приняли поэта за антихриста («волос черный, кудрявый, лицом смуглый и подбивал под «пугачевщину», и дарил золотом; должен быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти»); байка о том, как Пушкин мылся в бане у инженер-капитана Артюхова, «чрезвычайно забавного собеседника», и тот потешал поэта рассказом об охоте на вальдшнепов. Многого, многого Даль не вспомнил, не записал, чего хотелось бы, чего надо бы узнать, зато не столь обстоятельно, сколь весомо, вспомнил и написал о поездке в Бердскую слободу — не о том, как Пушкин старух расспрашивал, а о дороге самой. Семь верст — недолгий путь, а уложилось многое.

4

...Задыхаясь свежим степным воздухом, от которого, как от ключевой воды, ломит зубы, Пушкин тормошит Даля:

— Я на вашем месте сейчас бы написал роман; вы не поверите, как мне хочется написать роман; у меня начато их три!..

Далю передается волнение Пушкина: глаза у Пушкина потемнели, блестят. Он рассказывает Далю о своих занятиях, о Петре Великом — его мучит Петр:

— Я еще не мог постичь и обнять умом этого исполина, но я сделаю из этого золота что-нибудь!..

У Пушкина совсем темные глаза; в них врывается бескрайняя, по-осеннему серая степь.

— О, вы увидите: я еще много сделаю!..

Пушкин пробудет в Болдине шесть недель, завершит «Историю Пугачева», напишет «Медного всадника», «Пиковую даму», новые сказки — вторая болдинская осень. Даль хорошо запомнил, он повторяет, подчеркивает это пушкинское: «Я еще много сделаю!..»

19 сентября 1833 года. Впереди у Пушкина 3 года 4 месяца и 10 дней.

— Хотите, я расскажу вам сказку? — вдруг спрашивает Пушкин. — Расскажу так, как услышал.

Пушкин, весело щеголяя, пересыпает речь татарскими

словами. Видно, в самом деле сказку узнал недавно: проезжая по местам пугачевского восстания, он слушал песни татарские, калмыцкие, башкирские, казацкие.

(Через три года Даль прочитает в «Капитанской дочке»: Пугачев с Гриневым едут из Бердской слободы в Белогорскую крепость; по дороге Пугачев рассказывает сказку об орле и вороне, которую слышал от старой калмычки.)

Пушкин рассказывал Далю сказку о Георгии Храбром и волке: про то, как сделался волк вором и разбойником, как раздобыл свою серую шкуру. Даль записал сказку и напечатал ее еще при жизни Пушкина; после смерти поэта появилось Далево примечание: «Сказка эта рассказана мне А. С. Пушкиным, когда он был в Оренбурге и мы вместе поехали в Бердскую станицу, местопребывание Пугача во время осады Оренбурга».

Через шестьдесят лет тою же дорогою, какою добирался Петр Андреевич Гринев к Пугачеву, Даль и Пушкин едут из Оренбурга в Бердскую слободу.

Бердская слобода стоит на реке Сакмаре, она окружена рвом и обнесена деревянным забором — оплотом; по углам оплота при Пугачеве размещались батареи. Река Сакмара быстра и многоводна. Она подступает к самой слободе. В диких лесах за рекою водятся хищные звери. Долина перед слободою сшита из зеленых, серых, рыжих, бурых лоскутьев — огороды. Над колодцами задумчиво покачиваются деревянные журавли.

5

...У старухи казачки фамилия многозначительная — Бунтова. В доме сотника казачьего войска собрали несколько стариков и старух, помнивших Пугачева, но эта сразу Пушкину понравилась живостью речи, образной, точной памятью. Сама Бунтова считала, что ей семьдесят пять, иные уверяли, что больше, — она удивляла проворными движениями, моложавым лицом, крепкими зубами.

Пушкин бросил на лавку измятую поярковую шляпу, скинул суконную, с бархатным воротником шинель и остался в черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы. Он вынул записную книжку и карандаш, подсел к широкому, гладко выструганному столу, принялся рассматривать старуху.

Бунтова говорит охотно, много:

— Знала, батюшка, знала, нечего греха таить, моя вина. Как теперь на него гляжу: мужик был плотный, здоровенный, плечистый, борода русая, окладистая, ростом не больно высок и не мал. Как же! Хорошо знала его и присягала ему. Бывало, он сидит, на колени положит платок, на платок руку. По сторонам сидят его енаралы...

Как многие уральские казачки, Бунтова слегка шепелявит.

«В деревне Берде, где Пугачев простоял 6 месяцев, имел я une bonne fortune[1] — нашел 75-летнюю казачку, которая помнит это время, как мы с тобой помним 1830 год. Я от нее не отставал, виноват: и про тебя не подумал», — шутливо докладывал Пушкин жене. Даль вместе с Пушкиным слушает рассказы старой казачки о взятии Нижне-Озерной крепости, о присяге Пугачеву, о том, как после поражения проплывали по Яику мимо родных станиц тела восставших. Потом Даль прочтет об этом в «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке». Ему посчастливилось заглянуть в мастерскую Пушкина, увидеть начало и конец дела.

Пушкин остается в Берде целое утро. Уезжая, всех стариков дарит деньгами. Бунтовой дает червонец. Старуха степенно кланяется, улыбается, довольная. Только что она пела грустную разбойничью песню, ее маленькие розовые веки и неглубокие редкие морщины лоснятся от слез, но уже улыбается, показывая зубы, белые и широкие, как очищенные лесные орешки.

...На обратном пути Пушкин молчалив. Он кажется Далю утомленным и рассеянным. Дорога дает крюк: приходится объезжать овраги. В пугачевские времена они тоже защищали слободу от внезапного нападения. Пушкин кивает в сторону удаляющейся слободы:

— Вот о них вам надо написать роман...

Даль ездил недавно по делам службы в землю уральских казаков — это называлось «отбыть на линию». Оренбургская укрепленная линия была цепью пограничных опорных пунктов — крепостей, редутов, форпостов. Новые люди, непохожие на других, непривычный быт, странные нравы, непонятные слова, свой говор. Даль, как всегда,

[1] Удачу *(франц.)*.

быстро впитывал все это, впечатления толклись в его голове, не хотели укладываться — тревожили. И вдруг Пушкин: «Напишите о них роман...»

6

Сами того не сознавая, начинаем понемногу «додумывать» — что поделаешь, коли Даль «круту гору» не вспомнил: про обратную дорогу из Бердской слободы в записках своих не рассказал, а она, обратная дорога, под пером жизнеописателей и ученых («пушкиноведов», «далеведов») обросла легендой, которую они сами же потом и опровергли.

...Даль и Пушкин возвращаются из слободы в город. Коляска резво катится: семь верст — путь недолгий. Пушкин сидит неподвижно, скрестил руки на груди; прищурясь, смотрит вперед, как бы в одну точку; дорога несется навстречу. Даль хочет отдать долг: он тоже знает много сказок. Поэт рассказал Далю сказку о волке — Даль тоже рассказывает свою; выходит, Пушкин и Даль обменялись сказками. Какую сказку рассказывал Даль по дороге из Бердской слободы, рассказывал ли вообще — теперь не установишь, но легенда красива: Даль напечатает подаренную Пушкиным сказку о Георгии Храбром и о волке, Пушкин меньше чем через месяц — 14 октября 1833 года — напишет в Болдине «Сказку о рыбаке и рыбке», пришлет Далю рукопись: «Твоя от твоих! Сказочнику Казаку Луганскому — сказочник Александр Пушкин».

С этой рукописи, с надписи дарственной этой (а по свидетельству Мельникова-Печерского, и рукопись была, и надпись) — со всего этого легенда и началась: не потому ли Пушкин такую рукопись с такой надписью Далю подарил, что сказку услышал от Даля? Все вроде сходится: вон и в сборнике Афанасьева есть точно такая сказка, Афанасьев же большую часть сказок получил от Даля. Но еще легче (хотя для этого «легче» десятилетия понадобились), но еще легче — опровергается. Доказано, что у Афанасьева не народная сказка напечатана, а народный прозаический пересказ пушкинской сказки; доказано, что у Пушкина в черновом тексте старуха, после того как сделалась царицею, захотела стать «римскою папою», а этого в русской народной сказке быть не могло; доказано, что такая сказка есть в сборнике братьев

Гримм — пересказать ее Пушкину мог Жуковский, «превосходно знавший этот сборник и неоднократно переводивший из него стихами и прозой». Со всем согласны — «Дело знай, а правду помни», — от одной лишь мысли отказаться не в силах: почему сказку из гриммовского сборника не мог Пушкину Даль рассказать? Пересказать — будем предельно точны. Почему не Даль, который творчеством разных народов тоже интересовался, свободно владел немецким и даже первую свою статью о русском языке и русском народном творчестве в эти же годы написал по-немецки и напечатал в дерптском ученом журнале? Почему не Даль? Ездили в Бердскую слободу — в Болдине написана «История Пугачева»; говорили о Петре — в Болдине написан «Медный всадник»; но в Болдине написана и «Сказка о рыбаке и рыбке»... Почему не Даль?..

Вечером 19 сентября (наверно, очень длинный в Далевой жизни день) Пушкин сидел в кабинете Даля. Зажгли свечи. Две барышни, узнав, что Пушкин у Даля, забрались в сад и влезли на дерево, откуда можно было заглянуть в окно Далева кабинета. Окно, однако, было затворено, и рамы уже по-зимнему двойные: барышни видели разговор Пушкина с Далем, но не слышали. Мы похожи на любопытных барышень: Даль слишком мало сказал нам о своих беседах с Пушкиным.

И все-таки почему не Даль — иной раз склад дороже песни?..

7

Пушкин покинул Оренбург утром 20 сентября; он выбрал дорогу по правому берегу Урала — через крепости и станицы Чернореченскую, Татищеву, Нижне-Озерную, Рассыпную, Илецкий городок. «Крепости, в том краю выстроенные, были не что иное, как деревни, окруженные плетнем или деревянным забором», — говорится в «Истории Пугачева». Потом в «Капитанской дочке» Гринев подъезжает к Белогорской крепости: «Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видел, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными». Пушкин держал путь на Уральск, на Яицкий городок, как прежде его называли, — здесь разгорелось

пламя бунта; отсюда, будто по гряде тополиного пуха, побежал огонь по линии крепостей. В «Истории Пугачева» путь восставших от Яицкого городка к Оренбургу повторяет (только в противоположном направлении — с запада на восток) дорогу Пушкина из Оренбурга: «Измена Илецких казаков. — Взятие крепости Рассыпной... — Взятие Нижне-Озерной. — Взятие Татищевой... — Взятие Чернореченской...»

Авторы воспоминаний подчеркивают, что Пушкин очень торопился и потому встречался в поездке лишь с теми, кто был ему нужен: больше всего времени он провел с Далем. Даль сопровождал его до Уральска — показывал, должно быть, места восстания, помогал встретиться с нужными людьми, наладить беседу. Даль для себя тоже, наверно, заметки делал. Через два дня после отъезда Пушкина он пошлет в Петербург статью — подробно расскажет о «заповедном быте» уральского войска, «столь мало известном, заслуживающем внимания и удивления», расскажет об «устройстве» Оренбургского края вообще и о бесконечных драгоценных подробностях: об одежде и промыслах, о пище и особенностях говора.

Даль делал заметки, а рядом те же слова, пословицы, песни наскоро заносил в свою книжечку Пушкин; потом Даль встречал старых друзей в «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке». Похоже, что и он для Пушкина кое-что сберегал; в бумагах его уцелел отрывок о Пугачеве с пометкой: «Еще Пугачевщина, которую я не успел сообщить Пушкину вовремя».

В Уральске они расстались.

ПРИТЧА ОБ ОРЛЕ

1

В Уральске они расстались.

Вечером пошел дождь, нежданный, почти позабытый, — лето и осень стояли сухие. Даль наивно порадовался — говорят, дождь к счастливой дороге; не за себя порадовался. А Пушкин злился: дождь через полчаса сделал дорогу непроезжей. Того мало: выпал снег — в эдакую-то рань, конец сентября. Даль, подъезжая к одной из крепостей, увидел заснеженные скирды (Пушкин тоже видел такие скирды, но уже в губернии Симбирской).

Далю предложили перепрячь лошадей в сани (ну не смешно ль — сани в сентябре!), он махнул рукой: «Одна птица кричит: «Мне зимой тяжело!» Другая кричит: «Мне летом тяжело!» Третья кричит: «Мне всегда тяжело!» — *есть такая загадка про сани, телегу и лошадь.* Пушкин пересел в сани и отмахал в них пятьдесят верст; завернул снова в имение к Языковым, застал всех трех братьев, и Николая, поэта, тоже, отобедал у них, ночевал; может быть, рассказывал Языкову про Даля. В эти же дни Вяземский оказался в Дерпте, вспоминал там Языкова, читал его стихи, писал ему оттуда. Про Даля Вяземский вряд ли подумал, хотя, кто знает, может, и вспомянули у Мойеров: «Пушкин отправился в Оренбург, не завернет ли по дороге к Языкову?..» — «Да говорят, наш Далюшка теперь в Оренбурге?.. Милый друг Даль!..» Странно все сплетается...

Через шесть десятилетий после появления «Капитанской дочки» записали в станице Нижне-Озерной со слов старого казака уральское сказание про Орла-Сокола и Ворона-Ведуна. Орел спрашивал Ворона, отчего тот три по сту лет живет, а он, Орел, три по десять. Ворон стал учить Орла мертвяка клевать. Сказал Сокол-Орел: «Не хочу я три по сту лет жить и дохлятиной питаться. Не бывать Ворону Орлом-Соколом — не сменять Соколу кровь горячую на дохлятину». Ученые предполагают, что сказание — переработанная народом калмыцкая сказка, которую Пугачев рассказывал Гриневу (в черновике Пушкина сперва написано было просто «сказка»); но образ орла не с «Капитанской дочки» в Пушкине зажил. Пушкин любил рисовать птицу орла как бы одним мощным росчерком пера — крылья орла напряженно трепетали. Вскормленный в неволе орел молодой мечтал о свободе еще в далеких, почти юношеских, стихах; и, как пробудившийся орел, встрепенется душа поэта, озаренная вдохновением. Пушкин, расставшись с Далем, торопится в Болдино, душа его встрепенулась: «Я пишу, я в хлопотах, никого не вижу — и привезу тебе пропасть всякой всячины» (сообщит жене). Едет в другую сторону, «прямо, прямо на восток», в Оренбург, Владимир Иванович Даль. «О, вы увидите: я еще много сделаю!» — звучит в ушах (так навсегда и застряло в памяти — прерывистое от прозрачного, ломящего зубы воздуха), — «Погодите, я еще много сделаю». Впереди у Пушкина 3 года 4 месяца и уже только 6 дней.

2

Через 3 года 4 месяца и 5 дней — третья встреча Даля с Пушкиным: встреча — «монолит», «каменища», памятник их дружбе, всем их встречам памятник. Даль возле умирающего Пушкина — это навсегда в сердцах современников, в памяти потомков. Хотя приехал Даль в Петербург никак не меньше чем за полтора месяца до роковой дуэли, но все эти «встречался раза два или три» нигде, даже скороговоркой, не отмечены, последняя же встреча их отмечена и в сердцах, и в памяти.

23 сентября 1833 года расстались в Уральске и разъехались в противоположные стороны титулярный советник, поэт Пушкин и коллежский асессор, писатель Даль (Казак Луганский). Писем нет — разве что пушкинская записка Перовскому: «Посылаю тебе Историю Пугачева в память прогулки нашей в Берды; и еще три экземпляра Далю, Покотилову и тому охотнику, что вальдшнепов сравнивает с Валленштейном или Кесарем [1]. Жалею, что в П. Б. удалось нам встретиться только на бале. До свидания в степях или над Уралом. А. П.». Смеем предположить, что последняя строчка не для красного словца, что Пушкину и впрямь хотелось на простор, в уральские степи, где прозрачный воздух будто вода ключевая, где тянет дымом далеких кочевий; «Пора, мой друг, пора» уже написано, скоро поэт примется за «Странника». Наверно, в степях или над Уралом Пушкин не прочь был и с Далем повидаться.

Третья встреча Пушкина с Далем впереди, но что, если Пушкина и Даля на эти несколько лет не разлучать? Что, если призадуматься да поискать — может, и не обрывались нити, не зарастала тропа? «Будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов» (эта пословица есть и у Пушкина в «Капитанской дочке», и у Даля в словаре и в сборнике).

Мы, например, как-то забываем, что «Сказка о Георгии Храбром и о волке» создана со слов Пушкина и после отъезда его из Оренбурга; и забываем, что странную драму — «старую бывальщину в лицах» — «Ночь на распутии, или Утро вечера мудренее» Даль тоже «по настоя-

---

[1] То есть «чрезвычайно забавному собеседнику», инженер-капитану Артюхову. — *В. П.*

ниям Пушкина» написал: вещь слабая, а ведь привлекало в ней что-то — недаром она Алексея Кольцова манила («Матерьял драмы русский превосходный; и мне все думается, что я из нее сделаю русскую оперу», — писал он Белинскому). Кажется, имеем право отнести нашего Даля к тем (немалочисленным) избранникам, кого Пушкин одарил советом и сюжетом...

Но этого мало. Дождик сеял, вылезали грибки — кузовок-то сгодится, пожалуй.

3

Писем нет — опубликованных: стоит ли пренебрегать такой поправкой? В Государственной публичной библиотеке имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, в фонде В. Ф. Одоевского[1], хранится писарской рукой перебеленное (у чиновника особых поручений писарь был, конечно), но самим Далем, точнее Казаком Луганским, подписанное стихотворное послание «Александру Сергеевичу Пушкину». Послание предлинное, написанное раешным стихом и удивительно расхлябанное (Даль хорошо говорил в таких случаях: «расклепанное»), — из тех стихотворений, когда поэт на «пятачке» топчется и ни вперед ступить, ни точку поставить. Однако для нас послание это не «изящная словесность», не «поэзия», но послание — тем и интересно. Оно условно датировано 1835 годом — скорее надо бы началом 1836-го: Пушкин получил разрешение издать «четыре тома статей чисто литературных» — это будущий «Современник», — и Даль отзывается радостно:

Дошли, наконец, благодатные слухи
До степей, которые глухи и сухи...

Затем Даль долго (и ему, должно быть, кажется — смешно) описывает некоего «единоторжца», «откупщика», торгаша-мошенника, который объявил пир на весь мир, себя расславил, обещал яства да вина, но не дал и чистой воды, а торгует, «пройдоха», «поганым настоем», да еще

Станет божиться вам, клясться в глаза,
Что вы-де, господа, не смыслите ни аза,
Коли скажете, что пойло мое не вино;
Вот это самое-то и есть оно...

[1] Отдел рукописей, ф. 539, № 1494.

Далю не откажешь в уме и здравом смысле: уж если он отправил Пушкину (и Одоевскому — похоже, и тому и другому) это «отменно длинное, длинное, длинное» послание, значит полагал, имел основания полагать, что оно придется кстати.

Образ «пройдохи», «единоторжца» и правда без труда разгадывается — это Сенковский и его (им присвоенный) журнал «Библиотека для чтения». Здесь обещан был пир на весь мир — и Пушкин, и Крылов, и Гоголь, и Жуковский, и Баратынский, и Денис Давыдов, однако взамен «яств и вина», взамен «кваса и пива», взамен даже «чистой воды» в журнале предлагалась читателю развязная болтовня (по словам Герцена: «ракеты, искры, бенгальский огонь, свистки, шум») самого Сенковского (он же Барон Брамбеус, турок Тютюнджи-оглы и проч.). «С выходом первой книжки публика ясно увидела, что в журнале господствует тон, мнения и мысли одного, что имена писателей, которых блестящая шеренга наполнила полстраницы заглавного листка, взята была только напрокат, для привлечения большего числа подписчиков», — писал Гоголь. Но в том-то и дело, что «публике» — «широкой публике» — журнал нравился, тот же Гоголь признавал сокрушенно: «Сословие, стоящее выше Брамбеусины, негодует на бесстыдство и наглость кабачного гуляки; сословие, любящее приличие, гнушается и читает. Начальники отделений и директора департаментов читают и надрывают бока от смеху. Офицеры читают и говорят: «Сукин сын, как хорошо пишет!» Помещики покупают и подписываются и, верно, будут читать... Смирдина капитал растет...[1] Сенковский уполномочил сам себя властью решить, вязать: марает, переделывает, отрезывает концы и пришивает другие к поступающим пьесам». Это письмо 1834 года; дальше больше — чтобы угодить «провинции» (Белинский неизменно говорил про журнал Сенковского — «провинциальный»), чтобы угодить «провинции» провинциальной, а также «провинции» петербургской и московской, офицерам, помещикам, начальникам отделений и департаментов, — чтобы своему читателю угодить, Сенковский пришивал новый конец «Отцу Горио» Бальзака; объявлял, что Пушкин ниже как поэт, чем (ныне позабытый) Алексей Тимофеев; Гоголя отожде-

[1] «Библиотеку для чтения» выпускал книгоиздатель Смирдин. — *В. П.*

ствлял с бульварным Поль де Коком; а драмы Нестора Кукольника «предпочитал» «Фаусту» Гёте. (Даль писал про один свой рассказ: «искажен в Библиотеке, как вообще все то, что там печаталось, почему и отказался тогда от соучастия» [1].) «Современник» рождался — не мог не рождаться — в борьбе с «Библиотекой» Сенковского.

4

Что ж, пора «приготовить кузовок» и положить туда стихотворное послание Даля к Пушкину, и не только послание: в архиве Пушкина сохранилась (спустя сорок три года после гибели поэта напечатанная) статья Даля «Во всеуслышание»; она прислана была, очевидно, для «Современника». Статья — тоже послание: не одному Пушкину — «Братьям и сподвижникам»; послание датированное — «Оренбург, 1836 г. 16-го Августа» и без обиняков подписанное — «А чтобы... тот человек, который носит столько же имен, званий и прозваний, сколько дней в году, знал, кто слово это молвил, то я, Казак Луганский, и подписуюсь: Владимир Иванов Даль, чиновник особых поручений Оренбургского военного губернатора».

Владимир Иванов Даль вступал в литературную борьбу на стороне Пушкина: «Отечественной словесности нашей угрожает бедствие, а позорное пятно ее уже поразило и запятнало... Библиотека, которая, как самое дешевое, исправное и полновесное повременное издание ...преимущественно распространено по всей России ...проникнута и упитана... недобрым, враждебным и губительным духом». Но Даль не против одной лишь, не против именно «Библиотеки» — он против губительного духа торгашества в литературе, против писания «на потребу», против писания «в угоду», когда взамен вина и воды подают — продают — «поганый настой». «...Науки и искусства не должны быть поруганы и обесчещены... это сокровищница ума и сердца, а не бумажник. Я возьму деньги за статью, которую написал, но я никогда не напишу статью за деньги...» (Пушкин незадолго перед тем писал к Бенкендорфу: «В работе ради хлеба насущного, конечно, нет ничего для меня унизительного; но, привыкнув к независимости, я совершенно не умею писать ради денег».)

[1] ГБЛ, Пог. III, 4/8.



В. И. Даль. Портрет работы неизвестного художника. 1830-е годы.



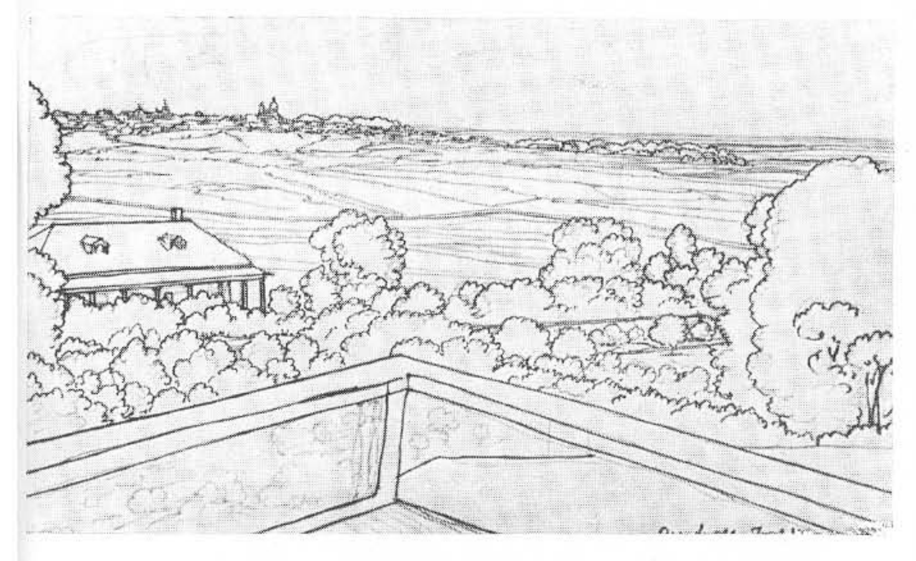
Площадь в Оренбурге. Худ. А. Чернышев. 1840-е годы.

У меня давно на уме уральский роман; быт и жизнь этого народа, казаков, цветиста, ярка, обильна незнакомыми картинами и жизнью — самородною; это заветный уголок, который должен быть свят каждому русскому.

В. И. Даль



Уральские казаки в походе. Рис. Владимирова.



Оренбург. Рис. В. А. Жуковского. 1837.

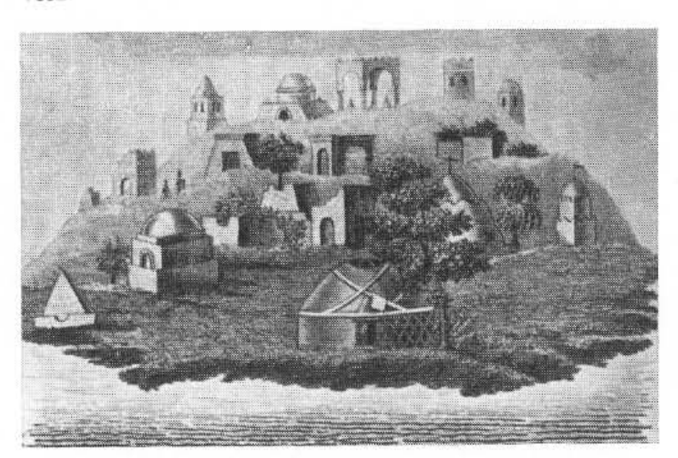


Бивак башкир. Рис. А. Орловского. 1813.



Киргизский аул. Фото из альбома. 1870.

Рисунок на титульном листе книги А. И. Левшина «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей». 1832.



Человек, достигнувший аула, почитается гостем и может быть уверен в безопасности своей.

В. И. Даль



Девушка-казашка. Рис. из книги А. И. Левшина.



Вот народ, из частной жизни коего я хочу рассказать истинное и свежее происшествие.

В. И. Даль

Казах. Рис. из книги А. И. Левшина.



Хивинская экспедиция. Рис. неизвестного художника. 1839—1840. Крайний слева — В. А. Перовский, справа — Н. В. Ханыков и В. И. Даль.



В Хивинской экспедиции. Худ. В. И. Штернберг. 1839. Слева направо: мулла, географ П. А. Чихачев, В. И. Даль, художник В. И. Штернберг, этнограф Н. В. Ханыков, географ А. Леман, казах Курум-бай.



В. И. Даль. Портрет работы неизвестного художника. 1830—1840-е годы.

Разве кто-нибудь из нас не знал, что мы должны пройти более десятой доли четверти круга земного по буранам, необитаемым пустыням, покрытым снегом, ограничиваясь собственными средствами и не ожидая ни от кого почти никакой помощи?

В. И. Даль



Петербург. Невский проспект. Середина XIX в.

В Петербурге каждый является на своем месте и самим собою...

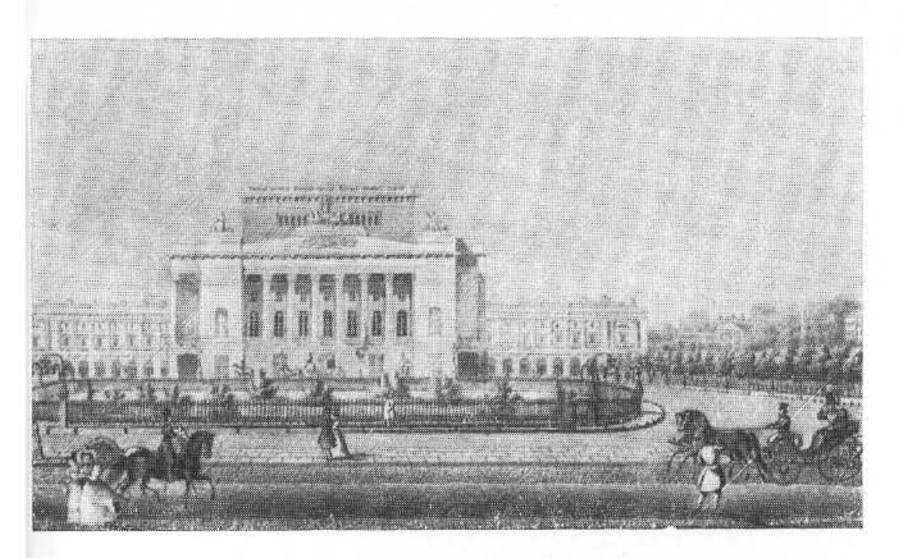
В. Г. Белинский

Сидя на одном месте, в столице, нельзя выучиться порусски, а сидя в Петербурге, и подавно... Писателям нашим необходимо проветриваться от времени до времени в губерниях и прислушиваться чутко направо и налево.

В. И. Даль



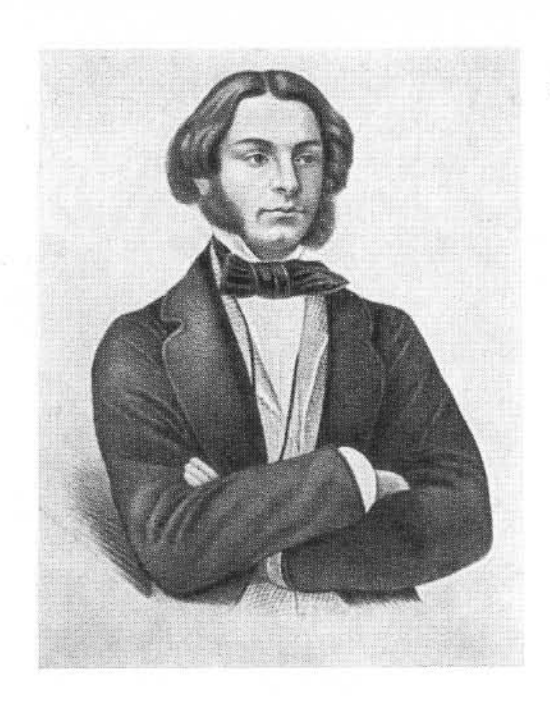
Чиновник. Рис. П. Челищева. 1840-е годы.



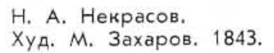
Петербург. Александринский театр.

Петербург. Публичная библиотека.





Д. В. Григорович.
Литография. 1854.



Н. А. Некрасов.
Худ. М. Захаров. 1843.

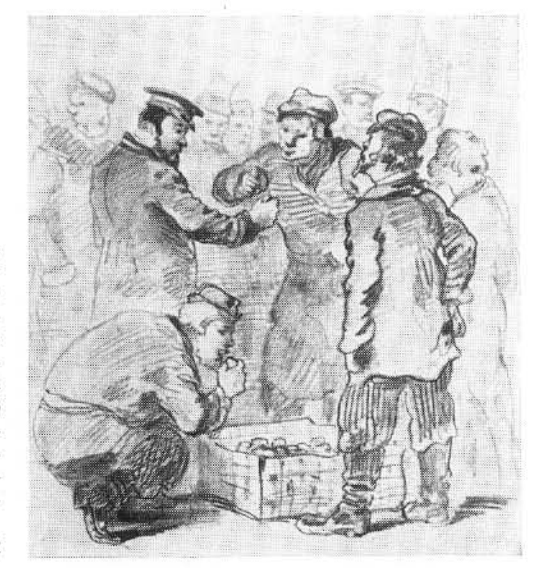




Городская сцена. Рис. Е. Комара.

Если бы нас спросили, в чем состоит существенная заслуга новой литературной школы, — мы отвечали бы: в том,... что... она обратилась к так называемой «толпе», исключительно избрала ее своим героем, изучает ее с глубоким вниманием и знакомит ее с нею же самой.

В. Г. Белинский



Уличная сцена. Рис. А. Лебедева.

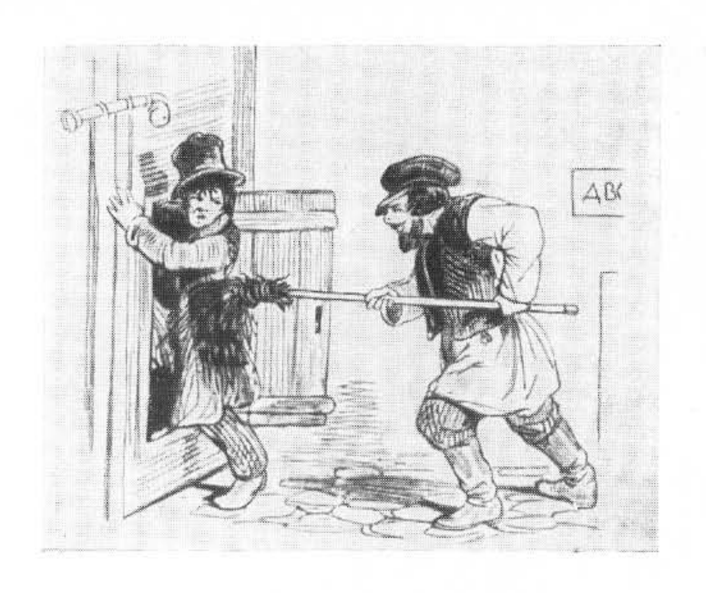


В. И. Луганский создал себе особенный род поэзии, в котором у него нет соперников. Этот род можно назвать физиологическим.

В. Г. Белинский

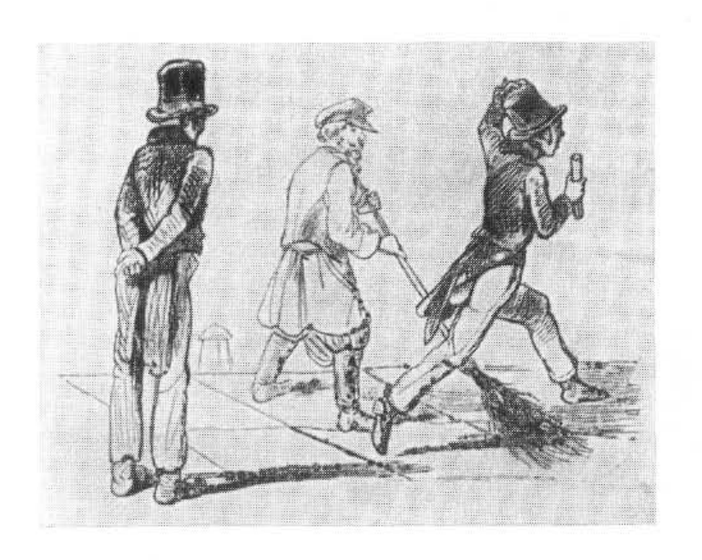


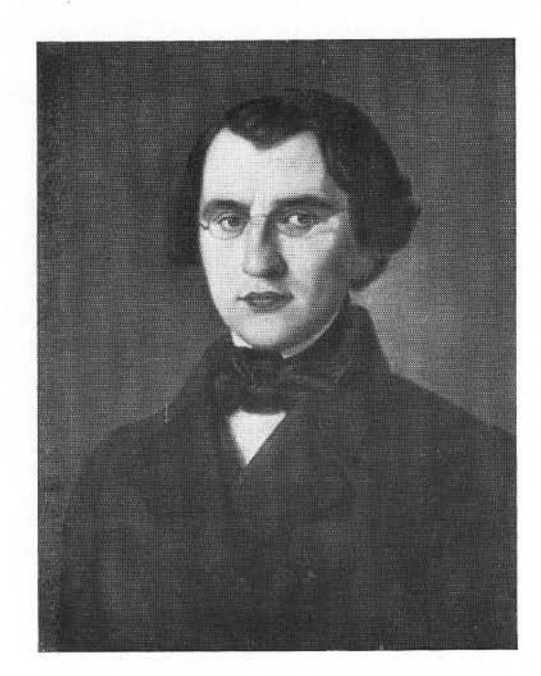
В. И. Даль. «Петербургский дворник». Рисунки В. Тимма. 1840-е годы.



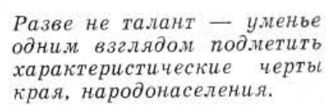
«Петербургский дворник» В. И. Луганского... есть мастерской очерк, сделанный художническою рукою... Это одно из лучших произведений В. И. Луганского.

В. Г. Белинский





И. С. Тургенев.
Худ. Лами. 1844.



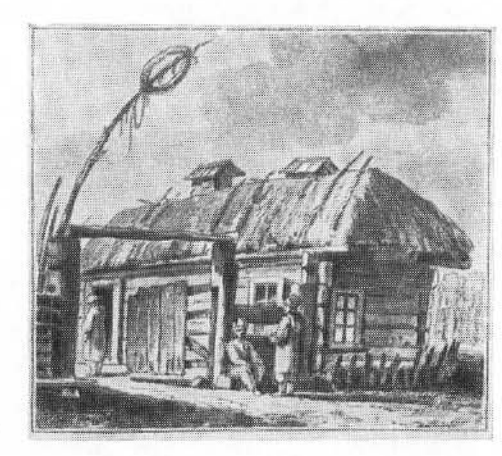
Разве не талант — уменье одним взглядом подметить характеристические черты края, народонаселения.

И. С. Тургенев

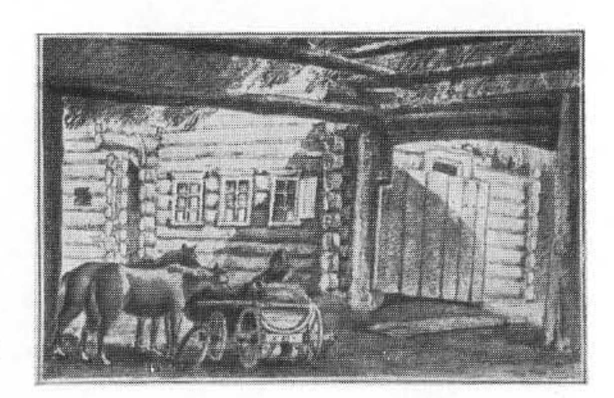
Крестьяне. Рис. Н. Львова.



Изба. Рис. Н. Львова.



Шинок. Рис. Н. Львова.



Крестьянский двор.
Рис. Н. Львова.



А. Н. Афанасьев.
1860-е годы.

У меня собрано сказок несколько стоп... Итак, передаю вам собрание мое, не связывая вас ничем.

В. И. Даль —
А. Н. Афанасьеву



Я бы желал знать: получены ли вами наконец песни мои, целая стопа, или нет? Прилагаю еще кое-что, а от вас жду, если отыщутся, сказочек, пословиц, поговорок и слов.

В. И. Даль —
П. В. Киреевскому

П. В. Киреевский.
Худ. Э. Дмитриев-Мамонов.
1840-е годы.

Примерно в ту же пору Даль шутил в письме к оренбургской знакомой:

Не забыл я послать вам Языкова и Жуковского,
Послал бы даже Булгарина да Осипа Сенковского,
Да совестно класть их в один кузовок:
Нет в них души, хоть рот и широк,
И пахнет от них как-то медным пятаком.
А тронешь, не отмоешь во веки веком [1].

Даль вступал в борьбу рядом с Пушкиным: «Чувство, питаемое всеми нами к издателю «Современника», должно воспламенить каждого из нас к благородному соревнованию на поприще полезного и изящного». Пушкин статью не напечатал — по разным, наверно, причинам: и потому, что в «Современнике» появилась (без подписи) уже статья Гоголя «О движении журнальной литературы в 1834 и 1835 году» — в ней про Сенковского и журнал его сполна было сказано; и потому, что Пушкин уже ответил на статью Гоголя мистифицированным «Письмом к издателю», в котором точки над «i» по-своему расставил и к которому — уже от издателя — примечание сделал, заявляя, что статья Гоголя не есть программа «Современника». Пушкин полагал, видимо, что, публикуя статью Гоголя и «Письмо к издателю», с «Библиотекой» разговор заканчивает; Даль (без умысла, конечно) замахнулся кулаком после драки.

В периодических изданиях 30-х годов сочинения Даля порядком затеряны, почти не обнаружены; листаешь газеты, журналы — вдруг натыкаешься на «В. Даля», на «Казака Луганского», на «В. Д.» или какое-нибудь одинокое «Д.», которое так и просит, чтобы в нем заподозрили опять-таки Владимира Даля. Но нам сейчас важно, что Даль был не просто в литературе, а в литературной борьбе, что рядом с Пушкиным был, что не надо эти несколько лет до следующей и последней их встречи «перешагивать».

5

В широких степях оренбургских и бесконечных заоренбургских живет Владимир Иванович Даль, дышит легким воздухом, пропитанным запахом трав; но за полторы тысячи верст от Оренбурга — в Москве и за две

[1] ПД, № 27492/CXCVII б. 2.

тысячи — в Петербурге живет на газетных и журнальных полосах писатель «Казак Луганский», «В. Даль», «В. Д.», просто «Д.» — живет. Сколько слышали, читали, сами твердили — «осторожный Даль»; а вот ведь и предупреждают его: «Вы и сотой доли мерзостей не знаете, которые делаются в кругу бродяг, называющихся литераторами», — не может устоять, лезет «в гущу»: появляются его задорные «Письма к свату», за притчами, байками, за Далевым хитрым балагурством без труда угадываются прототипы; иносказания не прячут, а выявляют истину. Портреты остры и несомненны: «...А есть еще и такие, сват, что бегают сыщиками, легавыми, из угла в угол, из кута в кут: дай ему только дорыться, докопаться до слова, которое можно выворотить наизнанку... — так его пряником не корми». Дальше идет рассказец о мужике-пряничнике, на которого поступил донос, будто ассигнации печатает; пришли к нему с обыском, а нашли доску с надписью: «Сия коврыжка Вяземская» (намек незамысловатый — Вяземский деятельно сотрудничает в пушкинском «Современнике»; «любовь» Булгарина к князю Петру Андреевичу хорошо известна, как и разящие Булгарина эпиграммы Вяземского). «А доносчик что ж?.. Да что, пошел лазить по другим углам, не найдет ли еще где чего закаять, захаять...»

И снова про орла да ворона.

«19 октября 1836 года» — помечены заключительные строки «Капитанской дочки». 19 октября, лицейская годовщина, — в 1836 году торжественная двадцатипятилетняя — четверть века! Рассказывали: «По обыкновению, и к 1836 г. Пушкин приготовил лирическую песнь, но не успел ее докончить. В день праздника он извинился перед товарищами, что прочтет им пьесу, не вполне доделанную, развернул лист бумаги, помолчал немного и только что начал при всеобщей тишине:

> Была пора: наш праздник молодой
> Сиял, шумел и розами венчался...

как слезы покатились из глаз его. Он положил бумагу на стол и отошел в угол комнаты на диван...» У него впереди 3 месяца и 10 дней — годов уже не осталось. До анонимного пасквиля, до оскорбительной «мерзости» — 15 дней...

Накануне лицейской годовщины Пушкин получил письмо из Одессы — речь шла о «Современнике», о «Библиотеке для чтения», о литературной борьбе: «Прекрасна в № 11 Московского Наблюдателя притча об орле и вороне». Пушкин удивился, должно быть (если летом, когда вышел журнал, не успел его перелистать). «Капитанская дочка» лежала у него на столе, калмыцкую сказку, которую Пугачев рассказывал Гриневу, еще никто не читал. Хочется поверить, что Пушкин вовремя в «Московский наблюдатель» не заглянул, что именно в трудные осенние дни притча согрела ему сердце (впрочем, и двумя месяцами раньше нужна была Пушкину толика сердечного тепла). «Орел... гуляет под облаками, в высотах поднебесных; и зорок он, зорок... Он реет на кругах, и видит все, и созерцает все, что на лице земли, и малое, и большое. Вот расходился и заклектал, на распашных, широких крылах плывучи: утесы круче стены кладеной, пади, провалы страшные, сосны, лиственницы вековые, горные потоки в лучах, светила зубчатыми молниями мелькают... А карга, попросту ворона, на дряблом пне сидючи, покивала головой, повертела ею, поприцелилась вороньим глазом своим в бок, в другой... Пень стоит на луже, в нем червоточина, да дятел выбирает из него козявок, да гнилью от него несет — только и есть всего на все, вот и все!» Хочется верить, верим, — потеплело на сердце от немудреной притчи, и дружеским приветом дохнула знакомая подпись «Казак Луганский», и захотелось орлу из гнилого, мертвячьего, вороньего царства снова на простор, в бескрайние степи, где воздух, настоянный на диких травах, ключевою водою ломит зубы, где вольные напевы сами начинают звучать в ушах, где ветер залетный манит дымом далеких кочевий...

«И ПОБРАТАЛСЯ С НИМ...»

1

Орел не улетел в просторные степи, туда, где лишь ветер да он гуляют — воля... Незадолго до гибели набросал Пушкин короткие четыре строчки про «невольного чижика», который, «забыв и рощу и свободу», «зерно клюет и брызжет воду, и песнью тешится живой». Но тогда же поэт написал «Я памятник себе воздвиг...»: смерть над ним не властна.

На Урале записал Пушкин грустную песню — «зашатался-загулялся добрый молодец»:

Поднималася с гор погорушка, все хурта-вьюга,[1]
Все хурта подымалась с гор, погорушка полуденная,
Сбивала-то она добра молодца со дороженьки...

Хурта-вьюга «прибивала молодца ко городу» — на простор ему не вырваться.

2

...Какой сильный ветер хлестал землю в этот проклятый день — 27 января 1837 года!..

«Все хурта подымалась с гор...»

Данзасу было холодно, он определил: градусов пятнадцать мороза. В дворцовом журнале утром отметили: морозу два градуса. Может, оттого холодно Данзасу, что сани летят слишком быстро? Зачем так быстро — куда спешить? Но извозчик весело покрикивает на лошадей, и Пушкин сидит рядом, кутаясь в медвежью шубу, — такой, как всегда, только смуглое лицо потемнело еще больше, раскрасневшись от ветра. Пушкин совершенно спокойный — роняет обыкновенные слова, даже шутит; «Не в крепость ли ты везешь меня?» — спрашивает у Данзаса, когда выехали к Неве.

Проезжают места гулянья: «свет» катается с гор. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. «Все хурта подымалась с гор...» Ветер... Пушкину прямо, мимо «света»: к Черной речке. То и дело попадаются знакомые, едут навстречу — Пушкин раскланивается. Никто не спрашивает «куда?», не пробует остановить стремительные сани, никто не бьет тревогу. Мчатся куда-то поэт и камер-юнкер Пушкин, полковник Данзас, лежит в санях большой ящик с пистолетами Лепажа; знакомые кивают, делают ручкой, касаются пальцами шляпы, на ходу выкрикивают приветствия.

Граф Борх с женою — в карете четверней (каменное лицо). Именем графа Борха подписан анонимный пасквиль, присланный Пушкину, — «диплом ордена рогоносцев». («Вот две образцовых семьи, — говорит Пушкин, усмехнувшись недобро. — Жена живет с кучером, а муж — с форейтором».) Офицеры конного полка, князь Голицын и Головин — в санях. «Что вы так поздно, — кричит Голицын, — все уже разъезжаются!» Юная графиня Воронцова-Дашкова: ее охватывает тяжелое предчувствие. Но ч т о она может? Она делает то, что может: едет домой, дома со слезами на глазах она будет ждать дурных вестей.

---

[1] Х у р т а — по объяснению Даля, буран, метель.

Румяный извозчик весело покрикивает на лошадей, крутит над головою вожжами. Данзасу холодно, но он щеголяет выправкой — прямой, невозмутимый, подставляет грудь встречному ветру; раненая рука на груди, подвязанная черной треугольной косынкой. Пушкин поднял воротник, прячет в медвежьем меху обветренное лицо...

Слева осталась Комендантская дача, справа тянутся заснеженные огороды арендатора Мякишева. Извозчик сдерживает лошадей. Нужно торопиться: близкие сумерки слегка тронули снег.

Дантес и секунданты утаптывают снег; Пушкин, запахнув широкую шубу, уселся прямо в сугроб. Торопит Данзаса: «Ну что там?» Секунданты отмеряют шаги, шинелями отмечают барьеры; разводят противников по местам. Данзас машет шляпой-треуголкой. Шинели чернеют на померкшем снегу. Впереди у Пушкина — пять шагов до барьера, до выстрела, и еще сорок шесть часов.

Бело и пусто вокруг. До мелькания в глазах бело и пусто. Шинели чернеют проталинами. Выстрел услышит Данзас и дворник Комендантской дачи Матвей Фомин... Жуковский, Александр Тургенев, Вяземский — все они придут позже, после выстрела, — слишком поздно. «Невозможно было действовать», — оправдывала мужа, себя, всех оправдывала княгиня Вера Вяземская. Хурта...

3

Пушкина уже привезли домой, раздели, положили на диван в кабинете; уже съехались друзья; уже один за другим осмотрели Пушкина и произнесли свой окончательный приговор врачи: Шольц, Задлер, Саломон, Арендт, Спасский; уже страшная весть: «Пушкин ранен. Пушкин умирает!» — расползлась по столице...

«28 января 1837 года во втором часу пополудни встретил меня Башуцкий, едва я переступил порог его, роковым вопросом: «Слышали вы?» и на ответ мой:

нет, — рассказал, что Пушкин накануне смертельно ранен», — начинает Даль статью «Смерть А. С. Пушкина», воспоминание о последней их, третьей встрече.

И не то для нас важно в спокойном и обстоятельном зачине этом (Даль его, конечно, безо всякой задней мысли писал), что узнал Даль о событии на другой день во втором часу пополудни (вон Никитенко только на другой день вечером услышал про поединок), для нас важно, что именно Даль только через сутки о смертельной ране Пушкина узнал. У постели Пушкина, вернее у дивана (у одра!), собрались Жуковский, Плетнев, Одоевский, все приятели Даля, — а за ним не послали, сообщить к нему не послали. Даль не считался близким Пушкину человеком — просто добрый знакомый: Даль с Пушкиным на «вы».

Вот генерал Василий Алексеевич Перовский, Далев начальник, — он с Пушкиным на «ты» — накануне дуэли сидел у княгини Вяземской и проведал о предстоящем поединке («княгиня и ее собеседники не знали, как им быть»), но тоже не послал никого сообщить своему доверенному помощнику Далю о случившемся: тоже, наверно, считал, что сам он куда ближе к Пушкину, чем Даль.

...Оренбургский военный губернатор и его чиновник особых поручений прибыли в Петербург по служебным делам в первой половине декабря 1836 года. Даль ходил по департаментам — писал бумаги, ждал резолюций; кроме того, лежали в Далевом портфеле прошения многих оренбургских знакомых. Переводчик из Оренбурга Мартемьян Иванов пишет в столицу к Далю, просит содействия: «Я знаю, что Василию Алексеевичу самому никак не придется знать подобного роду обстоятельств, в которых может находиться наш брат бессловесный, безъязычный». Василий Алексеевич навещал в столице не только Вяземских, Жуковского или Виельгорского: по словам Петра Андреевича Вяземского, генерал Перовский, личный друг императрицы, главенствовал и в доме Трубецких, куда слетались приятели Дантеса. Перовский скорбел о Пушкине, но к Далю сообщить страшную весть не послал: у Даля свои дела в столице, а выстрел на Черной речке — это их дело.

А Даль пропал куда-то: может быть, выбрал время, возится со своими записями, отбирает какие поинтереснее — Пушкину показать.

4

Даль с Пушкиным встречались в столице — трудно предположить, что после пяти оренбургских дней Пушкин не нашел времени с Далем встретиться: про одну встречу, за несколько дней до поединка, нам доподлинно известно. «За несколько дней до своей кончины Пушкин пришел к Далю и, указывая на свой только что сшитый сюртук, сказал: «Эту выползину я теперь не скоро сброшу». Выползиною называется кожа, которую меняют на себе змеи, и Пушкин хотел сказать, что этого сюртука надолго ему станет. Он действительно не снял этого сюртука, а его спороли с него 27 января 1837 года, чтобы облегчить смертельную муку от раны». Это писал историк при жизни Даля. Но само слово «выползина» раздвигает рамки этой встречи или предполагает предыдущую: «Незадолго до смерти Пушкин услыхал от Даля, что шкурка, которую ежегодно сбрасывают с себя змеи, называется по-русски выползина, — сообщает другой современник. — Ему очень понравилось это слово, и наш великий поэт среди шуток с грустью сказал Далю: «Да, вот мы пишем, зовемся тоже писателями, а половины русских слов не знаем!..» На другой день Пушкин пришел к Далю в новом сюртуке. «Какова выползина! — сказал он, смеясь своим веселым, звонким, искренним смехом. — Ну, из этой выползины я не скоро выползу. В этой выползине я такое напишу...»

Встречались, конечно, встречались, и не раз, должно быть, и не два, да и почему бы не встречаться — ради того, чтобы Пушкину про «выползину» рассказать, стоило встретиться. В эти месяцы, недели, дни тяжкие обстоятельства не подавили Пушкина, не легли меж им и людьми бездонным провалом. За неделю до поединка Пушкин был у Плетнева, много и весело говорил; за два дня явился с Жуковским в мастерскую к Брюллову, веселился, стал перед художником на колени — выпрашивал какую-то акварель; за день или за два посетил Крылова, был особенно весел, говорил крестнице Крылова любезности, играл с ее малолеткой дочерью, вечером накануне дуэли он танцевал, шутил и смеялся на балу у Разумовской; утром 27 января написал знаменитое письмо Ишимовой — последнее его письмо, — удивительно доброе и спокойное. В один из этих дней Пушкин зашел к Далю (великолепная подробность, причем у обоих наших историков одна

и та же: Пушкин сам к Далю зашел!), сбросил в передней шубу, повернулся перед зеркалом, показывал Далю новый сюртук:

— Какова выползина!

Даль радуется: накануне с обозом из Уральска прислали ему громадного осетра и бочку икры — есть чем угостить Александра Сергеевича: пусть-ка вспомянет оренбургское путешествие. Пушкину не терпится: «Давайте-ка ваши запасы», роется в Далевых тетрадках, восторгается бурно и громко. Беседуют, должно быть, о «Современнике», о «Капитанской дочке», только что напечатанной, об уральских казачьих станицах-крепостях, о песнях уральских.

Не белинька березанька к земле клонится,
Не камыш-трава во чистом поле расшаталася,
Зашатался-загулялся добрый молодец
В одной тоненькой кармазиновой черкешучке...

Пушкин смеется: «Э, все хурта-вьюга!..» Встает с кресла; на добром молодце не алая черкесочка — черный сюртук. В передней Пушкин повернулся перед зеркалом:

— Ну из этой выползины я теперь не скоро выползу.

А уже все решено — январь на исходе.

— В этой выползине я такое напишу!..

У Даля отозвалось в памяти: «О, вы увидите: я еще много сделаю!..»

5

...Уже все решено, а Даль и не знает ничего; хорошо, что 28-го во втором часу пополудни надумал заглянуть к писателю Башуцкому. «Слышали вы?» — «Нет». — «Пушкин смертельно ранен».

Затем в воспоминаниях Даля следует сразу: «У Пушкина нашел я уже толпу в передней и в зале», — это замечательно (хотя у Даля, когда писал, опять-таки вряд ли задняя мысль была), замечательно, что Даль не пишет о поисках решения: «Я подумал...», «Я счел возможным...», даже «Я отправился»... Узнал — и он уже у Пушкина.

Мы имеем право лишь додумать... Даль выслушал Башуцкого — и ни о чем не стал расспрашивать. Через несколько минут он уже сворачивал с Невского проспекта на набережную Мойки. Здесь в доме № 12 — квартира

Пушкина; последняя. Сюда перебрался он с Гагаринской набережной: управляющий домом на Гагаринской оказался негодяем. На Мойке, судя по договору, Пушкин намеревался прожить не менее двух лет; не прожил и четырех месяцев: в жизнь Пушкина грубо вторгались не только управляющие домами. Даль идет по набережной Мойки; внизу между гранитными берегами ветер гонит снег. Снег струится мутный, невеселый — похож на дым. Доживи Пушкин до лета, смотрел бы из окна, как плывут по темной, густой воде зеленые лодки с округлыми, крутыми бортами.

Тяжелые створы ворот, украшенные пилястрами, приоткрыты. На лестнице стоят молчаливые люди — толпа еще не густа, но подниматься уже трудно. Дверь в прихожую заперта, сквозь узкую боковую дверцу Даль продирается в буфетную; здесь тоже люди, тихие и неподвижные, в длинных темных шинелях и шубах, — желтые стены буфетной неприятно ярки. Из окон видна пустая мутная набережная. Даль шагает по сумрачным комнатам: кто-то пробегает мимо с полотенцем, кто-то шепчется в углу у серого пустого окна, кто-то сидит в кресле, прижимая к губам платок. Даль не задерживается, никому не задает вопросов, — он спешит к Пушкину: никогда не был он так уверен, что поступает правильно.

6

Он видит Пушкина на диване возле книжных полок; у Пушкина спокойное лицо, глаза закрыты. Даль не подходит, вглядывается издали (Пушкин открывает глаза, произносит что-то — глаза его блестят). В Дале пока живет надежда, он приближается к дивану; Пушкин протягивает ему руку, грустно улыбается:

— Плохо, брат...

Рука у Пушкина чуть теплая, но пожатие крепко; Даль привычно ловит пальцами пульс — удары пульса явственны, не слишком часты. На лице у Даля Пушкин читает надежду — Арендт и Спасский пожимали плечами, на вопрос раненого отвечали прямо, что конец неизбежен и скор. Известно мужество Пушкина, выслушавшего смертный приговор, но вот доктор Малис, изучая ранение и смерть поэта, говорил, что Даль оказался более мудрым врачом-психологом, чем столичные знаменитости: «У постели Пушкина оказался врач, который пони-

мал, что больного прежде всего надо утешить, подбодрить, внушить ему трогательный принцип: spiro, spero[1]».(Как хорошо у Даля: «психолог» — «душеслов»...) «Пушкин заметил, что я стал добрее, взял меня за руку и сказал: «Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру?» — «Мы за тебя надеемся еще, право, надеемся!» — Он пожал мне руку и сказал: «Ну, спасибо». Даль садится возле дивана — теперь он не уйдет отсюда до конца.

Он сам пришел и оказался вдруг очень нужен. Пушкин сразу говорит Далю «ты», и Даль отвечает ему таким же «ты» — легко и просто, словно не было прежде никакого «вы».

«В первый раз сказал он мне «ты», — я отвечал ему так же, и побратался с ним уже не для здешнего мира». — «Плохо, брат!»... Брат Даль... Словно повернулось что-то, словно свет какой-то от этого «ты», от этого братания. Вчера Далю сообщить забыли, не послали за ним, а тут вдруг как прорвалось!.. Александр Иванович Тургенев, очень близкий Пушкину человек (он повезет прах поэта в Святые горы), тут же, из соседней комнаты, пишет: «Друг его и доктор Даль облегчал последние минуты его»; Николай Станкевич рассказывает о смерти поэта, ссылаясь на «журнал, веденный доктором Далем, другом Пушкина (это — Казак Луганский)»; Софья Карамзина называет Даля «ангелом-хранителем»; Жуковский набрасывает список ближайших, кому можно доверить описание смерти Пушкина: Данзас, Плетнев, Вяземская, Вяземский, Мещерский, Карамзина, Даль, Виельгорский, Спасский, Одоевский...[2]

Друг Даль...

Врачи появляются, исчезают. Арендт, придворный медик, приказывает ставить пиявки, прописывает снадобья; опять торопится во дворец. Даль остается — припускает пиявок, поит Пушкина лекарствами. Спасский, семейный врач Пушкиных, спокойно покидает раненого на попечение доктора Даля.

7

Друзья входят в кабинет, тихо приближаются к дивану, неслышно выходят; Даль сидит у изголовья. Ночью Жуковский, Виельгорский и Вяземский отдыхают в соседней комнате; Даль остается с Пушкиным: последнюю ночь Пушкин проводит вдвоем с Далем. Держит Даля за руку; Даль поит его из ложечки холодной водой, подает ему миску со льдом — Пушкин жадно хватает кусочки льда, быстро трет себе виски, приговаривает: «Вот и хорошо! Вот и прекрасно!» Снова ловит мокрыми пальцами Далеву руку, сжимает ее несильно. У него жар, пульс напряженный — сто двадцать ударов в минуту.

Пушкин долго смотрит на Даля.

— Какая тоска, — произносит тихо. — Сердце изнывает!

Даль меняет ему припарки; он уже ни на что не надеется, в Адрианопольском госпитале он видел ежедневно десять тысяч раненых. Он поправляет подушки, поворачивает Пушкина, укладывает поудобнее — Пушкин очень легок.

— Ну вот и хорошо, и прекрасно, и довольно, теперь очень хорошо, — бормочет Пушкин.

Даль сидит у изголовья, Пушкин держит его за руку.

Свеча оплывает. Мерцают на полках книжные корешки. В камине редкие угольки краснеют под серым мягким пеплом.

Январь — светает поздно.

Последнее утро началось тихим гулом толпы: сотни незнакомых друзей заполняют подъезд, сени; черная набережная шевелится, несмолкаемо и ровно гудит.

Пушкин часто спрашивает, кто там пришел к нему.

— Много добрых людей принимают в тебе участие, — отвечает Даль, — зала и передняя полны с утра и до ночи.

Часы на камине бьют два. Впереди у Пушкина — три четверти часа.

Пульс почти исчез.

Пушкин вдруг просит моченой морошки.

— Позовите жену, пусть она покормит.

Наталья Николаевна, стоя на коленях у изголовья, подносит ему в ложечке ягоды — одну, другую.

Пушкин гладит ее ласково по голове:

— Ну, ну, ничего, слава богу, все хорошо.

Наталья Николаевна выбегает из кабинета:

— Он будет жив! Вот увидите, он будет жив!

Пушкин ищет руку Даля, сжимает неожиданно сильно:

— Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше!

[1] Дышу, надеюсь *(латин.)*.
[2] Разрядка всюду наша. — *В. П.*

Приоткрывает глаза. Веки его тяжелы.

— Мне было пригрезилось, что я с тобою лезу вверх по этим книгам и полкам, высоко — и голова закружилась.

Всматривается Далю в лицо:

— Кто это? Ты?

— Я, друг мой.

— Что это, я не мог тебя узнать?

И снова сжимает руку Далю:

— Пойдем!

Какое счастье, страшное, горькое, — и все-таки счастье — быть с Пушкиным в последних его грезах.

— Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе!

Руки у Пушкина холодны и белы, как снег.

Просит:

— Подними меня.

Даль берет его под мышки, приподнимает повыше.

Пушкин, будто проснувшись, широко раскрывает глаза, произносит ясно, четко:

— Кончена жизнь.

От неожиданности Даль переспрашивает:

— Что кончено?

— Жизнь кончена...

8

...Лежит на распахнутой ладони тяжелый и теплый пушкинский перстень-талисман. Можно подхватить перстень кончиками пальцев, поднести к глазам, заглянуть в чуть продолговатый зеленый камень: камень бездонно глубок, до черноты, и лучист. Так смотрят в глаза.

В «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» появилось в черной рамке знаменитое горестное объявление: «Солнце нашей поэзии закатилось!..» Власти разгневались, редактору Краевскому досталось и за «солнце» («Что за выражения!.. Помилуйте, за что такая честь!..»), и за рамку («Что это за черная рамка вокруг известия о кончине человека не чиновного, не занимавшего никакого положения на государственной службе?»). «Сегодня был у министра, — заносил в дневник Никитенко. — Он очень занят укрощением громких воплей по случаю смерти Пушкина». Даль составлял записку о последних часах поэта: «Тяжело дышать, давит», — были последние слова его». Шли люди прощаться с Пушкиным; «это были действительно народные похороны», — свидетельствовал очевидец. Директор канцелярии Третьего отделения Мордвинов (все тот же Мордвинов!) готовил письмо к псковскому губернатору Пещурову: «...Имею честь сообщить вашему превосходительству волю государя императора, чтобы вы воспретили всякое особенное изъявление, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина». («Тяжело дышать, давит!») А гроб обкладывали соломой, увязывали в рогожу, чтобы ночью, тайно, — в Святогорский монастырь: «Но ближе к милому пределу мне все б хотелось почивать». Морозы стояли лютые, палящие. Метель дороги переметала. Хурта-вьюга подымалась над холмами михайловскими и тригорскими...

На память о Пушкине достались Далю перстень, который поэт называл талисманом, и простреленный черный сюртук с небольшой дырочкой против правого паха. Тот самый — в ы п о л з и н а.

9

В «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» через два месяца после крамольного «солнца» в крамольной черной рамке появилось странное сочинение Даля — «Письмо казака из-под Шумлы». Даль вроде бы от турецкой войны отошел, иные темы волновали его воображение, иные образы под пером его рождались, и вдруг Шумла. События в «Письме казака» изложены достоверные: в тексте много подлинных имен, многие участники «дела» еще живы. Что-то побудило Даля припомнить неудачную схватку с турками под стенами крепости, обнародовать письмо-рассказ о гибели славного казака есаула Котельникова. Сражался Котельников с недругом в честном бою, сколол его пикою, тот грянулся снопом, «Сдаюсь!» — кричит, «а сам волчью думу гадает». «Котельников, сердечный, поверил ему, не стал докалывать, а он, выхватив пистоль... пустил заряд по нем». Пуля вошла в правый пах, перебила кишки (какая знакомая рана! — уложен на самое дно баула заветный черный сюртук с дырочкой против правого паха...). Сидит над есаулом лекарь — грустный лекарь Даль, что-то старается, делает, хотя и знает уже, что чудес не бывает, что Котельников зари не увидит. Приходят казаки —

прощаются со своим есаулом: «Плакали, брат, и казаки» («Он благодарил за заботы Даля и Данзаса, которые плакали и целовали ему руки», — писала Вера Вяземская); «Плакали, брат, и казаки, не одна хозяйка с ребятишками поплачет» («Она уже не была достаточно печальной, слишком много занималась укладкой и не казалась особенно огорченной, прощаясь с Жуковским, Данзасом и Далем — с тремя ангелами-хранителями, которые окружали смертный одр ее мужа», — писала Софья Карамзина). «Затем прощай. Слышно, пойдем за Балканы» («Ну, подымай же меня, пойдем, да выше, выше...»); «С кем господь велит, свидимся: либо с тобой, сватушко ...либо с есаулом, вечная ему память; и он, чай, сотню свою поджидает...» («Ну, пойдем же, пожалуйста, да вместе...»).

10

Даль возвращается к себе в Оренбург. В степях еще снег, кругом бело — земля, небо, — в глазах кружатся, мелькают сверкающие мотыльки. Но уже тянет весной: ветер влажный, кое-где на пригорках буреют проталины, черный ручей, объедая прозрачную ледяную кромку, выбился вдруг наружу. Стает снег — и закачаются над черной землей широкие сине-лиловые колокольцы сон-травы. А после, тая в блекло-синей выси и вдруг снова являясь взору, на широко распластанных крыльях повиснет над степью могучий орел. Но пока еще метет понизу — за̀меть. Едет Даль по степному простору, по степовому раздолью, проезжает казачьи крепости — Нижне-Озерную, Татищеву, Чернореченскую; люди здесь помнят Пугачева, теперь будут помнить Пугачева и Пушкина. Здесь Пушкин записал песню про добра молодца, над которым вдруг несчастьице случилось: «Вся хурта подымалась с гор... Собивала-то она добра молодца со дороженьки». Здесь Даль потом записал песню про сиротство:

Как у дуба, у сыра дуба
Много ветвей и паветей...
. . . .
Только нет у сыра дуба
Золотыя вершиночки...



ПРОСТОР

Чем дальше от столиц наших на юг и на восток, тем простор становится шире, и еще много, много видится тут умственно впереди...

В. Даль

Ум простор любит.

Пословица

«КАК ДАЛЬ ИВАНЫЧ СЕБЕ ДОМ ЛАДИЛ...»

1

От Чернореченской, которую зовут здесь просто Черноречьем, до Оренбурга по тракту двадцать девять верст, но трактом ездят только в половодье, в другое же время — долой с дороги и «лугами» (хотя «луга» — и не луга вовсе, а поляны, пересекаемые лесом) — этак выходит всего восемнадцать. «Не устлана дорога золотом, не полита потом, чтоб железо ела — как говорится о щебенке, а так создана, какова есть ...и катишься раздольно, льготно, оглядываешься на частые дубравы, на пологие зеленые скаты, на крутые берега, на дальние темные боры, на седой придорожный ковыль...» Так вспоминает Даль поездки по Оренбургской губернии — счастливо и весело!

Даль вспоминает Оренбург, когда дни его (век) подбираются к концу, когда новая жизнь клокочет вокруг; рассказывая о привольной езде на тройке, он походя сердится на «рыскающего парового зверя», который «мчит тебя вихрем, так, что света божьего не видать», «глушит пронзительным свистом», «кружит голову от мелькающих столбов, решеток, значков и будок», — зачем старику Далю паровоз («паровая повозка»)!

Оренбургская жизнь видится старику Далю льготным раздольем, он вспоминает о ней «мечтательно» — «задумывается приятно». Здравый смысл подсказывал Далю, что «понятия веков не сходятся» и что «век нынешний» неизбежен и необходим, но разве помешаешь тому, у кого «волос поблек, как осенний лист», о «веке минувшем» хотя на миг «задуматься приятно»: «Как Даль Иваныч друзей собирал, фруктами угощал да с ними повирал. Всяки диковинки тут же являлись, и все друг другу удивлялись» — до чего ж благодушно, до чего ж хорошо-то все... Рай!..

2

За полверсты от города, справа вдоль дороги, выстроились в два ряда здания предместья — сразу бросается в глаза двухэтажный военный госпиталь; по левую руку одиноко стоит возведенный при Перовском и отмеченный (подчас воспетый) всеми путешествующими Караван-сарай: «грандиозное здание редкой и чудной постройки, фасад украшен по углам двумя башенками», «мечеть и минарет, выложенные изразцами». Через сухой ров, окружающий город, переброшен маленький каменный мост; кибитку встряхивает на мосту, и вот она въезжает уже в Сакмарские ворота, тут несколько задерживает ее караул — записывают паспорта проезжающих. И — по главной улице, широкой, прямой и пыльной («мелькают красивые деревянные и каменные дома, окрашенные в белую, серую или желтую краску»), по главной улице во второй переулок направо: здесь лучшая в городе гостиница — на вывеске пузатый дымящийся самовар, в номерах грязные окна, дурная меблировка и продырявленный кожаный диван, густо населенный клопами.

Есть, впрочем, и деловое описание города, составленное офицером-статистиком генерального штаба: подробно перечислены все присутственные места, церкви, лавки, казармы, гауптвахта, гостиный двор, тюремный замок; точно высчитано количество каменных и деревянных обывательских строений и число «душ» самих обывателей.

Среди 1385 домов найдем один, нам нужный и одному из тринадцати с половиной тысяч оренбургских жителей принадлежащий, — один дом одного человека: чиновника особых поручений при военном губернаторе, с 1833 года — коллежского асессора, с 1834-го — надворного советника, с 1838-го — коллежского советника, что соответствовало военно-сухопутному чину полковника или морскому — капитана первого ранга (эк ведь куда махнул за пять лет отставной флота лейтенант!) Владимира Ивановича Даля.

«Как Даль Иваныч себе дом с неделю ладил, все лощил да гладил, ничего не изгадил, сам стружил и пилил, топором рубил, клей варил, колесом точил, штуки прилаживал, за работой ухаживал. Люди любуются, Иванычу дивуются». Есть у Даля и такая байка.

3

Владимир Иванович купил в Оренбурге дом («избу») «со всеми угодьями и ухожами»[1], завел мастерскую-кабинет («просторный покой»), поставил там верстак и станок токарный и работает каждый день часа два («до пота»), «чтобы быть веселее и здоровее». Первенец, сын Лев (Даль звал его по-башкирски — «Арслан», многие знакомые полагали, что имя мальчика «Еруслан») забегает в «покои», ломает все, что в руки попадет; большой разбойник; полон рот зубов; жена, маленькая хорошенькая немочка («колибри»), играет на фортепьянах, поет тонким приятным голоском русские песни...

Владимир Иванович посылал знакомым шутливую картинку: лист бумаги рассекал прямой чертой пополам, сверху надписывал: «Небо», снизу: «Земля», — «вот вам вид нашей природы...».

Простор!.. «Пространство по трем размерам своим», — толкует Даль слово «простор». И еще «досуг, свободное, праздное время»; но праздного времени Даль не знал, досуг его был дело; он хорошо пишет про скуку — «тягостное чувство, от косного, праздного, недеятельного со-

[1] Ухожи — «все домашние, хозяйственные строения, опричь жилого дома». В. Даль, Толковый словарь.

стояния души; томление бездействия». И наконец, самое важное для нас (для Даля!) толкование все того же слова «простор» — «свобода, воля, раздолье»; и «довесок» (как Даль любил выражаться), тоже немаловажный, — «противоположное — гнет, стесненье».

В оренбургские годы Казак Луганский более чем когда-либо вольный казак.

Здесь он лицо заметное, значительное: «Состоящему при мне чиновнику особых поручений коллежскому советнику Далю... предписываю гг. исправникам, городничим, кантонным, дистаночным, султанам и прочим частным начальникам, горнозаводским, гражданским и земским полициям и сельским начальствам оказывать всякое содействие, по требованию его доставлять без замедления все необходимые сведения, давать потребное число... лошадей и в случае нужды из башкирских и казачьих селений рабочие и конвойные команды. Генерал-адъютант Перовский»...

Но между «начальником края» и «состоящим при нем» не только «особые поручения», но и «особые отношения»; по-толстовски говоря, «субординация неписаная» (существенная подробность: петербургские друзья Перовского просят именно Даля подготовить Василия Алексеевича к тяжелому известию о смерти старшего брата, писателя).

А после службы — литературные занятия, и успешные (успех, успешка — и «спорина в деле», и «удача»): Даль в Оренбурге пишет много, «споро», и «удача» ему способствует — его читают охотно и хвалят и в Питере, и в Москве. А сверх литературных занятий — изучение края и народов, его населяющих, увлечение естественной историей, устройство музеума... И конечно, как всегда и повсюду, бесконечное (и громадное!) пополнение для словаря, собирание сказок, пословиц, песен... И долгие тысячеверстные прогулки по степи, и садоводство, и охота — «как Даль Иваныч на охоте по колени в болоте; медведей и зайцев стреляет, дробью дичь обсыпает, отдыху не знает...». И разного рода «престранные фантазии» и «причуды», как называет иные Далевы занятия близкий его оренбургский знакомый [1].

[1] Тридцать лет спустя два изобретателя спорили, кто из них первый предложил новую систему вентиляции — «тяги», по-Далеву; Даль отозвался на их спор статьей «Самоновейшее изобретение» и рассказал, не требуя первенства, что в 1838 году сам сделал такого рода вентиляцию у себя в оренбургском доме; «в своем же доме в Москве — Пресня, № 475, — также не будучи изобретателем, в 1863 году я проложил ряд гончарных труб под полом, выведя их в печную трубу, и этим достиг такой тяги и очистки воздуха, какой желать можно». Далевы «причуды»!.. (ПД, № 27505/CXCVII б. 3.)

И еще остается время быть в курсе (то есть знать «направление хода») «века нынешнего». И пушкинская новинка — «В Академии наук заседает князь Дундук», и «Гоголь написал Арабески, т. е. сбор всякой всячины — том истинно достоин прочтения», и вышли «сочинения Лермонтова, о которых много говорили; роман его «Герой нашего времени» хорошо рассказан по содержанию», хотя заметно «подражание французской школе и в особенности Сулье» (кто теперь помнит о Мельхиоре Фредерике Сулье!), но «стихи действительно хороши», и «Глинка кончает новую оперу свою Руслана», — это все из писем к Далю.

4

«Ум простор любит», — ум Даля пытлив и многосторонен, в Оренбурге широте ума, широте интересов соответствует широта занятий. В письме к Одоевскому, жалуясь, что «казенная работа упырем сидит на шее», что «только украдкою от самого себя мог сделать это», Даль перечисляет это, сделанное «украдкою»: приготовил статью для «Отечественных записок», перевел с украинского повесть для «Современника», для Виельгорского записал мелодии башкирских песен и проч., и проч.

«К чему охота, к тому и смысл», — Даль был до многого охоч, он был легковоспламеним, внешне такой спокойный и рассудительный Даль, а воспламенившись и ощутив охоту, делал все со смыслом. Приятель Даля, художник Сапожников просит прислать ему для коллекции несколько видов бабочек из тех, что водятся в Оренбургском крае. Даль воспламеняется, «охота охотиться» за бабочками одолевает его, он тотчас вносит в дело смысл — и вот уже Сапожников восторженно благодарит Даля: он включил в свою коллекцию более ста двадцати штук; в письмах приятели обсуждают наилучшую конструкцию ящиков для пересылки собраний насекомых («причуды»!).

Широкий ум любит пробовать, исполнять: творчество — потребность его; в занятиях, в попытках творить, осуществлять мысль Даль никогда не знал такого

раздолья, как в Оренбурге. Широта ума и широта занятий в Дале неразрывны, слиты (думать и делать), потребность осуществлять мысль непрерывна и неистощима. Это в самой личности. Пережив большое горе (смерть жены), Владимир Иванович удвоил-утроил свои занятия; сестра Павла («твоя всегда верная сестра»), страстно разделяя скорбь его, в этом новом рывке к делам узнает брата: мы — Дали!

5

«Всему на свете своя пора, своя череда, потому что без череды, без ряду и уряду, не было бы ни толку, ни порядку и не стоял бы свет», — писал Даль. Первую половину своей оренбургской поры-череды он называл «пять лет очень счастливой жизни». Здравый смысл подсказывал Далю, что, если человек даже «лет десяток в одной шкуре ходит», то «и это, по общим законам природы, только видимая, то есть обманчивая стоянка». Но когда оренбургский дом был «слажен», «вылощен» да «выглажен», Даль не удержался, написал сестре: «Я боюсь одного только — перемены».

Чудак!.. Будто не ведает, что дней много, а все впереди: «Сколько клеток поставил, знаю, а сколько куниц поймаю, не знаю».

Не знает, что век жены короток, дни уже сочтены; не знает, что согласится (чиновник особых поручений!) ампутировать руку отставному майору Льву Васильевичу Соколову — дочь майора, Катерина Львовна, станет его, Даля, второю женою; не знает, что вторая жена родит ему трех дочерей; не знает, что предстоит ему пережить смерть меньшого сына (не Льва — другого), которого в письмах ласково звал «казачком», и смерть дочери, тоже малолетней, нареченной Светланой, — ничего-то он не знает, умница Даль, широкий ум, который, кажется, все знает.

«Пять лет очень счастливой жизни» пролетят (и воскреснут лишь в стариковских «мечтательных» воспоминаниях) — Оренбург исчерпает себя: служба (нарушится «субординация неписаная»), литературные и научные занятия, домашняя благодать. Еще три года спустя Даль вообще уедет из Оренбурга. Уедет без сожаления — и не потому без сожаления, что счастливые годы кончатся (он-то знал, что счастье на крылах, а несчастье

на костылях и что надобно жить, как набежит), но именно потому, что придет пора, череда: «Не наше счастье, чтоб найти, а наше, чтоб потерять». Даль увидит новые горизонты (он предпочитал: «кругозор», «небозем»; предлагал также прекрасные архангельские «озор», «овидь» или орловское «оглядь»). «Нового счастья ищи, а старого не теряй!» — пословица, на первый взгляд осторожная, опасливая, а ведь, как вдуматься, и вовсе нет, надо только поменять местами обе части ее: старого счастья не теряй, а нового ищи, ищи... А он-то, Даль, вдруг стал строить дом на века, вдруг перемен убоялся. Да как же можно без перемен, без поисков нового счастья! «Рыбам вода, птицам воздух, а человеку вся земля».

6

Даль рассказывает:

«Подружившись со мною в степи, один киргиз хотел мне услужить и просил взять у него верблюда.

— На что он мне? — сказал я.

— Да ведь у тебя дом (кибитка, юрта) есть?

— Есть.

— Так он будет таскать его.

— Дом мой не складной, а стоит, вкопанный, на одном месте.

— И век так будет стоять?

— Покуда не развалится, будет стоять.

— О, скучно ж в твоем доме, — сказал киргиз, покачав сострадательно головой. — Послушай, возьми верблюда да попробуй перенести дом свой на новое место — будет веселей».

ОСОБЫЕ ПОРУЧЕНИЯ

1

«Лето собирает, а зима поедает». Оренбург удобно расположен для собирания слов: европейская Россия и Сибирь, Урал и казахские степи — все будто сошлось, сомкнулось, стянулось узлом в этом краю. Русские с разных концов России — переселенцы (в одном уезде — выходцы из двадцати губерний), а отъедешь три версты —

казачья станица с нетронутой, самородной уральской речью. Самородной!.. (Смотрим, конечно, в Далев словарь: «самородный» — природный). В исследованиях «о первоначальном основании Оренбургского казачьего войска» говорится, что в состав его переводимы были казаки из Самары, Уфы, Челябы, что среди самарских казаков были московские стрельцы и смоленские мелкопоместные дворяне, среди уфимских — из разных мест охотники, что переводили сюда также служить охотников «из крайних сибирских слобод» и «разного рода пришельцев»; при казачьих войсках служили к тому же «новокрещены» — татары, мордва, черемисы, калмыки. Вот сколько в самородность эту переплавилось! А тут еще башкиры, тептяри, мещеряки (имелось даже отдельное «башкиро-мещерякское войско»), и у всех свой быт, свои обычаи и обряды, свои жилища, одежда, орудия труда и оружие, у всех свои слова; их перенимают, произносят по-своему, придают им новые оттенки и новый смысл.

Казачьи станицы-крепости вытянулись лентой («линией») верст на восемьсот по течению Урала; вокруг раскинулись бескрайние «полуденные» степи.

Чиновник особых поручений Владимир Иванович Даль часто бывал в крепостях Оренбургской линии.

Он и оглядеться-то в Оренбурге не успел, как уже — «чрез Уральск до Гурьева и обратно до крепости Калмыковой, от оной на орду Букеевскую, обратно по Узеням на Александров Гай, на речки Чижи, Деркул в Уральск и, наконец, степною дорогою чрез Илецкий городок в Оренбург»; всего он отмахал две с половиной тысячи верст. Спустя три месяца Даль снова отбыл «на линию», пять месяцев спустя — снова.

Для Даля здесь заповедный уголок. Картины быта, новые и незнакомые, западали в память, всякая мелочь казалась примечательной. Казаки, должно быть, пожимали плечами — с чего это губернаторский посланец не сидит с местной властью в канцелярии, а все норовит поглядеть объезд коней, сборы, рыбный промысел, ходит по домам, смотрит, как родительницы шьют сарафаны, ткут пояса; ходит, смотрит и пишет что-то в тетрадке, хотя все это дела обыкновенные и никакого интереса в них нет.

Наблюдать неведомый быт, узнавать поразительные нравы и обычаи, записывать слова, доселе неслыханные, — ради этого стоит, право, «катиться льготно» сотни и тысячи верст.

Но: «Скоро два месяца, как я нахожусь в Уральске. Причина моего пребывания здесь, может быть, вам известна: это опять-таки волнения казаков Урала — и сначала дело было очень серьезное... Злонамеренным людям удалось взбунтовать народ и восстановить против местных властей...» Это из письма Василия Алексеевича Перовского. Чиновнику особых поручений Далю, едва тот объявился в Оренбурге, военный губернатор доверил поручение особое — разобраться в «неудовольствии» и «волнениях» казаков.

2

В письмах радостно: «Лето провел в степи, сделал верхом я 1500 верст»; «Живу опять на кочевье, где так хорошо, так хорошо, что не расстался бы...» Простор!..

Но степь не земля и небо, разделенные линией горизонта: под бескрайним небом на просторной земле живут люди — кочуют аулы, кони скачут, несут на себе неутомимых наездников и смуглых женщин, которые в седле не отстают от мужчин; высоко над степью поет невидимая птица, и девушка звонким и нежным голосом птицы поет за войлочной стеною юрты. Люди здесь долго смотрят на звезды, угадывая, сулит ли удачу завтрашний день; здесь выросшее на могиле дерево означает, что в землю положен святой; здесь товарищи подают друг другу сразу обе руки. Здесь говорят: «Джигит — брат джигиту». И еще: «Если нечем угощать гостя, угости его хорошей беседой». Здесь говорят также: «Гость сидит мало, да замечает много».

Далю, даже голодному, хорошая беседа нужнее самых жирных кусков в котле: Даль и в степи не расстается с тетрадками, слушает и замечает — это главное в его жизни. «Мать дороги — копыта, мать разговоров — уши», — говорят казахи, они ценят пословицу не меньше, чем костромской или рязанский мужик-балагур: «В пословице — красота речи, в бороде — красота лица».

Степь называют сухим океаном; Даль, которого укачивало в море, любит безбрежную степь. В степи, как в океане, нет дорог; но степной человек, казах, по приметам, ему одному известным, гонит коня все прямо, прямо, день гонит, два, неделю, и, как по струне, точно выезжает

в нужное место. А может, и примет никаких нету: просто плывет казах в степи, как птица перелетная в небе, как рыба в океане. «Лошадь — крылья человека», — говорят здесь: малым ребенком приученный к верховой езде, казах слит с конем, в седле он куда уверенней, чем на своих двоих; на скачках, припав к жесткой, взбитой ветром гриве, он легко проходит версту за полторы минуты; в далеких поездках покрывает за сутки сто и полтораста верст. Даль любит неторопливую езду. Попутчик-казах, лениво помахивая нагайкой, тянет долгую песню. Зорким взглядом схватывает беркута, неподвижно повисшего в небе, и темную цепочку верблюдов далеко, у самого горизонта, и черный скрюченный куст — и все, что видит, тотчас переливает в песню; Даль смотрит и слушает, как рождается песня.

Здесь говорят также: счастье приносит белая рогатая змейка — шамран; нужно только не испугаться и расстелить у нее на пути новый платок; шамран переползет через платок и скинет свой рог; его надо подобрать и спрятать — тогда будет много верблюдов, коней и овец, будут кожи и сафьяны, шерсть, мясо, пузатые турсуки с кумысом. Но белая змейка редко попадает бедняку. Даль знал Инсенгильди Янмурзина, у которого было двенадцать тысяч коней, многие тысячи верблюдов, бессчетно овец, но Даль видел семейства, которые владели одной козой — питались ее молоком, а двигаясь по степи, вьючили на козу свой жалкий скарб. В голодные зимы, когда выпадал глубокий снег или ледяной коркой затягивались пастбища, худые, оборванные казахи приходили «на линию» — продавали детей в работники: мальчик стоил двадцать рублей, за четырех мальчиков платили со скидкой — семьдесят пять. У байгушей, нищих, не было ни козы, чтобы подоить, ни детей, чтобы продать. Даль написал про такого бедняка, байгуша, — Даль вроде бы и посмеивается, но портрет получается страшный: он «лето и зиму ходил... в стеганом полосатом халате, покрытом до последней нитки заплатками всех цветов и родов — шелковыми, бязевыми, ситцевыми, суконными, наконец кожаными и меховыми. Лучшее место на халате был лоскут алого сукна, с ладонь, положенный на спине, между лопаток; тут была зашита спасительная молитва, которая, однако же, не спасала его от частых побоев толстою плетью по этому же самому месту».

Здесь говорят: «Заколовший верблюда просит мяса у заколовшего козу». Инсенгильди Янмурзин со своими верблюдами «старался держаться кочевьем поблизости линии»: он рассчитывал, что царские солдаты и казаки с пушками и ружьями, царские чиновники с законами и судами защитят его от тех, кто заколол последнюю козу.

Здесь говорят: «Там, где не знают тебя, уважают твою шубу». Хорошую шубу, возможно, уважают, пока не узна́ют ее владельца, но чиновничья шинель для первого знакомства не подходит. Рассказывали, как чиновник из Орска явился с отрядом в казахское кочевье разбирать какое-то дело: мужчины развлекали его беседой, готовили бешбармак, женщины и дети выбегали из юрт поглядеть на него; вокруг колыхались отары и ржали табуны. А наутро чиновник и его отряд проснулись одни-одинешеньки посреди белой степи: не было круглых юрт, чадных огней, закопченных котлов; не было спокойных мужчин, любопытных детей, таинственных женщин, — никого и ничего не было. Ночью кочевье бесшумно снялось с места и растворилось в сером просторе — только помет остался на вытоптанной земле да черные круги от вчерашних костров. Человека в чиновничьей шинели боялись, чиновника особых поручений Даля уважали, в какой бы шубе он ни приезжал: Даль, по утверждению советского исследователя, был «известен казахам своей правдивостью и объективным пониманием обостренного положения в степи»[1]. От Даля не убегали, его охотно ждали даже в тех местах, куда он приезжал впервые (по степи, без почты и фельдъегеря, вести мчатся быстрее, чем срочная депеша по тракту), но Даль, разбирая дела, не знал, как избавить «азиатца» от «ужасов двух крайностей: безначалия и самовластия», не умел «вразумить его, что дела могли и должны бы идти иначе и лучше».

«Султаны-правители состоят под непосредственным ведением пограничной комиссии, подчиненной военному губернатору, — писал Даль, — уголовные дела решаются по нашим, русским постановлениям; но суд и ряд удаленных от линии родов киргизских находится в руках сильного; а сильный — это богатый или прославившийся разбоями наездник». Для бедняка, заколовшего послед-

[1] М. И Фетисов, Литературные связи России и Казахстана. М., Изд-во АН СССР, 1956, стр. 121.

нюю козу, близко ли он от линии, далеко ли, как ни кинь, а все клин (здесь говорят: «Кто берет — один раз виноват, у кого взяли — тысячу раз виноват»). «Кочевые народы сверх этого дорожат своею дикою, бестолковою независимостью» и подчас предпочитают «домашнюю расправу» чиновничьим «обрядам судопроизводства» — «лишь бы обвиненному и прикосновенному не тягаться месяцы и годы, не сидеть, ожидая медленной, томительной переписки, в каком-нибудь гнилом остроге»: «Кому мало простора между Яиком и Сыр-Дарьею, тому тесно и душно заживо в подземном склепе...»

3

Чиновник особых поручений Даль прилег на широкую кошму, «около пылающей огромной сосны, стонавшей столько раз от бурного порыва ветров и отстонавшей ныне в последний под ударами небольшой башкирской секиры»; приятель его в легкой кольчужке поверх алого суконного чапана лежит рядом и, «сунув за щеку вместо жвачки кусочек рубленого свинца, из которого зубами округляет запасную пульку», любуется табунком лошадок своих; печально звучит дудка — курай; невидимый рассказчик, сидящий по ту сторону пламени, «вспоминает прошлое, батырское время, былое и небылое».

Однажды ночью, когда вековая сосна уже истлевала в костре и обращалась в прах, а искры взмывали над нею и быстро угасали в синем мраке, услышал Даль старинное сказание о прекрасном юном хане Зая-Туляке и его верной возлюбленной — русалке, дочери подводного властелина озера Ачулы. Даль записал сказание и поведал своим читателям, предварив при этом повесть о любви сжатым рассказом о Башкирии, о ее лесах и озерах, о людях, которые живут в этой стране, об их сказках, преданиях, песнях.

Но Даль приезжает в башкирские земли не для того, чтобы полеживать у костра и слушать о далекой старине. Даль пишет про «обнищание многих башкир», про «переполосованную и испятнанную» Башкирию — заводчики «оттягали сотни тысяч десятин богатейших в мире земель, расквитавшись с вотчинниками-башкирами... тремя головами сахару, фунтом чаю и словесным обещанием». Местные чиновники беспощадно «выколачивают» налоги, «правят кулаками» и отписками, погрязли в корысти, «бездушной лени», «в грязном слое привычной обиходной лжи», в «несознании за собой никакого долга».

Тройка резво катится «по дороге, что по полотну»; возница-башкир в островерхой валяной шапке «будто мехом потянул в себя дыханье, позадержал его и залился плачевным высоким голосом, словно издали по ветру донесся звучный стон, под конец замиравший; затем последовал однообразный напев на слова местного народного сочиненья: «И хлеба нет, и начальник дерется».

«Не развеселила меня эта песня, сложенная, как все народные песни, никем, хотя поется всеми», — чиновник особых поручений возвращается из служебной поездки.

4

Накануне перевода Даля на службу в Оренбург в одной из уральских станиц помер Архип Дмитриевич Лябзин, казак-богатырь, настоящий богатырь — великой силы, чистой души и ума недюжинного. Сто десять лет прожил Архип — никто не сумел побороть его; шашкой он разрубал на плаву сложенный вдвое и брошенный в реку потник. Высоко в горах петляет, стремительно рвется вверх, круто падает вниз опасная дорога — «Архипджул», — мало кто решался проехать по ней; этой дорогой Архип ездил рыбачить (речку тоже назвали «Архиповая»). Однажды Архип наловил воз рыбы, подошел силач башкир Кутюр и стал перекладывать рыбу в свой мешок; Архип взял Кутюра за пояс, бросил на телегу, а сам сел сверху. Кутюр сказал: «Пусти меня, я — Кутюр-батыр»; Архип сказал: «А я — Архип»; Кутюр сказал: «Давай дружить»; Архип сказал: «Если хочешь, давай побратаемся»; распахнули на груди рубахи и прижались друг к другу. Знаменитый казахский батыр Кодобай подарил Архипу тройку и лисий халат. Коменданта Михеева, которого люди прозвали «зверем», Архип подстерег, затолкал в мешок и отдул нагайкой — Михеев на другой день выставил Архипу полштофа вина, чтобы помалкивал, не позорил начальника. Дом у Архипа был открытый, хлебосольный; заезжали к нему и свои, русские, и казахи, и башкиры, и татары («Принес бог гостя, дал хозяину пир»), — он всех кормил, поил, никому не отказывал в совете.

Военный губернатор приказал, чтобы при подавлении беспорядков башкиры невосставшие наказывали башкир

непокорных, чтобы башкиры усмиряли и наказывали тептярей, тептяри — мещеряков, мещеряки — башкир. «Междоусобную ненависть, долженствующую произойти из сего в башкирских кантонах, почитаю я важнейшим залогом будущего спокойствия для защиты края», — объяснял Перовский военному министру.

Гоголь писал: «В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое звание и место требует богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего звания и места (все места святы), что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту».

Даль вдруг сделал странное отступление в одном из рассказов об Оренбургском крае (и тут же назвал слова свои «бестолковым бредом») — написал про начальников губерний, «среди которых нет ни одного, о ком бы на месте большинство отозвалось признательно и любовно»; «издали указывают, как бы завидуя друг другу, на того или иного с похвалой... но налицо не бывает».

5

«Сказку о Георгии Храбром и о волке», записанную Далем со слов Пушкина, лучше читать не в «Полном собрании сочинений» и не в четвертой книге «Былей и небылиц» Казака Луганского, увидевших свет в 1839 году, — ее лучше читать так, как она была напечатана впервые, тремя годами раньше в «Библиотеке для чтения». Даль много правил текст сказки; правка его частично сохранилась[1].

Во «времена первородные», когда животные «не ведали еще толку, ни ладу в быту своем», Георгий Храбрый «правил суд и ряд и чинил расправу на малого и на великого». Он определил каждому зверю и каждой птице, где жить и чем питаться. Один только волк не получил указания, что, а вернее сказать кого, ему есть, волк идет с жалобой к Георгию — «Пусть укажет мне, чье мясо, чьи кости глодать» («общежительный» порядок, когда один на законном основании ест другого, и в русской пословице: «Дерет коза лозу, а волк козу, а мужик волка, а поп мужика, а попа приказный, а приказного черт»). Георгию недосуг: он посылает волка к быку, коню, барану, свинье — все они бьют зверя; наконец Георгий отправляет его к людям, и на швальне кривой портняжка зашивает волка в собачью шкуру.

Кажется, что править в этой невинной сказке?..

Но в первоначальном тексте действовал не просто Георгий, господин животного царства, а значительный сановник, который был «о ту пору занят делами по управлению вверенной ему царем Салтаном области вновь созданного народа и войска». В том тексте действовали не просто бык, конь, баран, свинья, а бык — воевода, конь — окольничий, староста — баран, десятская свинья. В том тексте волк был не зверем-хищником, но искателем справедливости, в которой Георгий ему отказывал: «Видно, было законное препятствие... видно, не так подвели справку...», «Все подаешь нам прошения, да требуешь законного решения...», «Да и отвяжись от меня, не то я велю объявить тебя ябедником и взять с тебя подписку, что впредь не будешь домогаться удовлетворения ни по какому делу»...

Из того текста причина «волчьего бунта» становилась ясной: «Прикажи накормить, — требует волк, — не то стану таскать махан, мясо, баранину, что попало». Георгий предпочитает не кормить волка, а зашить его в собачью шкуру.

Вот он каков, первоначальный-то текст сказки, которую, весело смеясь и пересыпая речь татарскими словами, Пушкин рассказал Далю: он был «за волка», тот текст; и пословица «Что у волка в зубах, то Георгий дал» означает, что Георгий ничего не дал волку — приходится брать самому.

Рассказ Даля «Охота на волков» завершается смешным эпизодом: тяжело раненного волка сочли мертвым и повесили на дерево вниз головою; когда охотники замешкались, празднуя победу над зверем, волк «ожил» и схватил зубами за воротник важного оренбургского начальника. «Вот почему у охотников есть правило: вторачивать... волка не за ноги... а за шею, удавкой, не веря смерти их».

Волки оживают время от времени и могут схватить за воротник; время от времени они разрывают на себе собачью шкуру и требуют «законного решения»: «Прикажи накормить, а не то...»

[1] Отдел редкой книги Государственной публичной исторической библиотеки.

«ТОЛЬКО СЛАВУШКА ХУДА...»

1

...Даль сидит на крыльце есаульского дома, под навесом из тальниковых прутьев — сидит прямо на полу, застланном узорчатым ковром из разноцветных войлочных лоскутьев, и попивает чай с каймаком, густыми уварными сливками с топленого молока.

Перед ним площадь, окаймленная белыми глиняными домами с плоскими кровлями (попадаются и деревянные избы с высокими тесовыми крышами); обыватели лениво расположились на завалинках и вдоль заборов, прячутся в тени; только мальчики, не страшась солнцепека, играют в «альчи» — так именуют здесь бабки. Из-за высокого забора слышится негромкая, непривычная в старообрядческом краю песня. «Хороша наша деревня», — заводит молодой казак даже не весело, а словно безразлично:

Хороша наша деревня, только улица грязна,
Хороши наши ребята, только славушка худа.

«Это правда, это правда, это правда все была», — подхватывают там, за высоким забором, другие молодые голоса. Даль улыбается, песня кажется ему веселой.

Только славушка худа, не пускают никуда.
Величают нас ворами да разбойниками.
Это правда, это правда, это правда все была...

2

А правда была такая: власти вот уже три десятилетия пытались покончить с казачьим укладом жизни и службы — хотели отменить «наемку», то есть вызов в походы и командировки охотников, хотели всех служивых одеть в одинаковую форму; уральцы же упирались — если общая форма и без «наемки», общая служба, так это все равно что регулярное войско, а они не солдаты, они — казаки. Военный губернатор Перовский решил сломить сопротивление уральцев и добился того, что «состоящий при нем» полковник Покотилов был высочайше назначен исправлять должность наказного атамана — это было событие невиданное, чтобы атаманом стал не казачьего происхождения человек. Покотилов же вдобавок взялся за дело круто и, как сообщалось в документах, вскоре вызвал к себе «сильнейшую ненависть». По приказу Перовского в станицах и крепостях закрывали часовни и скиты, власти требовали строгого исполнения обрядов православной церкви. В раскольничьей пословице говорится: «Не та вера правее, которая мучит, а та, которую мучат», — детей тайно перекрещивали, молодых перевенчивали, жили по благословению родительскому, роль мученическая придавала старой вере особую силу и особый смысл. «Неудовольствие» тлело в казачестве, любой повод мог вздуть пламя. Атаман Покотилов доносил о «вредных в войске людях». Военный губернатор Перовский до поры воздерживался от решительного применения силы — посылал «на линию» чиновника особых поручений В. И. Даля: Даль примирял, сглаживал, при решении дел выказывал себя человеком беспристрастным и справедливым, казакам нравился его превосходительство — рассудительный, дельный и приходит с добром.

Даль сидит на мягком войлоке, пьет чай с каймаком, благодушно внимает озорной песне.

Мы не воры, мы не воры, не разбойники,
Мы уральские казаки — рыболовщички...

Далеко ли было до пожара, а вот он, Даль, все сгладил да уладил — «худое молчанье лучше доброго ворчанья». Один опытный человек предупреждал Даля, когда тот впервые собирался «на линию»: уральцев надо сечь из десяти семерых — между ними «нет ни одного, который бы при имени царя, начальства, Москвы был преисполнен чувствами, подобно нашему мужику, солдату, и у которого бы дрогнула рука перерезать горло у каждого из нас, если бы представился к тому случай»[1]. Даль сокрушенно качает головою: послушайся эдакого советчика — и впрямь из-за мелочи какой-нибудь вызовешь бунт.

Здесь говорят: «Живи, живи, ребята, пока Москва не проведала»; еще говорят: «Велика русская земля, а правде нигде нет места». Чиновник особых поручений Даль хочет доказать, что «Москва» — это вовсе не сечь из десяти семерых и что справедливый человек несет с собой правду. Он выезжал «на линию», изучил тщательно

[1] ПД, № 27316/CXCVI б. 6.

положение дел, составил доклад; потом ему сообщили, что записку его читали казакам в собрании и «некоторые заплакали от благодарности, что так хорошо известны все обстоятельства их жизни»[1]. Даль благодушно потягивает чай с каймачком, сонно сидят в тени на завалинках казаки — «худое молчанье...».

3

Даль и сам сочиняет песни казачьи; вот написал бравую «Песню для уральцев на поход 1835 года на Тобол»[2].

Было сто молодцов, а и сто молодцов отборных,
А под ними сто коней, а и сто коней задорных...

«Жилы порвем, да дойдем», «За царем служба не пропадает» — словом, «Мир да лад — божья благодать»...

Но благодати нет, и песня за высоким забором не просто озорная, и слепец на дороге высоким скопческим голосом поет не про сто молодцов отборных, — поет, словно плачет, и зажигает сердце: у Яикушки круты бережки, низки долушки,

Костьми белыми казачьими усеяны,
Кровью алою молодецкою упитаны.

В том же 1835 году, когда сто молодцов на конях задорных двинулись учебным походом на Тобол, из Оренбурга вышел карательный отряд, возглавляемый самим военным губернатором Перовским: среди казаков началось волнение из-за введения обязательной запашки полей под хлеб. Василий Алексеевич Перовский «лично объехал все ослушные станицы» и «наказал при себе и на месте всех без изъятия виновных, а первых и главных зачинщиков отправил сверх этого в Оренбург для предания суду и для всегдашнего удаления их от места прежнего жительства».

4

Посылая Перовского управлять беспокойным Оренбургским краем, Николай Первый вручил ему чистые листы со своей подписью: военный губернатор мог п р е д п и с ы в а т ь от царского имени.

[1] ПД, № 27373/CXCVI б. 8.
[2] ГБЛ, ф. 473, карт. I, ед. хр. 3.

Государь знал Василия Перовского («Базиля») смолоду. Один из пяти «незаконных» сыновей («воспитанников») графа Алексея Кирилловича Разумовского (фамилия «воспитанников» — от названия подмосковного имения Перово), Василий Алексеевич получил прекрасное домашнее образование, затем окончил курс в Московском университете. Семнадцатилетним юношей участвовал в Бородинском сражении (ему оторвало пулей указательный палец на левой руке, он надевал на культю длинный серебряный наконечник — подробность, излюбленная биографами и запечатленная на портрете Брюлловым). В Москве Василий Перовский был взят в плен французами, его допрашивали Мюрат и Даву, чудом он спасся от расстрела и был отправлен с колонной пленных во Францию; конвоир отнял у него сапоги, он топал босой по замерзшей грязи — у него на глазах расстреливали отстававших.

Василий Перовский был причастен к тайному обществу; у Даля «причастный» — «прикосновенный, близкий, сродный, связанный, союзный». Первое толкование («прикосновенный») всего лучше определяет отношение Перовского к обществу: «прикоснулся» — не более того.

14 декабря Василий Алексеевич вышел на Сенатскую площадь как флигель-адъютант нового государя; один из восставших солдат ударил Перовского по спине поленом.

Дальше следует сановная биография, куда менее увлекательная: директор канцелярии Морского штаба, оренбургский военный губернатор.

В насыщенной яркими событиями и яркими людьми жизни Перовского отношения его с Далем — всего лишь более или менее заметная ч а с т н о с т ь. Ценитель искусств, приятель Пушкина и Брюллова, человек, близкий Карамзину и Вяземскому, друг Жуковского — и Даль, тоже одаренный литератор, образованный собеседник и, между прочим, толковый (смешно: про Даля, как про словарь, — «толковый») и очень исполнительный чиновник. Генерал-адъютант, сын сановника и брат сановников, человек, близкий государю, друг государыни — и Даль, отставной флота лейтенант, которого Перовский «подобрал» по протекции в военном госпитале и (буквально!) «дал чин асессора и взял в секретари». Все это приходится держать в уме, произнося слова «личная привязанность», «дружба». Все это держал в уме чиновник особых поручений Даль — иначе не писал бы о своем

«благодетеле»: «Я хочу отслужить несколько и не оставаться у него в долгу свыше сил моих».

Мы не станем, пожалуй, изображать тесный семейный вечер (а они были, такие вечера), на котором начальник края и состоящий при нем чиновник беседуют об изящной словесности или слушают музыку; не станем, однако, преуменьшать ни личной привязанности Даля, ни дружелюбия Перовского. Отношения были построены на «субординации неписаной» (или не только «писаной»), но, рассматривая отношения Даля и Перовского «в делах», следует все-таки весьма ясно осознавать, что Даль состоял при Перовском, а Перовский управлял краем, проводил политику.

Лев Толстой, который долго (и с «симпатией») интересовался Перовским, в конце концов написал о нем: «Эта крупная фигура, составляющая тень (оттенок) к Николаю Павловичу... выражает вполне то время». Тень к Николаю Павловичу, Перовский выражал в своей личности и в своей политике то (николаевское) время.

5

Великий князь Александр Николаевич (будущий Александр Второй) совершал путешествие по стране, в которой предстояло ему царствовать. Ехал быстро — сопровождавший его Жуковский сравнивал поездку своего воспитанника по России «с чтением книги, в которой великий князь прочтет пока только оглавление».

«В Оренбурге генерал-губернатор Перовский устроил ему блестящий прием, соединив европейские удовольствия с азиатскими потехами, — сообщает официальная история жизни и царствования Александра Второго. — Поутру вновь образованные регулярные башкирские полки, смешанные с уральскими казачьими, стройными маневрами занимали великого князя; вечером Киргизская орда, нарочно прикочевавшая к Оренбургу... забавляла его всем, чем только могла: скачкою на лошадях маленьких полунагих киргизят; скачкою их же на верблюдах; состязанием киргизов в борьбе между собою; заклинанием змей; хождением босыми ногами по голым острым саблям, дикою пляскою... Не обошлось и без бала, происходившего посреди киргизского кочевья, в нарочно выстроенной изящной галерее, под звуки европейского оркестра. Бал удался как нельзя лучше, и великий князь долго танцевал с оренбургскими красавицами».

16 июня 1837 года наследник прибыл в Уральск. В официальной истории говорится: «Ему была показана примерная рыбная ловля осетров, и летняя, и зимняя... Из пойманного осетра тут же вынули икру, посолили ее и подали к закуске на особо устроенном плоту. Пребывание в Уральске цесаревича ознаменовано закладкой церкви во имя св. Александра Невского, первого православного храма среди раскольничьего населения края».

В дневнике Василия Андреевича Жуковского лишь наметка: «Переезд из Оренбурга до Уральска. В. князь в закрытой коляске. Я вместе с Перовским, сначала в тарантасе с Далем...» И затем: «С Далем на берег Урала. Приготовленные рыбные ловли», — дальше дневник Жуковского, как сеть рыбой, набит словами: «Ловля под учугом, абрашка... Малое багренье. Большое багренье... Пешня. Багор. Подбагренник. Чекушка... Имя лодок. Бударка с кривым железным носом...» Присутствие Даля на берегу Урала чувствуется по записям в дневнике Жуковского.

Жуковский отмечает в дневнике: «Пряданье мальчишек с берега» (теперь слово «прядать» помечается как устаревшее — прыгать, скакать, сигать); полковник из свиты цесаревича расшифровывает в письме строку из дневника Жуковского: «Нас удивляли мальчики, бросавшиеся с высокого здесь и крутого берега Урала с разбега в воду и нырявшие в ней как рыба, и этих мальчишек здесь так много, что они на всем протяжении более версты забавляли нас, бросаясь один за другим». Мальчики, забавлявшие цесаревича опасным пряданьем, учились быть «привычными нырялами, исправляющими какое-либо дело под водою» (так объясняет Даль слово «водолаз»): нелегко, просунув правую руку в петлю тяжелой абрашки («ручной железный крючок на темляке, коим водолазы подсекают изручь красную рыбу»), пробраться в плотно сбитый осетровый косяк, подсечь трехпудовую сильную рыбину и выволочь ее на поверхность, — цесаревичу, кажется, показывали и такую «забаву»; смысл ее проясняется в следующей строке дневника Жуковского: «Нужно продать на 500 рублей каждому, чтобы жить».

Великого князя ждали в казачьем крае не для того только, чтобы накормить икоркой или увидеть закладку

храма, который здешним раскольникам был вовсе ни к чему.

Накануне приезда в Уральск наследника-цесаревича пошел слух, будто по крепостям разосланы «лазутчики» «для выведывания нужд казачьих». В доме старшины Назарова собрались недовольные и составили прошение: власти недодают казакам жалованье, ущемляют с продажей рыбы и сенокосами; Покотилов назначен атаманом не по выбору, а насильно, он теперь и чиновников ставит не по выбору, а кого захочет, на общественные деньги купил себе дом с мебелью... «Это правда, это правда, это правда все была».

Ожидая приезда наследника, казаки говорили Далю, что не видели «царского кореню» со времени государя Петра Третьего (то есть Пугачева — помечает Даль).

Жуковский в дневнике пишет хотя намеками, однако подробнее, чем официальная история: «Визиты Стахею и Андреяну Дмитриевичу Мизиновым. Они в оппозиции... К Василию Осиповичу Покотилову, войсковому атаману. Анекдот о выборе Покотилова; Мизинов: я их поставил на колена, я их и подыму...» Очень знаменательно: Стахей и Андриан Мизиновы, знатные казаки, составители прошения.

У городских ворот экипаж его высочества был задержан небольшой толпой уполномоченных, один — Асаф Бухаров, — стоя на коленях, держал в руках бумагу. Адъютант наследника бумагу принял; уполномоченные расступились — кареты тронулись дальше. Казаки, вышедшие на дорогу провожать великого князя, радостно кричали: «Взял! Взял!» В Уральске царили торжество и веселье — будет казакам «высочайшая милость». Покотилов составлял для Перовского список «главных действователей», «извергов» и доносил, что сам арестовать их не решается — быть волнению. Военный губернатор докладывал в Петербург, что разбор дела без войск вызовет «открытое возмущение». Перовский предлагал воспользоваться случаем и под предлогом строгого наказания силой внедрить преобразования, угодные правительству: отменить наемку, ввести мундиры и очередность службы, покончить с расколом, выслать из войска всех беспокойных. В торжествующий, веселый Уральск нежданно вступили воинские части. Ужас охватил жителей: запирали накрепко ворота и двери домов, дети и женщины попрятались в подполья и подвалы — ждали грабежа, насилья; вслед за отрядом явился Перовский, объявил город на военном положении и назначил комендантом подполковника Геке.

6

Ах этот Геке! Читаешь оренбургские документы, тенью стоит за спиной Даля ротмистр — подполковник — потом полковник Геке (он даже в чинопроизводстве возвышение Даля — только по своей лестнице, по военной, — точно повторял). Не знаем, хороший ли был, дурной ли, — знаем лишь, что за приказы он выполнял: водил карательные отряды против уральских казаков, против казахов, башкир. Против всех, кто выражал «неудовольствие», «волновался», «бунтовал», шел по приказу военного губернатора походом этот ротмистр — подполковник — полковник.

Геке обычно там начинал, где кончал Даль.

По приказанию военного губернатора чиновник особых поручений Даль объехал башкирские земли и составил подробное их описание. Даль докладывал военному губернатору о произволе местных властей, об ограблении башкир.

В дерптском ученом журнале появилась написанная по-немецки статья Даля о башкирах. Статью быстро перевели, сократили и без имени автора поместили в «Журнале министерства внутренних дел».

Даль подробно сообщал о природе и административном положении башкирских земель, сопоставил различные мнения о происхождении башкир; сделал быстрые зарисовки их поведения и занятий, одежды и оружия. Чиновник особых поручений при военном губернаторе, посаженном управлять населявшими край инородцами, напоминал (беспристрастно!) о башкирских «бунтах»: восстание 1707 года началось по причине «самовольного образа действий назначенного в Уфу Сергеева» (царский комиссар Сергеев явился «выколотить» с башкир 600 подвод, пять тысяч коней и тысячу человек) — «Во время этого восстания погибло больше тридцати тысяч мужчин; больше восьми тысяч женщин и детей были поделены между победителями; 696 деревень были разорены».

Статью о башкирах Даль написал в 1834 году — в том же году начались волнения среди башкир и русских удельных крестьян; скоро «неудовольствие» при-

шлось переименовать в «беспорядки», потом «беспорядки» — в «восстание». По дорогам двинулись карательные отряды (главным отрядом — три роты с двумя орудиями — командовал подполковник Геке). Четыреста двадцать семь бунтовщиков пригнали под конвоем в Оренбург — судить. Остальных наказали на месте.

Три года спустя поднялись казахи. Недовольство казахов долго скручивалось пружиною. «Главный возмутитель» и «ослушник воли начальства» Исатай Тайманов пытался поначалу объяснить военному губернатору причину «неудовольствия»: «Поставленный над нами хан Джангир судит нас несправедливо... Султаны, бии и ходжи, исполнители ханской воли, всюду нас притесняют, безвинно мучают нас побоями, своевольно отнимают у нас собственность нашу, жаловаться же на них — значит наводить на себя видимое бедствие и совершенное разорение». Перовский был возмущен, что Исатай посмел вступить с ним в переписку.

Чиновник особых поручений Даль исследует «коренной повод действию» восставших: «Сколько ни виновен Исатай Тайманов и его сообщники, но преступление их объясняется некоторым образом дошедшими до меня сведениями, которые тем более заслуживают вероятия, что без повода и без причины люди эти никогда бы не отважились на действие, влекущее для них такие последствия. Мне сделалось известным, что не только приверженцы Исатая, но и большая часть киргизов доведены до крайности самоуправством султанов, биев и старшин, употребляемых вами по управлению ордой... Упомяну только о несоразмерных поборах, производимых с киргизов под разными предлогами». Это послание, написанное Далем, было от имени Перовского вручено владыке казахской орды Джангир-хану.

Но от имени того же Перовского тому же хану было предписано выслать против бунтовщиков отряд джигитов.

В разгар восстания Исатай Тайманов просил Перовского откомандировать «правдивых чиновников, которые бы вникли в наше бедственное положение и произвели по жалобам нашим всенародное исследование. Особенно мы желаем, чтобы жалобы наши были исследованы господином подполковником Далем».

«Возмутитель» просил наградить казахов «просимыми чиновниками»; военный губернатор восставших не

«наградил» — в степь вышел карательный отряд Геке — больше тысячи человек при артиллерии. «Вся степь в ужасном волнении, и все привлечено к Исатаю...» — доносил Геке. Он сообщал Перовскому, что необходимы «самые деятельные и строгие меры». Казахи шли к Исатаю аулами.

Чиновник особых поручений Даль скрупулезно изучал причины восстания: «доведены до крайности», «самоуправство», «несоразмерные поборы» (даже за камыш, который сам по себе растет на каспийском побережье). Войско Геке, казачьи сотни Покотилова ловили Исатая — тут уже не до правых-виноватых: идет охота, идет война. В ноябре отряды Тайманова были разгромлены, его поймали только летом следующего, 1838 года: пятнадцать верст мчались за ним казаки и султанские джигиты, наконец конь под Исатаем был ранен — Исатая выбили пикой из седла, саблей разрубили ему голову, потом еще выстрелили в грудь из пистолета...

7

...В Уральске заседала военно-судная комиссия. «Шайка буйной вольницы» остановила коляску его высочества и подала прошение, содержащее «дерзкие жалобы на высочайшие учреждения», «ложные изветы» на военного губернатора, наказного атамана и начальство, — говорилось в докладе комиссии. «Буйные и шумные возгласы толпы в присутствии и после отбытия Государя Цесаревича сами по себе составляют уже преступление». Приговор был суров: телесные наказания, Сибирь, высылка в отдаленные губернии и общее взыскание — выкомандировать из войска четыре полка, два в Царство Польское и два на Кавказ.

Даль в комиссии не участвовал — похоже, что в эти дни военный губернатор поручил ему сочинить «Памятную книжку для нижних чинов императорских казачьих войск».

«Памятную книжку» давно никто не помнит. Вряд ли, впрочем, можно утверждать, что ее забыли: даже современники, даже друзья Даля попросту не знали о ней, не заметили книжицу, хотя и «удостоенную высочайшего одобрения».

Да и что она в жизни Даля — свод правил поведения и службы уральских казаков. В оправдательной записке

Бенкендорфу Даль упоминает «Памятную книжку» как пример своего «безответного повиновения и преданности». Это можно понять, но писал-то он книжку не ради «карьеры», не ради «успехов и достижения чего». Вот ведь и в частном письме Даль отозвался о только что сочиненной «Памятной книжке» весьма высоко[1]. Он, кажется, еще верит, что «молчанье» (хотя бы и «худое») можно «установить» не грохотом орудий, но «добрым и простым словом», что надо «объяснять» законы, он, кажется, верит еще в возможность добром и по справедливости «решать вопросы» среди «нижних чинов императорских казачьих войск», если «убедительным и ясным языком» обратиться к каждому.

«Кто кому надобен, тот тому и памятен». Здесь, в казачьем краю, не надобна оказалась Далева «Памятная книжка». Здесь, в станицах-крепостях, что вытянулись линией по Уралу-реке, малограмотным указам Пугачева верили больше, чем благочинным правительственным наставлениям. «Потом старайтесь послужить верно и неизменно. За что жаловать буду вас всех, воперво: вечною вольностию, реками, лугами, всеми выгодами, жалованием, провиянтом, порохом и свинцом, чинами и честию, а вольность, хоть и не легулярные, но всяк навеки получит», — здесь не забыли еще пугачевского «царского корени».

Хороши ребята, да славушка худа...

«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ». ОТВЛЕЧЕНИЕ ПЯТОЕ

Даль перелистывал тетради — он любил тетради общие, в крепких переплетах, с толстой бумагой, которая от возраста становится еще прочнее, тетради, больше похожие на альбомы (сам Даль называл их «записными книжками»): он читал в своих тетрадях записи, возле которых стояла пометка «урал-казч». На страницах жил странный, самородный быт — в нем нередко сплеталось доброе и дурное, жили новые слова и новый для уха здешний говор («Казак говорит резко, бойко, отрывисто; отмечает языком каждую согласную букву, налегает на «р», на «с», на «т»; гласные буквы, напротив, скрадывает: вы не услышите у него ни чистого «а», ни «о», ни

[1] ГБЛ, Пог. III. 4/8.

«у»); жила казацкая одежда — сарафаны, рубахи, кафтаны, пояски, жили конские масти, оружие казацкое (вроде «винтовки на рожках, из которой стрелял он лежа, растянувшись ничком на земле»); жили казацкие имена, от которых веяло заповедной стариной, — Маркиан, Елисей, Евпл, Харитина, Гликерия. Даль вспоминал Пушкина («Напишите о них роман!») — ему казалось, что уральский роман не сегодня-завтра заживет в его толстых, похожих на альбомы тетрадях: «Я много заготовил запасов для повести или романа, который должен деяться и твориться в Уральском войске; жизнь и быт совсем отдельные, особые; обычаи и отношения мало известные, но замечательные и достойные любопытства...»[1]

Уральские казаки промышляют рыбу. У каждого казака свой долбленый челнок — бударка, — легкий и ходкий; им правят с помощью одного короткого весла. На красную рыбу заведена особая сеть — ярыга, шести сажен длиной и четырех высотой, или, как здесь говорят, «стеной». Если ловко и с умом выкинешь ярыгу, достанешь осетра; громадина осетр тяжело бьется о борта, качает бударку; его глушат ударом по голове — «чекушат», — приговаривая почему-то не «хороша рыба», а «хорош зверь».

По взморью для ловли красной рыбы ставят ахан — сеть о двойном полотне, одном мелком, неводном, с ячеями в вершок, а другом редком — «режею» — с ячеями в четверть: протянувшись в режею и упершись в стену, рыба поворачивается, играя плеском, и запутывается. Аханный промысел особенно опасен зимою· казаки со всем снаряжением едут к месту лова на санях по морскому льду, «моряна» — ветер с моря — взламывает лед; если начнется после этого верховой ветер, рыбаков на огромных льдинах уносит в открытое море; и на то придумано свое словцо — «быть в относе».

На реке зимой первым делом ищут ятовь — омут, в который красная рыба ложится на зимовку; она лежит тесно, один ряд на другом, как в бочке. Казак стальной пешней в три маха просекает двенадцативершковый лед, опускает в прорубь длинный багор и щупает им дно, поддевая рыбу. Белуги попадаются такие, что одному и не вытянуть; пока тащит ее казак, льдина раз-другой перевернется под ним, окунется казак по шею в жгучую

[1] ПД, № 27412/CXCVI б. 10.

воду, а тащит; московские и саратовские купцы в тяжелых шубах прохаживаются по берегу. Тащит, и холод не берет — на морозе, в одной мокрой рубахе, казак только потеет, упарившись. Торговцы взвалят на сани шести- или осьмипудовую рыбину, повезут в свой Саратов, в Москву или Питер; казак пересчитывает деньжонки, завязывает в платок — хлеб ныне дорог: рубль семь гривен за пуд. Ах Урал — Яикушка — золотое дно, серебряна покрышка!..

На крутых яицких бережках живут в крепостях и станицах простые казаки и рыбу едят простую, черную; красная же — белуга, севрюга, осетр — идет на продажу; простому казаку она «не по рылу»: хлеб недешев, скот тоже — не до осетринки; полгода на столе у рядового казака пустые щи да постная каша. Хорошо еще, что здесь свято соблюдают посты — «Нужда и в велик день постится». В походы казаки берут с собой кокурки — хлебцы с запеченным внутри яйцом.

К походам уральцы привычны, собираются быстро: винтовку на плечо, саблю на бок, пику в руки, сам — на коня. Случается, требуют уральцев и в дальние походы, но чаще вскидываются казаки по тревоге, когда по берегу Урала запылают ярким пламенем маяки — шесты, обвитые камышом и соломой. Казаки любят кафтаны алые и малиновые с откидными рукавами по синему поддевку; но в степные походы и в спешные, по тревоге, выезжают в домашней одежде — в чапане, стеганке, поддевке.

Женщин здесь, будь то мать, жена, сестра или дочка, всех именуют «родительницами»; женщины шьют рубахи с шелковыми рукавами, сарафаны, которые бывают по покрою однорядные и двурядные, открытые и закрытые, круглые (узкие), прямые, клинчатые, триклинки, расстегаи (распашные), с рукавами, с проймами (с помочами), сборчатые, гладкие; а по ткани — холщевики, дубленики, крашенинники, нестрядинники, кумачники, китаечники, ситцевики, стамедники, суконники; еще казачки вяжут чулки, ткут пояски шелковые и плетут узкие опояски для верхней рубахи. Плетеную опояску казак носит с малолетства: по ней на том свете отличают казацких ребят от «нехристей».

Уральские казаки — раскольники и берегут в обычаях «древлее благочестие». Даль рассказывает, что за хлеб-соль уральская казачка «ни с кого и ни за что не взяла бы платы, потому что это смертный грех; но посуды своей она «скобленому рылу» не подала бы также ни за что, а полагала, что собаку, собачьей веры татарина и нашего брата — бритоусца можно кормить из одной общей посуды». Доброе и дикое сплетается в «древлем благочестии», в старинном обыке. Казаки не пьют вина, табаку не курят (разве что в походе, вдали от строгих «родительниц», опрокинут чарку и побалуются трубочкой), казаки не ругаются, но в доме и не поют, не пляшут, сказок не сказывают — иное дело, когда соберутся мужчины на улице, отдельно, где-нибудь возле войсковой канцелярии; иное дело опять же в походе, где от песни — бодрость, а от балалайки — веселье; дома родительницы отмолят и замолят всякий грех — и песню, и трубочку, и ненароком слетевшее с уст крепкое мужское словцо. Доброе и дикое тугим пояском сплетается в казачьем обыке.

Казак силен, ловок, смел; «морозу он не боится, потому что мороз крепит... жару не боится, потому что пар костей не ломит; воды, сырости, дождя не боится, потому как говорит, что сызмала к мокрой работе, по рыбному промыслу приобык»; случалось казаку «и голодать по целым суткам, и к этому привык он смолоду; летом сносил он голод молча, зимой покрякивал и повертывался»; «Обтерпелся», — говаривал он и объяснял, что добро и худо, нужда и довольство живут «голомянами», «т. е. порою, временем, полосою».

Казаки почти поголовно неграмотны — им грамота не нужна, разве казачке, чтобы, замаливая грехи ушедших в поход мужей, могла заглянуть в священную книгу. В четырех училищах собралось со всего края едва за сто учеников; в крепостях и станицах были свои «мастера» и «мастерицы», знавшие божественное писание, — они учили на дому кое-кого из ребятишек; точно в Яикушку родимый люди окунались в суеверия — губернаторы доносили правительству о «поголовном невежестве, царившем в Оренбургском крае», о нехватке докторов, землемеров, архитекторов, даже мастеровых. Все сплеталось, доброе и дурное, и сберегалось свято, ревниво.

Романа Даль не напишет, запасы и заготовки уйдут в словарь, но потому-то и ценен и необычен «Толковый словарь» Владимира Даля, что запасами и заготовками для него были не просто столбики услышанных слов, но стоящие за словами жизнь и быт со всей своей особостью, обычаи и отношения, замечательные своей отдельностью, необычностью. Слова с пометками «урал-казч» и «орнб»

(а подчас и пометки-то никакой не надо) открывают перед нами жизнь уральских казаков, открывают, что увидел и услышал, что «схватил» Даль в Оренбурге.

Жуковский, беседуя с Далем, заносит в дневник рядки слов: «Сорока, поднизь...» Но у Даля словам соответствуют «понятия» — то, «что сложилось в уме и осталось в памяти по уразумении, постижении чего-либо». В уме и памяти наблюдательного Даля многое сложилось и осталось. Слово, им произнесенное и записанное, — всегда частица жизни, с этой «особостью» быта и отношений.

В уральских станицах, — объясняет Даль, — «девки все бесприданницы, и обычай этот, конечно, ведется с тех пор, как их было еще мало, а холостежи казачьей набиралось много...». «Жених, напротив, должен по уговору справить невесте сороку, головной женский убор, заменяющий со времени замужества, в праздничные дни, девичью поднизь. Есть сороки на Урале в 10 и 15 тысяч». В словаре Даль рассказывает про «сороку саженую» («убранную шитьем, низаньем, даже каменьями либо жемчугом»), и про «сороку с повоем» («только повязанную шитой ширинкой»), и про «сороку крылатую», рассказывает, как сороку надевают и как носят.

Про «поднизь» короче: «ряска, жемчужная или бисерная сетка, бахромка, на женском головном наряде». Но и с «короткой» «поднизи» можно начать долгое путешествие по словарю.

Только ли по словарю?.. Как при «восстановке» (реставрации) старая живопись вновь начинает светиться, играть красками, поражать частностями, так за словами, сохраненными в словаре, оживают в подробностях давний быт и отношения. Можно от легкой «поднизи», от «бахромки» прийти к низальщикам и низальщицам, которые промышляют низкою на бисерных фабриках (по дороге схватим веселую поговорку: «Врет, как бисер нижет»); можно прийти к бисерным мастерам — бисерникам, к промыслу, на наших глазах ушедшему в прошлое: узнать, что бисерить прутки или трубки — «обращать стекло в бисер, кропить и обделывать», что бисерница — ларец, баульчик для хранения бисера, по цветам, разборам» (схватим еще пословицу, теперь невеселую: «Слезы не бисер, в поднизь не снижешь»).

Быт и промыслы в словаре Даля раскрыты, описаны подчас полнее, чем в энциклопедиях и трудах по этнографии; судостроение и судоходство, пчеловодство и коневодство, кожевенное дело и мукомольное, рыбная ловля представлены сотнями слов и при толковании этих слов обнаруживаются в тонкостях.

Умелец Даль рыбачить, кажется, не научился, но он часто и внимательно смотрел, как уральцы ловят рыбу, написал об этом, главное же — узнал много новых слов: каждое из них — часть, большая или малая, подробность, иногда мазок один картины, целого.

Откроем словарь на слове РЫБА: узнаем, что костистую рыбу, в отличие от хрящистой, красной, именуют *черной;* что голова рыбы называется *башка;* щека — *мыс, шагла, щегла;* язык — *тумак;* затылок — *хрупалка, захрустовица;* хвост — *плеск, махалка;* желудок — *тамак;* брюхо — *тежка.* Что рыба икру не только *мечет,* но и *бьет, выбивает;* что рыба без икры — *яловая;* что мертвая рыба — *снулая;* а стая рыб — *руно,* или *юрово.* Узнаем три десятка производных слов; между прочим, что *рыбник* на Псковщине — рыбный торговец, на Тамбовщине — птица, чайка, на севере и востоке — пирог с рыбой («местами», оказывается, различают *кулебяку,* с красною рыбой в звеньях, от *рыбника,* с цельною, непластаною рыбой, капустой и луком). Узнаем немало пословиц, приметы (вроде того, что рыба не клюет перед дождем или что живую рыбу домой носить — не станет ловиться), загадки: «Есть крылья, а не летает; ног нет, а не догонишь» (рыба); «Кину я не палку, убью не галку, ощиплю не перья, съем не мясо» (человек удочкой рыбу ловит); «Пришли воры, хозяев украли, а дом в окошки ушел» (воры — рыбаки, хозяева — рыба, дом в окошко ушел — вода ушла в ячейки сети).

Теперь откроем слово СЕТЬ. Оказывается, рыболовные сети имеют различное устройство и называются: *невод, волокуша, бредень, недо́тка, ахан, ставна̀я, плавна̀я, погоняй, ярыга, поездуха, свинчатка, перестав, мерёжа.* Есть еще сети для ловли птиц: *перевес, шатер, крылена, тайни́к, по́нцы, лучек, растяжна̀я, колковая, наволо́чная, трепловая.* Есть сеть на зверей — *тенёта.*

Но это только перечисление: каждому виду сети посвящена отдельная статья. Поглядим, например, что написано у Даля про НЕВОД. Выясняем, что неводы тоже бывают разные: *распорные, стержневые, рысаки, жиротопные, речные, морские;* что всякий невод собран из *делей* (сетей) разной пряжи с разной величиной *ячей* (или *глаз).* Что по *крыльям* (то есть по краям), ближе

к *клячам* (шестам) идет *редель* — ячеи здесь реже, а пряжа тоньше; в середине — наоборот: мешок самой частой и прочной дели (так называемая *матня,* или *матка, кошель, корна, кутец).* Даль подробно рассказывает, как ловят неводом, и сообщает еще очень много слов.

«Писал его не учитель, не наставник, не тот, кто знает дело лучше других, а кто более многих над ним трудился; ученик, собиравший весь век свой по крупице то, что слышал от учителя своего, живого русского языка» — так говорит сам Даль о труде своем, прибавляя, что «разнородность занятий и службы: морской, военной, врачебной, гражданской, в различных частях нашего управления, наклонность к наукам естественным и ко всем ремесловым работам, ознакомили его, по языку и по понятиям, с бытом разных сословий и состояний, наук и знаний». Даль задумал словарь живого языка, чтобы сохранить язык жизни всей Руси великой.

Среди пословиц про невод находим такую: «В чужой прудок не пускай неводок». Даль весь век свой именно этим и занимался: слушал разговоры пахарей и плотников, пасечников и кузнецов, садоводов и портных — чутко слушал один бесконечный и необъятный живой язык жизни — и всякий день вытаскивал богатый улов.

«ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ»

1

В 1838 году Академия наук «в изъявление уважения своего к заслугам» Даля избрала его членом-корреспондентом. Подразумевались заслуги Даля в естествознании: он был избран по отделению наук естественных.

(«Подарки любят отдарки» — вскоре Даль отправил в дар академии «образчик живой овцы из Киргизской степи».)

Заслуги, которым Академия наук изъявляла уважение, — конечно, не только основанный Далем и в свое время стяжавший весьма широкую известность «музей естественных произведений Оренбургского края» («местный», как любил его именовать Даль). Сам музей был явным, ощутимым итогом Далева краеведения; Даль увлеченно и обстоятельно «ведал край».

Труды Даля-естественника еще предстоит собрать; в

сочинениях Даля, литературных и ученых, посвященных Оренбургу и не посвященных именно ему, разбросано такое огромное количество сведений о крае, что получится весьма обширный «Оренбургский справочник».

И не случайно: когда по предложению Перовского профессор Казанского университета Эверсман составил «Естественную историю Оренбургского края», Даль охотно вызвался ее переводить (казанский профессор писал по-немецки), но, переводя, оговорил себе право сделать некоторые примечания. «Придерживаясь, сколько мог и умел, смысла и духа подлинника, я избегал нерусских выражений и оборотов и старался передать русские названия предметов и, наконец, по разрешению и желанию сочинителя, осмелился присовокупить от себя несколько примечаний. Вовсе не будучи ученым-естествоиспытателем, все притязания мои я ограничиваю тем, чтобы способствовать, по силам своим, людям более ученым и сведущим в изысканиях их и в распространении полезных знаний», — читаем в предисловии «От переводчика». Очень точно, искренне, скромно, однако подчеркнем желание сочинителя, известного географа, зоолога и почвоведа, чтобы некто, вовсе не бывший ученым, присовокуплял примечания к серьезному труду. На 99 страницах «Естественной истории» Эверсмана переводчик Даль «осмелился присовокупить» 32 примечания разной величины: иногда это дополнение, пример (подчас из собственного опыта), случай, рассказец-«картинка», иногда — тактичная поправка, русское слово в пару к иностранному или местное словцо в пару к русскому. Нынешний исследователь пишет о «прекрасной осведомленности» Даля: его примечания «просятся на страницы современных учебников...».

2

Дар естествоиспытателя нигде и никогда не находил случая проявиться столь ярко и очевидно, как в Оренбурге. Пройдет немного времени — увидят свет составленные Далем учебники «Ботаники», потом «Зоологии» [1]. По сви-

[1] «Зоологию» Даль составил вместе с А. Ф. Постельсом. Профессор Постельс читал в Петербургском университете и Педагогическом институте курс неорганической химии и минералогии; в пору работы над учебником был директором 2-й петербургской гимназии.

детельству современников, они «высоко ценились и естествоиспытателями и педагогами»; Добролюбов был среди тех, кто тепло отозвался об учебниках Даля. В учебнике «Зоологии» даны описания животных, «распределенных» по «системе» Кювье; есть также теоретические главы — о предмете естественной истории, о разделении земной природы «на три царства» («животное, растительное и минеральное»), о различии между растительным и животным «царствами» («животное есть тело, одаренное способностью питания, чувства и произвольного движения»); особый раздел посвящен анатомии и физиологии человека. Но Даль и в учебнике не мог скрыть своей бывалости: между строгими описаниями расставлены (мелким шрифтом набранные) статейки о рыбном и китовом промысле, о конных заводах, меховой торговле. Как в словаре при толковании слов, так и в этих заметках — картинки жизни.

3

Вскоре после переезда Даля из Оренбурга в столицу в «Литературной газете» появился новый раздел «Зверинец». В десяти номерах газеты было помещено семь больших статей Даля. Четыре из них — рассказы о животных: медведе, лисе, волке, верблюде; две — «Словесная речь человека» и «О домашних животных» — как бы «общетеоретические» (по Далю — «умозаключительные»); одна вообще к «Зоологии» отношения не имеет — «Черепословие и физиономика». Даль готовил для «Зверинца» еще несколько статей, но они почему-то напечатаны не были; говорилось в них про «общежитие животных»; их «обычаи, нравы, быт», про «побудку, или инстинкт», про отличие животного мира от растительного («Козла от кочана капусты отличить не мудрено, а дать общее и верное во всех случаях определение животного — чрезвычайно трудно»).

В статьях немало своеобразных суждений, способных заинтересовать и сегодняшних исследователей. «Басня о лисе и вороне — быль, этому нет никакого сомненья, — пишет, к примеру, Даль. — Лиса, конечно, не воспевала хвалу вещунье, но увертками своими заставила ее каркнуть тем предостерегательным голосом, которым ворона

всегда возвещает о каком-нибудь важном открытии». Даль четко отделял «разговор животных» (который не поднимается выше «выражения общих ощущений» — страха, опасения, удовольствия, голода) от «словесной речи человека» («обнаружения нашей духовной жизни»), но, человек наблюдательный, он замечал разнообразие «сигналов» в «языке» животных — описал «виды карканья» вороны, куриного квохтанья («Курица иначе клокчет, сзывая цыплят, иначе предостерегает от парящего над нею ястреба»).

Рукописи статей приотворяют дверь в мастерскую Даля, — нет, не зоолога Даля: был один Даль со своим взглядом на жизнь и способами ее постижения — один и тот же Даль писал статьи для «Зверинца» и составил «Толковый словарь». В статьях о животных — научные сведения рядом с народными преданиями, приметами, пословицами, местными наименованиями. Рассказы «Зверинца» набиты бесконечными бытовыми наблюдениями, занятными историями, которые Даль во множестве знал от очевидцев или которых сам был очевидцем: «Самая злая стая собак не тронет человека, если он ляжет, растянувшись навзничь, закинет руки на голову и будет спокойно лежать; я имел случай испытать средство это... Стая, окружив меня в расстояние не более аршина, порываясь с лаем и воем, не переступала, однако же, известных пределов, точно будто все собаки на привязи. Уверяют, что тем же средством можно спастись от волков; но признаюсь, зная волчий нрав и свойства, трудно этому поверить и еще труднее решиться на испытание».

Независимо от темы рассказы полнятся «словарными», как называл Даль, заметками: «Если лиса, как говорится, душит птицу, то есть в один прием зажимает ей глотку и перекусывает шею, не давая ей кричать, а волк, как весьма правильно говорит народ, режет скотину, то есть хватает прямо за глотку и перегрызает сонные жилы, точно как мясник, — то медведь, напротив, ломает и дерет, почему и говорят, что он задрал скотину».

Позже в «Толковый словарь» попадут не только слова, но огромное количество ученых и народных сведений о животных; «зоологические статьи» в словаре отличаются полнотой и живостью...

4

Вечером 19 сентября 1845 года в Петербурге на квартире у В. И. Даля соберутся восемь человек (среди гостей — географ и статистик К. И. Арсеньев, мореплаватель Ф. П. Врангель, астроном и геодезист В. Я. Струве). Восемь человек встретятся не для того, чтобы скоротать время за приятельской беседой: в тот памятный вечер состоится первое заседание Русского географического общества; на втором заседании, через две недели, Даля изберут в Совет общества, ему присвоят почетное звание члена-учредителя, которого удостоятся также Бэр и Чихачев, Литке и Крузенштерн. Оренбургские труды Даля как бы предваряют и объясняют деятельное его участие в создании общества — учредитель...

В конце 60-х годов был создан оренбургский отдел Русского географического общества — за несколько лет до смерти Даля. Но, по существу, оренбургский отдел родился тремя десятилетиями раньше, учредил его Даль; отдел предшествовал обществу (ребенок появился раньше «родительницы»). «Не помню, писал ли я тебе о наших четвергах. Нас сошлось теперь десять человек. Мы собираемся по четвергам поочередно у двух, у меня и генерала Генса, и каждый по очереди занимает остальным вечер своим предметом. Тут один говорит об истории, другой о кайсаках и башкирах, третий о сравнительной анатомии, четвертый о Бородинском сражении, пятый о расколах и пр. и пр. Затея очень хороша... Несколько статеек было довольно любопытных и занимательных, так что их можно и должно напечатать. Может быть, мы составим из них сборник», — сообщал Даль из Оренбурга сестре Павле[1]. И не только сестре — Краевский просит его: «Шлите все, что есть у вас и у товарищей ваших вечеров: гг. Генса, Иванова, Ханыкова и Дьяконова, о коих вы мне писали»[2].

Историк оренбургской жизни Даля рассказывает, что герой его «стоял на целую голову выше тогдашнего оренбургского чиновничества, которое не шло дальше вопроса о том, «где лучше рыбалка — на Урале или Сакмаре?». Но вот нашел же Даль десять человек, которых не одна рыбалка интересовала, но этнография, история, даже сравнительная анатомия.

[1] ПД, № 27412/CXCVI б. 10.
[2] Там же, № 27334/CXCVI б. 6.

О людях, чьи имена упомянуты, мы знаем кое-что. Про Иванова, допустим, известно, что был переводчиком и, говоря по-нынешнему, «востоковедом». Генерал Генс, военный инженер, оставил большое число рукописных трудов о «киргизской степи и прилегавших ханствах», казахи очень доверяли ему (толпами шли к нему домой с жалобами и просьбами) — видимо, Генс был первым наставником Даля «по казахским делам». Яков Ханыков, известнейший географ и картограф, в рекомендации не нуждается (отметим только, что Ханыкову передал Даль собранные им «Сведения о путях в Хиву»). Наконец, о Дьяконове рассказал тысячам людей, современникам и потомкам, — прославил его на первых же страницах своего «Толкового словаря» сам Даль.

В «Напутном слове» он «помянул» Дьяконова как человека, в котором «находил умное и дельное сочувствие к своему труду». Мельников-Печерский дополняет краткую похвалу Даля, приводит подробные слова его: «Вот точно так же Александр Никифорович Дьяконов в Оренбурге ходил ко мне с Киршей Даниловым да с Памятниками русской словесности XII века, и точно так же мы целые вечера просиживали над ними... Изучение старинных памятников утвердило тогда во мне намерение составить Словарь... Дьяконов поддержал меня...» (Оренбургский историк сообщает про Дьяконова: «просвещенный инспектор классов и учитель истории и географии», «которого уважал Перовский»; уважение Перовского «можно видеть» из того, что он приказал «дать» нуждающемуся педагогу пятьдесят рублей, «разумеется, добавил деликатный Перовский, что это не должно быть гласно» — смешно и грустно!)

Мы коротко сказали о четырех товарищах Даля, названных в письме, но их «сошлось десять человек», на деле же и того больше: подолгу жил в Оренбурге другой Ханыков, Николай, образованный юноша, в будущем заслуженный географ и этнограф, каждое лето приезжал из Казани Эверсман, путешественник Александр Леман был приглашен Перовским «для составления геогностического описания края» и для «доставления» в музей «коллекций животных и насекомых».

В числе ученых оренбургских приятелей Даля было несколько ссыльных поляков. Даль сблизился здесь с Томашем Заном, другом поэта Мицкевича, деятельным участником Виленского тайного общества, разгромленно-

го в начале 20-х годов. В ссылке Зан отдался изучению геологии края, его растительного и животного мира. Еще до приезда Даля он стал устроителем «своего» естественнонаучного и этнографического музея — при Оренбургском военном училище. Другой из ссыльных поляков, с которым подружился Даль, — портупей-прапорщик Иван Виткевич. Путешественник, этнограф, знаток языков, Виткевич не мог не привлечь внимания Даля. Портупей-прапорщик (читай: рядовой с офицерским темляком) стал, как сказано о нем в одной статье, неутомимым «странствователем по Средней Азии». Он быстро изучил восточные языки — казахский, башкирский, персидский, афганский — и добрался в странствованиях своих до Кабула. Составлением карт, описанием местностей он приносил пользу властям и снискал их расположение.

Все приезжие и проезжие, кого манили познания («плоды учения и опыта»), являлись в Далев кружок.

Оренбургские «четверги» продолжались в столице, в Нижнем Новгороде, в Москве. Даль — мы упоминали уже — кабинетов не любил, работал в общей комнате: «Бывало, режет и подклеивает ремешки, а сам рассказывает бывальщину, да так рассказывает, что только слушай да записывай», — вспоминает Мельников-Печерский[1]. Даль всю жизнь среди людей и с людьми, а откроешь иную статью — «угрюмый», «замкнутый», «необщительный»...

Одаренность и образованность Даля многосторонни — оттого ему особенно нужно большое число людей вокруг: для общения, для обмена мыслями, знаниями; он любил узнавать и любил отдавать то, что знает.

В Географическом обществе, которое он у ч р е д и л, для него слово «общество» не менее важно, чем «географическое».

БЫЛИ И НЕБЫЛИЦЫ

1

«Молю вас только — работать Христа ради, сколько дозволит вам досуг... Шлите все, что есть у

[1] «Ремешками» Даль называл узкие листки бумаги, на которых были записаны пословицы.

вас»[1], — издатели являлись к Далю в письмах с поклоном.

Известность Даля-писателя росла; Казак Луганский — имя, хорошо знакомое всей читающей публике. Журналы охотно предоставляли страницы его статьям и «бедным творениям».

В 1833 году увидела свет первая книжка «Былей и небылиц Казака Луганского» — своего рода собрания сочинений. Всего появилось четыре книжки.

В «Былях и небылицах Казака Луганского» больше «небылиц» — сказок: Даль продолжал сочинять их, несмотря на мытарства с «Пятком первым».

Белинский возмущался, читая новые Далевы сказки, — «одна другой хуже», в них «часто нет ни мысли, ни цели, ни начала, ни конца», — но, случалось, при чтении смеялся невзначай: «Так забавно, что невозможно читать без смеха». И выводил: «Казак Луганский — забавный б а л а г у р!»

Читателям «небылицы» Казака Луганского нравились: в 30-е годы интерес к народному, к сказке вообще пробудился у образованной публики. Автор вышедшей тогда книги сказок (теперь уже совсем позабытой) присовокупил к ней, как нередко делали, вымышленный «разговор» писателя с книгопродавцем: писатель предлагает стихи, юмористические статьи, но книгопродавец от всего отказывается; когда же речь заходит о «народных сказках», книгопродавец меняет тон: «Да, точно-с, это вкус теперешнего времени. Желательно было бы это перекупить».

Белинский возмущался, а «Краткий курс словесности», изданный в 1835 году, указывал на сказки Даля как на образец.

Только через полтора десятилетия, оглядывая в с е творчество Даля, Белинский, по собственным его словам, «смягчил строгость» своих суждений о сказках Казака Луганского («он так глубоко проник в склад ума русского человека, до того овладел его языком» и т. д.). И все же не удержался: «Мы, признаемся, не совсем понимаем этот род сочинений. Другое дело — верно записанные под диктовку народа сказки: их собирайте и печатайте и за это вам спасибо. Но сочинять русские народные сказки или переделывать их — зачем это, а главное — для кого?»

[1] ПД, № 27334/CXCVI б. 6.

2

Лежит на ладони пушкинский перстень: светится лучистый камень, тяжелый теплый металл греет руку. Пять дней провел Пушкин в Оренбургском крае — и под пером его родились точные и увлекательные главы «Истории Пугачева», пленительные образы «Капитанской дочки». Даль уральского романа не написал. Позже все, что сложилось в уме и осталось в памяти, помеченное как «урал-казч» и «орнб», — черты быта и отношения, одежда, слова, имена необычные (Маркиан, Харитина) — все улеглось в два десятка страниц текста под названием «Уральский казак» («Это не повесть и не рассуждение о том — о сем, а *очерк*, и притом мастерски написанный», — тотчас определил Белинский).

Один талисман, золотой перстень, но, сколько ни всматривается Даль в лучистый камень, не получается завещанного романа, зато получается новый интересный писатель: «...В начале тридцатых годов явился даровитый казак Луганский, с своими оригинальными россказнями на русско-молодецкий лад, которые он потом мало-помалу начал оставлять для повести лучшего тона и содержания. Как сказки, так и повести Луганского были плодом сколько замечательного дарования, столько же и прилежной наблюдательности, изощренной многостороннею житейскою опытностью автора, человека *бывалого* и коротко ознакомившегося с бытом России почти на всех концах ее», — писал Белинский.

В повестях и рассказах Даль пытался сочинять занимательные сюжеты (или показывать, как жизнь создает положения позанимательнее самых занимательных сюжетов) — сюжеты расползались, повествование затягивалось, герои и вообще лица, написанные сочно и уж наверняка точно, привлекая к себе внимание читателя, странно не задерживались в памяти, не становились «нарицательными» («имеющими силу, значенье по одному названью, ему приданному»). Сила, значенье повестей и рассказов Даля, их успех — не от занимательности сюжета, не от мастерства повествования, не от глубины раскрытия образа; сила, значенье повестей и рассказов Даля — в точности и меткости взгляда, в завлекательной подробности картин, в достоверности наблюдений, в том, что создатель их знает о жизни куда больше, чем читающая публика. «Где основа рассказа проще, малосложнее, менее запутана, там и рассказ выходит лучше», — отмечал Белинский. Зато: «Многие рассказы... незаметно обогащают вас такими знаниями, которые, вне этих рассказов, не всегда можно приобрести и побывавши там, где бывал Даль».

3

Жуковский, проезжая Оренбург, просил Даля подобрать ему сюжет для «восточной» поэмы или баллады (Белинский писал о «Вадиме» Жуковского: «Место действия этой баллады в Киеве и Новгороде; но местных и народных красок — никаких»).

Ответ Даля замечателен, тем более что пишет он не кому-нибудь, кого почитал должным наставлять, а Жуковскому, которого почитал наставником.

Даль *отказал* Жуковскому, и не в том суть, что отказал, но в отказе Даля — *суть* воззрений его: «Я обещал Вам основу для местных, здешних дум и баллад, уток был бы Ваш, а с ним и Ваша отделка. Я не забывал этого обещания, может быть, ни одного дня, со времени Вашего отбытия, а между тем обманул. Но дело вот в чем, рассудите меня сами: надобно дать рассказу цвет местности, надобно знать быт и жизнь народа, мелочные его отношения и обстоятельства, чтобы положить резкие тени и блески света; иначе труды Ваши наполовину пропадут; поэму можно назвать башкирскою, кайсакскою, уральскою, — но она, конечно, не будет ни то, ни другое, ни третье. А каким образом я могу передать все это на письме?.. Я начинал несколько раз, у меня выходила предлинная повесть... Вам нельзя пригонять картины своей по моей рамке, а мне без рамки нельзя писать и своей!..»

И заканчивает: «Часто вспоминаем Вас. И Вы, и Пушкин были в Оренбурге, в этой конечной точке оседлого быта России, где свет заключен границами и оттуда нет дороги никуда, кроме в Хиву или Бухару, или назад в Россию».

Пушкин увез в Россию подробно записанное по его просьбе знаменитое казахское предание о батыре Косу-Корпече и его возлюбленной Баян-Сулу — шекспировской силы предание: степные Ромео и Джульетта оживали в напеве неведомого жирщи. В черновых набросках стихотворения «Я памятник себе воздвиг» Пушкин после «внука Славян» и «Фина» сначала написал: «Киргизец»...

4

Когда Владимир Иванович Даль оказался в Оренбургском крае, где не только разные языки и говоры сошлись, но и разные народы с их непривычным укладом жизни, многие читатели ждали, должно быть, от начинающего и быстро входящего в силу литератора «экзотических» повестей о быте этих почти неведомых народов. Слово «экзотический», которое толкуется в нынешних словарях — «причудливый, диковинный, действующий на восприятие своей странностью», Даль объяснял коротко: «чужеиноземный, из жарких стран» и прибавил — «о растениях».

Интерес был растревожен или раздразнен предшественниками Даля.

В 1829 году (годом раньше Далевой «Цыганки») в «Московском телеграфе» появились главы из повести Василия Ушакова «Киргиз-кайсак»: светский офицер оказывается сыном простой казашки, продавшей ребенка во время голода богатому человеку. В повести много занимательного, но казахской жизни Ушаков не знал, степь и кочевье для него равнозначны свободе (несколькими годами раньше пушкинский Алеко свободы в кочевой жизни не обрел).

Вскоре Фаддей Булгарин загнал своего «героя» Ивана Выжигина в казахские степи и, не выходя из петербургского кабинета, выращивал развесистую «чужеиноземную» клюкву, придавая ей все свойства растения «экзотического».

Но был еще Алексей Левшин, «член разных ученых обществ Российских и Иностранных», как он именовался на заглавном листе книги, увидевшей свет накануне отъезда Даля в Оренбург; книга называлась «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсакских орд и степей».

«Вид целого народа пастушествующего... простота и близость сего состояния к природе имеют много занимательного и пленительного для глаз романиста и поэта. Люди с воображением пылким могут, глядя на киргизов, представлять себе беспечных пастухов счастливой Аркадии или спокойных современников Авраамовых; могут мечтать о мнимом блаженстве людей, незнакомых с пороками, царствующими в больших городах; могут искать у них предметов для эклог и идиллий...», — писал Левшин. Однако сам он не давал воли «воображению пылкому».

«Хладнокровный путешественник», изучавший документы Азиатского департамента, а затем проведший два года в Оренбурге и степях зауральских, убежден в занимательности жизни действительной: он «почитает обязанностью издать в свет все то, что имел случай узнать о прежнем и нынешнем состоянии» «казачьих орд». Труд Левшина высоко ценил Пушкин; можно не сомневаться, что и Даль с книгой был знаком.

5

Даль едет по степи к героям своей казахской повести; их зовут Бикеем и Мауляной. Даль много о них знает и все, что знает, расскажет читателям: в повести откроется для них Казахстан первой трети девятнадцатого столетия. Но повесть не только Казахстан: в ней, пусть в плотном кольце этнографических подробностей (иначе Даль не был бы Далем!), живут и действуют люди верной любви — тоже казахские Ромео и Джульетта, не старинного предания герои — Ромео и Джульетта девятнадцатого столетия.

...Раскаленными золотыми слитками тлеют в костре кизяки. В котле, черном от копоти, дымится похлебка — ее заправят скобленым куртом, сухим овечьим сыром. Пузырятся турсуки, сшитые из конской шкуры меха́, — они полны кумысу; кумыс хорошо пьется, помногу, вселяет в тело легкость, приносит веселье, потом — крепкий сон.

Вокруг юрты висит в воздухе привязчивый запах шкур: жеребячьи шкуры вымачивают в квашеном молоке, проветривают, смазывают бараньим салом, коптят, проминают; из них шьют ергаки — тулупы; из козьих шкур выделывают тонкую, мягкую кожу — сафьян. Собирают марену — желто-зеленые цветки на граненом, шероховатом стебле; цветы и стебли никому не нужны, дорог мареновый корень: в нем прячется знаменитая красная краска. Корень можно толочь или крошить, однако лучшим красителем считается корень жеваный; созывают гостей жевать корень. Выкрашенный сафьян ярок, как раскаленный кизяк в костре.

Ночью в ровной степи огоньки костров видны очень далеко; нетрудно обмануться — долго-долго ехать на огонек. Казахи советуют: «Не ходи на огонь, иди на лай собак»; лай собак — признак близкого кочевья. Если вече-

ром выехать из аула — все наоборот: лай собак скоро стихает в ушах, а звезды костров еще долго смотрят вслед всаднику; потом и они тают в черной ночи. Конь идет небыстрой рысью, расталкивая темноту; а по горизонту, справа, слева, вокруг — рыжей полосою стелется зарево. Это степные палы — пожары: жгут старую траву, из расчищенной, удобренной золою земли молодая зелень пробивается скорее и гуще. Рассветная заря, по-степному размашистая, заливает небо; рыжая полоска, опоясавшая горизонт, быстро тускнеет; в солнечный знойный день пламя степного пожара прозрачно, невидимо.

Как ни странно, в степном океане, где у каждого своя дорога, перекрещиваются пути: проходит мимо караван, — плавно покачиваясь, вышагивают верблюды. Они словно связаны цепью: волосяной аркан, продетый сквозь нос одного животного, привязан к хвосту другого, идущего впереди. Хозяева верблюдов вперед-назад мечутся на горячих конях вдоль растянувшегося на несколько верст каравана. Владельцы товаров, в больших чалмах и добротных халатах, раскачиваются в люльках, подвешенных по бокам каждого верблюда; на переднем восседает караван-баши, голова каравана. Верблюды не спешат; легче обскакать караван стороною, чем пережидать, пока пройдет.

Иногда, будто к магниту, стягиваются со всех сторон в одну точку всадники: какой-нибудь богач созвал гостей на праздник или поминки... Весело пенясь, плещет из бурых мехов кумыс; под острым ножом, не вскрикнув, никнут бараны; куски свежего мяса алы и сочны. Готовят бешбармак (бешбармак — по-казахски «пять пальцев») — едят руками. Багровеют лоснящиеся лица, на темных пальцах сверкает растопленное сало. Насытясь, веселятся. Тяжелые плети со свистом разрывают воздух; в стремительном галопе вытягиваются в прямую линию, словно повисают над землею, бешеные кони — кажутся стрелами, пущенными из тугого лука. Зрители горячи, нетерпеливы и голосисты; скоро голоса сливаются в общий гул — он то нарастает, то глохнет, подобно шуму волн.

Борцы на поясах упираются друг в друга плечами; они напряжены и поначалу почти неподвижны: огромной силе нет выхода в быстрых и ловких движениях. Напряжение растет — сила все плотнее заполняет борцов, не вырываясь наружу: кажется, они начнут сейчас, медленно погружаясь, врастать в землю. И вдруг все разряжается

молниеносным броском — толпа взрывается криком; побежденный, поднявшись на ноги, сосредоточенно стряхивает с себя пыль и травинки.

Венец празднику — песня. Акыны, брякая на домбрах, славят лихих наездников и непобедимых силачей, слагают хвалы богатому пиру; домбры звучат негромко и мягко. Две натянутые жилки-струны оживают под пальцами музыканта: то стонут тихо и грустно, то лукаво посмеиваются, то заливаются быстрым и частым птичьим говором, то жарко и прерывисто дышат. Высокие голоса плывут по ветру над степью и растворяются в небе, как дымы костров.

Девушки и парни садятся друг против друга, сочиняют забавные куплеты — кто кого перепоет: это играпесня — кыз-ойнак, или «девичье веселье». У девушек голоса проворней и слова острее; парни потирают ладонью затылки, потеют; подхватив удачное словцо, гомонят зрители; трепещет над толпою звонкий девичий смех. Точно у беркута, зорок глаз степного человека, но кто, кроме Даля, заметил в наступивших сумерках, как самая бойкая из певиц быстро передала незадачливому молодцу, которого только что отделала всем на потеху, совиное перышко — знак сердечной привязанности? (Совиными и селезневыми перышками украшена бархатная девичья шапка.) Даль не в силах отвести взор — девушка красива: в черных, слегка раскосых глазах — глубина и загадочность степных колодцев; черные брови — птица, распахнувшая узкие, острые крылья.

Даль подходит.

— Как зовут тебя? — спрашивает по-казахски.

— Маулен.

Но Даль не отводит взора. Откуда в этой дикой красавице, в этой степной певице сверкающий острый ум, тонкая музыкальность, высокий поэтический дар? Ей не нанимали гувернанток, ее не держали в модном пансионе, да знает ли она, что такое книга! До семи лет в зной и стужу бегала нагишом по аулу, пряталась от зимних буранов, зарываясь в колючую жаркую шерсть или горячую золу; с восьми без страха управлялась с резвым скакуном, ставила на ветру серые юрты, плела уздечки и жевала мареновый корень. Безбрежная степь и безбрежное небо, низкие пристальные звезды и далекие мерцающие огоньки кочевий рождали в ее душе слова и музыку — она пела песни, не ведая, что они прекрасны, просто так

пела, легко и свободно, как птица, потому что не умела не петь.

Медленно бродят по рукам похудевшие турсуки, беседа плещет, слабо покачиваясь и часто затихая; иные уже дремлют, отяжелев (в желтом свете костров лица четки, темны и спокойны, будто вырезаны из старого мудрого дерева). Даль смотрит, слушает: «Может быть, другой Суворов, Кир, Кант, Гумбольдт сгинули и пропали здесь, сколько окованный дух ни порывался на простор!» Здесь говорят: «Дурной скажет, что ел и пил, а хороший скажет, что увидел». Сколько великих ученых, полководцев, поэтов скрыто до поры в этих людях, то отчаянно-стремительных, то задумчиво-неподвижных? И когда придет их пора? И кто расскажет о них, об их степных дорогах, о дымных аулах и о девушке Маулен с голосом птицы и птичьими перышками на шапке?..

6

«Но я опять уже покинул свой рассказ и замолол другое», «возвратимся к своему предмету»... — Далю нередко приходится перебивать повествование «покаянными» признаниями. «Начинаю говорить в десятый раз и все опять сбиваюсь на иные, посторонние предметы, но на предметы, стоящие в близкой и тесной связи с рассказом моим, на предметы, вероятно, немногим читателям близко знакомые»...

«Своя рубаха — свой простор, своя и теснота»: современники, читатели чувствовали, понимали и «простор» Далевых рассказов — «быт России почти на всех концах ее», и «тесноту» — изобилие отступлений и подробностей. Понимал не только Белинский («Повесть с завязкою и развязкою не в таланте В. И. Луганского, и все его попытки в этом роде замечательны только частностями, отдельными местами, но не целым»), понимали читатели «обыкновенные»: «...Невольно приходит мысль, что сочинитель имеет очень много материалов (анекдотов, замечаний о нравах, обычаях и т. п.)... и что, желая сообщить их читателям, он прицепляет по нескольку из них к каждому слову, которое, по его мнению, имеет с ними хотя самомалейшую связь», — это не из журнального отзыва, это из частного письма к Далю [1].

[1] ПД, № 27271/CXCVI б. 3.

Если обратиться не к развернутым суждениям Белинского, а посмотреть лишь на многочисленные *беглые упоминания* о Дале в его статьях, сразу бросается в глаза частое словцо «схватывает» (либо от него производные) — «верно схватывает», «мастерски схваченный», «удачно схваченные», «схваченные с изумительной верностью»; дополнением к «схватывать» оказываются то и дело «черты» и «подробности». Таково литературное дарование Даля — «метко схватывать».

7

Первая повесть Даля, о которой Белинский отозвался с горячей похвалою, имеет название необычное — «Бедовик».

«Бедовик» — лучшее произведение талантливого Казака Луганского. В нем так много человечности, доброты, юмора, знания человеческого и, преимущественно, русского сердца, такая самобытность, оригинальность, игривость, увлекательность, такой сильный интерес, что мы не читали, а пожирали эту чудесную повесть».

В «Толковом словаре» читаем: «Бедовик — кто век ходит по бедам».

Герой повести, скромный и благородный молодой человек, ходит по бедам, потому что хочет «не видеть своими глазами на каждом шагу, как всякая правда живет подчас кривдою», как «бестолковому тунеядному обычаю» дают повсюду «силу житейского закона».

Встретившись с важным сановником, «надменным, насмешливым звездоносцем», бедовик вспоминает рассказ старого своего слуги, отставного солдата: «Бывало, в походе идут они, то есть пехота, в страшную слякоть, в дождь да месят грязь по колено, а конница и пуще того кирасиры обходят их подбоченясь да только знай покрикивают на них: «Не пылить, ребята, не пылить!»

«Что, я ему мешаю? — горько думает обиженный бедовик. — Разве и солнце и луна не для всех нас равно светят, куда бы луч их ни упал?.. Что трудовой и бедовой пехоте отвечать на это надменное «не пылить»?»

Мудрено ли с такими-то мыслями остаться в губернском городе без места, прослыть чудаком и проходить век «неудахой»...

Герой собрался в Питер или Москву, где надеялся «жить не местом, а жалованьем», выехал на большую

дорогу, попал в несколько переделок, повстречал разных людей и в конце концов воротился обратно.

Прием этот будет повторяться в рассказах и повестях Даля: дорожные похождения и встречи заменяют увлекательный сюжет и позволяют «сбиваться на посторонние предметы».

В «Бедовике» Даль рассказывает о «бессмысленном быте» губернского города, о почтовых станциях, об институтах для благородных девиц и военной службе.

Восемь лет спустя Белинский отзовется о «Бедовике» более сдержанно, отнесет повесть к числу «не совсем удачных», «они скучны в целом, но в подробностях встречаются драгоценные черты русского быта, русских нравов».

Но ведь и Даль эти восемь лет на месте не стоял.

Белинский делил сочинения Даля «на три разряда»: сказки, повести и рассказы, физиологические очерки; он полагал, что «г. Даль, пиша русские сказки, повести и рассказы, искал настоящей дороги для своего таланта».

Оглянувшись назад, Белинский увидел в «Бедовике», «как бы в зародыше», будущее Даля; в «схваченных с изумительной верностью» подробностях и чертах русского быта и нравов рассмотрел подробности и черты дарования Даля, которые «так полно и богато, так ясно и резко» «обозначатся» потом в его очерках.

Но черты и подробности Далева «Бедовика» были также приметами нового направления в русской литературе, ее «более и более тесного сближения с жизнью, с действительностию».

Оттого Белинский так радостно и восторженно приветствовал повесть Даля.

«ЗАКРИЧИМ МЫ ВРАЗ «УРА!»

1

Служба Владимира Ивановича Даля в Оренбурге («оренбургский период»), по существу, завершается Хивинским походом. В Оренбург он уже не вернется, то есть вернется на несколько месяцев, даже (второй раз) жениться успеет, но «период» уже завершен, все решено.

Хивинская неудача оказалась удачной для Даля: пусть Оренбург был «простором», но простор уму не может

быть очерчен границами губернии, даже если «окружность оных полагается до 6000 верст»; Петербург позволил Далю шире и по-новому окинуть взором «всю Россию».

2

Выступали в поход, конечно, в расчете на удачу, выступали покорять Хиву, «дерзкую и вероломную соседку», выступали «обеспечить спокойствие и торговлю в степных областях». Энгельс писал позже: «Вопрос о возможном столкновении двух великих азиатских держав, России и Англии, где-нибудь на полпути между Сибирью и Индией... часто обсуждался с тех пор, как в 1839 г. Англия и Россия одновременно отправили армии в Среднюю Азию. Неудача этих первых военных экспедиций, вызванная в обоих случаях суровой природой и климатом страны, на некоторое время лишила эти разговоры интереса»[1]. Энгельс подчеркивает деятельные меры «генерала Василия Перовского», предпринятые для «осуществления давнишних планов», «направленных против Хивы».

Три батальона пехоты и три казачьих полка вряд ли разбирались в тонкостях английской политики на Востоке, вряд ли думали о выгодах азиатской торговли; у солдат и казаков свой резон был идти на Хиву (резон — «причина, оправданье, разумный повод» — в ту пору было более русское слово, чем нынче: «Резон найду, сковородником хвачу» — напечатано было на лубочной картинке, а в армии говорилось: «Резон, из гвардии да в гарнизон»). Солдаты и казаки шли освобождать русских невольников, «пленников», которые захвачены были в степи, проданы в Хивинское ханство и стали там рабами.

Мы избавим от неволи
Своих братьев-земляков, —

пелось в казачьей песне.

Закричим мы враз ура!,
Тут погибнет вся Хива.

Даль независимо от того, считал ли он поход необходимым и как объяснял для себя причины (резон) его, много потрудился, чтобы зажечь в людях стремление избавить от неволи своих «братьев-земляков»: в газетах и

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 12, стр. 614.

журналах того времени частенько появлялись записанные им рассказы «пленников», бежавших из Хивы или выкупленных, — рассказов этих напечатано значительно больше, чем мы полагаем, основываясь на собраниях сочинений («Рассказ невольника прочел с большим удовольствием», — замечал Белинский, познакомившись со свежим номером журнала).

Даль в осуществлении планов Перовского участвовал, хотя и не полагал, что «закричим мы враз «ура!», тут погибнет вся Хива» — он осмотрителен. Перовский рассчитывал, что поход будет нетрудным и что подготовлен он хорошо, — выступили из Оренбурга в середине ноября, рассчитывая дело сладить быстро. Даль возражал — недаром в примечаниях к «Естественной истории» набросал он выразительную страничку о зиме в казахских степях.

3

В это время, судя по документам, и началось «охлаждение» между «благодетелем» и «состоящим при нем», в это время нарушилась «неписаная» субординация; в «Бедовике», законченном как раз накануне Хивинского похода, есть сцена — губернатор по наущению льстецов отказывает в милости честному, доверенному чиновнику.

«— Отношения мои к вашему прев-ству всегда были доселе самые откровенные; я имел счастье пользоваться...

— Какие отношения, сударь, — спросил губернатор, приподняв густые брови на целый вершок, — какие, сударь, отношения? Я думаю, рапорты!..»

Чиновник «удивлялся этому неожиданному обороту отношений своих к губернатору», хотя «был готов всегда услышать это».

После Даль с Перовским «помирятся», но письма чиновника особых поручений к губернатору, посланные во время «размолвки», открывают некоторые немаловажные черты личности Даля.

«Чувствую в полной мере, до какой степени для начальника тягостны и скучны ни к чему не ведущие объяснения подчиненных», — пишет он «благодетелю», а потому считает нужным поставить точку над «i»: «Сделав человеку столько добра, как Вы мне, можно, по крайней мере, ожидать от него личной привязанности и благодарности; и это все, что я могу Вам принести за пять лет очень счастливой жизни».

Служить для «потехи», для карьеры он не желает; он «упирается руками и ногами противу наград» («Я не позволю никому попрекать себя, чтобы я получал более чем заслужил, более чем люди, которые работают больше меня. Это чувство для меня в такой мере нестерпимо, что мне без всякого сравнения гораздо легче перенести обратное положение дела»); он предпочитает «обвестить жадную к новостям публику о немилости, в которую впал» — «люди с жадностью кинулись воспользоваться горестным положением моим... они громко, дружно и гласно изъявили восторг свой, поправ копытами все, что есть на свете для человека святого»[1] (а в благодушном-то райке про Оренбург: здесь «бог его благословил», «он всем был мил»...).

Военный губернатор не посчитался с Далем, не увидел в его советах «личной привязанности и благодарности» («Какие отношения, сударь? Я думаю, рапорты!»); приказано было выступать в поход.

«Я отнюдь не хотел быть в числе охотников, — признается Даль, — хотя и пошел охотно, когда сказано было: иди. Личная привязанность и благодарность моя за много добра заставляли меня почти желать, чтобы я при назначении этом не был обойден; а уверенность, что во мне не может быть никакой нужды, побуждала отвечать на вопрос: хотите ли идти? — Как прикажете, как угодно».

Из Хивинского похода, когда лютые морозы и глубокие снега остановили войско, когда «люди голодали, болели, гибли», когда, чтобы хоть немного согреться, жгли на кострах лодки, канаты, снаряжение, когда тысячи верблюдов пали в степи, белыми холмиками отмечая путь отряда, Даль писал, что «все это можно и должно было предвидеть», если бы губернатор не слушал советчиков, объявивших поход «прогулкой».

«Послушали бы меня, глупого, были бы разумны», — сердито бормочет Даль; но и теперь еще, утонув в снегах, кое-кто (и Перовский в том числе) надеется «кончить и воротиться весною в Оренбург»; Даль молчит, «чтобы не быть зловещим петухом».

«Если бы я был здесь нужен, или в особенности полезен — я бы не жалел о том, что покинул престарелую мать и малолетних детенышей», — пишет Даль. Но он

[1] ПД, № 27416/CXCVI б 10; ГБЛ, ф. 473, к. 1, ед. хр. 3

считает себя «почти излишним, потому что каждый грамотный человек мог бы написать 12 или 15 номеров бумаг». Опять те же слова: «Нужен», «полезен», «излишен», — привлекает внимание ход рассуждений Даля.

4

Даль оказался нужнее в походе, чем предполагал, — он ведь умел не только бумаги переписывать: лечил цинготных и обмороженных, придумывал из имеющихся под руками снадобий «омеопатические» лекарства; в истории военной медицины остались изобретенные им подвесные «койки» для перевозки больных на верблюдах.

С отрядом Перовского отправился в поход молодой петербургский художник Василий Иванович Штернберг; он, правда, был в пути всего три дня и, по словам Даля, «раздумав дело, еще вовремя воротился». Но и за три дня Штернберг успел сделать несколько акварелей; на одной изображены в палатке у костра некоторые участники похода: П. Чихачев, В. Даль, Н. Ханыков, А. Леман, — имена в русской географии и этнографии известные. Был еще не попавший на картинку астроном Васильев.

Каким образом все они собрались в одной палатке посреди заснеженных степей? Тут, наверно, и просвещенность Перовского помогла — он постоянно заботился об изучении и описании «вверенного ему» края; и без влияния Даля не обошлось — именно он (не по воле начальства, но по воле сердца) взвалил эту губернаторскую заботу на свои плечи, претворил ее в дело. Тут, наверно, оказалась «при чем» даже легкомысленная надежда, что поход обернется «прогулкой», — почему бы не пригласить «прогуляться» до Хивы нескольких ученых, по дороге можно провести необходимые наблюдения в неведомых доселе местах, наблюдения пополнят описание края. Ученые остались учеными: в тридцатиградусный мороз, на жгучем ветру — «не для муки, для науки» обитатели «Далевой палатки» (они ее называли «вертепом») занимались своим делом; о пользе, ими принесенной, нельзя забывать при общей оценке этого похода-поражения. Здесь не было совершено так называемых открытий, но едва ли не все, что удавалось узнать, было новым, неизвестным прежде; и каждый из обитателей «вертепа» был не географом, зоологом, минералогом или медиком — каждый был и тем, и другим, и третьим, — естествоиспытателем в самом широком смысле этого слова.

У Даля к тому же свои заботы — тетради его пополняются песнями, сказками; да не только русскими или казахскими. «Прислушайтесь, — пишет Даль о своей палатке, об «ученом вертепе» в безграничной, заснеженной степи, — прислушайтесь, и вы услышите английский, испанский, немецкий и французский языки, малороссийские, персидские и русские песни, татарский говор». Даль поставил себе цель «переписать от слова до слова и перевести на русский язык» спетую денщиком-казахом героическую поэму «в презамысловатых стихах, с бесконечным ожерельем прибауток, с рифмами, с песнями, с припевами»: «Я... удивился необыкновенному сходству духа этой сказки и самого рассказа с русскими богатырскими сказками».

5

Ни лечебные средства, на ходу изобретаемые Далем, ни расстрелянные «для острастки» солдаты и «киргизцы» («В. А. указал на одного из них — кажется, на первого встречного, на кого упала рука. Его вывели, раздели, завязали глаза, и залп раздался. Вслед за тем та же судьба постигла другого...»), ни милость, ни строгость не могли спасти похода.

Когда дело было погублено, Перовский согласился: «В этаком деле и год и два переждать нет беды». «Вся хула, осуждение, критика и проч. — все разразится над одной моею головою», — горестно восклицал Перовский. Голова Василия Алексеевича останется цела: государь его оправдает.

Даль был свидетелем того, как возвращался в Оренбург наполовину поредевший отряд: «Уцелевшие радостно встретились с семьями и друзьями своими, а принесшие в себе неисцелимую немочь цинги отправились помирать по больницам...» — такими словами заканчиваются Далевы «Письма о Хивинском походе».

«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ». ОТВЛЕЧЕНИЕ ШЕСТОЕ

На оренбургских просторах сама жизнь питала благодатными соками Далевы одаренность и образованность, интересы и увлечения. Все сокрытые в нем или не раз-

вившиеся до поры способности бурно пошли в рост и начали приносить плоды: писатель, историк, географ, натуралист, этнограф, собиратель народного творчества и проч. и проч. Дела его, плоды, принесенные им людям, были нужны и занимательны — казалось, во всяком деле Даль накануне рывка, ногу занес для решающего шага, совершит открытие.

Но Даль не отправился ни в одну из экспедиций учрежденного им Географического общества, этнографические изыскания оказались не более чем «авторскими отступлениями» в рассказах и повестях, медицинские знания понадобились для практического врачевания (Далю в Оренбурге случалось лечить) и для спора об «омеопатии», естественнонаучные наблюдения завершились составлением учебников, инженерная осведомленность пригодилась для строительства мостов (в Оренбурге Даль навел плавучий мост через Урал, как некогда через Вислу). Кажется, сосредоточься он на чем-либо одном — горы своротит! Даль не сосредоточивался: быть может, не столько осознанно, сколько по внутренней потребности он чувствует необходимость «цеплять» разные знания, разные ремесла. Но ничего не пропадет, все пойдет в дело — все знания Даля, весь опыт его и образованность, а он был «всезнайка», Даль (так он переводил слово «энциклопедист»).

Живи он веком раньше, взялся бы, наверно, за составление энциклопедии — «сочиненья, содержащего в сокращеньи все человеческие знания», но времена энциклопедистов прошли; один из последних Даль взялся за «Толковый словарь» языка и, подобно мудрому садоводу, привил, пересадил на него «черенок» такого сочиненья — энциклопедии. Он объяснял: «Желание собирателя было составить словарь, о котором бы можно было сказать: «Речения письменные, беседные, простонародные; общие, местные и областные; обиходные, научные, промысловые и ремесленные; иноязычные усвоенные и вновь захожие с переводом; объяснение и описание предметов, толкование понятий общих и частных, подчиненных и сродных, равносильных и противоположных, с одно-(тожде)словами и выражениями окольными; с показанием различных значений в смысле прямом и переносном или иноречениями; указания на словопроизводство; примеры, с показанием условных оборотов речи, значения видов глаголов и управления падежами; пословицы, поговорки, присловья, загадки, скороговорки и пр.». Насколько сочинитель отстал от такой, вовсе непосильной, задачи, это самому ему известно ближе и короче, чем кому-либо иному; ему удалось только, в пределах рамки этой, собрать кой-что и пополнить собранное разными отрывочными сведениями. Подготовки для такого труда нашлось маловато, а жизнь коротка, досугу и не хватит. Работая не ленясь, насколько от дел насущных оставалось часу, этот собиратель сделал, что смог, а если бы еще хоть десять человек сделали столько же, то свод десятка таких словарей, конечно, дал бы в итоге не то, что один!»

...В архиве Петра Васильевича Киреевского среди песен, подаренных собирателю Далем, хранится толстая тетрадь, озаглавленная «Свадебные обряды в горных заводах Урала» (дотошный Даль указал точное место записи: «в Суксунском заводе»). Обряды рассказаны очень подробно — сватанье, рукобитье и пропиванье, девичник, свадебное вытье, приходы жениха с гостинцами, обрученье, отданье девьей кра́соты, свадебный поезд, старинное вытье, приданое невесты, возвращенье свадьбы из церкви, окрученье молодых, ужин, подклет, баня, большой и пирожный столы, хлебины. Описание обряда включает семьдесят шесть песен с указанием, где, кто и когда поет какую: «После благословения невеста воет еще к братьям», «Выли, когда жених выводил невесту из избы», «Выли дорогою»... Дотошный Даль — в его пометках (как и в самих обрядах) предвиден, кажется, любой возможный случай: «Если же невеста сирота и не имеет которого-нибудь из родителей или ближайших родных, то перед началом пропиванья воют еще следующее...»

Тетрадь пролежала у Даля не меньше пятнадцати лет, накопилось много других заметок о свадебных обрядах в разных концах Руси — Даль не написал статьи о русских свадьбах, не напечатал песен, им собранных; все это не принадлежало ему по убеждению: «способствовать... людям более ученым и сведущим в изысканиях их и в распространении полезных знаний». Даль пользуется запасами своими, разве когда понадобится ему «метко схваченный» штришок в рассказе или повести — достоверная подробность: «Люди останавливались на улице, смотрели и провожали глазами поезд, выглядывали из дверей и окон и спрашивали... что это такое?.. «От хозяина кладку обратно везем к жениху — не полюбился!» И тут же

примечание: «В некоторых губерниях наших у крестьян остался обычай, что жених должен задарить отца невесты или даже принести, по уговору, столько-то денег — рублей 10, 20. Деньги эти называются кладкой...» Но неведомая ныне «кладка» не затерялась в примечаниях к не очень-то читаемым ныне повестям: Даль бережно переносит ее в свое хранилище. «В восточных губерниях кладка род калыма, окупа за невесту, условные деньги от жениха на приданое и на свадьбу», — читаем в «Толковом словаре».

За столом «продают» невесту:

— Торгую не лисицами, не куницами, не атласом, не бархатом, а торгую девичьей кра́сотой.

— Пей-ка-попей-ка, на дне-то копейка, а еще попьешь, и грош найдешь, — отвечает дружка.

Девки поют дружке за похищение у них подруги-невесты:

— На дружке шапчонка после дядюшки Парфенка; на дружке штанишки после дяди Микишки, на дружке кафтанишка с банного помелишка...

Это из другого Далева хранилища — сборника «Пословицы русского народа». Обряд не пропадает — он скрепляется со словом и присловьем, с пословицей и поговоркой: черенок знания прививается к дереву с привычным именем «словарь», «сборник пословиц» — дерево расцветает, приносит невиданные прежде плоды.

Даль оставляет себе то лишь, что, по его убеждению, принадлежит ему. Даже в этнографическом отделении Географического общества Даль согласно протоколам выступает как собиратель слов и пословиц, но из тех же протоколов видно, что пословицы — повод для разговора; на самом-то деле Даль куда шире размахнулся!.. «В. И. Даль изложил цель свою собственно относительно собрания пословиц, важных столько же для изучения языка, сколько и быта народного... Прочитанный им образчик относился до отдела пословиц о супружестве, о муже и жене. Из этого краткого отрывка можно уже сделать замечательные выводы касательно супружеской жизни русского народа и указать на многие привычки его и правила...» В сборнике своем Даль сберег тысячу (1001!) пословиц по разделам «Одиночество — женитьба», «Жених — невеста», «Сватовство», «Свадьба», «Муж — жена»; пословицы на эту тему хранятся и в других разделах («Баба — женщина», «Дети — родины», «Семья — родня»).

Ничего не пропадает у бережливого Даля из сокровищ его; а он впрямь считал (и не ошибался в том!) запасы свои сокровищами бесценными: «Если у нас в доме случится пожар, то вы не кидайтесь спасать какое-либо имущество, а возьмите рукопись «Словаря» вместе с ящиками стола, в которых она находится, и вынесите ящики на лужайку в сад», — наказывал он дочерям.

Рукопись с описанием обряда отправлена Киреевскому, но в «Толковом словаре» десятки слов оказываются дверьми на свадебный пир. Зажил, например, в словаре старинный обряд рукобитья: описан подробно; десятки почти забытых слов — и с любого можно отправиться в «путешествие» по словарю. Вот рядом с красотой притаилась позабытая нами кра́сота («род венца из лент и цветов, который ставят на девичнике перед невестою»). Вот знакомый поезд обернулся веселым свадебным, где мы можем оказаться между каким-нибудь «лагунником» и «поддружьем». Вот неведомая «кладка» пристроилась к другим «кладкам», тоже незнакомым, — «На Волге кладкою зовут завозный якорь, завоз, верп. На Днестре, гранитная стена поперек реки, ниже Ямполья, не выдающаяся из воды и потому опасная», но тут же хорошо известная кладка — кладка кирпича (Даль немедля сообщает, что кирпич кладут: *под лопатку, в обрез, под гребок, под смазку, в смазку, в маз, в подбелку; в отхват, в елку, в сок, в подливку* — и объясняет каждый способ).

Привычные слова становятся неожиданными: меняют смысл, сверкают оттенками, тянут за собою бесчисленную родню. Словам вольготно в словаре Даля. Словарь его не склад, где тихо пылятся они за семью замками в тесных и темных сотах: словарь Далев будто заповедный лес — слова собираются в стаи и бродят в одиночку, дружат и выставляют друг другу навстречу рога, резвятся, прячутся, рычат, свистят, шипят, бухают, фыркают; или, внезапно оторвавшись от черной стены чащи и выскочив на тропу, поражают пришельца.

Про самое слово СЛОВО в словаре полторы страницы (три полных столбца!). Слово не только «сочетание звуков, составляющее одно целое, которое, по себе, означает предмет или понятие, речение».

Слово еще —

и разговор, беседа («О чем у вас слово?»);

и речь («Взял слово»);

и сказание («Слово о полку Игореве»);
и рассуждение («Слово о русском языке»);
и обещание («Даю тебе слово»);
и заговор, заклинание («Он против лихорадки слово знает»).

«Он за словом в карман не полезет» — значит находчивый.

«Говорит, будто слово слову костыль подает» — значит нескладно.

«Словечка не проронил» — значит слушал.

«Без слова отдал» — значит не споря.

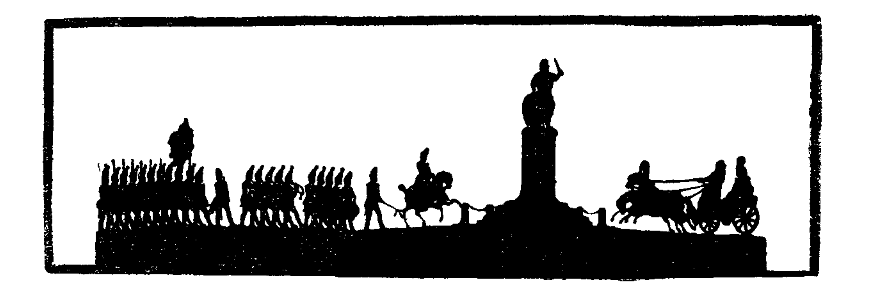
«Он, слов нет, хороший человек» — значит вправду, на самом деле.

«Красное словцо» — значит шутка.

«К слову пришлось», «К слову молвить (или сказать)» — значит кстати.

И, кстати, приведены десятки словосочетаний, пословиц.

Словом, здесь всего не перечислишь — не проще ли в словарь заглянуть.



СТУПЕНИ

Ступень — степень; в прямом или переносном значении — уступ; возвышенье или пониженье по отвесу; шаг.

В. Даль,
Толковый словарь

«Так-то так, да вон-то как?» — спросил мужик, наладив борону в избе и увидев, что она в дверь не лезет.

Народная шутка

«ЖИВАЯ И ВЕРНАЯ СТАТИСТИКА РОССИИ»

1

С Невского проспекта — на площадь Александринского театра (которому едва десять лет минуло), мимо Публичной библиотеки, туда, глубже, за театр, к дому министерства внутренних дел, — и еще девяносто ступеней вверх: квартира чиновника особых поручений при министре Владимира Ивановича Даля.

Девяносто ступеней вверх не одно лишь местоположение, но и положение: «Тот пост, который Вы занимаете, при Вашем чине, орденах», — пишут Далю в эти годы, а он уже статский советник (можно сказать, почти генерал), имеет Владимира 3-й степени, и Станислава 2-й с короною, и Анну, и прочие регалии.

Чин — «степень, на коей человек стоит в обществе, звание, сан, сословие, состоянье»; пословица — «За Тульчин — чин, за Брест — крест, а за долгое терпенье — сто душ в награжденье»: у Даля все есть — чин, крест, даже тысяча десятин (без душ), всемилостивейше пожалованных в Оренбургской губернии, которыми он, однако, не воспользовался.

Даль занимался в министерстве особо важными делами, исполнял (как сказано в формуляре) «особо возложенные на него поручения», управлял Особенной канцелярией (про которую даже в формуляре не сказано) — такая особость еще больше весу придает, все равно что лишний чин; одним словом, Даль считался «правой рукой» министра, и многие люди, пожилые — с одышкой и тяжелой походкой, и юноши — с легким дыханием и легким шагом, исполненным надежд, всходили, взбирались, взлетали на высоту девяноста ступеней; «искатели мест и наград», говорит о них мемуарист и добавляет, что Даль «всегда был для них невидимкой». Он не любил протекцию: «протежировать — покровительствовать, заступничать, держать любимцем» и, самое главное, «давать ход не по заслугам». В столице о нем говаривали: «Несносно честный и правдивый».

2

Однажды эти девяносто ступеней одолел молодой Некрасов — он составлял тогда «Петербургский сборник» и пришел к Далю просить статьи. «Я очень запыхался и, может быть, сконфузился. Я был тогда начинающий. Даль мне в просьбе моей отказал; а через несколько дней сказал Тургеневу: «Что за человек Некрасов? Он пришел ко мне пьяный?» и проч... Я не был ни пьян, ни голоден, это меня заставило подумать, как Даль дошел до такого заключения обо мне, — вышло стихотворение «Филантроп».

Стихотворение «вышло» лет через семь после рассказанного случая; уже Некрасов стал известен, и Даль был объявляем в списке сотрудников «Современника», и рассказал эту историю Некрасов еще годы спустя Одоевскому, в котором также видели прототип «благодетеля народного», не сумевшего отличить голодного от пьяного. Намек на Одоевского усматривали в строке про «корону графскую», но в первом издании была строфа, кажется, про Даля:

> В русском духе, молодецкая
> Как по маслу речь текла,
> Хоть фамилия немецкая
> У особы той была.

Некрасов эту строфу снял: «По-моему, я и Даля тоже... не изобразил — я вывел черту современного общества — и совесть моя была и остается спокойна...»

В том же примерно году, что и Некрасов, явился к Далю другой «начинающий» — Григорович; его повесть «Деревня» Далю нравилась. Даль хотел познакомиться с автором: незадолго перед тем они выступали в одном альманахе — некрасовском — «Физиология Петербурга». Даль напечатал там «Петербургского дворника», Григорович — «Петербургских шарманщиков».

Григорович оставил быстро схваченный портрет Даля: «Встретил он меня без всяких особенных изъявлений, но ласково, без покровительственного оттенка. Он был высок ростом, худощав, ходил дома не иначе, как в длинном коричневом суконном халате, пристегнутом у пояса; меня особенно поразила худоба его лица и длинного заостренного носа, делившего на две части впалые щеки, не совсем тщательно выбритые, под выгнутыми щетинистыми бровями светились небольшие, но быстрые проницательные глаза стального отлива». Григорович также оставил слишком поспешное суждение о нраве Даля: «Характер, несколько жесткий, педантический, далеко не общительный», его «боялись... все находившиеся в его зависимости», Григорович не припомнил отчего-то ласковой и долгой — не одноминутной — заботы Даля о нем, может быть внешне выразившейся «без всяких особенных изъявлений», не припомнил, как старался «далеко не общительный» Даль ввести молодого писателя в широкий круг литераторов. Григорович дальше — глубже! — внешнего портрета не пошел.

А Даль видел в нем наследника.

3

Уже в старости Даль пишет Григоровичу, который просит у него — бывалого — сюжетов из жизни: «Всякому известно с десяток случаев в этом роде, но

где надо *печатать* рассказ, и притом с именем и со всеми обстоятельствами, там нельзя же писать на память кой-что, иначе уличат в ошибке, в выдумках; а помнить случаи эти до всех мелочей нельзя, обмолвишься. Вот почему Вам остается добиться в Мин. вн. дел до архива, по отделению *происшествий*, а особенно по представлениям за подвиги к наградам и медалям. В этом случае прилагается не только донесение, но и самое *следствие*, со всеми допросами и показателями. Тут найдете много...» [1]

Выше «девяноста ступеней», отмеренных его дарованием, складом ума и умения, Даль в литературе не поднялся, зато здесь у него *свой* дом, «свой уголок — свой простор», «своя хатка — родная матка», он здесь хозяин и чувствует себя уверенно. С этой высоты он берется давать советы, они звучат *заветами*.

Григорович рассказывал, как приступал к «Петербургским шарманщикам»: «Около двух недель бродил я по целым дням в трех Подьяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в разговор, заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи все, о чем видел и о чем слышал». Григорович как бы «набирал» *бывалость*, которой у Даля вдоволь.

Даль писал в это время про мужика Григория: мужик пришел в столицу на заработки и стал дворником. В деревне взять денег негде — нищета и безземелье, а надо платить оброк, подати, платить за себя, за отца, за деда, за детей, живых и умерших. Григорий собирает пятаки, которые суют ему жильцы за то, что по ночам отворяет ворота; вместе со скудным дворницким жалованьем он отсылает эти медяки барину.

Даль знает, что в конуре у Григория — угрюмая печь и лавка, которая безногим концом своим лежит на бочонке; подле печи три короткие полочки, а на них две деревянные миски и одна глиняная, ложки, штоф, графинчик, мутная порожняя склянка и фарфоровая золоченая чашка с графской короной; под лавкой тронутый зеленью самовар о трех ножках и две разбитые бутылки; в печи два чугунка, для щей и каши. Даль знает, что Григорий ест натощак квас с огурцами, что

[1] ЦГАЛИ, ф. 138, оп. 1, ед. хр. 73.

лакомится он горохом и крыжовником, а орехов не грызет: орехи грызть — женская забава.

Даль знает, как разговаривает Григорий, а разговаривает он по-разному — смотря с кем: с важным чиновником из второго этажа или с обитателем чердака — переплетчиком, от которого несет клейстером, с уличным воришкой или с квартальным надзирателем. Даль знает, как Григорий дерется с извозчиком, как помогает чьей-то кухарке таскать дрова на четвертый этаж, как требует «на чай» с подвыпившего гуляки жильца.

Чтобы все это знать, его превосходительство Казак Луганский должен был спуститься с высоты своих девяноста ступеней в подворотню и оттуда еще на шесть ступеней вниз — в дворницкую. Он спустился — писатель в нем всегда побеждал его превосходительство.

Белинский писал про «Дворника»: «Это одно из лучших произведений В. И. Луганского, который так хорошо знает русский народ и так верно схватывает иногда самые характеристические его черты».

4

О бывалости Даля Белинский писал в обзоре «Русская литература в 1843 году». Статья открывается утверждением, что литература наша «твердо решилась» «принять дельное направление».

В слове «дельный» метко и весомо отлился *слог времени*; недаром у Гоголя в его оценке творений Казака Луганского «дело», «дельный» так и играют: «Он не поэт, не владеет искусством вымысла, не имеет даже стремления производить творческие создания; он видит всюду дело и глядит на всякую вещь с ее дельной стороны. Ум твердый и дельный виден во всяком его слове, а наблюдательность и природная острота вооружают живостью его слово. Все у него правда и взято так, как есть в природе. Ему стоит, не прибегая ни к завязке, ни к развязке, над которыми так ломает голову романист, взять любой случай, случившийся в русской земле, первое дело, которого производству он был свидетелем и очевидцем, чтобы вышла сама собой наизанимательнейшая повесть».

И дальше: «По мне, он значительней всех повествователей-изобретателей. Может быть, я сужу здесь пристрастно, потому что писатель этот более других угодил

личности моего собственного вкуса и своеобразию моих собственных требований: каждая его строчка меня учит и вразумляет, придвигая ближе к познанию русского быта и нашей народной жизни; но зато всяк согласится со мной, что этот писатель полезен и нужен всем нам в нынешнее время. Его сочинения — живая и верная статистика России».

Появилось еще слово, к литературе художественной, сочинениям, на наш нынешний взгляд, отношения не имеющее, — статистика. Но вот ведь и Белинский именует Даля «живою статистикою живого русского народонаселения». Видно, и «статистика» не обмолвка, но слог времени. Заглянем в словарь Далев: «Статистика — наука о силе и богатстве государства, о состоянии его в данную пору» и (что для нас во сто крат существеннее) «история и география в известный срок».

Белинский писал о Дале в тридцатые и сороковые годы, Гоголь — в сороковые. Тогда же, в сороковые годы, о Дале писал Тургенев — называл его писателем, который «проникнулся весь сущностью своего народа, его языком, его бытом» — «русского человека он знает, как свой карман, как свои пять пальцев». Тогда же и Некрасов назвал Даля «верным бытописцем наших нравов».

Рядом с петербургским дворником оживали под пером Даля денщики и отставные солдаты, ремесленники разных занятий и разного состояния, немецкий торговец — «колбасник» и русский оборотливый купчина — «бородач». Даль, по словам Белинского, «знает, чем промышляет мужик Владимирской, Ярославской, Тверской губернии, куда ходит он на промысел и сколько зарабатывает», и «знает, чем владимирский крестьянин отличается от тверского, и в отношении к оттенкам нравов и в отношении к способам жизни и промыслам». Герои повестей и рассказов Даля много ездят, много видят и, как их автор, справедливо полагают, что «спознаться с людьми, коих случилось мне рассмотреть очень близко, никому не мешает, а многим будет и очень кстати».

Ум и нрав человека «даруются не по сословиям», — объясняет Даль. Люди «отличаются один от другого кафтаном — и это различие бесспорно самое существенное, на котором основано многое». Между тем, «ведаясь

промеж себя, в кругу людей, коим уже родом и судьбою назначено жить белоручками, мы удалены участием своим от жизни чернорабочей. Жизнь простолюдина кажется нам чрезвычайно однообразною, незанимательною». Даль «оговаривается наперед», что собирается привлечь читателя не «повестью затейливой», а «самым обиходным рассказом» из жизни простолюдинов, в котором, однако, «гора с горой не сходится, а горшок с корчагой столкнется, где и не чаял».

Итоговая статья Белинского о творчестве Даля открывается утверждением, что «господствующая наклонность, симпатия, любовь, страсть его таланта» — «в русском человеке, русском быте, словом — в мире русской жизни»: «Не знаем, потому ли он знает Русь, что любит ее, или потому любит ее, что знает; но знаем, что он не только любит ее, но и знает».

5

Но вот знаменитые слова: «...Ровно никакой пользы ни ему, ни его читателям не приносит все его знание. По правде говоря, из его рассказов ни на волос не узнаешь ничего о русском народе, да и в самих-то рассказах не найдешь ни капли народности... Он знает народную жизнь, как опытный петербургский извозчик знает Петербург. «Где Усачев переулок? Где Орловский переулок? Где Клавикордная улица?» Никто из нас этого не знает, а извозчику все это известно как свои пять пальцев... У г. Даля нет и никогда не было никакого определенного смысла в понятиях о народе, или, лучше сказать, не в понятиях (потому что какое же понятие без всякого смысла?), а в груде мелочей, какие запомнились ему из народной жизни». Это Чернышевский; его мнение о рассказах Даля вроде бы перечеркивает и сами рассказы, и все, что прежде о них говорилось.

Чернышевский, однако, не тогда же, когда Белинский, Гоголь, Тургенев, свое суждение о Дале высказал — на полтора десятилетия позже. За полтора десятилетия время изменилось, изменился и слог времени (а «слог», по определению Белинского, — «сама мысль»). Чернышевский говорит о Дале иным слогом, чем его предшественники, и оттого эти «как свои пять пальцев», которыми Тургенев обозначал знания,

доступные «писателю действительно народному», обернулись у Чернышевского «знаниями», доступными «опытному петербургскому извозчику».

«В одной страничке очерка Успенского или рассказов из простонародной жизни Щедрина о народности собрано больше и о народе сказано больше, чем во всех сочинениях г. Даля» — это из отзыва Чернышевского: высказываясь о прозе Даля, он уже знал «Кто виноват?» и «Сороку-воровку», «Записки охотника», «Село Степанчиково», «Обломова», пьесы Островского, знал «Севастопольские рассказы» и «Утро помещика».

В сороковые годы (не через полтора десятилетия после Белинского и Гоголя, а *тогда же*) молодой человек Николай Чернышевский записал в дневнике: рассказ Даля понравился — «хорошо такие вещи, которые *резко характеризуют* наши поверья, но вместе и *жизнь простого народа*, перевести, например, на французский» [1].

Вещи Даля переводили и на французский, и на немецкий, но «резкая характеристика» жизни простого народа была не меньше нужна читателю русскому. *Больше* была нужна — познание жизни народной стало потребностью.

Изменилось время, изменился слог времени, изменился слог писателей, но ведь «статистика», по Далеву толкованию, — «история и география в *известный срок*», и Гоголь высказался четко: «этот писатель полезен и нужен всем нам в *нынешнее время*», и, что всего прелюбопытнее, сам Даль за пять лет до Чернышевского говорил (в третьем лице) о себе, что «не высоко ценит все мелочи свои в художественном отношении; он думает, что они в *свое время* были замечены едва ли не по одежке и направлению своему»...

То, что хотели знать Чернышевский и люди его времени, от «извозчика» и вправду не узнаешь, но пятнадцатью, и двадцатью, и двадцатью пятью годами раньше первые читатели Далевых повестей и рассказов подобны были человеку, которому не то что Усачев переулок, а Невский проспект и Литейный не худо бы указать, — и Даль указывал.

«Знакомить русских с Русью» — так определили современники направление творчества Даля. Они называли дарование Даля «поэтической этнографией» — большего в прозе ему дано не было, но в его время кто-то должен был взять на себя обязанность (или с таковой способностью родиться) сделаться «поэтическим извозчиком» и повозить несведущего читателя «и к западу, и к востоку, и к северу, и к югу, и к границам, и к центру России» — обязанность, способность, не обеспечивающая бессмертия в литературе, однако, по мнению самих современников, читателей Далевых, «это предмет, это цель, это задача — и задача достойная».

---

[1] Разрядка наша. — *В. П.*

6

Имя «натуральная школа», вскоре широко и почетно известное, было произнесено Булгариным в 1846 году как ругательство; Белинский подхватил «ругательное» прозвище и превратил в достойнейший титул: школу Гоголя «Булгарин очень основательно прозвал *новою натуральною школою*, в отличие от *старой риторической*, или *ненатуральной*, т. е. искусственной, другими словами — *ложной школы*. Этим Булгарин прекрасно оценил новую школу и в то же время отдал справедливость старой». Белинский замечал также, что гоголевская школа обозначилась «немного раньше того времени, когда в первый раз было кем-то выговорено слово: «натуральная школа».

Состав школы был широк: исследователи называют среди участников писателей очень разных — Некрасова, Тургенева, Гончарова, Достоевского, также Даля, Григоровича, Соллогуба, Панаева, также Гребенку, Буткова, называют и другие имена, известные и почти забытые.

...Даля иной раз именуют «дагерротипистом». Что ж, дагерротипия — штрих, подробность времени, тогда увлекались ею: полное сходство изображения и натуры привлекало подчас больше, нежели портрет, исполненный художником. До высоких художественных обобщений, которых терпеливо ожидал от него Белинский, Даль так и не поднялся, выше «дивно-прекрасных частностей» он не поднялся; порой частности составляли прекрасный портрет, но «дагерротипия» в портрете «перевешивала» живопись. Белинский писал, что «в физиологических очерках своих Даль является уже не просто бывалым, умным, наблюдательным человеком и дарови-

тым литератором, но еще художником». Сам Даль предпочитал говорить о себе не «художник», но «собиратель» — «собирать» означает, между прочим, «отыскивать и соединять, совокуплять, приобщать одно к другому».

Едва ли не главный недостаток дагерротипии — единичность изображения, результата: изобретение умерло, потому что людям хотелось, удобнее было получать бесчисленное множество оттисков. Но искусство, творчество только и может быть единично; порок технического изобретения для литератора-«дагерротиписта», такого, как Даль, — достоинство: точно подобранные частности могли не составить живописного полотна, но в их точности и подборе выражалась личность, Далева личность. «Иное дело выкопать золото из скрытых рудников народного языка и быта и выставить его миру напоказ, — говорил Даль; — иное дело переделать выкопанную руду в изящные изделия. На это найдутся люди и кроме меня. Всякому свое».

Горький писал: «После мы увидим, что такая фигура, как Даль, много раз повторится в русской литературе, и что Решетников, Глеб Успенский, Наумов, Нефедов имеют немало общего с ним как в манере писать, так и в отношении к материалу».

«Собиратель» Даль не только «отыскивал», но и «соединял», «приобщал одно к другому». Правда, и многим читателям-современникам, и нам сегодня часто интереснее, что отыскивал Даль, нежели как соединял. То, что отыскивал, — не просто «картинки», не подряд «картинки»: «отыскивая», он отбирал, он «соединял» с выбором. «Дагерротипист» Даль не переснимал на пластинку один вид за другим, он сперва находил в жизни или в памяти (жизнью напитанной) нужный вид, а потом уже устанавливал свою «дагерротипию».

7

Мы привыкли читать Даля между строк, привыкли ловить словечко, в котором он проговаривается, а Даль, едва можно (по его мнению, можно), забывает про «опасенье», которое «половина спасенья», и «по заячьему следу до медвежьей берлоги»: «буду прать противу рожна», «буду идти своим путем, не щадя жизни своей, и до последней капли крови». Это из повести Даля

«Вакх Сидоров Чайкин», написанной в начале сороковых годов в Петербурге.

«Вакх Сидоров Чайкин» — и по объему из Далевых сочинений едва ли не самое значительное, и к тому же «исполненное... верно схваченных черт русского быта» (слово Белинского), и, наконец, прелюбопытнейшее по отбору этих отысканных черт и в повести соединенных. Впрочем, Даль и тут не преминул объявить: «Не ищите в записках живого человека повести или романа, т. е. сочинения; это ряд живых картин, из коих немногие только по пословице: гора с горой, — в связи между собою и с последующими».

Но если в завязках, развязках и промежуточных приключениях и есть какая нарочитость, то все равно (здесь Даль прав) не завязки и развязки определяют интерес, а вот эти «живые картины» (не от слова «живость», от слова «жизнь» — «живые»), щедрой рукой написанный русский быт сводит гору с горой. «Черты русского быта», который окружал и порождал путешествия и приключения Вакха Сидоровича, увлекательнее, чем сами путешествия и происшествия; место и образ действия увлекательнее самого действия.

«За первую половину жизни своей» герою случилось быть дворовым в крепостной деревне, солдатом в полку, студентом в столице, лекарем в уездном городишке — он изведал «житье-бытье» не только на разных концах, но и в разных «кругах» тогдашней России, и в душе его родилось убеждение, что присяга «до последней капли крови» относится не только «до солдата», но и «до нашего брата», «у которого забота не за свое, а за общее благо»: «Разве не удается иногда всякому из нас, и самому незначительному человеку, по месту, чину и званию, сделать добро, отстоять правду и посрамить бездельничество, заклеймив его презрением благородных?»

8

«Гоголь и Даль пишут повести... в которых нападают на современные гадости», — отметил в дневнике цензор Никитенко. Объяснил: остановлено издание сочинений Гоголя «и напечатанный уже также роман Даля: «Вакх Сидорович Чайкин». Сохранилось письмо Даля к Никитенко — письмо-картинка: чиновник в вицмундире

низко кланяется, отставив руку со шляпой, перед ним лежит рукопись, озаглавленная «Вакх Сидоров Чайкин», а над нею огромный вопросительный знак.

...Ребенка-сироту беззаконно записали в крепостные; крепостного мальчишку «по закону» секли вместо провинившегося барчонка. Юношу беззаконно забрили в солдаты (когда везли в город, «как водится, хотели набить на ногу колодку»); солдату «по закону» всякий говорил «ты», а он «стоял навытяжку ...не смея развести рук, и приговаривал за третьим словом «ваше высокоблагородие». Закон милостив — четыре года ходили бумаги по присутствиям, наконец Вакх Чайкин «получил чистую отставку, как неправильно записанный на службу». Вакх — отставной унтер: «Это звание отводило мне место по чину в харчевне, в кабаке, на толкучем и под качелями; а во всякое другое общество двери для меня не отворяются». Вакх — домашний учитель в семье помещика, где все «любители верховой езды»: сынок ездит верхом на кучере, а дочка на дворовой девке. Вакх — студент медико-хирургической академии, на жизнь зарабатывает перепиской бумаг: «Раз, помню, досталось мне перебелять огромное предположение одного весьма известного сановника о том, чтобы для исправления народной нравственности забить в кабаках наглухо двери и сделать только стойки в окнах, прямо с улицы». Наконец, Вакх — уездный лекарь: «Я мечтал принести столько пользы человечеству, а вместо этого сидел теперь над срочными донесениями всех родов и сводил всеми неправдами концы, отписывался и огрызался, как мог, на придирки, замечания и выговоры; на важные донесения свои по разным предметам, требующим немедленных и самых деятельных мер, не получал вовсе ответов, а по пустым, которые не стоили и полулиста бумаги, заводились огромные дела и нескончаемая переписка...»

Глава о том, как человеку мешают приносить пользу людям («общее благо»), называется «От плохого расположения духа и до хорошего»; название «глумное»: «хорошее» расположение духа приходит к герою от мысли, что всюду плохо.

Далевы «живые картины» не гора с горой — они «сходятся»: они объединены общей мыслью, чувством автора; они «сходятся», потому что каждая «живая картина» с живой жизнью сходится...

Рассказ про уездного землемера, который ездит по деревням на пятнадцати подводах («что проездом соберет — муки, крупы да овса, так и складывает на подводы»): «Пьяный землемер наставил межевых столбов *и вкривь и вкось и отрезал не только мельницу, но и* половину дворов одной деревни; а как столбы землемера неприкосновенны... то тяжба возобновилась и пошла по наследству с поколения на поколение».

Рассказ про уездного лекаря-оспопрививателя — он созывает в деревнях баб с ребятами, раскладывает по столам ножи и бинты, тяжело вздыхает об участи малых детишек, «которых велено резать ланцетом», и соглашается уехать, если соберут ему по гривне с дому.

Рассказ про военный госпиталь, про подложные отчеты, про генеральский осмотр лазарета — доктор навытяжку, больные возле кроватей, «не по болезням, а под ранжир» (за сутки было не велено ложиться, чтобы постелей не помяли), «трудных, которые не могут прифрунтиться», выводили вон, «в корчму либо в баню, *чтоб на глаза не попадались*».

Рассказ про то, как второй раз забрили лоб уже отставному солдату и как три года подряд за восемь тысяч освобождали от военной службы очередника — ходатай «подмазал везде, где было можно: инспектору врачебной управы отдал сам из рук в руки и с глазу на глаз; прокурору через одного из присяжных, который по этим делам употреблялся; военному приемщику через унтера его, и, кажется, все ладно».

Рассказ про столичного вельможу (свежие впечатления!), который вышел в приемные часы к просителям, но увлекся созерцанием изготовленных для него деловых бланков с вычурными узорчатыми заголовками и, оставив покорных просителей, удалился обратно в кабинет.

Рассказ про помещика, «скупившего до двухсот мертвых душ, т. е. таких, которые значились налицо по последней народной переписи...» — да, да, можно и не продолжать: литературоведы спорили, чей сюжет — Гоголя или Даля...

В «живых картинах» — живых! — Даль знакомил русских с Русью тридцатых и сороковых годов девятнадцатого столетия, в которой он человек бывалый. «Много мерзости запустения видится по грешному лицу ее...» Не Вакха Чайкина слова — Владимира Даля.

9

В конце пятидесятых годов Даль, по свидетельству Григоровича, приохотился «писать крошечные народные рассказы, или «повестушки», как он их называл. Он пек их, как блины, задавшись задачей, чтобы каждый рассказ непременно уместился в конце, на четвертой странице листа. Как он ухитрялся, не понимаю, но действительно в конце четвертой страницы листа оставалось всегда ровно столько места, чтоб уместить последнюю строчку рассказа».

Вот уж, кажется, «дагерротипия»-то, доведенная до совершенства, до техницизма какого-то: мало того что каждая «повестушка» — сколок с жизненного события, еще и эти точные размеры, когда сложенный вдвое (о четырех страницах) лист словно пластинка, покрытая йодистым серебром. «Пек их, как блины», — сказано с небрежением, но блины делают разные — «пекутся с бесконечным разнообразием», как говаривал Даль: бывают блины из пресного теста и из кислого, а иной раз выходит блин комом.

«Повестушки» получались подчас пресными — добросовестные изложения не слишком примечательных событий; иногда и вовсе оказывались комом — Даль выливал на сковороду сомнительную «народную» байку; но нам дóроги бывальщинки из кислого теста, когда Даль рассказывает «что было». Острота видения, умение в одном частном случае открыть один из многих случаев — вот на чем бродит и поднимается тесто. Но если перебродило да поднялось — какая же тут «дагерротипия»!..

«Он смалчивал по уму-разуму там, где сила не берет, потому что плетью обуха не перешибешь, — рассказывал Даль про одного из героев своих, — но любил, где можно было, дать свободу языку, чтоб не взяла одышка, как он выражался; или проговаривался, будто невзначай, обиняками да иносказаниями». Не любопытно ли взглянуть, как Даль, маясь одышкой, «дает свободу языку»?..

«Хорошее дело, хлебное, следственный оставляет за собой и производит его под своим наблюдением, сам распоряжается и направляет его там куда и как следует; тут нашему брату поживы нет; много-много что достанется обрывать гривеннички; а делишки пустые, второй и третьей руки, с которых поживы мало, раздаются прямо на нашу братью, мелкую сошку, с обложением, по обстоятельствам, по достоинству дела; вот то есть тебе делишко, подай за него хоть пять, десять, двадцать целковых, а там ведайся, выручка твоя; уж это твое счастье, что бог даст, этого никто не отберет. Ину пору, кто не изловчился, того и гляди, что своих приплатишь, сам насилу отвертишься; а иную пору, кому счастье счастьем, да подспорнись уменьем, так и вымотаешь требушину и поживишься». И вся «механика», по-нынешнему говоря, а по-Далеву (удивительно точно!) — «наука выгодного приспособления сил», вся эта наука «выматывать требушину» и «поживиться» раскрыта на истории розыска грошового батистового платочка — розыска, превращенного «умельцами» в «хлебное дельце»: из мухи сделали слона, из ничего сваляли огромный снежный ком, мотали требушину так, что не десятирублевые — сотенные летели.

В министерстве внутренних дел Даль «составил действующий доныне устав губернских правлений, принимал деятельное участие в делах по устройству бедных дворян и об улучшении быта помещичьих крестьян, составлял карантинные правила... Под редакцией Даля составлялись ежегодные всеподданнейшие отчеты по министерству, всеподданнейшие доклады и все записки, предназначаемые для внесения в Государственный совет и Комитет министров». Сообщая это, Мельников-Печерский прибавляет, что «упомянул о главнейших» работах Даля. Можно бы дополнить и без того обширный перечень Мельникова-Печерского: министерство ведало полицией, делами о государственных преступлениях, попечением об исправном поступлении податей, народным продовольствием, общественным призрением, духовными делами иноверцев (долго и жестоко воевало с раскольниками, яро преследовало «скопческую ересь», «исследовало» возможность совершения евреями ритуальных преступлений[1]), а также государственной статистикой, дворянскими выборами, утверждением уставов обществ и клубов, разрешением публичных лекций, выставок и съездов, сооружением памятников и здравоохране-

[1] Записка по этому вопросу, под которой стоит имя Даля, впоследствии использовалась черносотенцами в своих интересах.

нием (членом медицинского совета состоял Николай Пирогов).

Даль составлял проекты, записки, доклады, которые вовсе не мешали их исполнителям «мотать требушину». Даль читал «Ведомости о значительных покражах в Санкт-Петербурге». «Содержание ведомостей и отчетов обер-полицмейстера до крайности сбивчиво и неточно. Разногласия между годовыми и суточными отчетами в том, что пропало и что нашлось. Из 326 покраж сделано едва 50 открытий и то открыто самое незначительное», — отметил на последнем листе кто-то из Далевых помощников. Даль читал «Сводку о причинах увольнения полицейских чиновников»: следственный пристав Соловьев *за неблагонамеренное направление следствия*, надзиратель Сладков за составление ложной и ябеднической жалобы от чужого имени, надзиратель Верленко за утайку принадлежащих крестьянину Михайлову денег, и бесконечные — за кражу, за лихоимство, за лихоимство...

В повести Даля «Небывалое в былом» человек, умудренный жизнью, советует обокраденному герою искать вора самому, не обращаясь в полицию: «не то вместо одного обидчика набежишь на семерых».

«Роман и новелла со страстью набросились на значительно более земной и вполне национальный предмет: на вампира русского общества — чиновника», — когда Герцен писал это в статье «О романе из народной жизни в России», Даль еще служил: действительный статский советник, полный генерал. Герцен продолжал: «Одним из первых бесстрашных охотников, который, не боясь ни грязи, ни смрада, отточенным пером стал преследовать свою дичь... был Казак Луганский (псевдоним г. Даля)».

Цензор сочинений Даля (не профессор Никитенко, приятель его, а другой) раздраженно пометил: «Что это за картины русского быта! Как на смех все уроды! И это Русь!» Словно предвидя обвинения, Даль писал еще в «Бедовике»: «А чтобы не упрекнули меня, будто я умышленно набрал и выставил у позорного столба каких-то уродов и чудаков и выказал одну только слабую сторону города Малинова, я опять-таки ухвачусь за притчу... «Кочка видна по дороге издали, мечется в глаза поневоле и досаждает всякому; а по гладкой дороге пройдешь — и не спохватишься, что пришел».

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ И ОСИП ИВАНОВИЧ

1

Но был еще Осип Иванович...

Был Осип Иванович, маленький чиновник (и ростом маленький, с тяжелым горбом за спиной) — переписчик; по должности — переписчик, но главное — жизнью слепленный переписчик. Ему ведь и чинишки кое-какие шли за долгие и однообразные десятилетия службы, он до титулярного советника дослужился и никогда никому советов не давал — он переписывал: «Он переписывал все, что ему наваливали на стол, от слова до слова, от буквы до буквы, и никогда не ошибался... Это был секретарь в полном смысле слова, потому что все, что он писал, оставалось для него самого ненарушимым секретом».

В половине девятого Осип Иванович спешил по Невскому проспекту — от Аничкова моста к Полицейскому («молча входил он в контору, молча принимался за переписку разных бумаг, счетов и писем»), в шесть вечера он брел от Полицейского моста к Аничкову — и все по одной и той же, все по правой стороне проспекта. Осип Иванович за свою жизнь Невского ни разу не переходил и с Невского не сворачивал (он за всю жизнь и Невы-то не видел — о других частях города, даже близлежащих улицах, он толковал по рассказам и понаслышке, будто «о какой-нибудь Новой Голландии»). Лишь однажды (чуть со страху не умер) подвыпившие сослуживцы завезли его обманом в сторону от Невского (потрясение, равное по силе наводнению 1824 года, равное покраже шинели у Акакия Акакиевича, — ясная и уже неистребимая мысль в голове героя о бренности жизни и неизбежности смерти). И больше никогда — никогда! — (ах, какая нужна осторожность — «очень опасно жить в Петербурге!») ни шагу в сторону: от Аничкова моста к Полицейскому, от Полицейского к Аничкову — рассказ Даля про Осипа Ивановича называется «Жизнь человека, или Прогулка по Невскому проспекту».

В канцелярии, у Полицейского моста, «привычная рука чертила условные знаки». «Если бы ему дать перебелить приговор на ссылку его самого в каторжную работу, он бы набрал и отпечатал его четким пером своим с тем же всегдашним хладнокровием, ушел бы домой и

спокойно лег бы почивать, не подозревая даже, что ему угрожает». Дома, у Аничкова моста, он клеил пилюльные коробочки для соседа-аптекаря («изобретательность несытого желудка»). Дневник, хранилище сокровенных мыслей, заполнен рецептами изготовления зеленых чернил и расчетами, как из одного листа цветной бумаги сделать побольше коробочек.

Жизнь бедного труженика Осипа Ивановича, жизнь человека превратилась в прогулку по Невскому проспекту: это смешно, это грустно, это несопоставимо — «труженик» («завалили перепиской... даже, с позволения сказать, пот прошиб и носу утереть некогда было») и «прогулка», но в том-то и дело, что между утренней и вечерней «прогулками» ничего не было — жизнь, заполненная делом так, что носу утереть некогда, была бездельна (письмоводство превратилось в нечто менее осмысленное, чем даже составление непонятных слов из знакомых букв: оно стало вычерчиванием непонятных с самого начала «условных знаков»); жизнь была бесцельна — не было любви Макара Девушкина, не было трагедии Самсона Вырина, не было даже шинели Акакия Акакиевича Башмачкина, — не было вообще ничего: жизнь прошла, но ее не было — только пробежки («прогулки!») по Невскому проспекту. Жизнь человека, которого словно бы не существовало — ни физически, ни в общении, ни в делах: жизнь человека, который мог существовать, а мог и не существовать, — человека, существование которого было ощутимо, заметно лишь в этом движении (не единичном, а в потоке) от моста до моста.

Но Осип Иванович был необходимостью Невского — улицы, которая «не только целая столица, целый город, это целый мир — мир вещественный и мир духовный», где «разгульная песнь лихого тунеядца сливается с тихим вздохом труда и стоном нужды»; Осип Иванович был обязательной (хотя и молчаливой, бездельной и бесцельной) частью многоликой толпы; он был «растворен в воздухе» Невского — столицы, города, мира. Этим воздухом дышали не только в канцелярии князя Трухина-Соломкина или губернском правлении, где служил, где письмоводствовал Осип Иванович, — во всех канцеляриях, правлениях, департаментах, министерствах этим воздухом дышали. Ох, недаром его превосходительство Владимир Иванович Даль поселил несчастного, бегающего по крохотной полоске земли, но не живого (в своей бесцельности), несуществующего (нет сути человеческой) Осипа Ивановича где-то рядом с собой — упоминаются Александринский театр, Публичная библиотека, мимо которых пробегал в половине девятого и в шесть маленький переписчик. Он заходил невидимый — растворенный в воздухе втекал — в канцелярию чиновника особых поручений при министре внутренних дел: канцелярия щеголяла письмом — все писцы каллиграфы! — случалось переписывать бумаги и для государя. Осип Иванович втекал в кабинеты, один шаг — и вот они рядом: ничтожнейший Осип Иванович и влиятельный («правая рука»!) Владимир Иванович. Оба день-деньской гнут спину за письменным столом, оба выводят за годы службы тысячи, миллионы слов, за которыми не видят дела, оба в конечном счете заперты между Аничковым мостом и Полицейским.

2

Ну что толку составлять проекты, вносить предложения и строить предположения, когда все твои помыслы о народном благе, облаченные в мундир закона, равно никому не принесут пользы, когда какой-нибудь следственный пристав зацепится в твоем предписании или законе за буковку, за словечко и пойдет «мотать требушину», и те, о чьем благе ты пекся в предложениях и предположениях, будут убегать от твоего закона, как черт от ладана, по старинке (имеющей силу закона подлинного) запихивая в крепкую ладонь полицейского или какого иного чина ассигнацию нужного достоинства?

Осипы ивановичи всех четырнадцати классов писали, писали — носу утереть некогда: в министерстве внутренних дел ежегодно регистрировалось около ста тысяч входящих бумаг и около восьмидесяти тысяч исходящих. Даль занес в тетрадку канцелярскую шутку: «Это мы пишем или к нам пишут? — спрашивал начальник каждый раз секретаря своего, прочитав бумагу от начала до конца внимательно вслух».

3

В архиве Даля находим рассказ (скорее — очерк или даже статью) «Великие порядки доводят до великих беспорядков»[1]: старый унтер выслужил множество льгот,

[1] ПД, № 27481/CXCVII б. 1.

но ни одной не сумел воспользоваться — «Законы праведны, а дело плохо». Даль еще предполагает, что законы могут быть праведны, если не превращены в пустую бумагу, если предусматривают праведное дело. Но и на Невском проспекте, и в уездном городе Алтынове (где жил Вакх Чайкин) «требовали, чтобы вы проходили спокойно своим путем и не мешались не в свое дело, то есть не заботились бы о том, если подле вас режут другого, а только оберегали бы свой кадык и свою голову».

Сохранился шутливый документ «Письмо одного чиновника сороковых годов младшему собрату, поступающему на службу»: не решайте ни одного дела, но от всех отписывайтесь (не то уподобитесь белке в колесе — запомним поговорочный образ); отписывая дела, заглушите врожденное в вас чувство справедливости; делайте не то, что нужно, а то, что желает высшее начальство; откажитесь от собственного взгляда, не имейте мыслей своих; если есть предположения, не приводите их в исполнение — иначе прослывете «новатором», беспокойным и бестолковым человеком.

В «Толковом словаре» встречаем несколько неожиданное самостоятельное определение: «Беспокойный человек. Последнее означает также человека правдивого, но резкого, идущего наперекор неправде и беспокоящего ее покровителей».

Даль, «близкий сотрудник, посвященный во все тайны государственной деятельности и преданный друг» министра, горько ощущал свою беспомощность — жаловался приятелю на «препятствия, убивающие дух»: «При таких обстоятельствах руки не поднимаются на работу, голова тупеет, сердце дремлет».

Можно сочинить предлинный список важнейших дел, которыми занимался Даль при министре, но так ли это важно для нас, как важно было для Мельникова-Печерского? О чем расскажет нам такой список?.. В конечном счете законы и положения, сочиняемые в министерских департаментах и канцеляриях, совершенно не соответствовали живой жизни, которую должны были направлять в русло, превращались в гору бумаги — пустой, хотя и исписанной сверху донизу осипами ивановичами. «Боже мой, что за толщи исписанной бумаги сваливаются ежегодно в архив и пишутся, по-видимому, только для архивов; куда это все пойдет и чем кончится это гибельное направление бесполезного тунеядного письмоводства, где

все дела делаются только на бумаге, где со дня на день письмо растет ...а на деле все идет наоборот и гладко только на гладкой бумаге» — это не из рассказа, конечно, — из письма Даля к приятелю.

«Правая рука» была бессильна. «Правой руке», как и Осипу Ивановичу, отведены были полверсты по одну сторону Невского.

Даль писал из Петербурга:

«...Вы не знаете службы нашей и моего положения. Я сыт и одет и житейски доволен; но все это дается мне именно с тем, чтобы я делал свое дело, а по сторонам не глядел и не в свое дело не мешался... Мне часто не верят и говорят: «Не хочет, а если б захотел, так бы сделал». Пусть лучше так говорят, пусть лучше пеняют в начале дела, чем в конце...

Жизнь моя однообразная, томительная и скучная. Я бы желал жить подальше отсюда — на Волге, на Украйне или хотя бы в Москве. Вы живете для себя; у вас есть день, есть ночь, есть наконец счет дням и времени года; у нас нет ничего этого. У нас есть только часы: время идти на службу, время обеда, время сна. Белка в колесе — герб наш... Писать бумаги мы называем дело делать; а оно-то промеж бумаги и проскакивает, и мы его не видим в глаза...

Один в поле не воин, и головня одна в чистом поле гаснет, а сложи костер, будет гореть. Что может сделать один — хоть будь он разминистр? Такая, видно, до времени судьба наша...»

«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ». ОТВЛЕЧЕНИЕ СЕДЬМОЕ

«Один в поле не воин», но рядом — «Одна голова не бедна, а и бедна, да одна». «И головня одна в чистом поле гаснет, а сложи костер, будет гореть. Что может сделать один?..» Один может сложить костер.

«Пользуясь своим положением, он рассылал циркуляры ко всем должностным лицам внутри России, поручая им собирать и доставлять ему местные черты нравов, песни, поговорки и проч.», — вспоминал Григорович. Ему вторит Василий Матвеевич Лазаревский, молодой чиновник, которого Даль не случайно «пригрел» в своей Особенной канцелярии: Василий Матвеевич — литератор, переводчик и, что для Даля всего важнее, человек, обладавший даром словособирательства («За труд ваш в сло-

варе не смею и благодарить: вы работаете для дела, как и я, и каждому из нас придется своя доля признательности общей, если мы успеем в начатом», — человека, который из многих пудов, взваленных Далем на плечи, хоть несколько фунтов на свои переложил, Даль готов был оценить высоко).

«...Служебные часы Даль посвящал обыкновенно своим филологическим занятиям, — рассказывал Лазаревский. — ...В мое время он получал большие посылки местных слов, образчиков местного говора и т. п. ...Все это списывалось в канцелярии в азбучном порядке, на лентах, ленты нанизывались на нитки, укладывались в картонки по губерниям, по говорам. Были полосы, что все писцы занимались этим исключительно, да еще перепискою сказок, пословиц, поверий и т. п., которые доставлялись Далю во множестве отовсюду». Тут может быть и преувеличение, тем более что «время» Лазаревского («в мое время») «стол-о-стол» с Далем оказалось недолгим — с год всего, но как бы там ни было, — согласно другому свидетельству, — едва в канцелярии «о с в о б о д я т с я о т д е л а», «завязывались споры и рассуждения, преимущественно о русском языке». Однако хорош «директор канцелярии», законченный служака, который «был везде и во всем один и тот же» (это говорилось с осуждением — «точный, исполнительный, неумолимо-строгий» и т. п.), а он и был везде и во всем один и тот же — собиратель слов!..

По настоянию Даля Русское географическое общество разослало «в разные концы России» «этнографический циркуляр». «Отечественные записки» напечатали обращение к читателям — надобно помочь Далю «в общем деле и снести хотя по лепте с брата, отчего можно бы не только разжиться убогому, но и десятерицею разбогатеть богатому». Журнал «Москвитянин» (его Погодин редактировал) предоставлял страницы этнографическим статьям и словарным изысканиям — все, что поступало по этим разделам, редакция пересылала Далю. Позже еще один ручей появился — слова потекли через Общество любителей российской словесности.

В сороковые годы дело Даля получило огласку и — еще дороже — отклик: «Слухом земля полнится, а причудами свет», «Знают и в Казани, что люди сказали». Люди сказали, что есть на земле человек (чудак?), который решил собрать «одно целое этнографическое сокровище, неоплатное никакими богатствами» — «описание местных обрядов, поверий, рода жизни, семейного и домашнего быта простолюдина, пословицы, поговорки, присловия, похвалки, присказки, прибаутки, байки, побасенки, притчи, сказки, были, предания, загадки, скороговорки, причитания, песни, думы... простонародный язык в выражениях своих, оборотах, слоге, складе и словах» — тут надо снова многоточие поставить: задача собирательства, предложенная Далем, обширна, он и сам не называет всего; подробнейший перечень завершается размашистым «и прочая, и прочая, и прочая», завершается просьбой — «чем ближе и вернее сведения эти будут описаны со слов народа, тем они будут драгоценнее».

Среди корреспондентов («доброхотных дателей») Даля были люди и известные, вроде Лажечникова, князя В. Одоевского, Погодина, Анны Зонтаг или морского офицера Кузмищева (служба забрасывала его в крайние точки нашего отечества, отовсюду он посылал Далю слова и песни и надеялся радостно: «Вы... откроете нам такое богатство, которое мы у себя едва ли подозревали»); были среди «дателей» и люди неизвестные — «без подносчиков палаты не строятся». В сороковые годы Даль благодарил многих через «Отечественные записки», просил «удостаивать его и впредь присылкою заметок разного рода, клонящихся к народному быту и языку», но в «Напутном слове», предпосланном «Толковому словарю», благодарит сразу всех сообщивших сборники слов, заметки, объяснения и запасы: «Назвать я мог бы только немногих, упустив в свое время записывать, для памяти, что и от кого получено. Из сотни имен я теперь не мог бы вспомнить и десятка... Надеюсь, что такое упущение с моей стороны никого не заставит пожалеть о сделанном добром деле».

Мысль, изреченная Далем, очень дорога и привлекательна: собирание и сбережение «сокровища, неоплатного никакими богатствами», — дело общее и дело доброе.

Даль убеждение свое делом доказал — доказал, что из подвижника-собирателя способен так же самоотверженно превратиться в безвестного или почти безвестного (совсем скрыться Д а л ю уже трудно) «подносчика», когда палаты строит другой. В 1856 году к нему обратится издатель русских народных сказок Александр Афанасьев: запасы Географического общества, которыми пользовался Афанасьев, иссякают, а у Даля собрано около тысячи

сказок («Вчера был у меня сказочник мой, солдат Сафонов и сказывал, что отдал 13 июня в канцелярию охапку сказок» — записка Даля к Лазаревскому). Афанасьев просит робко: в самом деле, словарь Даля не окончен, пословицы пока света не увидали, а тут откуда ни возьмись объявился молодой «удачник» (Даль его не то что в глаза не видывал — имени и отчества не знает) и нà тебе — отворяй сундуки! Но Даль бескорыстен — он не думает ни о славе, ни о прибыли, он радуется за сказку, радуется за всех, кому она завтра станет другом. Ответ Даля замечателен — убеждение и нрав, лицо человека, личность («самостоятельное, отдельное существо»):

«...Предложение Ваше принимаю с большим удовольствием; объяснюсь ближе. У меня собрано сказок несколько стоп; конечно, тут много мусора, много и повторений. Издать я не соберусь их, потому что у меня слишком много другой работы (словарь). Как успею разобрать их, так и доставлю...

Почестей не нужно мне ровно никаких, кроме того, что прошу Вас упомянуть только в общих словах, что такая-то книга сказок передана Вам; и это для того только, что было о них много речи и что вправе требовать или ждать от меня развязки этому делу.

Итак, передаю Вам собрание мое, не связывая Вас ничем. Я не знаю, какова обстановка Ваша, сколько Вы выручите и окупится ли издание, не только будут ли барыши. Только в последнем случае прошу обо мне вспомнить в том отношении, что собрание это, каково оно ни есть, стоило мне нескольких сот рублей; одни сказывали, другие писали, за все это надо было платить. Но, повторяю, если дело будет таково, что доставит выгоду, то Вы, конечно, не попеняете на меня за желание воротить расходы свои; если же того не будет, то и у меня нет никаких притязаний...»

Доброе дело Даль высоко ценил, но о «добрых» людях говорил по-своему: «Добрый человек, хвала двусмысленная: не видно, есть ли воля и ум». Даль творил добро, пораскинув умом и собравши волю. Вместе с Далем поблагодарим всех, кто «по разным вызовам и частным просьбам» его «сообщал» свои «запасы», поблагодарим — и не станем перечислять два десятка никому теперь (как и сто лет назад, впрочем) не известных имен «датель-ниц» и «дателей» — так называл Даль многих неведомых друзей своих. Мы, однако, заглянем в скобки, которые

после каждого имени стоят; в скобках указаны город или губерния, откуда «датель» присылал слова. Заметки в скобках (даже крохи) ясно показывают, что слава Даля-собирателя далеко (и широко) пошла; поистине «знают и в Казани», и в губерниях Тверской и Курской, Новгородской и Саратовской, в Уфе, Иркутске, Ставрополе, Перми, Тобольске, а также в Арзамасе, Вышнем Волочке, Шенкурске, Чердыни и вовсе неведомых Василе и Лесках...

О РУССКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И РУССКОМ КРЕСТЬЯНИНЕ

1

Поэт и переводчик Берг рассказывает: чтобы «угодить матери», Тургенев поступил на службу в министерство внутренних дел, рассчитывая, что управляет канцелярией «известный писатель»; но Даль «распек Тургенева в первый же день службы за то, что он несколько опоздал... Второй выговор за то же был пожестче первого, третий еще пожестче... Иван Сергеевич подал в отставку». Это Берг «честит» Даля «точным, исполнительным, неумолимо-строгим» чиновником.

Но вот ведь и Григорович пишет уверенно: «Встретив где-то Тургенева, тогда еще молодого человека, он уговаривал его поступить к нему на службу в канцелярию. Тургенев, никогда не думавший служить, но не имевший духу отказаться по слабости характера, согласился. Несколько дней спустя после вступления в канцелярию Тургенев пришел часом позже и получил от Даля такую нахлобучку, после которой тотчас же подал в отставку». Григорович — приятель Даля, ученик в каком-то роде, а вспомнить или узнать у кого, что Тургенев не «тотчас же подал в отставку», но прослужил в канцелярии почти два года, — недосуг.

И Анненков наконец рассказывает: «Гонимый нуждою и исполняя настоятельные требования матери, он по прибытии в Россию определился на службу в канцелярию министра внутренних дел, где попал под начальство известного этнографа В. Даля. Он пробыл тут недолго, потому что (!) начальник его принадлежал к числу прямолинейных особ, которые требуют строгой аккуратности в исполнении обязанностей и уважения не только

к своим служебным требованиям, но и к своим капризам... Тургенев невзлюбил начальника — собрата по ремеслу писателя — и скоро вышел в отставку...»

Что до «капризов» — вот несколько строк из письма Даля: «Я вообще терпеть не могу ссориться или расходиться с кем бы то ни было, а еще более не терплю делать это без всякого повода или не зная его» (товарищ и сослуживец Владимира Ивановича почитал эти строки справедливыми и приводил их, объясняя Далев нрав); сам же Тургенев признавался, что «служил очень плохо и неисправно», у «неумолимого» начальника был повод сердиться.

Но вот оказия: «Самая тесная дружба соединяла трех сослуживцев-товарищей» (В. И. Даля, И. С. Тургенева и А. В. Головнина, будущего министра просвещения) — вдруг откуда ни возьмись выныривает еще один «вспоминатель» (есть в «Толковом словаре» такое словцо). И дальше: «Тургенев являлся на службу даже летом, из Павловска, весьма аккуратно, но вовсе не занимался ею... Чуть, бывало, его товарищи освободятся от дела, у них завязывались споры и рассуждения, преимущественно о русском языке». Не беремся судить о «тесноте» дружбы, но в статье Тургенева о творчестве Даля за литературными оценками явственны дружелюбие и теплая сердечность.

Отношения Даля и Тургенева, пусть ограниченные недолгим сроком, для нас интересны, но не ради них выписывали мы отрывки воспоминаний. Сопоставляя их с действительными событиями, видим, что Тургенев «пострадал» в них не меньше, чем Даль (не от Даля пострадал — от приятелей-вспоминателей): о Дале сказали несправедливо лишнее, а «обнесенным» оказался Тургенев, о нем главного не сказали — по какой причине Тургенев пошел служить. Споры и рассуждения в канцелярии Даля завязывались не только о русском языке.

2

В конце декабря 1842 года «кандидат философии Иван Тургенев» подготовил статью (или «записку», как тогда называли) «Несколько замечаний о русском хозяйстве и о русском крестьянине».

«Все русские с надеждою и уверенностью взирают на распоряжения правительства и убеждены, что переход

от прежнего патриархального состояния русских крестьян и русского хозяйства к новому, более прочному и стройному, совершится благополучно», — писал Тургенев и объяснял: «Вопрос о значении земледельческого класса... сопряжен с вопросом о будущности России вообще». В записке обрисованы «важнейшие неудобства нашего хозяйства»: «недостаток положительности и законности в самой собственности», «недостаток законности и положительности в отношении помещиков к крестьянам» («прихоть владельцев»), «весьма слабое развитие чувства гражданственности, законности в наших крестьянах» (русский крестьянин «не чувствует себя гражданином»), «недостаток общественного духа в дворянах». Выводов нет, точнее — они упрятаны в «замечания», не явны; «замечания» высказаны не слишком решительно, даже с нарочитой мягкостью, и если говорится — «состояние нашего хозяйства неудовлетворительно и требует улучшения», то здесь же — мы «были свидетелями многих улучшений, утешительных признаков приближения новой эпохи...».

Начало сороковых годов, записка предназначена для чтения «в верхах», да и почему бы требовать от Тургенева (в начале сороковых годов!) большего, чем он сказал?.. Сочинение записки возбуждалось как раз желанием способствовать «улучшениям»: «Замечания, которые я намерен предложить в следующей статье, могут только служить залогом моих ревностных будущих занятий по части государственного хозяйства, изучению которого я решился посвятить все мое время»; записка окончена 25 декабря 1842 года, а 7 января 1843 года Тургенев подал прошение министру внутренних дел Льву Алексеевичу Перовскому о зачислении на службу. Возможно, и работа над запиской была начата по предложению или не без совета самого Перовского, Даля, еще кого из министерских руководителей (несколько лет спустя Даль от имени министра предложил двум другим кандидатам на должность представить «записки по вопросу об освобождении крестьян»). Тургенев пошел служить, движимый «общественным духом», а вовсе не «исполняя настоятельные требования матери» (хотя Варваре Петровне действительно того хотелось), и не «гонимый нуждою», и, конечно, не «по слабости характера».

Служба Тургенева — по крайней мере, причины, побудившие его служить, — сопряжена с жизнью Даля не

«распеканьями» и «нахлобучками»: в 1843 году в Особенной канцелярии, куда «под начало» Даля пришел служить Тургенев, приступили к составлению записки «Об уничтожении крепостного состояния в России». Сочинение это, известное как «записка Перовского», было представлено царю в 1845 году, через несколько месяцев после выхода Ивана Сергеевича в отставку. Основная работа над запиской велась как раз в 1844 году: весь год Тургенев в канцелярии; возможно, он не имел прямого касательства к записке (хотя «замечания» его и документ легко сопоставимы), но для нас, чтобы полнее понять и ощутить эту пору в жизни Даля, чтобы понять, почему Тургенев пришел к нему не дружить, а *служить*, надо вдохнуть пропитанный надеждами воздух, окружавший ведомство Перовского, едва там взялись сочинять проект уничтожения крепостного состояния, почувствовать атмосферу, возникшую вокруг (Даль упрямо предпочитал «атмосфере» — «колоземицу» и «мироколицу»).

3

Дореволюционный историк сравнивал попытки «решить крестьянский вопрос» с «привычной пьесой в трех действиях»: «Действие первое — появление обширной записки, намечающей ряд мер для того, чтобы сдвинуть крестьянский вопрос с мертвой точки; действие второе — полное одобрение этих мер в принципе, соединенное с признанием несвоевременности их исполнения; действие третье — закрытие комитета на том основании, что всего спокойнее все оставить по-старому». Надежды передовых людей угасают, едва проясняется намеченный «ряд мер».

Начиналось «действие первое» — все всполошились (и «справа» и «слева», как говорится). В Москве появилась карикатура: тень Пугачева идет, опираясь рукой на плечо Перовского. Грановский заявляет, что готов служить «в ведомстве Перовского» (Тургенев уже там, от себя добавим); Белинский говорит о «значении Перовского для России».

4

Лев Алексеевич Перовский, которому брат его Василий «передал» Даля, был, по определению биографа, человек «желчного, холерического сложения», твердый, настойчивый, непомерно милостивый к немногим и невнимательный к остальным; он писал мало и плохо, любил окружать себя способными людьми.

К Далю министр был милостив, однако ни милостям Перовского, ни исключительности Далева положения удивляться не следует: Даль для того и был передан Льву Алексеевичу, чтобы ходить, как и в Оренбурге, в «особых»; «милость» же, согласно «Толковому словарю», и «щедрота», и «жалование», — *милость* Перовских была *жалованием* Далю за исполнение этих «особых поручений». Благодетельства Перовских (что не исключает личной приязни и даже дружеских отношений) преувеличивать не следует: отношения Даля с Перовскими строились на взаимовыгодной основе. Вот и важная «записка Перовского» об уничтожении крепостного состояния подготавливается в канцелярии Даля.

Порой утверждают, будто общественное внимание к работе над запиской тем и подогревалось, что за «дело» взялся Перовский, «известный независимостью своих взглядов», «в молодости член подпольных декабристских организаций», «противник крепостного права». Но Перовский и прежде занимал видные посты — никто не вспоминал про его «независимость» и «декабризм»; вспомнили о них, *надеяться* на него начали именно в сороковые годы; надежды родились не оттого, что он «декабрист» и «рабства враг», — наоборот, об этом заговорили, когда пронесся слух, что ему предложено «уничтожить рабство». Сразу не согласимся: «независимость» Перовского (это вся его деятельность показывает) недалеко отступала от требований «зависимости» (кстати, и за сочинение записки Лев Алексеевич взялся более по предложению государя, нежели по собственному побуждению); «декабризм» Перовского, «грехи молодости» его, как и брата Василия, высочайше приказано было «оставить без внимания»; об отношении же к крепостному праву лучше всего скажет сама записка.

5

«Привычную пьесу» писало Время: всё было предопределено — и безнадежность «второго действия», и бесконечность третьего, и будоражащее надежды «действие первое».

В сороковые годы уже ясна была необходимость (пусть

вынужденная!) вообще «что-то делать» с крепостной зависимостью. «Злой дух времени, сильно подстрекаемый постоянными неурожаями, поведет нас неминуемо к развязке, к которой уже давно стремится ложная философия», — сетовал аристократ-прожектер; впрочем, сетовал ли? «Более умные из помещиков», объясняет историк, осознали, что главное — владеть землей, а не людьми, и «не боялись утраты своего достояния от дарования людям свободы».

«Освобождение крестьян крайне желательно», — указывал Лев Алексеевич Перовский в своей записке «Об уничтожении крепостного состояния»; здесь у «желательно» оттенок «неизбежно» — «лучше ничего не придумать».

Надо было «что-то делать»... Отчеты министерства внутренних дел набиты сведениями о побегах крестьян, о расправе над помещиками, о волнениях и бунтах (в Оренбургской губернии через два года после отъезда Даля «волнение распространилось на 200 верст между 40 000 человек, толпы от двух до шести тысяч человек делали волостным и сельским начальникам разные истязания, обливали холодной водою, спускали на веревках в реки; волнение прекращено действиями воинской команды в числе 10 000 при 10 орудиях»). Соответствующая глава в отчетах завершается словами: «Крестьяне ищут возможности избавиться от крепостной зависимости». Даль составляет отчеты, Лев Алексеевич их подписывает. Надо «что-то делать», надо «что-то делать»...

В «замечаниях» Тургенева о русском крестьянине читаем: «Мы желаем законности и твердости в отношении помещиков к крестьянам; законность исключает прихоть владельца, а потому и то, что называют рабством». В замечании Тургенева открывается взгляд тех, кто в сороковые годы вокруг Перовского: «законные отношения» взамен «прихотей владельца».

«Записка Перовского» предлагала меры для ограничения «прихоти владельцев», но, ограничивая «прихоть» одних, полагала куда более опасной «вольность» других: «По народному понятию вольность заключается собственно... в совершенном безначалии и неповиновении», «понятие в народе о вольности и свободе — понятие бессмысленное и страшное».

Записка, составленная как проект уничтожения крепостного состояния, предостерегала: немедленное

освобождение вызовет «всеобщее возмущение», окончательную развязку которого «даже гадательно предсказать невозможно».

Потому, выводила «записка Перовского», уничтожение крепостного состояния должно произойти постепенно и незаметно: рабы не должны заметить долгожданного мгновения освобождения от рабства.

Измышлялись суемудрые формулировки: «Дарование ограниченной свободы будет на деле то же самое, что ограничение крепостного права», а передача некоторой части земель крестьянам в «вечное пользование», по сути, будет означать их «вечное владение» этими землями.

Не искать «шумной и громкой славы»; главное — постепенность, ограниченность ограничений: слишком опасна «необузданность народа, вышедшего однажды в каком-либо отношении из своего обычного положения и из пределов повиновения». Пугачев на карикатуре напрасно опирался на плечо Перовского — им не по дороге.

В конце «первого действия», разобравшись в «привычной пьесе», Белинский писал: «Перовский думал предупредить необходимость освобождения крестьян мудрыми распоряжениями, которые юридически определили бы патриархальные, по их сущности, отношения господ к крестьянам и обуздали бы произвол первых, не ослабив повиновения вторых: мысль, достойная человека благонамеренного, но ограниченного!»

Члены комитета для рассмотрения «записки Перовского» (финал «пьесы»): наследник-цесаревич Александр Николаевич, крепостник граф Орлов, «либерал» князь Васильчиков, полагавший, что надо как-нибудь «успокоить толки». «Записка Перовского» быстро превращалась в пустую бумагу: «Пиши знай: кому надо — разберет». Тем, кто разбирал. и благонамеренная ограниченность глаза колола: опять же пословица — «Поглядишь — чистехонько, погладишь — гладехонько, а станешь читать — везде задевается».

Свое «бумаги писать мы называем *дело делать*» Даль вымолвил в канун работы над запиской; в ней же, судя по всему, он видел дело, возможность действия, во всяком случае. Но в Особенных канцеляриях действовать значило сочинять бумаги — заколдованный круг...

6

Над проектом уничтожения крепостного состояния в России Даль трудился не как Осип Иванович с чином статского советника, не как письмовод, который «перекатывает» набело начальственные каракули или строчит исполнительно под диктовку («с голоса, с говорка»), даже не как надежный секретарь, который ловит на ходу мысль начальника и умеет выразить ее начальниковыми же словами. В «записке Перовского» жил взгляд Даля, изложенный его, Даля, словами: иначе полтора десятилетия спустя, накануне реформы, Даль не стал бы повторять положения «записки» от своего имени[1].

На исходе пятидесятых годов, когда по крестьянскому вопросу «несвоевременно» уже не выговоришь, потому что к горлу приспело, и когда «оставить по-старому никак нельзя», благонамеренная ограниченность Даля выявляется особенно заметно. Так всегда бывает, когда Время идет, а человек со своими суждениями остается на месте, Время его обгоняет, человек как бы движется назад.

Даль понимает необходимость «уничтожить все рабские отношения, заменив их обязанностями человеческими»; он потому и счел долгом предложить свои меры, что «сословию помещичьих крестьян предположено дать человеческие права». «Мы должны: отречься от неправых доходов, от тунеядного присвоения себе чужого труда, от самовластия и произвола; определить взаимные права и обязанности правдиво и узаконить их», — пишет Даль. И поясняет: «Из этого видно, что устроить по-новому всякое имение тем легче и проще, чем более правды было доселе во взаимном отношении владельца и крестьян; и напротив, устроить имение тем труднее, чем более в управлении его кривды и самовластия».

Но (!) «во всем должна быть мера и постепенность». «На первый раз» Даль предлагает «сравнять помещичьих крестьян в правах и обязанностях с казенными и удельными». Эта «определенность» успокаивает владельцев и «смиряет буйные порывы и несбыточные надежды крестьян».

Даль советует даром отдать крестьянам усадебные

[1] Центральный государственный архив Октябрьской революции (ЦГАОР), ф. 109, оп. 3, ед. хр. 1973; ЦГАЛИ, ф. 179, оп. 1, ед. хр. 13.

строения их, жилые и хозяйственные, со всем имуществом. Но земля остается собственностью помещиков; правда, все усадебные земли крестьян и часть пашенных и покосных земель отдается в «вечное пользование» «мира». Крестьяне постепенно уплачивают помещику деньгами или работой. Впоследствии «миру» предоставляется право выкупать земли.

«Мир», общину, связанные круговою порукой, Даль считает самым лучшим и здоровым способом управления на местах, которое сумеет отправлять казенные повинности и определять отношения между владельцем и крестьянами и между самими крестьянами «по законам человечества»: «мирщина» и «круговщина» — «вещь великая», «прекрасный порядок, вполне свойственный русскому быту», не в пример «западному началу личностей».

7

Письма Даля по «крестьянскому делу» читать грустно. В Нижнем он до изнеможения, до хрипоты, до риска быть уволенным без благодарности и пенсии за тридцатилетнюю службу защищал удельных крестьян от произвола «безнравственных исполнителей» — и предлагал крепостных «сравнять в правах» (в каких?) с удельными. Всю жизнь верил в здравый смысл народа, мудрость его и смекалку, раскрывал этот здравый смысл в трудах («занятиях» и «книгах») своих, собственный здравый смысл почитал выросшим на почве народной, — но в деле освобождения мужицкому здравому смыслу не поверил, назвал «превратным понятием крестьян о свободе». Говорил: надо научиться не только языку мужика, но и его логике, «у него логика своя», — а дошло до «воли», от мужицкой логики открестился и стал наивен и смешон: логика, по его же объяснению, есть «наука здравомыслия».

«Вольность всего дороже», «Пташке ветка дороже золотой клетки», «У коня овса без выгребу, а он рвется на волю»... Даль собирал золотые крупицы народной мудрости, а сам: «Свобода — понятие сравнительное, она может относиться до простора частного, ограниченного» или клониться «к необузданному произволу, самовольству».

Крестьянский взгляд на освобождение представляется Далю «вольницей с правом ничем не ограниченной свободы, без всяких повинностей или обязанностей»; а потому: «О вольности, о свободе не должно быть и речи; слова

эти звучат опасно и обольстительно; от них пьянеют». Постепенность, незаметность, «пределы свободы»...

«Пределы свободы» — благонамеренно-ограниченную постепенность 40-х годов Даль перетаскивает в 50-е, оттого она еще ограниченнее. И наивнее: тут земля под ногами горит у самих же (сверху) «освободителей» («Вопрос стоит вовсе не так... как решить лучше?.. — а как решить скорее?.. кончится тем, что нас перережут», — волновался Толстой Алексей Константинович), а Даль со своими «пределами» и «незаметностью». И при всем этом не так наивно, с точки зрения тех, кто «хотели «освободить» Россию «сверху» [1], когда «шла борьба из-за способа проведения реформы между помещиками и крестьянами» [2].

Именно потому, что могли «перерезать», — не так наивно. В предложениях Даля по-своему жило Время: согласно донесениям правительственных чиновников крестьяне видят свободу «в неограниченном пользовании всеми землями помещиков», «жгучая мысль о «вольности» и «свободе» сильно действует, воспламеняет их умы и кипятит кровь». «Они уверены, что вся земля, которую они теперь пашут, обратится в их наследие. Они убеждены, что самодержавная власть враждебна помещикам и соединится с крестьянами для изгнания первых и для завладения их состоянием», — читаем у Даля.

8

Одно из писем в Петербург «по крестьянскому делу» Даль завершает наивным возгласом: «Теперь я дописался до последу. Что я стану делать в Питере с такими понятиями и убеждениями?..»

В докладах и письмах об уничтожении крепостного состояния Даль изменял «науке здравомыслия», но ведь не могло же совсем покинуть его умение мыслить здраво — «способность к толковому и основательному суждению». Для рассмотрения споров и наблюдения за точным применением «общих правил» Даль предлагал создать дворянские думы или комитеты. В них следовало бы ввести выборных от крестьян, коли решается их участь, но вряд ли есть в этом смысл: «Выборный этот был бы повсемест-

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 20, стр. 175.
[2] Там же, т. 16, стр. 216.

но обращен в рассыльного и вестового с обязанностию ставить комитетский самовар и чистить комитетские сапоги», — объясняет Даль. Все равно что принять православие, а потом объяснить — православное кладбище к дому ближе!..

9

Далевы «пределы свободы» — это пределы его воззрений; «Хоть обедни не застать, а от походки не отстать»: такова «походка», пределы.

Честный Даль служит честно — не из корысти, не Перовскому служит (прислуживает) — служит во имя того, в чем убежден. Он убежден, что «улучшать» («делать лучшим против прежнего») полезнее и плодотворнее, нежели «переворачивать» («давать иной ход, изменять направленье» и, главное, «обращать внезапно»). «Перевертывать» Даль толкует и так: «привести в беспорядок», «испортить, вертя насильно». «Дух Даля»: следует «страшиться последствий переворота», «не желать никаких переворотов в обществе, управлении, а постепенных улучшений». Иногда честный Даль даже торопился со своими «улучшениями», вызывал неудовольствие министров и спорил с губернаторами, но никогда не делал «никаких переворотов» и оттого «становился в тупик», мучился «тунеядным письмоводством», страдал, что бумаги пишет, а дела настоящего не делает.

Есть задача: чтобы соединить непрерывной линией несколько точек, надо вырваться за пределы квадрата, который этими точками очерчен. Даль «из квадрата» не вырывался, а внутри его задача неразрешима. «Заколдованный круг» Далевых заблуждений в этом «квадрате», в уверенности, что за пределы, ограниченные точками, выйти невозможно, иначе при решении задачи нарушится «порядок, лад, соответствие» — так в «Толковом словаре» определяется понятие «строй».

МУЖИКИ

1

Была «записка Перовского» — и были рассказы и очерки Владимира Даля, Казака Луганского. Они «имеют огромную ценность правдивых исторических документов,

и если бы мы захотели детально изучать жизнь крестьян сороковых-пятидесятых годов, для этой цели сочинения Даля — единственный и бесспорный материал», — писал Максим Горький.

Но историк-народник Василий Иванович Семевский в известном труде «Крестьянский вопрос в России», осуждая деятельность Перовского, выносит и Далю жестокий приговор: «Как глупы мужики и как благодетельна для них помещичья власть, как необходимы для их счастья и мудрые исправники, — все это мог воочию увидеть читатель из произведения Даля, написанного совершенно в духе министерства Перовского, в котором он служил».

Поводом для приговора, как видим, стали не докладные, а именно сочинения Даля — «бесспорный материал». Прежде всего очерк «Русский мужик».

«Досаднее всего, — сердится Семевский, — что Даль мог удостоиться за это крайне фальшивое по тону произведение одобрения даже таких людей, как И. С. Тургенев и В. Г. Белинский». Одобряли Белинский, Тургенев; Некрасов писал, что очерк «можно прочесть не только один, но несколько раз с чрезвычайным удовольствием». И после Семевского были попытки доказать, будто Белинский или Тургенев не самую вещь Даля одобряли, а мастерство его в физиологическом очерке. Получается, что Белинский, Тургенев, Некрасов умение сказать предпочли тому, что сказано. Кому-кому, Белинскому такой упрек не бросишь — он и Гоголю не прощал не то сказанное, куда там Далю! Этого не могло быть, этого и не было: прежде чем похвалить «необыкновенное мастерство изложения» (в физиологическом очерке «необыкновенный талант» Даля «не имеет себе соперников»), Белинский пишет: «Статья Луганского «Русский мужик»... исполнена глубокого значения».

Труд В. Семевского появился через сорок лет после смерти Белинского; Семевский видел фальшь и убогость не только «привычной пьесы», разыгранной по «записке Перовского», — он видел фальшь и убогость и «эпохальной пьесы» 1861 года. В свое время, в восьмидесятые годы, историк-народник имел право на жестокий приговор. Полезно сопоставлять мнения современников и потомков — видно, как время изменяет оценки. Но и суждения потомков изменяются со временем; к тому же «на дело можно смотреть с разных точек», как говаривал

Даль. Максим Горький через двадцать пять лет после Семевского писал, что Даль «глубоко чувствует свою связь с народом».

2

У Даля есть рассказ: из-за пустяка поссорились «власти», судебный лекарь обиделся на исправника и «всучил ему щетинку» — подменил медицинское заключение, — а ни в чем не повинного мужика из-за этого отправили на каторгу. Рассказ внешне спокоен, бесстрастен — Даль словно «дагерротипирует» происшествие: ничего не случилось, все очень обыкновенно, лекаря шутливо называли «хитрецом», «плутом», сам лекарь был очень доволен своей находчивостью, про мужика никаких «жестоких подробностей» (засудили — и ладно). Даль проговаривается лишь в заголовке: заголовок-пословица открывает сокровенный, страшный смысл рассказа — «Ваша воля, наша доля».

Тургенев в статье о Дале замечал: «Он... смотрит невиннейшим человеком и добродушнейшим сочинителем в мире; вдруг вы чувствуете, что вас поймали за хохол, когти в вас запустили преострые...»

В сочинениях Даля находим и другой рассказ, точнее — переложение народного украинского предания: бедняк, у которого в хате даже огня не было, пошел в степь к чумакам, чтобы от их костра зажечь пасхальную свечку; под видом чумаков ходили по земле господь с апостолами — они наградили несчастного бедняка кучей золотых червонцев.

Даль собрал много таких преданий — Иисус Христос, апостолы и святые спустились на землю, чтобы помогать бедным и наказывать богатых. Эти записи Даль передал вместе со сказками Афанасьеву, тот издал их под названием «Народные русские легенды». Книга навлекла на себя гонения духовных и светских властей (Даль волновался, что и его потянут к ответу, просил историка Погодина: «Если вы слышали, или полагаете, что дело коснется меня, то, пожалуйста, уведомьте вернее»[1]). Книга вышла и за границей (так благонамеренный Даль косвенно оказался корреспондентом Вольной русской печати!).

В пересказе трогательной пасхальной истории очень знаменательно написанное «от автора» начало. «Богатому

[1] ГБЛ, ф. 231, Пог. II, № 10/18.

везде хорошо, а бедняку везде худо; только в сказках убогому бывает лучше, чем богатому», — пишет Даль. И — с усмешкой: «Что ж? Коли самому бедняку помощи не дадут, так спасибо хоть за то добрым людям, что хорошие побасенки о нем слагают».

Далев словарь очень точно — для Даля точно — определяет «иронию»: «насмешливая похвала, одобрение, выражающее порицание». Герцен писал о «лукавстве» рассказов Даля. Нельзя не замечать усмешку Даля, его иронию, видеть в нем лишь слагателя «хороших побасенок».

В повести про Вакха Чайкина Даль пишет о некоем помещике: «Послушать его, так он преобразовал весь околоток, из крестьян своих сделал умных, рассудительных, добрых и послушных людей, а поглядишь на деле — бестолочь такая же, как и всюду: та же бессмертная овца, те же тальки, самосидные яйца, утиральники и пени с новоженцев»; тут Даль делает сноску, разъясняет: «Бессмертный баран или овца дается молодому крестьянину, когда его женят... крестьянин обязан прокормить эту даровую овцу и подносить барину каждогодно по ягненку; жива ли, нет ли овца, никто не спрашивает; она числится бессмертною. Тальками называются уроки, задаваемые бабам на зимние ночи, когда их заставляют прясть лен... Самосидные яйца раздаются по паре во все крестьянские дворы, и бабы обязаны высидеть и представить за них весною цыплят. Шитые утиральники и по десяти рублей собираются со всех новоженцев в пользу господ». И словно нарочно, для тех, кому эти «обязаны», «заставляют», «никто не спрашивает» непонятны, Даль заключает сноску усмешливым: «Все очень полезные и крайне хозяйственные заведения». Даже Семевский, который Даля без улыбки читал, увидел здесь иронию автора.

3

Очерк «Русский мужик» состоит из нескольких частей, «снимков» с натуры — по-Далеву, «живых картин», на первый взгляд между собой никак не связанных («гора с горой», опять же по-Далеву говоря).

Вот одна такая «картинка» — она и вызвала суровый отзыв Семевского. Крестьяне «вздумали» проситься на оброк, помещик послал их за «решением» дела в город к исправнику; тот перепорол «человек десяток на выбор тут же на месте», мужики «повинились», что «затеяли вздор», и пошли «беспрекословно в барщину»; отныне жили они с помещиком «в ладах и в дружбе».

То, что Даль рассказывает «случай», не гневаясь, не размахивая кулаками, нас не должно ни смущать, ни обманывать — мы цену «бесстрастности» Далевых «живых картин» знаем; вот до конца слова Тургенева (начало их выше приведено): «...Вас поймали за хохол, когти в вас запустили преострые; вы оглядываетесь, — автор стоит перед вами как ни в чем не бывало... «Я, — говорит, — тут сторона, а вы как поживаете?» Тургенев, по нашему разумению, прием Даля угадывает точно.

Да вот беда: в повести Даля «Вакх Чайкин» некто Негуров, «идеальный управляющий» большим имением, рассказывает о своих крестьянах ту же историю, и рассказывает насмешливо: «Мужики мои прошлись только взад и вперед верст тридцать пять за доброй наукой, расписались в получении бани». Повесть «Вакх Чайкин» написана раньше очерка «Русский мужик»; Семевский делает вывод: «Можно было бы подумать, что пошлый тон этих слов зависит от личности управляющего, которому они приписаны; но автор, как увидим, совершенно симпатизирует подобным воззрениям, так как он повторяет их в другом произведении... уже от своего собственного лица». Так устанавливается тождество Даля и его литературного героя.

Но все было как раз н а о б о р о т: Даль с н а ч а л а рассказал историю про крестьян, барина и исправника «от своего имени», а п о т о м повторил в повести. Семевский был прав, когда предположил, что «пошлый тон этих слов зависит от личности управляющего». В первоначальном — журнальном — тексте «Вакха Чайкина» (который за три года до очерка) этой истории нет, Даль ее после вписал. «Пошлый тон» — насмешка Негурова, у Даля ее не было. Можно, конечно, выудить из очерка несколько словечек, вроде того, что барин доказал крестьянам «бестолковость» их просьбы или что после порки мужики жили с барином «в ладах и в дружбе», можно выудить «словечки» и увидеть в них насмешку над мужиком. Но почему бы не увидеть з а н и м и лукавую Далеву усмешку· «Я, — говорит, — тут сторона, а вы как поживаете?»

4

В рассказах Даля «мудрых исправников» нет. Далю в жизни «везло» на негодяев исправников («безнравственных исполнителей») — они попадали затем в его рассказы. Даль всерьез полагал, что исправники станут помехой при уничтожении крепостного права [1].

История с поркой (очень важно!) в рассказе Негурова — лишь малая частица речи «идеального управляющего»: «У нас это большое горе, что не умеют говорить с чернью; говорят с нею или свысока, так что она не может ничего понять, или как с животными, со скотом... Можно убедить и вразумить мужика, но у нас редко достанет на это терпения, смышлености и находчивости; мы мало сроднились с духом нашего народа». Почему бы здесь, в этих словах литературного героя, не поискать «собственных воззрений» Даля?

«Впрочем, есть случаи, — говорит дальше Негуров, — где и самый благомыслящий человек потеряет терпенье и где, по-видимому, нет никакого средства вразумить сумасбродов, кроме силы и страха»; и тут управляющий поминает «дубину», которая исправляет упрямого. «Идеальному управляющему» Даль отвечал не в повести, а в деловой бумаге, в донесении министру, и не писатель Даль, а тоже управляющий — Нижегородской удельной конторой. Даль предлагал заменить телесные наказания крестьян денежной пеней. Телесные наказания не просто узаконены — обязательны: выпороть мужика ничего не стоит, но, чтобы отменить порку, надо каждый раз испрашивать разрешение Петербурга. «Я нахожу себя связанным до такой степени, что прихожу в недоумение, — возмущался Даль. — ...Такое положение, очевидно, вредно и для управления и для крестьян» [2].

«Потеря терпенья» — это бессилие Негурова, бессилие придуманного Далем «идеального управляющего», его неспособность «убедить и вразумить» мужика, «сродниться с духом нашего народа» — «у него логика своя»: своя логика, порой идущая от предрассудков, суеверий, темноты, порой от того внутреннего мира, «духа нашего народа», который остается закрыт и непонятен даже для самого «идеального» управляющего.

В очерке «Русский мужик» помещик и крестьяне говорят «на разных языках» (по разной логике), идет ли речь о барщине и оброке или о пользе сберегать обрезки овощей для приправы («известное дело», «виноваты, батюшка»), о том, что нехорошо держать скотину в избе («так, батюшка, истинно справедливо», «глупость наша») или о «невозможности» пахать на святую неделю («кто ж пойдет о такую пору — чай, не на то дал господь святую неделю»). И когда барин, потеряв терпенье, берет старосту за чуб, староста, высокий и догадливый (своя логика!) мужик, «становится на колени, чтобы барину сподручней было управляться». Даль мог не понимать свою логику мужика (такое непонимание в его проектах уничтожения крепостного состояния), Даль мог не одобрять свою логику мужика, идущую от необразованности и суеверия, но он всегда признавал за мужиком свою логику и видел в ней отражение народного духа.

5

«Идеальный управляющий» из повести Даля рассуждает не только о неразумии крестьян и упадке их хозяйства, но также о неразумии помещиков и упадке русского хозяйства вообще; о том, что мало в России помещиков, «у которых были бы крестьяне обеспечены надлежащим образом запасами на случай голодного года» — «мы искони перебиваемся с весны на весну». «Глупость» крестьян (за которую доставалось Далю), «глупость», которая мешала мужику пахать вовремя, содержать хорошо скот и выращивать овощи, — лишь отражение «глупости» помещичьей, а то и другое вместе — отражение всего отсталого, «глупого» хозяйственного уклада страны. В замечаниях Тургенева о русском хозяйстве осторожно высказана та же мысль: «У многих помещиков крестьяне благоденствуют, но это благоденствие есть плод личных качеств господина, а не законного неизменного порядка»; в сороковые годы мысль эта обсуждалась вокруг Даля и Далем.

---

[1] «Полицейской власти допустить к этому делу нельзя; она, как первый враг правительства, искажает все без изъятия благие намерения его», — писал Даль. И продолжал: «Бессилие исполнительной власти правительства по безнравственности исполнителей, кои едва ли не поголовно станут смотреть на дело это как на новый и самый обильный источник доходов...»

[2] ЦГАЛИ, ф. 179, ед. хр. 7.

6

В рассказах и очерках Даля мы не вычитываем мужицкой «глупости» — мы читаем о мужицком уме и о мужицкой смекалке.

«Простой работник», крестьянин, «сняв шапку и почесываясь в затылке», смотрит, как бьются исполненные премудростью господа над сложной задачей, и вдруг предлагает свое решение, неожиданно простое и по мысли и по средствам, истинно мудрое этой своей простотой. Господа оказываются бессильными, а крестьянин легко догадывается, как убрать с дороги громадный камень или перевезти огромный колокол за несколько сот верст, поднять на постаменты («стояла») тяжелые мраморные изваяния или устроить подвижной помост для росписи собора.

Десяток «живых картин», объединенных мыслью о «смышлености и догадливости нашего сметливого народа», составляет любопытный очерк Даля «Русак».

Очерк открывается рассказом о простом работнике Телушкине, который «удивил весь белый свет», — один произвел починку Адмиралтейского шпиля в Петербурге.

«Смышленостью и находчивостью неоспоримо может похвалиться народ наш, — замечает Даль, — но надобно сознаться, что, кроме нескольких простых и превосходных древних изобретений, с которыми уже свыкся русский крестьянин, он не только мало склонен к новым, самобытным изобретениям, но вообще, по косности своей, даже не любит собственно для себя улучшений и нововведений подражательных; и это особенно относится до домашнего его быта и хозяйства».

За косностью домашнего быта и хозяйства «простого работника» угадывается косность всего хозяйственного уклада. Сами смышленость и находчивость русского мужика не только от природы, но и оттого, что «нужда хитрее мудреца и что неволя учит и ума дает».

Белинский не углядел мужицкой «глупости» ни в очерке «Русский мужик», ни в других повестях и рассказах Даля: «Читая его ловкие, резкие, теплые типические очерки русского простонародья, многому от души смеешься, о многом от души жалеешь, но всегда любишь в них простой наш народ, потому что всегда получаешь о нем самое выгодное для него понятие. И публика после этого поверит какому-нибудь г. М... З... К..., в продолжении двух почти лет прогарцевавшему в литературе двумя статейками, что такой писатель, как г. Даль, меньше его знает и любит русский народ или что он выставляет его в карикатуре?.. Не думаем»[1].

«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ». ОТВЛЕЧЕНИЕ ВОСЬМОЕ

В голове Даля прорисовывалась, закрашивалась в разные цвета своя карта Земли Русской, закрашивалась, понятно, не по рельефу местности и не по административному делению — по различиям в языке. Одно слово в разных местах имеет разный смысл, и одно понятие в разных местах обозначается разным словом; но и того мало — слова произносятся неодинаково (у Даля и на этот случай пословица припасена: «Свой язык, своя и гово́ря»).

Даль изучал эти самые «гово́ри» (точнее — говоры) русского языка, но изучать мало, надо особый чуткий слух иметь на русскую речь, чтобы улавливать, выбирать в потоке слов подчас едва приметные различия в произношении. Запасы, сокровища Даля были для него самого как бы удвоены: держа в руке листок с записанным словом, он слово это не только видел, но и слышал.

«В Череповце говорят: *менные дзеньги; що* вместо *что; купеч; свит концаетца;* букву *в* после гласной изменяют в *у*: пи*у*о, пи*у*цо (пиво, пивцо); *галки налятят, надо сясть, хочу исть* (*и* вместо *е*). Уезд этот разделяется Шексной пополам: по нагорной стороне жители бойчее, виднее, и наречие их почище; на лесной и болотной стороне жители вялы, невидны и более искажают язык». «В Волочке говорят: *мы знаема, делаема* — *а* вместо ъ; *принесай, унесай*, вместо: *принеси, унеси;* мужские имена оканчивают на гласную, а женские на ъ и ь: *Авдоть, Ульян(ъ), Степух(ъ), Анюх(ъ)»*. «Вот говор в Нижнедевицке[2]. *Здарова, дядя Алдоха! Що, ай пашеницу вазил у город? — А то що ж? — Ну а пачаму атдавал? — Па дисяти с двухгривяным...»* «По Ветлуге лесники говорят особым напевом, протягивая и расставляя иные слоги, с повышением голоса: *зада-ай корму лошадьми-и...»*

Даль написал труд «О наречиях русского языка» (те-

---

[1] М... З... К.. — псевдоним Ю. Самарина.
[2] Воронежская губерния. — *В. П.*

перь считается, что наречие в отличие от говора распространено на обширной площади; по Далю же, говор — и «местное устное наречие», и вообще «произношение, выговор, помолвка»). В основу разделения наречий Даль положил «высокую» и «низкую» речь, или попросту «аканье» и «оканье». В Москве говорят высокою речью, то есть любят звук *а* и заменяют им *о*, если на *о* нет ударения; произносят: *харашо, гаварить, талкавать*; окончания *ого, его,* превращаются в *ова, ева* — большова, син*ева*. От Москвы на восток начинают окать; возле Владимира слышится уже ст*о*кан, т*о*рокан; влезают в слова и лишние *о* — Володимир. От Москвы на запад усиливается аканье: *пабягу, пятух*. От Москвы к северу складывается говор новгородский; он ближе к восточному, но имеет и свои особенности. От Москвы на юг разливается наречие рязанское; в нем, как и в западных, — аканье; даже взамен *е* — *а* да *я*: *табе, яму*. Попутно Даль сообщает, где «цокают» *(цай, целовек)*, а где «чвакают» *(курича, молодеч)*; где «дзенькают», а где взамен *«еще»* произносят *«ишшо»*, или, того более, *«яшто»*; где — «*Хв*едор», «*хв*уражка», а где, наоборот, — «ку*ф*ня», «*ф*ростина»; где *«купи боты-та»*, а где — *«возьми луку-ти»;* где добавляют звуки — «паш*е*ница», а где сглатывают — *«первези»*.

Даль сообщает неисчислимые особенности говоров, передает интонацию, указывает местные словечки — эти живые наблюдения в статье всего интереснее.

Способность Даля распознавать по говору уроженца той или иной местности подтверждают современники. Сам Даль в рассказе «Говор» описал два случая, с ним происшедших; он, правда, маскируется слегка, объединяет оба случая незамысловатым сюжетцем, но для нас это безразлично: есть свидетельства, что случаи такие действительно произошли и действительно с Далем.

Однажды рабочий, строивший беседку, шел мимо с доской, поскользнулся и чуть было не упал. «Что ты?» — бросился к нему Даль. «Ничего», — отвечал тот, отряхиваясь и бормоча что-то. «Новгородский», — глядя ему вслед, уверенно определил Даль. Приятели отказывались поверить — ведь рабочий произнес всего два слова: «Ничего, скользко!» «Это новгородец, — утверждал Даль. — Держу какой хотите заклад, и притом из северной части Новгородской губернии. А почему? Да потому что он сказал не скользко, а склезко». Второй

случай стал почти хрестоматийным: два монаха пришли собирать на церковное строение — «Я их посадил, начал расспрашивать и удивился с первого слова, когда молодой сказал, что он вологжанин. Я еще раз спросил: «Да вы давно в том краю?» — «Давно, я все там». — «Да откуда же вы родом?» — «Я тамодий», — пробормотал он едва внятно, кланяясь. Только что успел он произнести слово это — тамодий вместо тамошний, как я поглядел на него с улыбкой и сказал: «А не ярославские вы, батюшка?» Он побагровел, потом побледнел, взглянулся, забывшись, с товарищем и отвечал, растерявшись: «Не, родимый!» — «О, да еще и ростовский!» — сказал я, захохотав, узнав в этом «не, родимый» необлыжного ростовца. Не успел я произнести этих слов, как вологжанин мне бух в ноги: «Не погуби!..» Под монашескими рясами скрывались двое бродяг с фальшивыми видами...» Добавим историю, рассказанную Мельниковым-Печерским. В Нижнем Новгороде Даль просил чиновников, которые ездили в командировки по губернии, записывать новые слова и отмечать особенности произношения. Однажды он просматривал записи, привезенные из нескольких селений Лукояновского уезда: «Да ведь это белорусы»; удивленным чиновникам посоветовал: «Поройтесь в архивах». Порылись — и нашли: при царе Алексее Михайловиче в эти места и впрямь поселили белорусов.

Рассказ «Говор» Даль начинает: «Разве лихо возьмет литвина, чтоб он не дзекнул? Хохол у саду (в саду) сидит, в себя (у себя) гостит; и по этому произношению, как и по особой певучести буквы *о*, по надышке на букву *г*, вы легко узнаете южного руса; курянин ходить и видить; москвич владеет и балагурит, владимирец володает и бологурит; но этого мало: в Ворсме говорят не так, как в селе Павлове, и кто навострит ухо свое на это, тот легко распознает всякого уроженца по местности». Даль навострил — и доказал это друзьям своим; последние слова рассказа: «Они убедились в основательности моих познаний по части отечественного языковедения». Местные речения и говоры для Даля — обязательный и важный раздел отечественного языковедения. «Землеведение и языкознание, по-видимому, две науки почти несродные», — пишет Даль, — но «если изучать землю вместе с обитателями ее», они, науки эти, «подают друг другу братскую руку».

ШАТКИЕ ВРЕМЕНА

1

Седьмого июня 1849 года Владимир Иванович Даль был назначен управляющим Нижегородской удельной конторой.

И сразу же встают вопросы неизбежные, когда в жизни человека происходят перемены, притом весьма решительные и весьма неожиданные, — почему и зачем. А перемена в жизни Даля (с девяноста ступенек над Невским проспектом — министра правая рука! — и, можно сказать, «в глушь, в Саратов», да не каким-нибудь вице-губернатором нижегородским, а всего управляющим конторою) — решительная и неожиданная. Мельников-Печерский (тогда еще просто чиновник нижегородский Мельников) поистине изумленно пишет Далю, узнав о его решении, о перемене этой, о повороте в Далевой судьбе: «Получив от Вас последнее письмо, Владимир Иванович, я и удивился, и порадовался. Удивился как чиновник, — как, подумал я, с того поста, который Вы занимаете, при Вашем чине, орденах и проч. и проч. идти на должность директора ярмарочной конторы? Так будут удивляться, так будут говорить все чиновники, если исполнится Ваше намерение. Но мертвецам хоронить своих мертвецов. Я порадовался и за Вас, и за литературу, и за себя... Если Вы поживете у нас в Нижнем, Ваш труд подвинется вперед быстро, и литература и Русь скорее дождутся Вашего дорогого подарка, который Вы посулили им»[1]. Но в конце письма снова изумление: сам губернатор не верит, что такое важное лицо пойдет на эту должность, что Лев Алексеевич Перовский такого человека отпустит. Но «лицо» пошло, и министр отпустил.

2

Почему?

У историка Бартенева, издателя журнала «Русский архив», читаем: «Утомленный службою, в июле 1849 года Даль испросил себе сравнительно более легкую должность управляющего удельною конторою в Нижнем Новгороде». Ошибка в дате (июнь или июль) здесь значения не имеет — важна причина, тем более, что в январе 1849 года сам Даль писал Погодину: «Хорошо вам, загольникам, и писать письма, и отвечать вовремя, — а как день за день, не зная воскресенья, сидишь с утра до ночи за такими приятностями, что с души воротит, так вечером и пера в руки взять не хочется». Ну сколько можно жить письмоводом Осипом Ивановичем в чине статского советника — взял и уехал!..

[1] ПД, № 27353/CXCVI б. 7.

Вот и сослуживец Даля[1] вполне объясняет историю отъезда его из Петербурга: «Служба его при Перовском была самая изнурительная: с 8 часов утра до поздней ночи он постоянно был призываем по звонку, нередко с 4-го этажа, где была его квартира, во 2-й, где жил министр, так что, наконец, несмотря на всю необыкновенную выносливость его натуры, он не мог долее продолжать эту поистине каторжную жизнь и просил о назначении его управляющим удельною конторою в Нижний Новгород».

Незадолго перед отъездом из столицы, но когда все уже было решено, Даль по просьбе министра придумал ему девиз для графского герба (Лев Алексеевич стал графом в 1849 году): «Не слыть, а быть». Думается, девиз не просто свидетельство, но также и пожелание; в девизе словно бы «урок» Перовскому и личность Даля.

Когда в трудную для Перовского пору (сам он заболел, доверенных сотрудников рядом не оказалось) Даль предложил, что ненадолго приедет из Нижнего в столицу, чтобы помочь в делах, министр отказал ему вежливо, но достаточно определенно и резко. Об этом стоит вспомнить, принимаясь за Мельникова-Печерского.

3

«В 1848 году граф Перовский, находившийся тогда в сильной борьбе с графами Орловым и Нессельроде, сказал однажды Далю: «До меня дошли слухи, которые могут быть истолкованы в дурную сторону... Что у вас за

[1] Это А. Д. Шумахер. Он прослужил в министерстве внутренних дел 38 лет! Шумахер вспоминает, между прочим, о поражавшем его несоответствии: Даль — «влиятельное» и «значительное» «лицо со столь выдающимися разносторонними способностями», а «по виду... весьма невзрачный чиновник с короткими брюками, в куцем вицмундире».

собрания по четвергам и какие записки вы пишете?» Владимир Иванович с полною откровенностью рассказал все графу Перовскому, которому записки были вполне известны; он все их читал и даже многое сообщал Далю для их дополнений. Министр удовольствовался объяснением, но сказал: «Надобно быть осторожнее». С того дня четверги прекратились, а драгоценные записки погибли в камине. Впоследствии Даль часто жалел об утрате этих драгоценных материалов для нашей истории тридцатых и сороковых годов, но всегда прибавлял: «...Попадись тогда мои записки в недобрые руки, их непременно сделали бы пунктом обвинения Льва Алексеевича». Затем Мельников-Печерский очень трогательно рассказывает, как Перовский «и слышать не хотел об удалении из Петербурга... самого преданного друга» (!); однако здоровье Даля так «сильно пошатнулось», что министр склонился «на самую тяжелую, как он выразился, жертву».

Как видим, Мельников-Печерский, объясняя причины отъезда Даля из столицы, к «утомлению служебными трудами» добавляет «историю» с запрещением «четвергов» и сожжением записок. Мельников-Печерский бесспорно прав в своих обоснованиях, но нельзя не подивиться принятому им ходу доказательств. Желание всячески выказать наипреданнейшую дружбу Даля с Перовским делает рассуждения биографа попросту бессмысленными. «Какие записки вы пишете?» — спрашивает министр, «которому записки были вполне известны; он все их читал» и даже... дополнял, да еще таким образом дополнял, что они, записки, становились «пунктом обвинения» против него же самого — куда дальше!.. Надо полагать, и про Далевы «четверги», на которые, по словам современника, «захаживало» «все повиднее, посолиднее из петербургского и приезжего миров», Перовскому тоже было известно.

Да и есть ли хоть какие-нибудь основания предполагать, что на приемах у Даля по четвергам была та «крамола», было то «непозволительное» и «предосудительное», которое могло вызвать неудовольствие министра и перепуг Даля? У нас нет полного списка посетителей «четвергов», да таких постоянных гостей скорее всего и не было. Лазаревский припоминает, что встречал в доме Даля литераторов Панаева, Краевского, Григоровича и профессора, историка и юриста Кавелина; видимо, заходили Владимир Федорович Одоевский (Даль тоже бывал у него на «пятницах»), Надеждин, Никитенко, Гончаров, Майков; навещал старого приятеля Пирогов (Даль участвовал в собраниях пироговского врачебного кружка — «ферейна»); известно, что Даль часто встречался с членами Географического общества — Левшиным, Литке, Врангелем, с филологом Срезневским, естественниками Бэром и Брандтом. Состав посетителей смешанный и разнородный, взгляды каждого из них, взгляды и сдержанная осторожность хозяина исключали возможность какой-либо «предосудительности» Далевых «четвергов».

Домашний круг Даля — это прежде всего специалисты, знатоки своего дела — этнографы, словесники, литераторы, натуралисты. На «четвергах», безусловно, разгорались беседы и споры на темы общественные, не могли не разгораться — людям необходимо откликаться на то, что творится вокруг, — но основное содержание приемов у Даля, видимо, составляли профессиональные (дельные!) разговоры о событиях научных и литературных. Не случайно же публицист Ю. Самарин писал из Петербурга: «Был я на двух так называемых литературных вечерах у Даля. Нет, это не то! Нет той свободы, той веселости, той теплоты. Съезжаются люди чиновные, не глупые, но убитые службою...» Причина резкого отзыва, наверно, в том, что попал он, Самарин, на «четверги» из раскаленных политическими спорами московских гостиных, со всех этих «вторников», «сред», «пятниц» у Грановского, Чаадаева, Боткиных.

То же и с записками, об утрате которых мы, потомки, можем искренне пожалеть. Даль начал вести их в тридцатые годы.

Мельников-Печерский, никогда записок Даля не видавший, потратил две страницы плотного печатного текста, пересказывая их содержание; если поверить ему, то Даль один написал подробнейшую географическую, этнографическую и политическую историю России в тридцатые и сороковые годы девятнадцатого столетия. В перечислении Мельникова упомянуты вещи, которые действительно способны были доставить неприятности «летописцу»: «характеристики почти всех тогдашних государственных деятелей», сведения «о лжеимператорах Константинах», «закулисные интриги» в высших правительственных учреждениях. Не вполне понятно, однако, зачем понадобилось Далю уничтожать (и как могли повредить «благодетелю» Льву Алексеевичу) страницы записок, где речь шла о «киргизской степи», «добывании соли на

Илецкой защите», «рыбных ловах в Урале, Эмбе и Каспийском море» или о «хозяйстве латинских монастырей». Но Даль сжег все. Добавим, что «попадись мои записки в недобрые руки» (если Мельников-Печерский верно пересказывает слова Даля) должно означать о б ы с к.

Автор предисловия к сочинениям Даля, вышедшим в 1883 году, Петр Полевой про «четверги» и записки ничего не сообщает, но причину отъезда Владимира Ивановича из столицы видит в «кознях врагов» против Перовского и в усталости Даля, вынужденного день и ночь «опровергать их клеветы». Перовский, понятно, «слышать не хотел», чтобы они расстались, и согласился на это «с сокрушенным сердцем».

4

Но вот совсем иное обоснование решительной перемены в жизни Даля, обоснование, тоже хорошо известное современникам.

15 ноября 1848 года председатель тайного «Комитета для высшего надзора за духом и направлением печатаемых в России произведений» — его называли иначе (по дате основания) «Комитетом 2-го апреля» — Бутурлин сообщал министру народного просвещения Уварову: «При рассмотрении помещенной в десятом нумере «Москвитянина» повести Даля под названием «Ворожейка», в которой рассказываются разные плутни и хитрости, употребленные цыганкою проходившего через деревню табора для обмана простодушной крестьянки и покражи ее имущества, комитет 2-го апреля остановился на заключении этого рассказа... Находя, что двусмысленно выраженный в словах: «заявили начальству — тем, разумеется, дело кончилось» — намек на обычное будто бы бездействие начальства ни в каком случае не следовало пропускать в печать, комитет полагал сделать цензору, пропустившему эту неуместную остроту, строгое замечание. Таковое заключение комитета Государь Император изволил утвердить».

Историк М. К. Лемке, приведя этот документ, прибавляет: «Вскоре же Казак Луганский был переведен в Нижний Новгород...» В этом «был переведен», которое звучит здесь как «был сослан», — передержка вполне понятная: Лемке писал историю русской цензуры, передержка от сосредоточенности на с в о е й теме.

Даль не был сослан за «неуместную остроту», за проговорку в одном словечке только («разумеется» сродни «конечно» в юношеском морском дневнике — императорский вымпел с орлом подняли на мачте к о н е ч н о вниз головой), но дело о «Ворожейке» не ограничилось замечанием цензору. «Неприятностей, кроме высочайшего выговора, мне не было; но, вероятно, будут со временем, когда захотят доброхоты припомнить, что он-де уже п о п а д а л с я. В чем — это все равно; был з а м е ч е н, и довольно», — писал Даль к редактору «Москвитянина» историку Погодину. В дневнике осведомленного Никитенко читаем: «Бутурлин представил дело государю в следующем виде: что хотя Даль своим рассказом и вселяет в публику недоверие к начальству, но, по-видимому, делает это без злого умысла, и так как сочинение его вообще не представляет в себе ничего вредного, то он, Бутурлин, полагал бы сделать автору замечание, а цензору выговор. Последовала резолюция: «сделать и автору выговор, тем более что и он служит» (сохранился полный текст царской резолюции, которого, понятно, не мог знать Никитенко: «Справедливо, а г. Далю сделать строгий выговор, ибо ежели подобное не дозволяется никому, то лицу должностному и в таком месте службы еще менее простительно»). Перовский, согласно рассказу Никитенко, призвал Даля к себе, «выговорил ему за то, что, дескать, охота тебе писать что-нибудь, кроме бумаг по службе, и в заключение предложил ему на выбор любое: «писать — так не служить; служить — так не писать».

Выбор был предрешен: каково жить литературным трудом, Даль хорошо знал (по самой истории с «Ворожейкой» — весь рассказишко-то восемь страниц! — он имел случай об этом судить), а «у меня за стол садятся одиннадцать душ», — писал он однажды, прося гонорара, когда туго стало с деньгами. Выбор был предрешен — статскому советнику надо было служить и дослуживать. «Как ни тяжела и скучна жизнь петербургская, но до времени надо терпеть в надежде найти под старость покой», — признался он однажды» [1].

Историю с высочайшим выговором Никитенко предваряет горестным возгласом: «Далю запрещено писать Как? Далю, этому умному, доброму, благородному Далю! Неужели и он попал в коммунисты и социалисты?»

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 198, оп. 5, ед. хр 1.

«Запрещено писать» — сказано несколько преувеличенно, однако выбирать Далю приказано.

«Пожалуйста, удостойте, это необходимо», — просит Даль исключить его имя из списка сотрудников «Москвитянина». Вельтман, старый приятель Даля, подтверждает: «Писать он не намерен». Даль в письме к Погодину: «Времена шатки, береги шапки... Я теперь уже печатать ничего не стану, покуда не изменятся обстоятельства». Через год примерно Даль, успокоясь, пошлет рассказы свои и в «Москвитянин», и в «Отечественные записки», и в «Современник», но пока: «У меня лежит до сотни повестушек, но пусть гниют. Спокойно спать: и не соблазняйте... Времена шатки, береги шапки».

5

...Был год 1848-й, год европейских революций, год-веха. «Пока я жив, революция меня не одолеет», — заявил император Николай и призывал «обращать самое бдительное внимание на собственный край».

Был год 1848-й. Год 1848-й, похоже, и оказался главной причиной Далева «бегства» из Петербурга: год-веха стягивает воедино все названные причины его решения круто переменить судьбу, сводит концы. В 1848 году, как никогда прежде, почувствовалась изнурительность бесполезной письмоводной службы. И «закулисные интриги в высших правительственных учреждениях», интриги не столько вокруг Перовского, сколько при его участии, интриги, в которые министр втягивал «преданного друга» и помощника, становились в 1848 году особенно опасными и невыносимыми. И хранение «предосудительных» сочинений (а про Далевы записки, видимо, знали многие его знакомые) могло привести к весьма тяжелым последствиям — не оттого ли решил Даль не оставлять никаких «следов»? И шпионство: были взяты «на прицел» домашние кружки, эти «вторники» и «пятницы», — не отсюда ли резкое и безоговорочное решение Даля «закрыть» свои «четверги»?..

Время шаткое — мало ли кто да что мог сказать (проговориться), пересказать, донести. Даль не знал, видимо, что Бутурлин доложил о нем царю как о человеке «благомыслящем», но он знал про высочайший строгий выговор, он знал, что министр Перовский, который передал ему царское неудовольствие, хотя и «борется» с начальником Третьего отделения Орловым, однако вместе с ним обсуждает для представления государю записку (опять записку!) о мерах к предотвращению дальнейшего распространения в России «пагубных сочинений».

Времена шатки — год-веха словно в фокусе соединил все на первый взгляд несхожие причины Далева решения поворотить жизнь. Даль положительно решил уберечь шапку. Но только ли это — усталость, осторожность, наказание, страх — двигало им, когда он захотел переломить судьбу? Только ли от чего-то убегал он в Нижний или еще и зачем?

6

Зачем?

Даль не «бежал» сломя голову из столицы; от неприятностей с «Ворожейкой» до отъезда — более полугода: мысль о «бегстве» вызревала неспешно. «Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим» — в столице Далю сиделось нехорошо. Перовскому, наверно, и впрямь не очень хотелось отпускать такого работника (хотя и не «сокрушался», не «приносил жертву») — министр потребовал равноценной замены. Даль искал преемника — предложил свою должность Вельтману, тот отказался («Да ведь это кабала, а ведь я не совсем себе враг»); согласился московский профессор-юрист Редкин, старый товарищ Даля по Дерптскому университету (Перовского замена устроила). Редкин, соглашаясь, спрашивал Даля: «Может ли моя деятельность принести пользу — не мне и не отдельным лицам, а целому сословию?» Не знаем, что ответил Даль, но он уезжал из столицы с тем же вопросом.

Мельникову он писал, что намерен в Нижнем жить «тихо» и «с пользой»; писал также, что собирается основательно заняться словарем. Как раз в конце сороковых годов Далю пришла в голову дерзкая и великолепная мысль — соединить словарь и пословицы, влить пословицы в словарь — мысль, им осуществленная. В Нижнем Даль значительно продвинул главный свой труд: обработал большую часть накопленных запасов, определил способ составления словаря, приступил к подробному толкованию слов. В Нижнем Даль подготовил к печати собрание пословиц. Если б лишь ради этого перебрался Даль в Нижний, если б тихую жизнь с пользой видел он лишь

в главном деле своем, если б во имя его избрал незаметную службишку на стороне, для виду, чтобы не служить, а жалованье получать, — он бы и в этом случае был оправдан потомками.

Но Даль отправился в провинциальную контору и вправду служить: служить так, как не удавалось ему в Петербурге, — чтобы приносить пользу «целому сословию»; он еще надеялся, что, служа, можно не бумаги писать, а дело делать. Он не сумел этого «во всероссийском масштабе» — сила солому ломит, — он надеялся, что возьмет свое в глуши, в губернии, где будет вершить дела даже не «в губернском масштабе», а лишь дела находившихся под управлением его конторы удельных крестьян. Он надеялся, что там будет сам себе хозяин и сам себе слуга, без благожелательных Перовских и тонкостей «закулисных козней», — он и крестьяне; там сможет он судить да рядить обо всем по своему разумению (а в столице, как он полагал, его ценят и уважают — считай, что заручился поддержкой). Даль ехал в Нижний дело делать — скромное, тихое, но дельное дело: «Сами в себя должны мы углубиться, проснуться, очнуться, и тогда узнаем, как быть и что делать; но не взрыва нужно нам, который легко вызвать, словно напоказ, и который скоро остывает, нужно блюсти зарок тихо и свято в себе, делать неутомно, ровно и стойко, тянуть налогом лямку свою, не сдавая, хотя бы этого никто не видел, никто не знал...» Нужно иметь право сказать: «Я любил отчизну свою и принес ей должную мною крупицу по силам!»

В душном 1848 году Казак Луганский не выдержал и потянулся «на волю». Ему казалось, что на волю. Он спустился с девяноста ступеней, на высоту которых оказался однажды вознесен судьбою, и вышел на простор. Ему опять казалось, что на простор. Едва появившись в Петербурге, он почувствовал столичную духоту, мечтал — на Волгу, на Украйну, в Москву. На Украйне промчались его детство и юность, в Москве он окончит дни свои. Летом 1849 года Владимир Иванович Даль отправился на Волгу.



ЯРМАРКА

И по долженству хощу и всячески тщатися буду... искать всегда самые сущие истины и самые сущие правды.

Духовный регламент

Торгуй правдою, больше барыша будет.

Пословица

«ГДЕ ЖИЗНЬ КИПИТ КРУГОМ»

1

Где Волга и Ока сливаются волнами,
Где верный Минин наш повит был пеленами,
Где Нижний Новгород цветет и каждый год
Со всех концов земли гостей к себе он ждет,
Где жизнь кипит кругом, торговля процветает... —

одним словом, мы с Далем на знаменитой нижегородской ярмарке, в плотной и жаркой толпе, где все движутся, но каждый идет куда ему надо, где толкают друг друга, обгоняют, останавливают, пересекают один другому дорогу, кружат, попадают не туда, возвращаются на прежнее место. Где смешались, закрутились несущейся каруселью армяки, поддевки, мундиры, кафтаны, сермяги, сарафаны, накидки, пестрые шали, платки, картузы,

шляпы прямые и бурлацкие — с круглым верхом, и ямские — приплюснутые, с загнутыми круто полями, и красные колпаки скоморохов. Где черные черкески с газырями и курчавые папахи кавказцев, шелковые халаты и золотые тюбетейки казанских татар, желтые рубахи цыган, белые чалмы восточных купцов, похожие на огромные кочаны, и соблазнительно яркие платья «сомнительных женщин». Где голоса, слова, разноязычные крики смешались, спрашивают совета, торгуются, ссорятся, спорят — одновременно; купцы нахваливают товар, услужливо мечутся вдоль полок ловкие приказчики, им помогают (однако держась степеннее) хозяйские сынки, старший «братан» и младший — «брательник», оба с припухшими глазами и помятыми лицами — на долгом пути от дома до ярмарки веселы и бессонны ночевки на «вдовьих хуторках», там угощенье хмельное и девицы бесстыдны и визгливы. Мальчики у дверей лавок зазывают покупателей, бойкие лоточники сыплют прибаутками. «Вот сбитень, вот горячий: пьет приказный, пьет подьячий!»; «воздушный цирюльник» за три копейки на ходу и бреет и стрижет: «Постричь, поголить, ус поправить, молодцом поставить»; цыганки хватают проходящих за руку: «Дай погадаю», — требуют гортанными голосами. А над толпою, над площадью, стоят на деревянных неструганых балконах раешники в расшитых рубахах с яркими заплатами-ластовицами под мышками, стоят гимнасты, обтянутые желтыми в черную клетку трико, танцовщицы в розовых юбочках-пачках — стоят и, перекрывая нескончаемый гул, дудят в золотые трубы, трещат трещотками, колотят в огромные барабаны, по круглому корпусу которых намалеваны красные и желтые треугольники: «Спешите! Спешите! Замечательное представление!..»

В смешении народов и языков словно ожило сказание о башне вавилонской: в пятидесятых годах прошлого столетия число жителей в Нижнем составляло 30 789 человек, а с 15 июля по 15 августа съезжалось на ярмарку 120 тысяч — четыре Нижних Новгорода толкалось и кричало одновременно на семистах тысячах квадратных саженей ярмарочной площади!..

В каменных корпусах гостиного двора торгуют сразу две с половиной тысячи лавок; а вокруг жмутся друг к другу еще многие тысячи деревянных строений, и сбитых основательно и наскоро сколоченных, — лавки, лавчонки, склады, сараи. В Железных рядах продают до четырех миллионов пудов уральского железа, на Хлебной пристани выгружают шестьсот тысяч четвертей хлеба, от Гребневских песков тянет с барж крепким рыбным запахом, близ пристани Сибирской высятся горы чайных цибиков — на девять миллионов рублей серебром (чай — товар дорогой, его везут из далекой Кяхты до Перми на лошадях, а из Перми на судах по Каме и Волге; торговцы-«чайники» ставят на столы свежезаваренный чай разных сортов — покупатели идут вдоль столов, прихлебывают из чашек и после каждой пробы споласкивают рот холодной водой, чтобы не утерять вкус). Персиане и бухарцы неподвижны и зорки, кавказцы горячи и шумливы: с востока доставляют на ярмарку каракуль и шемаханские шелка, кофе и корицу, индиго, марену, дорогое сандаловое дерево. А вот наше, российское, — меха лисьи, бобровые, куньи, холсты «разной доброты», шапки, чулки, валенки, рукавицы (из села Богородского — рукавицы кожаные, привозят на ярмарку сразу полмиллиона пар); яловые кожи из губерний Владимирской, Симбирской, Казанской, Вятской, Костромской, также из Нижегородской, где производятся в Арзамасе, Выездной слободе, в деревне Тубанаевке и окрестных селениях Васильевского уезда; юфть из Казани, Сызрани, из Слободского, Мурома, с заводов Московской губернии. Золотые скирды мочалы сверкают под солнцем, словно поставленные прямо на землю соборные купола; конский волос переливается черными струями — гривы продают пудами, хвосты поштучно. Сгрудились на краю ярмарки новые телеги, пахнут дегтем — уперся в небо частый лес оглобель. Сундуки, сибирские и павловские, простые и окованные, одноцветные, темные и расписные, громоздятся стеной, тянутся рядами, как дома в городе, образуя улицы и переулки; привозят сюда двести тысяч сундуков — особый спрос на макарьевские: шесть сундуков вкладываются один в другой, как матрешки.

Торговый оборот на нижегородской ярмарке — 86 миллионов рублей серебром.

2

Идет по ярмарке нижегородский чиновник Владимир Иванович Даль; в миллионных оборотах участие его грошовое; разве купит и опустит в карман цибик чаю, вы-

торгует у лоточника шейный платочек кисейный или серебряное колечко с бирюзой — потешить дочку, или задержится возле офени и со знанием дела отберет для себя лист-другой лубочных картинок. Впрочем, однажды — свидетельствуют документы — Далю было пожаловано девятьсот рублей за «безвозмездное участие в выгодной продаже на ярмарке алтайской меди».

Даль идет мимо Главного дома, где находится летняя квартира губернатора и зала для общественных собраний (здесь на приеме у губернатора Александр Дюма встретился с живыми героями своего романа «Учитель фехтования» — декабристом Иваном Анненковым и его женой, последовавшей за ним в Сибирь, Прасковьей Егоровной, урожденной Полиной Гебль, француженкой; Даль мог быть свидетелем необычной встречи). Он идет мимо православного собора, магометанской мечети и армянской церкви (купцы-старообрядцы имели на ярмарке тайные молельни, за каждую службу платили полицмейстеру сто рублей и частному приставу — пятьдесят). Он идет мимо балкона, на котором появился, обозревая торжище, полицмейстер (Нижнему не везло на полицейских начальников — а какому городу везло? — помнили однорукого Махонина, который за немалую мзду записывал купцов в потомки Минина, — был высочайше назван «дураком» и пожалован генеральским чином; помнили аккуратного взяточника фон Зенгебуша; наконец, наводящий ужас громадными кулаками и разбойными приемами Лаппо-Старженецкий; среди нижегородцев родилась поговорка: «Один брал одной рукой, другой — двумя, а третий лапой загребает», — Даль знал ее, наверно); Даль идет мимо балкона, *не подымая головы*, — *с полицмейстером он не в ладах*. По знакомой одежде он различает оренбургских казаков — их призывали ежегодно для охраны ярмарки; на ярмарке оренбургское воинство не зевало: недаром говорилось, только крикни «караул» — враз казаки примчатся, помогут грабить. Даль идет мимо пожарной части — ярмарке случалось гореть, но не в дни торга (за курение и возжигание огня в лавках сажали на гауптвахту), а больше в осенние и зимние месяцы; сгорало до сотни зданий, тревожное зарево освещало Нижний (в городе пожары тоже были не редкость; Даль писал из Нижнего князю Одоевскому: приключился пожар, полдома сгорело, но сами целы, значит, горевать нечего, — «Три дочери, внезапно поднятые ночью пожаром, были так же покойны, как сидя на Ваших пятницах»). Даль идет мимо ресторанов, трактиров, дешевых харчевен; сотни людей знакомых встречались негаданно на нижегородской ярмарке, сотни людей, впервые увидевших друг друга, здесь знакомились.

В начале пятидесятых годов приезжал на ярмарку увлекшийся хозяйственной деятельностью Николай Огарев, встречался со знакомыми Даля — мог и с ним увидеться. В 1857 году появился в Нижнем сын актера Щепкина, Николай Михайлович, распространял некоторые заграничные издания Герцена — Даль с Николаем Щепкиным вряд ли не были знакомы. В 1855 году литератор П. В. Анненков привез на ярмарку для продажи изданное им и сразу прославившееся Собрание сочинений Пушкина, — Даль, надо полагать, раскошелился с охотой и удовольствием.

3

Но Даль приходит на ярмарку не торговать, не покупать...

На семистах тысячах квадратных саженей — в «вавилонском» смешении народов и языков, в бесконечных разговорах, спорах, возгласах, крике, кличе, в прибаутках, присказках, байках, в разнообразии говоров, в непрерывной круговерти одежд, вещей, красок, — в буйном кипении жизни — на этих семистах тысячах квадратных саженей лежал перед Далем как бы оживший вдруг его словарь.

Нужно только расчленить шум толпы, слитный гомон торговых рядов, разъединить на слова симбирские, казанские, костромские, ухватить новые имена давно известных предметов — и оттого сам предмет нежданно увидеть по-новому. «На рынке пословицы не купишь», но надо услышать, надо запомнить к слову сказанную пословицу — «Пословица недаром молвится». Надо потолкаться в трактире, послушать, как торгуются купцы — «делают подходцы», — каждый норовит «обуть» другого. Надо заглянуть в дощатый балаган, когда алым пламенем взметнется занавес, и наслаждаться потешными байками раешников. («А вот господин чиновник. Служит в винном департаменте, построил себе дом на каменном фундаменте!») Надо приметить мужика-скомороха, того, что бродит по ярмарке с волынкою из цельной телячьей

шкуры, веселит народ, свистя всеми птичьими посвистами и разговаривая один за троих, — приметить и узнать от него, что на медяки, собранные в дурацкий колпак, он содержит семью, из них же платит подати.

...Больше месяца шумит, поет, торгуется ярмарка. Ходит по ярмарке Владимир Иванович Даль. Дома вынимает из кармана цибик чая, кисейный платочек или колечко бирюзовое, главное же — каждый вечер приносит он домой несметные сокровища, единственные, за которые не берут на ярмарке денег — только подбирай. Дома он раскладывает слова по полочкам в своих хранилищах; каждую пословицу переписывает дважды на «ремешки»: один пойдет в словарь как пример для пояснения слов (подобно Оке и Волге, сливаются воедино два бесценных Далевых труда), другой — в тетрадь, предназначенную лишь для пословиц. Таких тетрадей уже сто восемьдесят, и надо что-то делать с ними...

Даль знал, что с ними делать, и мы знаем, что сделал с ними Даль, — перед нами труд его «Пословицы русского народа».

«ПОСЛОВИЦЫ РУССКОГО НАРОДА»

1

«Собрание пословиц — это свод народной, опытной премудрости, цвет здорового ума, житейская правда народа», — пишет Даль; собирать и изучать пословицы — значит сделать «какой-нибудь свод и вывод, общее заключение о духовной и нравственной особенности народа, о житейских отношениях его». В творчестве народа привлекает Даля не только творчество («дар созиданья»), больше — созидатель, даром этим обладающий: н а р о д.

Собирали пословицы и прежде. Еще в конце семнадцатого века составлен был свод «Повестей или пословиц всенароднейших», ибо они «зело потребны и полезны и всеми ведомы добре». В Далево время делу этому много и упрямо служил профессор Иван Михайлович Снегирев. У Снегирева накоплено было около десяти тысяч пословиц, он тоже видел в них отражение исторических событий, общественного и семейного быта, но полагал, что создавались пословицы в избранном, «высшем» кругу, народ же лишь принимал и распространял мудрые речения, открывая в них «сродные русскому добродушие, милосердие, терпение». Митрополит Евгений, один из тогдашних духовных владык, назвал книгу Снегирева «курсом национальной морали»; владыка светский, государь Николай Павлович пожаловал автора бриллиантовым перстнем. Снегирев — серьезный ученый, но он не исследовал пословицы, чтобы узнать и понять свой народ, он полагал, что знает народ и понимает его, и, из этого исходя, собирал (подбирал!) пословицы. Снегиревские сборники называются «Русские в своих пословицах» и (позднейший) «Русские народные пословицы» — заголовки п о с у щ е с т в у отличны от Далева: «Пословицы русского народа».

Снегирев (каковы бы ни были взгляды его) — ученый, для него пословицы р а с п р о с т р а н е н ы в народе, проверены и обточены веками; находились люди, пытавшиеся р а с п р о с т р а н я т ь в народе пословицы. Смешно, однако, по-своему и знаменательно: попытка насадить в народе пословицу — признание ее силы и действенности.

Екатерина Вторая (которая и русского-то не знала толком) с помощью секретарей сочиняла «сентенции» вроде «Милость — хранитель государева» или «Где любовь нелицемерная, тут надежда верная». Уже при Дале, в конце сороковых годов, какой-то анекдотический Ковалько через министра Уварова поднес царю нелепый сборник «Старинная пословица вовек не сломится, или Опытное основание народного мудрословия в двух частях», в коем «изложение есть одной великой мысли духа народного» — любви к государю; назвать пословицами измышления автора невозможно: «Собака на владыку лает, чтоб сказали: ай, Моська, знать, она сильна, коль лает на слона» (высочайше приказано было выпустить книгу вторым изданием).

Ничуть не хотим умалить ученых заслуг Снегирева (кстати, высоко ценимого Далем), но в его взгляде — «С пословицы совлекли ее царственно-жреческое облачение и одели ее в рубище простолюдина и вмешали ее в толпу черни» — и в попытках «свыше» внедрить пословицу в народ есть нечто подспудно общее; оно, это общее, в корне противоречит Далеву убеждению, что пословицы народом созданы и лишь в народе существуют: «Признавая пословицу и поговорку за ходячую монету, очевидно, что надо идти по них туда, где они ходят;

и этого убеждения я держался в течение десятков лет, записывая все, что удавалось перехватить на лету в устной беседе» («ходить по них», по пословицы, — сказано все равно, что «по грибы», — уже в этом оттенке приоткрывается способ Далева собирательства!).

2

Нет, Даль не пренебрег трудами предшественников, в «Напутном» к собранию своему он поминает добрым словом и Снегирева, и Княжевича, издавшего в 1822 году «Полное собрание русских пословиц и поговорок», и других радетелей на общем с ним поприще, поминает даже старинного пиита Ипполита Богдановича с его попытками превратить пословицу в «кондитерскую премудрость» («Сколько волка ни корми, он все в лес смотрит» у Богдановича превратилось в: «Кормленый волк не будет пес — корми его, а он глядит на лес»), поминает Крылова и Грибоедова, поскольку «включал в сборник свой» те их изречения, которые ему приходилось «слышать в виде пословиц», но основной источник труда его не печатные сборники, а «живой русский язык», «по который ходил» он туда, где жил нетронутым, неискаженным язык этот,— в самый народ.

«В собрании Княжевича (1822) всего 5300 (с десятками) пословиц; к ним прибавлено И. М. Снегиревым до 4000; из всего этого числа мною устранено вовсе или не принято в том виде, как они напечатаны, до 3500; вообще же из книг или печати взято мною едва ли более 6000, или около пятой доли моего сборника. Остальные взяты из частных записок и собраны по наслуху, в устной беседе». В собрании Даля более тридцати тысяч пословиц, а точно — 30 130.

Пословицы в труде Даля нередко противоречивы: об одном предмете народ подчас мыслит по-разному: «Мудрено, что тело голо, а шерсть растет — мудреней того». Народ в царя верил: «Без царя — земля вдова», но все же «Государь — батька, а земля — матка», и тут же опыт-подсказка: «До неба высоко, до царя далеко», «Царю из-за тына не видать». Народ в бога верил: «Что богу угодно, то и пригодно», но все же «Бог и слышит, да не скоро скажет», и опыт-подсказка: «На бога надейся, а сам не плошай!» Народ в правду верил: «Кто правду хранит, того бог наградит», но все же «У всякого Павла

своя правда», и опыт-подсказка: «Правду говорить — никому не угодить», «Правда в лаптях; а кривда хоть и в кривых, да в сапогах». Даль объяснял: «Самое кощунство, если бы оно где и встретилось в народных поговорках, не должно пугать нас: мы собираем и читаем пословицы не для одной только забавы и не как наставления нравственные, а для изучения и розыска, посему мы и хотим знать все, что есть».

3

Труд Даля, вопреки названию, — не одни пословицы; подзаголовок разъясняет: «Сборник пословиц, поговорок, речений, присловий, чистоговорок, прибауток, загадок, поверий и проч.». В «Напутном» Даль толкует: пословица — «коротенькая притча», «суждение, приговор, поучение, высказанное обиняком и пущенное в оборот, под чеканом народности»; поговорка — «окольное выражение, переносная речь, простое иносказание, обиняк, способ выражения, но без притчи, без суждения, заключения, применения; это одна первая половина пословицы» («Поговорка — цветочек, а пословица — ягодка») и т. д. Но мы, не покидая окончательно разговора о составе, поспешим к построению труда его.

Немногочисленные и необъемные собрания Далевых предшественников строились обычно «по азбучному порядку». Встречались, впрочем, и редкие исключения: известный ученый Востоков, к примеру, небольшой рукописный свод имевшихся у него пословиц расположил в порядке «предметном», выбирая из несметного богатства изреченных сокровищ те, что открывали «добродетели» человеческие. Сам перечень «добродетелей» необычайно характерен: осторожность, рассудительность, бережливость, умеренность, благонравие; как хотелось, должно быть, все это узреть в народе и как не укладывалось в «добродетели», заранее вписанные в тетрадочку Востоковым, то, что думал, чувствовал и отчеканил в изречения народ!..

Новизна построения Далева труда не в том, что «предметный порядок» расположения пословиц никому прежде в голову не приходил, а в том, что Даль не к определенным понятиям подбирал пословицы, а шел наоборот: собранные тысячи разделил по содержанию и смыслу. Не всегда удачно (подчас пословица может быть отнесена не к одному — к нескольким разрядам, подчас одна по-

словица встречается и в нескольких разрядах), но это мелочи, издержки, главного Даль добился: «народный быт вообще, как вещественный, так и нравственный», в труде его открывается.

Даль сознавал возможные издержки: «Принятый мною способ распределения допускает бесконечное разнообразие в исполнении... Смотря по полноте или обширности, частности и общности толкования пословицы, можно ее перемещать из одного разряда в другой сколько угодно и еще утверждать, что она не на месте». Но, посмеивался Даль, «расстричь их и расположить в азбучном порядке может всякий писарь» и тем самым доставить образованному обществу забавную игру: «загадывать на память пословицы и справляться, есть ли они в сборнике». Издержки Даль сознавал и упреки предвидел, однако он в правоте своей был твердо и неколебимо убежден, он убежден был, что в главном не ошибся: «Обычно сборники эти издаются в азбучном порядке, по начальной букве пословицы. Это способ самый отчаянный, придуманный потому, что не за что более ухватиться. Изречения нанизываются без всякого смысла и связи, по одной случайной и притом нередко изменчивой внешности. Читать такой книги нельзя: ум наш дробится и утомляется на первой странице пестротой и бессвязностью каждой строки; приискать, что понадобилось, нельзя; видеть, что говорит народ о той либо другой стороне житейского быта, нельзя; сделать какой-нибудь вывод, общее заключение о духовной и нравственной особенности народа, о житейских отношениях его, высказавшихся в пословицах и поговорках, нельзя; относящиеся к одному и тому же делу, однородные, неразлучные по смыслу пословицы разнесены далеко врозь, а самые разнородные поставлены сподряд...»

Вот пример простой (ничтожный даже, если на Далевы несметные запасы поглядеть), но «У бедного и два гроша — куча хороша»: выпишем у Даля полтора десятка пословиц и поговорок, чтобы лучше строение труда его понять. Вот они — сначала по азбучному порядку:

Б — «Богатство с деньгами, голь с весельем»

В — «Вино надвое растворено: на веселье и на похмелье»

Г — «Где закон, там и обида»

Д — «Дуга золоченая, сбруя ременная, а лошадь некормленая»

Е — «Ехал наживать, а пришлось и свое проживать»

Ж — «Житье — вставши да за вытье»

К — «Кто законы пишет, тот их и ломает»

М — «Муж пьет — полдома горит, жена пьет — весь дом горит»

Н — «Небом покрыто, полем огорожено»

О — «Одна рюмка на здоровье, другая на веселье, третья на вздор»

П — «Продорожил, ничего не нажил, а продешевил да два раза оборотил»

Р — «Рубище не дурак, а золото не мудрец»

С — «Свой уголок — свой простор»

Т — «Торг — яма: стой прямо; берегись, не ввались, упадешь — пропадешь»

Ч — «Что мне законы, были бы судьи знакомы»

Каждое изречение по-своему метко, умно, однако все вместе они пока ни о чем не говорят — они разобщены: просто выписанные подряд полтора десятка народных изречений. Но вот те же пословицы и поговорки как они у Даля — по содержанию и смыслу:

Достаток — убожество

«Житье — вставши да за вытье»
«Богатство с деньгами, голь с весельем»
«Рубище не дурак, а золото не мудрец»

Двор — дом — хозяйство

«Свой уголок — свой простор»
«Небом покрыто, полем огорожено»
«Дуга золоченая, сбруя ременная, а лошадь некормленая»

Закон

«Где закон, там и обида»
«Кто законы пишет, тот их и ломает»
«Что мне законы, были бы судьи знакомы»

Торговля

«Продорожил, ничего не нажил, а продешевил да два раза оборотил».
«Ехал наживать, а пришлось и свое проживать»
«Торг — яма: стой прямо; берегись, не ввались, упадешь — пропадешь»

Пьянство

«Вино надвое растворено: на веселье и на похмелье»

«Муж пьет — полдома горит, жена пьет — весь дом горит»

«Одна рюмка на здоровье, другая на веселье, третья на вздор»

Признаемся: не случайно именно из этих разделов Далева сборника выписали мы примеры, — помним, что Даль на сотнях пословиц раскрыл перед деятелями Географического общества семейный быт на Руси; судя по одному из писем его, он предполагал также, основываясь на пословицах, показать, «что именно народ говорит» о бедности, о доме, о законах, о торговле, о пьянстве. Читая подряд две-три сотни пословиц на одну тему, можно постигнуть мнение народное, сквозь толщу метких и веселых слов увидеть золотой песок на дне, мудрость, отстоявшуюся в веках.

4

«На пословицу ни суда, ни расправы» — Даль не пытался, ему и в голову не приходило не то что пригладить пословицу, но — чего проще! — припрятать: в труде своем он отдавал народу то, чем владел, без оглядки и без утайки. Труд вышел из-под пера его неприглаженный, непричесанный — рыжими огненными вихрами торчали, бросаясь в глаза, будто дразня, речения вроде: «Царь гладит, а бояре скребут», «Попу да вору — все впору», «Господи прости, в чужую клеть пусти, пособи нагрести да вынести», «Барин за барина, мужик за мужика», «Хвали рожь в стогу, а барина в гробу». Это поместил в своем сборнике тот самый Даль, который призывал освобождать крестьян умеренно и аккуратно; тот самый, который советовал остерегаться слов «свобода», «воля» — они-де воспламеняют сердца, а в сборнике пословиц его: «Во всем доля, да воли ни в чем», «Воля велика, да тюрьма крепка», и тут же: «Поневоле конь гужи рвет, коли мочь не берет», «Терпит брага долго, а через край пойдет — не уймешь».

Люди, чье меткое и мудрое слово становилось пословицей, крестьяне русские, верили в бога и подчас не меньше, чем в бога, верили в надежу-государя, веками повиновались барам и терпеливо сносили гнет и бесправие. Но эти же люди, неведомые творцы пословиц, всякий день убеждались, что милостив бог не ко всякому и что редко сбывается надежда на справедливость — «Бывает добро, да не всякому равно»; истощалось терпение — «Жди, как вол обуха!», шла брага через край — «Пока и мы человеки — счастье не пропало»; поднимались деревни, волости, губернии, присягали Стеньке и Пугачу, усадьбы барские горели, и города сдавались крестьянскому войску; дрожали в страхе шемяки-чиновники («Подьячий — породы собачьей; приказный — народ пролазный»), и поп-обирала («Попово брюхо из семи овчин сшито») прятался в своей кладовой между пузатыми мешками; новые пословицы рождались.

Осторожный Даль сотню повестушек готов был под спудом держать — пусть «гниют», лишь бы спать спокойно, а сотню пословиц из собрания своего выбросить не захотел, хотя и предвидел: «Сборник мой... мог бы сделаться небезопасным для меня» — и в том не ошибся. Даль ни одной пословицы выбросить не пожелал — тут дело взгляда, убеждения: Даль не придумывал народ с помощью пословиц, а показывал, как в пословицах, разных, нередко противоречивых, раскрывается народ. Даль здесь близок по взгляду Добролюбову, который тоже видел в пословицах «материал для характеристики народа». Любопытно: из одного и того же неиссякаемого источника, из Далева собрания, черпали запасы и Лев Толстой для речей любимца своего, покорного и умиротворенного «неделателя» Платона Каратаева, и участники революционного кружка, выбравшие из «Пословиц русского народа» самые крамольные, «кощунственные» и составившие из них агитационный (по Далю — «подстрекательский») раек.

5

Даль эту неисчерпаемость чувствовал и понимал — каждый в сборнике найдет свое. «В редьке пять ествь: редечка триха, редечка ломтиха, редечка с маслом, редечка с квасом да редечка так», — народ неисчерпаем, и оттого так разна «ествами» острая редечка-пословица. В «Напутном» Даль писал: «Толковать остроту или намек, который читатель и сам понимает, — пошло и приторно... Самые читатели, как бы мало их ни нашлось, также не

одинаковы, у всякого могут быть свои требования — не солнце, на всех не угреешь».

На всех Даль не угрел: начинается долгая, почти десятилетняя история напечатания «Пословиц русского народа» [1].

«Будет ли, не будет ли когда напечатан сборник этот, с которым собиратель пестовался век свой, но, расставаясь с ним, как бы с делом конченным, не хочется покинуть его без напутного словечка» — такими строками открывает Даль предисловие к своему труду и прибавляет: «Вступление это написалось в 1853 году, когда окончена была разборка пословиц; пусть же оно остается и ныне, когда судьба сборника решилась и он напечатан». Наверно, не случайно захотелось Далю «оставить и ныне» (и тем самым навсегда) горестную тревогу — «будет ли, не будет ли когда»: тяжелую, неравную борьбу за то, чтобы итог тридцати пяти лет жизни и труда увидел свет, остался людям, из прожитого века своего не выкинешь — и хорошо обошлось, да все сердце жжет...

Академия наук, куда попал труд Даля, поручила высказать суждение о нем двум членам своим — академику Востокову и протоиерею Кочетову.

Отзыв Востокова не слишком подробен и не враждебен, хотя и не вполне благожелателен: рядом со справедливыми замечаниями об ошибочных толкованиях отдельных пословиц (Даль к мнению Востокова прислушался) неудовольствие из-за присутствия пословиц на религиозные темы — «Прилично ли?..». В целом же: «Собирателю надлежало бы пересмотреть и тщательно обработать свой труд, который, конечно, содержит в себе весьма много хорошего». Бесстрастный аккуратист-академик не поленился отметить пословицы переводные — и с какого языка, указал, выписал пословицы литературного происхождения — и автора назвал...

Пунктуалист!

То ли дело протоиерей-академик, вот про этого не скажешь «бесстрастный» — сколько пылу, задору; про этого не скажешь «критик», «недоброжелатель» — враг!.. Протоиерей был ученый человек, участвовал в составлении академического «Словаря церковнославянского и русского языка», издал первый на русском языке опыт «науки нравственного богословия»; но можно по-разному знать и любить свой язык, по-разному ценить самородки народного ума и слова, а также иметь разные суждения о нравственности народной.

«По моему убеждению, труд г. Даля есть 1) труд огромный, но 2) чуждый выборки и порядка; 3) в нем есть места, способные оскорбить религиозное чувство читателей; 4) есть изречения, опасные для нравственности народной; 5) есть места, возбуждающие сомнение и недоверие к точности их изложения. Вообще о достоинствах сборника г. Даля можно отозваться пословицею: в нем бочка меду да ложка дегтю; куль муки да щепотка мышьяку».

Эта «щепотка мышьяку» Даля особенно разозлила: он ее все забыть не мог и спустя почти десять лет писал в «Напутном»: «Нашли, что сборник этот и небезопасен, посягая на развращение нравов. Для большей вразумительности этой истины и для охранения нравов от угрожающего им развращения придумана и написана была, в отчете, новая русская пословица, не совсем складная, но зато ясная по цели: «Это куль муки и щепоть мышьяку».

Даже «огромность» труда, которая вроде бы могла быть Далю в заслугу поставлена, для протоиерея — грех: «Через это смешал назидание с развращением, веру с суеверием и безверием, мудрость с глупостью...»; смешал «глаголы премудрости божьей с изречениями мудрости человеческой» («сие не может не оскорблять религиозное чувство читателей»); «священные тексты им искалечены, или неверно истолкованы, или кощуннически соединены с пустословием народным».

«Соблазн приходит в мир... в худых книгах»... «Не без огорчения благочестивый христианин будет читать в книге г. Даля»... «К опасным для нравственности и набожности народной местам в книге г. Даля можно еще отнести»... Про мудрость народа, про благочестивую нравственность его — протоиерей походя, а как до дела — без обиняков: «Нет сомнения, что все эти выражения употребляются в народе, но народ глуп и болтает всякий вздор»; Далев труд есть «памятник народных глупостей» (а Даль-то полагал, что мудрости народной!).

Кочетовскому под стать — как сговорились (а может, и сговорились!) — отзыв «светского» цензора, коллежского советника Шидловского. Коллежскому советнику разы-

[1] Документы, связанные с напечатанием Далева труда, см. ПД, № 27463—27470/CXCV—CXCVI б. 15.

грывать ученого мужа незачем, но мужа бдительного нелишне: он вслед за Кочетовым твердит об «оскорблении религиозных чувств», главное же, не упускает случая ухватить «вредную двусмысленность». Раздел «Ханжество», а пословица — «Всяк язык бога хвалит»; раздел «Закон», а пословица — «Два медведя в одной берлоге не уживутся». Само «соседство» иных изречений неуместно, ибо может вызвать смех, заключая в себе понятия, которые «не должны бы находиться в соприкосновении»: «У него руки долги (то есть власти много)» и следом «У него руки длинны (то есть он вор)» — разве допустимо? Нет, недопустимо, никак нельзя: «Пословицы и поговорки против православного духовенства, казны, власти вообще, службы, закона и судей, дворянства, солдат (?), крестьян (?) и дворовых людей не только бесполезны (!), но, смею сказать, исключительно вредны»...

И вот ведь прелюбопытная особенность ревностных «охранителей»: им дают на отзыв т р у д Даля, а они все норовят и в строках, и между строк «открыть» неблагонамеренность, тайный умысел самого Д а л я, так их и подмывает д о н е с т и: «Если этот сборник есть плод трудов человека, окончившего курс учения в одном из высших воспитательных заведений в России, человека, много лет состоящего на службе...»; или: «Правительство заботится о том, чтобы издать более книг назидательных, способных просвещать народ, а г. Даль...» Даль отвечал потом в объяснительной записке: «Я не вижу, каким образом можно вменить человеку в преступление, что он собрал и записал, сколько мог собрать, различных народных изречений, в каком бы то ни было порядке. А между тем отзывы эти отзываются какими-то приговорами преступнику».

Барон Модест Андреевич Корф, директор публичной библиотеки (и он же — член негласного комитета для надзора за книгопечатанием), рассудил по-своему: поскольку цель Далева труда «собрать все», сборник следует напечатать «в полном его составе», но поскольку это было бы «совершенно противно» «попечению правительства об утверждении добрых нравов», сборник следует напечатать «в виде манускрипта... в нескольких только экземплярах» — и то «к напечатанию сборника можно приступить за отзывами цензуры и министерства народного просвещения», да вдобавок — «не иначе как с особого высочайшего соизволения». Прелюбопытнейшая мысль Корфа: «Сборник пословиц, в том виде как он задуман и исполнен г. Далем, есть книга, для которой должно желать не читателей (!), а ученых исследователей, не той публики, которая слепо верит во все печатное... а такой, которая умеет возделать и дурную почву (!)». Даль всему народу хотел возвратить взятые у него сокровища, а Корф предлагал (как милость!) держать труд Даля для нескольких ученых мужей под замком, в главных библиотеках.

Но и скопческий проект Корфа не был осуществлен: за малым дело — высочайшего соизволения не последовало. Император Николай, благосклонно принимавший поделки про глупую Моську, которая на владыку лает, и щедро награждавший придуманное «охранителями» «мнение народное», не пожелал видеть напечатанным труд, который ум, душу и опыт народа открывал в народном слове.

Смешно: Корф писал в отзыве, что в пословицах, н а р о д о м с о з д а н н ы х, «множество лжеучений и вредных начал», «опасных д л я н а ш е г о народа», — царь, барон, протоиерей пытались отвадить народ от того, к чему он в течение долгих веков приходил мыслью и сердцем. Царь, барон, протоиерей, коллежский советник пытались процедить сквозь свое решето народную мудрость, которую как самую великую ценность пытался уберечь Даль. «Гуси в гусли, утки в дудки, вороны в коробы, тараканы в барабаны, коза в сером сарафане; корова в рогоже — всех дороже».

Сборник «Пословицы русского народа» увидел свет лишь в начале шестидесятых годов. На титульном листе, под заголовком, Даль поставил: «Пословица несудима».

ЧУДАК

1

Даль приехал на берега Волги искать «новое счастье»; поселился в здании удельной конторы на углу Большой Печерской и Мартыновской улиц — дом отменный, двухэтажный (Далю вообще везло на квартиры), с обширным садом; «дом — дворец, сад прекрасен, погода хорошая», — сообщает он приятелю в Петербург, едва достигнув Нижнего. Но это первый возглас радости, следующие нескол-

ко писем друзьям сдержанны, в них явное желание показать, что не зря покинул столицу, что теперь он особа тихая, незаметная: и писать-то он не намерен, и занятий-то у него, кроме разборки накопленных запасов, нет никаких, и вмешиваться он ни во что не хочет, и знакомиться не предполагает — потерялся Даль в глуши, втянулся, будто улитка, в свой «дворец» — не высовывается.

«Зажил в одиночестве», «в полгода из дома не шагаю», «в Петербург не буду, по крайности не думаю доселе быть; так он мне надоел». Даль будто «отрезает» себя от старого, петербургского «счастья», но это только «будто»: в первых же письмах из Нижнего слова о том, что ему, Далю, до Питера и дела нет, перемежаются жаркой скороговоркой вопросов и просьб. Что Брюллов? Что Надеждин? Что Краевский? Что Гребенка? Как дела в министерстве, в Географическом обществе, в «Современнике»? Присылайте газеты, журналы — «Я ничего не вижу и не слышу, кроме «Московских ведомостей», «из журналов вижу только «Отечественные записки» и «Москвитянин». И вообще: «За служебные и другие петербургские новости очень благодарю; здесь это находка»... Тут же спохватывается: «Прослужив у вас столько времени, охотно слышишь и новости ваши» (многозначительно: «у вас», «ваши»). Наконец вроде бы ознакомился и привык: «Прошу о доброй памяти, а я надеюсь умереть здесь — не потому, что бы здесь было насмерть плохо, и не потому, что было бы слишком хорошо, — а потому что жить довольно покойно и что я более ничего не ищу».

Ищет: то появится у него мысль возвратиться в «ненавистный» Питер, то затеет он переписку с великим князем Константином Николаевичем, управляющим морским министерством, чтобы перевели его, Даля, в Москву для издания лубочных картин о подвигах русских моряков. Он только со службы уйти до поры не хочет: «Вышедши в отставку, я могу рассчитывать всего... на две тысячи доходу: как с этим проживу со своей семьей в Москве? А неужели мне забиться ради дороговизны в деревню или в уездный городишко? Для меня-то бы все равно, но надо думать и о других, заехать куда и умереть не штука, да как покинуть после детей на чужбине?»

Он ищет: вот пословицы подготовил к печати, ежедневно разбирает запасы для словаря; вот полетели в журнальные редакции его «гостинцы» (Некрасов — Тургеневу: «Современник» получил новое подкрепление в Дале...

Он выслал 20 повестушек»); вот по просьбе Академии наук он вносит замечания и прибавления в «Опыт словаря областного русского языка», просматривает «Общесравнительную грамматику русского языка», высказывает суждение о «Правилах для нового издания Академического словаря», обрабатывает слова на букву «Н» для «Русского словаря», издаваемого академией...

Иногда пишут, будто Даль мог предаваться в Нижнем литературным и научным занятиям, потому что был «свободен от службы», но пишут и наоборот (сам Даль с теми, кто «наоборот»), будто Даль не мог в полную силу заняться учеными и литературными трудами, потому что и в Нижнем служба отнимала у него слишком много времени. В том-то и весь Даль, чтобы непостижимым образом укладывать в двадцать четыре часа и пословицы, и словарь, и ученые труды для академии, и литературную работу, и службу — да еще какую службу! — «У столичных чиновников даже нет и понятия о той грязи, с которою мы возимся. Но унывать нельзя, а надо бороться день и ночь до последнего вздоха». Непостижимо, как Даль совмещал все это с чтением журналов, многочисленными встречами (если Даль и впрямь «в полгода из дому не выходил», то «в одиночестве» все-таки не зажил), с чудачествами, увлечениями да еще с обширной перепиской. А заглянешь в Далево письмо: «Словарем летом мало занимаюсь: утром никогда нет досуга на это, всегда в конторе; вечером отдыхаем в саду, вдыхая воздух в запас на зиму» — отдыхает человек в саду после службы канцелярской, ничем особливо и не занят...

2

В воспоминаниях Боборыкина (в Нижнем прошли его детство и отрочество) дважды рассказывается об одной и той же, единственной встрече с Далем. «Он (Даль) почти нигде не бывал. Меня к нему повезли уже студентом. Но он и в нас, гимназистах, возбуждал сильное любопытство. Его считали гордецом, большим «чудодеем», много сплетничали про него, как про начальника своего ведомства, про его семейную жизнь, воспитание детей и привычки. Он образовал кружок врачей и собирал их у себя на вечеринки, где, как тогда было слышно, говорили по-латыни. Много было толков и про шахматные партии вчетвером, которые у него разыгрывались по известным дням. То, что

было поразвитее, и помимо его коллег-врачей искало его знакомства, но светский круг побаивался его чудачеств и угрюмости».

И через несколько страниц: «О нем много говорили в городе, еще в мои школьные годы, как о чудаке, ушедшем в составление своего толкового словаря русского языка... Мы его застали за партией шахматов. И он сам — худой старик, странно одетый — и семья его... их манеры, разговоры, весь тон дома не располагали к тому, чтобы чувствовать себя свободно и приятно. Мне даже странно казалось, что этот угрюмый, сухой старик, нахохлившийся над шахматами, был тот самый «Казак Луганский», автор рассказов, которыми мы зачитывались когда-то. Несомненно, однако ж, что этот дом был самый «интеллигентный» во всем Нижнем. Собиралось к Далю все, что было посерьезнее и пообразованнее; у него происходили и сеансы медиумического кружка, заведенного им; ходили к нему учителя гимназии. Через одного из них, Л-на, учителя грамматики, он добывал от гимназистов всевозможные поговорки и прибаутки...»

Приведенные строки интересны не тем лишь, что хотел сказать Боборыкин, но больше тем, что само сказалось. Юношу студента дядюшка повез показывать знаменитому Далю (или Даля решил племяннику показать), юноша с малолетства был напичкан какими-то городскими слухами и сплетнями о Дале, да не просто сплетнями, а светскими сплетнями; нижегородскому «светскому кругу», к которому, кстати заметим, и юноша Боборыкин принадлежал, Даль казался угрюмым чудаком. «Тон» Далева дома не расположил его «чувствовать себя свободно и приятно».

Знаменательны повторенные Боборыкиным «чудак», «чудачество». Очень точно указано — для кого чудак: этот губернский «свет», чиновники, помещики, бездельное речистое дворянство, «помпадуры и помпадурши», «сеятели» и «деятели», губернские бабушки, тетеньки, дамы, приятные во всех отношениях и просто приятные, — да разве они простят тому, кто непохож на них, кто живет, думает иначе и видит перед собой иную цель. Ведь замечательно же: «чудак, ушедший в составление своего толкового словаря»!..

Даль, наверно, не случайно именно в Нижнем написал рассказец «Чудачество»: в рассказце горячо защищал он не «прихоть», «блажь» или «дурь», а именно стремление некоторых людей жить по-своему, не так, как у других принято. Даль предлагал «признать чудачество врожденным свойством человека, выражением свободной воли и независимости, дошедшим до некоторой крайности. Видно, душа не всегда меру знает». С хитрой усмешкой вспоминал «угрюмый старик» Даль какого-то простого оренбургского крестьянина — тот «поистине ни в чем не уступал знаменитому до наших времен на весь мир Диогену, который чествуется всеми нами под именем мудреца. Крестьянин этот тем еще бесспорно брал верх над мудрецом греческим, что жил не тунеядцем, не лежал на боку, а работал; во-вторых, он всех людей оставлял в покое, не бранился с ними, не осмеивал их за то, что они живут не по обычаю, но сам строго держался правил своих, принятых им, как говорили, еще смолоду». Хитрый рассказец написал чудак — управляющий удельной конторой, который управлял ею не по обычаю («много сплетничали про него, как про начальника своего ведомства»), тратил свободное время на возню со словами и пословицами, на кружок врачей — их было в городе двадцать человек на пять больниц (трактиров, харчевен и питейных домов было в общей сложности пятьдесят шесть!), да еще беседовал с коллегами-врачами (они, выходит, ему коллеги, а не губернские чиновники, «сеятели» и «деятели») по-латыни, да еще собирал у себя учителей гимназии и переписывал под их диктовку прибаутки мальчишек-учеников, да в довершение всего играл с гостями в шахматы, и шахматы вдобавок выточил сам на станке, — одним словом, жил не по обычаю, строго держался правил своих и требовал, чтобы его за это не бранили и не осмеивали, — чудак!..

3

Даль жил в Нижнем по своему обычаю: слова его, что он в полгода из дому не выезжал сродни боборыкинским «почти нигде не бывал», то есть в «светском круге» не бывал, в губернское «общество» не выезжал, — одно из толкований «выезжать» в словаре Даля как раз такое: «бывать в обществе». Но по службе-то он выезжал — и бесконечно много разъезжал: тридцать семь тысяч удельных крестьян, которыми управлял Даль, были расселены по разным уездам Нижегородской губернии. Да и вне службы, как свидетельствует тот же Боборыкин, как

можем мы судить на основании других источников, «одиноким» Даль не был. Стоило бы приглядеться внимательно к кругу врачей, учителей, краеведов, живших в Нижнем в одно время с Далем и составлявших его общество, но для этого потребуется долгое и кропотливое исследование; поэтому назовем имена людей наиболее замечательных — само знакомство и общение с ними своеобразно освещает жизнь и личность Даля.

Это Мельников-Печерский; по собственному признанию, он «почти все свободное время проводил в семействе Даля». Мы можем говорить наконец не о биографе Даля, но о писателе Мельникове-Печерском, ибо писателем он стал именно в этом «дворце» удельной конторы на углу Большой Печерской и Мартыновской улиц. По названию улицы и фамилии домовладельца (Андреев) Даль придумал для своего друга псевдоним «Андрей Печерский». Уже после кончины Даля Мельников называл его «дорогим учителем и руководителем на поприще русской словесности». Губернский чиновник и литератор Павел Мельников вышел из дома Даля всероссийски известным писателем Андреем Мельниковым-Печерским.

Это Михаил Ларионович Михайлов, будущий сподвижник Чернышевского, погибший на каторге, будущий поэт и прозаик, но в начале пятидесятых годов входивший в силу переводчик. По бедности Михайлов вынужден был оставить Петербургский университет и перебраться в Нижний; здесь какой-то родственник пристроил его на службу в соляное управление. Пыпин сообщает, что Михайлов «жил, кажется, у Даля», эту подробность (не без влияния Пыпина, наверно) повторяют авторы ряда статей и о Михайлове, и о Дале; если так, то можно допустить, что Чернышевский и Пыпин, которые в 1850 году по дороге из Саратова заглянули в Нижний, чтобы найти Михайлова, встретились с ним в доме Даля. Это, однако, предположение: Пыпин в автобиографических своих заметках кое-что путает, сообщает даже, что Михайлов с Далем, «кажется, был в родстве». Но и путаница не вполне безосновательна; отец Михайлова долгие годы жил в Оренбурге и был там заметной персоной, Даль в оренбургскую пору, несомненно, знал семью Михайловых, наверное, знал и Михаила Ларионовича, ребенка, потом отрока. Отсюда слухи о родстве; вполне допустимо, что Даль на какое-то время поселил у себя Михайлова.

Но не менее важны литературные отношения Даля и Михайлова: именно в Нижнем юный переводчик выступил с рассказами и романами из провинциальной жизни; по свидетельству современника, «Михайлов посвящал Даля в свои литературные планы и советовался с ним...». Еще один «подопечный»...

Это Александр Дмитриевич Улыбышев, музыкальный писатель, автор книг о Моцарте и Бетховене, литератор-публицист. В молодости Александр Дмитриевич был в обществе «Зеленая лампа», служил в Коллегии иностранных дел, ему, кажется, предлагали отправиться в Тегеран, на место убитого «вазир-мухтара» Грибоедова, но он предпочел отставку и тихий Нижний Новгород. Есть что-то общее в личности Улыбышева и Даля: Александр Дмитриевич — тоже «чудак», нижегородцы посмеивались над неизменностью его привычек, над прогулками, столь точными, что по ним проверяли часы, над обязательными посещениями театра, над любовью к народным сказкам, которые ежедневно рассказывала ему няня. У себя в доме Улыбышев создал единственный нижегородский музыкальный кружок (здесь в Далево время вызревал как пианист и дирижер юный Балакирев) — трудно представить себе, что Даль, с детства любивший музыку, не посещал улыбышевские вечера; к тому же и дочери Даля были хорошими пианистками. Улыбышев писал и драмы; материалом для пьесы «Раскольники» снабдил его Даль.

Это Иван Иванович Пущин, декабрист, «друг бесценный» Пушкина. Еще в ссылке читал он статью-письмо Даля о кончине поэта: летом 1858 года, уже по возвращении из Сибири, он приехал в Нижний — нетрудно догадаться, с какой поспешностью бросился он к Далю: «В Нижнем Новгороде я посетил Даля (он провел с Пушкиным последнюю ночь). У него я видел Пушкина простреленный сюртук». В письмах Пущина из Нижнего не раз сообщается о беседах с Далем, которые, судя даже по скупым упоминаниям, касались тем весьма злободневных; не удивительно — конец пятидесятых годов, пора ожидаемых общественных перемен. «Я жестоко ораторствую по крестьянскому делу (и по другим отраслям)», — пишет Пущин из Нижнего.

Пущин называет имя еще одного общего их с Далем собеседника — поэта Петра Шумахера, известного в Нижнем своими веселыми поэтическими описаниями

городских происшествий. Весельчак Шумахер доставил, между прочим, в Нижний Новгород четвертый номер («лист») герценовского «Колокола»; здесь же Пущин читал и письмо Герцена к Александру Второму по поводу книги Корфа о 14 декабря 1825 года.

Город, похоже, был порядком снабжен изданиями Вольной печати; трудно предположить, что любознательный Даль о Герцене и деятельности его «не слыхал и не ведал». Интересно письмо сына Даля — Льва, отправленное в шестидесятых годах из Флоренции к неизвестному приятелю [1]; Флоренция была в ту пору пропитана духом Герцена — там жили его дети, друзья, сам Герцен туда наезжал, его нетерпеливо ждали и встречали горячо. Даль-младший выказывает в письме хорошую осведомленность о деятельности Герцена и отзывается о ней неодобрительно; у нас нет оснований «подозревать» Даля-старшего в более сочувственном отношении к Герцену. Но в заграничных герценовских изданиях появилось много статей и заметок, которые должны бы занимать не только Пущина, но и Даля, — поэтому можно без труда допустить, что о Герцене они говорили.

Даль почувствовал в Пущине близкого человека и был откровенен с ним (высказал ему некоторые воззрения, которые даже менее осмотрительный Пущин не пожелал доверить почте); Пущин почувствовал не простое гостеприимство, но близость, родившуюся в душе Даля, когда Даль предложил «приютить» его, да вот сам не сумел ответить Далю полной мерой: «Я не иначе у кого-нибудь останавливаюсь, как если уже настоящим образом близок».

Нетрудно продолжить беглый и далеко не полный перечень встреч Даля. Это Константин Аксаков; отец Аксаков, Сергей Тимофеевич, письмом благодарит Даля за радушие, с которым тот принимал сына его, а сам Константин Сергеевич просит: «Сделайте одолжение, записывайте на бумагу все, что Вы рассказали мне о крестьянах и тому подобное. Это выйдут превосходные рассказы» [2] (почти дословно повторяет давнюю просьбу Гоголя — заставлять Даля «рассказывать о быте крестьян в разных губерниях России»). Это Добролюбов, который, оказавшись в родном Нижнем, несколько раз побеседовал с Далем (об этих беседах речь впереди). Это Щепкин Михаил Семенович, актер, — они с Далем и прежде были знакомы; в 1857 году Щепкин приезжал на гастроли в Нижний Новгород, чтобы обнять старинного и дорогого друга, возвращенного из ссылки кобзаря Тараса Шевченко.

[1] ЦГАЛИ, ф. 179, оп. 1, ед. хр. 34.
[2] ПД, № 27276/CXCVI, б.

РОДНОЕ ЧУВСТВО

1

«20 сентября 1857 года... В 11 часов утра «Кн. Пожарский» положил якорь против Нижнего Новгорода. Тучки разошлися, и солнышко приветливо осветило город и его прекрасные окрестности. Я вышел на берег...» — записал в дневнике Шевченко.

Солнышко недолго светило приветливо: Шевченко полагал, что едет, свободный наконец, в Москву, в Петербург, но власти решили иначе: «заготовили» для ненавистного кобзаря обратное «путешествие, пожалуй по этапам, в Оренбург за получением указа об отставке». С большим трудом удалось поэту избежать этого «путешествия» — он остался в Нижнем ждать решения своей участи: думал провести несколько веселых дней в приветливом городе и прекрасных его окрестностях, а застрял почти на шесть месяцев, — он двинулся дальше лишь 10 марта следующего, 1858 года.

В Нижнем Новгороде Шевченко встречался с Далем, и встречи эти, описанные самим Шевченко, освещаются подчас с противоположных точек зрения. Шевченковеды объясняют или коротко сообщают, почему поэт-революционер не мог сойтись с Далем, а биографы Даля спешат иногда зачислить Шевченко в число его друзей, вдобавок «особенно близких» [1].

[1] Появилось даже сообщение о какой-то «особой роли» Даля в освобождении Шевченко. Однако документы, приведенные в качестве доказательства, выбраны произвольно, грешат неточностями, толкования их односторонни. Имеющиеся документы, на наш взгляд, позволяют пока лишь предположить, что Даль мог быть в числе тех, кто пытался несколько облегчить участь ссыльного поэта.

2

Шевченко и Даль познакомились еще в Петербурге, были у них общие друзья (Жуковский, например, или украинский писатель Гребенка), но, кроме короткого «с Далем я здесь не виделся, хотя с ним прежде и был знаком» на «нижегородских страницах» дневника Шевченко, никаких сведений о прежних «близких» их отношениях не сохранилось.

Поэт приехал в Нижний 20 сентября. Первое упоминание о Дале — о том, что они еще не виделись, — 11 ноября. В тот же день Шевченко получил письмо от «святой заступницы» своей Анастасии Ивановны Толстой, так много постаравшейся ради освобождения поэта, письмо, с которым он должен зайти к Далю; назавтра Шевченко отвечает Толстой, что «не нашел» Владимира Ивановича дома, в дневнике же записывает: «почему-то, не знаю, прошел мимо его квартиры» — видно, не очень тянуло зайти.

Далю известен был адрес поэта, который вот уже два месяца, как явился в Нижний, однако и Даль тоже на свидание не торопился.

Только 17 ноября Шевченко делает «визитацию»: «Он принял меня радушно, расспрашивал о своих оренбургских знакомых, которых я не видел с 1850 года, и в заключение просил заходить к нему запросто, как к старому приятелю». (Подобное приглашение получали очень многие гости Далева дома.) «Не премину воспользоваться таким милым предложением», — добавляет в дневнике Шевченко. Однако «преминул» лишь через десять дней — «Волей-неволей сегодня я должен был обедать у Даля...». Еще через десять дней, 5 декабря, Даль сам навестил поэта и узнал от него о скором приезде Щепкина.

Наконец 16 декабря Шевченко заносит в дневник: «Ввечеру отправился я к В. И. Далю... После поздорованья... одна из дочерей его села за фортепьяно и принялась угощать меня малороссийскими песнями. Я, разумеется, был в восторге... от ее наивной вежливости». Поэт попросил девушку сыграть Шопена («моего любимца»), она исполнила увертюру из «Гугенотов» Мейербера («лучше, нежели я ожидал»). «Скромная артистка удалилась во внутренние апартаменты, а мы с В. И. между разговором коснулись как-то нечаянно псалмов Давида и вообще библии. Заметив, что я неравнодушен к библейской поэзии, В. И. спросил у меня, читал ли я Апокалипсис. Я сказал, что читал, но, увы, ничего не понял; он принялся объяснять смысл и поэзию этой боговдохновенной галиматьи. И в заключение предложил мне прочитать собственный перевод Откровения с толкованием и по прочтении просил сказать свое мнение. Последнее мне больно не по душе... Без этого условия можно бы, и не прочитав, поблагодарить его за одолжение, а теперь необходимо читать».

Дневниковую запись от 18 декабря Шевченко предваряет измененными строками из Капниста:

> Читал и сердцем сокрушался,
> Зачем читать учился.

И дальше: «С какою же целию такой умный человек, как В. И., переводил и толковал эту аллегорическую чепуху? Не понимаю. И с каким намерением он предложил мне прочитать свое бедное творение? Не думает ли он открыть в Нижнем кафедру теологии и сделать меня своим неофитом? Едва ли. Какое же мнение я ему скажу на его безобразное творение? Приходится врать, и из-за чего? Так, просто из вежливости. Какая ложная вежливость. Не знаю настоящей причины, а, вероятно, она есть. В. И. не пользуется здесь доброй славою...»

В записи от 18 декабря привлекает внимание недоумение Шевченко — не тем лишь вызванное недоумение, что Даль переводил «чепуху», но тем также, что предложил поэту прочитать «бедное творение». В словах: «И с каким намерением он предложил мне прочитать свое бедное творение?» — многое открывается, если поставить ударение на «мне». Мне, Тарасу Шевченко, взгляды которого ему, Далю, хорошо известны. «Неравнодушие» кобзаря к «библейской поэзии» — в стремлении наполнить известные образы новым бунтарским смыслом. Нельзя упустить в дневниковом отрывке и слова «неофит»: именно в эту пору Шевченко завершил работу над поэмой «Неофиты» — поэма не годилась ни для чтения с «кафедры теологии», ни для печати.

После записи от 18 декабря Даль надолго исчезает из дневника Шевченко и, похоже, из жизни его: пребывание поэта в Нижнем изучено весьма досконально, новых встреч его с Далем нигде не отмечено.

3

Все их рознило: не только философия, но и воззрения политические, и полное несходство личностей. Далю могли передать язвительно-уничтожающие суждения Шевченко о его «безобразном творении» — такие обиды трудно прощаются; и во взгляде на освобождение крестьян — об этом бурно заговорили в Нижнем, когда там был Шевченко, — и во взглядах на другие общественные вопросы, о которых тогда вокруг спорили, у поэта, «с благоговением облобызавшего» первый увиденный им номер «Колокола», и у Даля было мало общего.

Да и слова о «недоброй славе» Даля мы не просто так привели: уже перед отъездом Шевченко из Нижнего, 3 марта, в его дневнике снова — и в последний раз — появляется Даль: «Сухой немец и большой руки дрянь». Мы привели эту запись не для того, чтобы упрекать Шевченко, бросившего в адрес Даля незаслуженно резкие слова, и не для того, конечно, чтобы словами Шевченко оценивать Даля; резкие слова о Дале в дневнике Шевченко не бросают тень на поэта: его право относиться к Далю как угодно, приязнь же Даля к нему Шевченко в своих дневниковых записях неизменно отмечает.

Многое их рознило — и все же связующее звено между Шевченко и Далем есть; внешне неприметное, ими самими не почувствованное, а есть! Это звено — Украина.

4

«Да, благословенная Украйна! Как бы там ни было, а у тебя за пазушкою жить еще можно... Оглобля, брошенная на землю, за ночь зарастает травой; каждый прут, воткнутый мимоходом в тучный чернозем, дает вскоре тенистое дерево. Как сядешь на одинокий курган, да глянешь до конца света, — так бы и кинулся вплавь по этому волнистому морю трав и цветов — и плыл бы, упиваясь гулом его и пахучим дыханием, до самого края света!» — мечтательно и восторженно писал Даль.

Герцен считал Даля «малороссом по происхождению»; Белинский заметил: «Малороссия — словно родина его». «Словно» — обмолвка Белинского: Украина — в самом деле родина Даля. Даль прожил семьдесят один год, из них двадцать на Украине. Эти годы не слишком заметны — они не так явно связаны с главным делом жизни Даля: четырнадцать детских лет, пять лет службы на Черноморском флоте, пребывание на Украине вместе с армией после русско-турецкой войны; позже он бывал там наездами. Но и в старости признавался: «Будучи родом из Новороссийского края и проведя там молодость свою, я с родным чувством читаю и вспоминаю все, относящееся до Южной Руси и Украины» [1].

Малороссийские песни, которыми «угощала» Тараса Шевченко одна из дочерей Даля, безусловно, не случайны, как не был случаен «Ехал козак...», которого разучивала когда-то матушка Даля с маленькой Катенькой Мойер.

Даль с детства свободно владел украинским языком. Летом 1844 года он отдыхал в Полтавской губернии: «Я охотно стал опять болтать на этом ясном языке, где речь выходит замысловата, простодушна и очень забавна». Мы почти не вспоминаем Даля-переводчика, а ведь он первый познакомил русских читателей с повестями Квитки-Основьяненко. Перевод повести «Солдатский портрет» Жуковский «приказал» напечатать в «Современнике» [2] — в первой после смерти Пушкина книжке его журнала, как бы посвященной памяти поэта. Даль делает примечание к переводу — он хотел бы привлечь взоры русской читающей публики к украинской литературе: «Я только желаю возбудить, хотя в немногих, охоту прочесть подлинник — вот почему решился я на перевод».

Прежде чем «решиться на перевод», Даль выступил с несколькими теперь позабытыми статьями о творчестве Квитки-Основьяненко, в них много любопытного об украинском языке, который «всюду себе равен»: «Трудно написать по-русски книгу о каком бы то ни было предмете, чтобы ее понял каждый мужик... Между тем возьмите любое малороссийское письмо, читайте его чумакам, дивчатам, парубкам, кому хотите: если предмет не будет выходить из круга их понятий, то язык и смысл целого будет им понятен вполне». Даль из-за этой разницы русского языка книжного и народного никому не советует браться за перевод повестей Основьяненко — выйдет «переводня, а не перевод». Но сам решился, взял-

---

[1] ПД, № 7485/XIV б. 139.
[2] ГПБ, ф. 539, оп. II, № 467.

ся. «Перевод по словарю годен *только для школьника* и не удовлетворяет ни мысль, ни чувство, — твердил он. — Быт и жизнь народов так тесно связаны с языком их, что одного нельзя отделить от другого». Даль знал и язык и быт украинского народа — оттого, должно быть, перевод удался.

Белинский считал повесть Квитки-Основьяненко «Солдатский портрет» «замечательной», а перевод Даля «прекрасным».

5

На Украине Даль занимался тем же, чем всегда и везде, — собирал слова. Крестьяне в малороссийских губерниях, «чумаки, дивчата, парубки», так же легко, как русские мужики, *принимали Даля за своего.* По селам Полтавщины он путешествовал с украинским писателем Гребенкой, но чувствовал себя свободнее, чем его спутник: он «вовлекал» Гребенку «в шутки и разговоры с крестьянами».

Запасы украинских слов Даль скопил обширные; поначалу у него «созрела было мысль, что русский словарь без малороссийского был бы далеко не полон»... Но и когда «Толковый словарь» определился как великорусский, Даль продолжал работать над словарем украинским. Часть этого труда он передал Лазаревскому — письмо из Нижнего к нему подписано: «Преданный вам и ожидающий малороссийского словаря». С Максимовичем, известным украинским ученым, Даль обсуждал особенности говоров, «поднаречий малорусских», «подслушанные уклонения... между Пирятином, Решетиловкой, Кременчугом», — он хотел различать их, как различал говоры тамбовский и тверской. В письме его к Максимовичу читаем: «Составлены у меня и мало- и белорусский словари — не знаю, как полны окажутся; все-таки более, чем теперь есть» (видимо, речь о запасах, а не об окончательно подготовленных словарях). Радуясь первым выпускам «Толкового словаря», старый товарищ старого Даля профессор Редкин писал ему: «Но в этом отечестве есть еще и родина моя (кажется, и твоя) — Малая Русь. Ведь и для нее собирал ты, кажется, и пословицы, и слова, а кто же будет обрабатывать и издавать это собрание?» И снова, через несколько лет, когда гигантский труд Даля был завершен: «Дождемся ли мы, малороссияне, чего-нибудь

подобного? Подвинь-ка и это дело своею энергическою рукою!» [1]

Даль и Украина — тема большая и отдельная. Мы лишь коснулись ее по пути и считали необходимым сделать это, чтобы хоть коротко, хоть намеком высказать, что отношения Даля и Шевченко не утверждаются вымыслами об их «особой близости» и не исчерпываются отрицательными отзывами поэта. Есть поистине прочная, хотя и незримая связь между великим кобзарем и создателем великого словаря: эта связь в их глубокой любви к одной земле — Украине, к ее языку и словесности.

ЖИВОЙ, НЕ КОСНЫЙ

1

Можно очертить круг разных по убеждениям и интересам знакомых Даля, но не менее важен к р у г е г о и н т е р е с о в. Даль пишет к литератору Миллеру: все свободное от службы время трачу-де на пословицы и словарь, «который, вероятно, придется доканчивать в духовном мире», «у белки уже зубов нет, укатали бурку крутые горки» и т. п. Письмо это — отчасти плод настроения («служба и неудачи»), отчасти и Далева натура: оно сродни заявлениям об «одиночестве», бесконечным сетованиям на то, что-де «слаб и хил, обручи едва держатся». Но обручи держатся, и зубы у белки есть, и крутые горки бурке еще под силу — круг Далевых и н т е р е с о в (то, что «завлекает», «заманивает», «возбуждает участие, любопытство») обширен, разносторонен и вовсе не ограничен ученой и литературной работой: Даля манят и завлекают «злобы дня».

Да и могло ли быть иначе?.. Пятидесятые годы сыграли важную роль в истории страны: «Крымская война показала гнилость и бессилие крепостной России» [2], выявила «кризис «верхов», «создающий трещину, в которую прорывается недовольство и возмущение угнетенных классов» [3], вызвала к жизни требовательную необходимость

---

[1] ПД, № 27381/CXCVI б. 8.
[2] В. И Ленин, Полн собр. соч., т. 20, стр. 173.
[3] Т а м же, т. 26, стр. 218.

преобразований, повысила «активность масс», «в бурные времена привлекаемых... к самостоятельному историческому выступлению» [1], продвинула страну к тому положению, которое Ленин определил как «революционную ситуацию».

«С одной стороны, наше патриотическое чувство было страшно оскорблено унижением России, — писал историк С. М. Соловьев, — с другой, мы были убеждены, что только бедствие, и именно несчастная война, могло произвести спасительный переворот, остановить дальнейшее гниение». Но патриотическое чувство было не только унижено несчастным итогом войны — оно было необыкновенно возбуждено зрелищем величия народа, ежедневно, ежечасно и непрестанно творящего подвиги, как бы сплавленные в единый подвиг. Величие народа, его готовность и способность в неимоверно тяжелых условиях творить подвиг как раз и внушали надежду на «спасительный переворот», рождали убежденность, что такой народ достоин лучшей судьбы и что он должен получить ее. Путь к «спасительному перевороту», характер и цель его (судьба народная) — вот вопросы, которые обсуждало и осмысляло все русское общество и которые одновременно разделяли это общество на противостоящие партии. Борьба между ними обещала быть более длительной, упорной, непримиримой и в конечном счете более плодотворной, нежели кровопролитные бои на врезавшемся в густую синеву Черного моря четырехугольнике Крымского полуострова. От «злобы дня» не могли спасти ни «глушь», будь то Саратов или Нижний, ни служебные заботы, ни кропотливые ученые занятия.

2

«Когда в 1853 году началась Крымская война, он половину послеобеденного времени уделял... на щипание корпии для раненых, — писал про Даля Мельников-Печерский. — Кажется, не один десяток пудов ее отправлен был В. И. Далем в военное ведомство». Какое убожество! Да мы перестали бы уважать Даля, при всех ученых заслугах его, если бы поверили, что в эту переломную для отечества пору его хватило на то лишь, чтобы в своем «крайне точном», по словам того же Мельникова,

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 26, стр. 218.

«распределении времени» урвать часок-другой на механическое щипание корпии. Щипал, конечно, — вся Россия щипала (а потом, по свидетельству доктора Боткина, воры-интенданты тайно сбывали эту корпию неприятелю), но трудно поверить, будто голова у Даля, пока пальцы привычно трепали кусочек ткани, ничем, кроме обычных размышлений об издавна ставших обычными вещах, не была занята. Даль очень хорошо толкует слово «активный» — «живой, не косный, не мертвый». Если даже не учитывать общественную активность Даля, его любознательность, меткость наблюдений и широкий кругозор, то и в этом случае не могло его отношение к войне ограничиться шевелением пальцами.

По службе Далю пришлось положить немало трудов на формирование трех батальонов стрелкового полка, составленного на основании высочайшего рескрипта из удельных крестьян.

Надо полагать, министр Перовский, которому был адресован рескрипт, потому и предложил три батальона из пяти создать в Нижегородской губернии, что там старался деятельный (опять-таки прекрасное толкование — «любящий труд и пользу») Даль.

С удельным полком, получившим наименование Стрелкового полка императорской фамилии, Даль оказался связан и личными, «семейными» узами: в полк вступил добровольцем сын Даля — Лев. Замечательно: в прошении на имя Перовского о зачислении сына в армию Даль подчеркивает (буквально — подчеркивает), что Лев хочет быть «действующим (не запасным) защитником правого дела» [1]. (Едва война кончилась, Даль стал просить об увольнении сына в отставку; Льва Даля — честь какая! — собираются перевести в дворцовую роту, а отец недоволен: нечего «мучиться тунеядством» и «терять золотое время».)

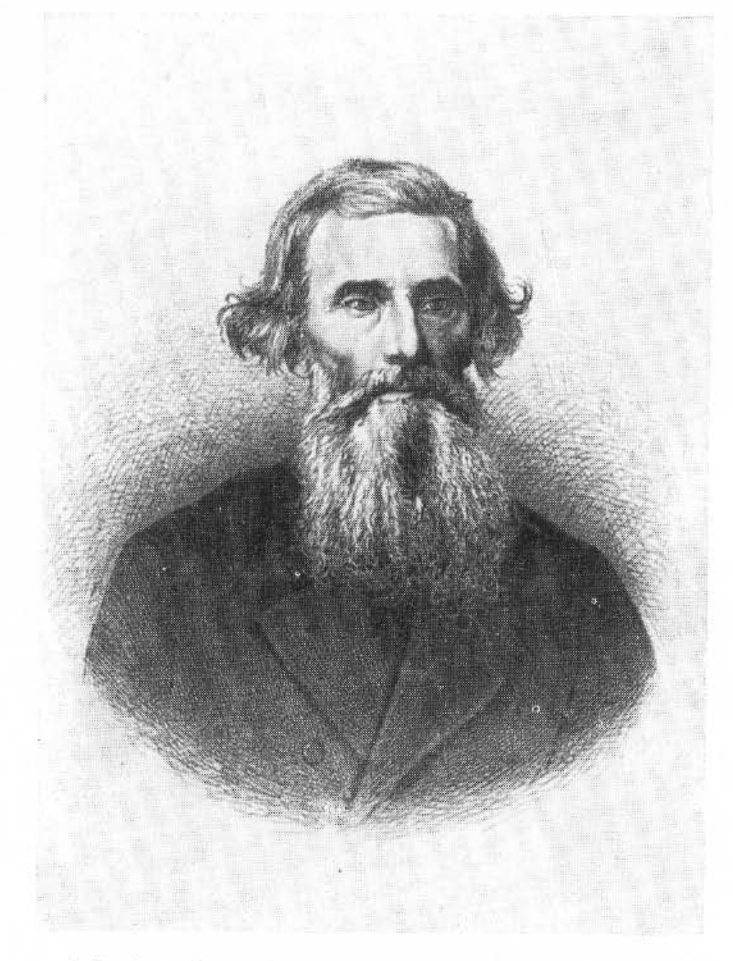
[1] «Действующим» ему, кажется, быть не пришлось: полк выступил из-под Петербурга, где был собран для царского смотра, лишь в конце июня 1855 года, двинулся через Москву к Одессе, здесь простоял всю зиму и весну, сильно пострадал от эпидемии тифа, затем был возвращен в Москву и осенью 1856 года распущен. Рассказы о «подвигах» Льва Даля в Севастополе, о встречах его со старыми друзьями отца — Пироговым и Нахимовым скорее всего следует отнести на счет недостоверных семейных преданий или вымысла биографов.

3

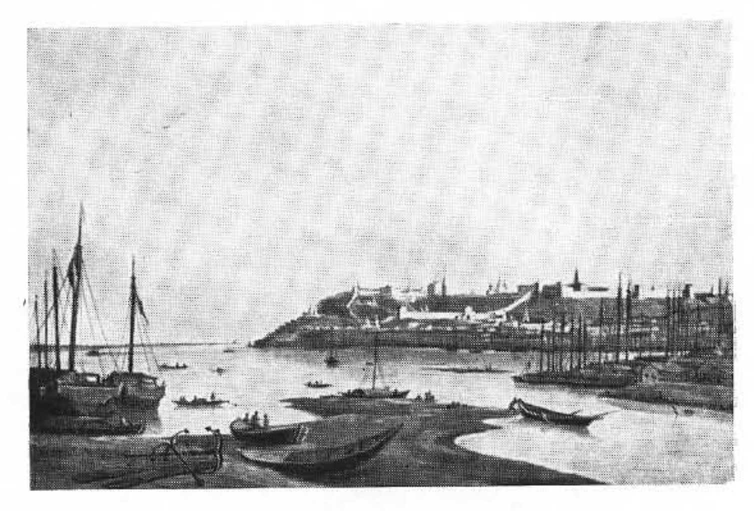
Крымская война, Севастополь — для большинства русских одновременно общее и личное. Крымская война, Севастополь для Даля, конечно, не «щипание корпии» и не только личное — сын-доброволец... Судьбы родины решались.

Из Крыма, с театра военных действий, посылал письма к жене великий хирург Пирогов — впрочем, адрес («насылка») жены значился лишь на конверте, подлинным адресатом была не Александра Антоновна Пирогова («милый ангел», «ненаглядная Саша»), но вся образованная Россия, которой Пирогов жаждал рассказать «истинную правду» о войне («письмо о Меншикове можешь дать прочесть теперь всем»). Горячие, стремительные строки пироговских писем переполнены тем чувством, которое жило в сердце каждого русского; в них рассказ о героизме народа и бездушной подлости властей («сердце замирает, когда видишь перед глазами, в каких руках судьба войны»). Всякому, кто идет по пути бескорыстного служения отчизне, непременно подставляют ногу, требуют от него «вида», а не «дела», а Пирогов «не привык делать что бы то ни было только для вида»: «Не хочу видеть моими глазами бесславия моей родины... Я люблю Россию, люблю честь родины, а не чины: это врожденное, его из сердца не вырвешь и не переделаешь».

Даль писал в Севастополь к Пирогову: хирург в одном из писем оценил справедливость Далева суждения, высказанного пословицей: «Наши кишки и тонкие, да долгие, хоть жилимся, да тянемся». Писем Даля «вся Россия» не читала: он отправлял их из Нижнего по точным адресам, не рассчитывал (и не хотел), чтобы их «пускали по рукам». Но в письмах своих он так же искренне и горячо, как Пирогов, раскрывал душу, так же страстно судил, рядил и пророчил. Даль, ссылаясь, между прочим, на Отечественную войну («бывший за нашу память пример»), трезво размышляет о разном отношении народа к войне навязанной, оборонительной, и войне захватнической: цель войны определяет дух (и единодушие!) народа. «Если бы мы вели войну заграничную, то суждения могли бы еще быть различны, но доколе мы сами только отбиваемся от наступника... ни в одной русской голове не может угнездиться иной помысел, как вставать поголовно...» Даль высказывает в письмах и соображения чисто



В. И. Даль. Рис. П. Бореля, грав. Л. Серякова. 1860-е годы.



Нижний Новгород. Худ. Г. Чернецов. 1838.

Сцена на нижегородской ярмарке. Худ. А. Попов. 1860.



Признавая пословицу и поговорку за ходячую монету, очевидно, что надо идти по них туда, где они ходят; и этого убеждения я держался в течение десятков лет, записывая все, что удавалось перехватить на лету в устной беседе.

В. И. Даль

ПОСЛОВИЦЫ

РУССКАГО НАРОДА.

СБОРНИКЪ

ПОСЛОВИЦЪ, ПОГОВОРОКЪ, РЕЧЕНІЙ, ПРИСЛОВІЙ, ЧИСТОГОВОРОКЪ, ПРИБАУТОКЪ, ЗАГАДОКЪ, ПОВѢРІЙ И ПРОЧ.

В. Даля.

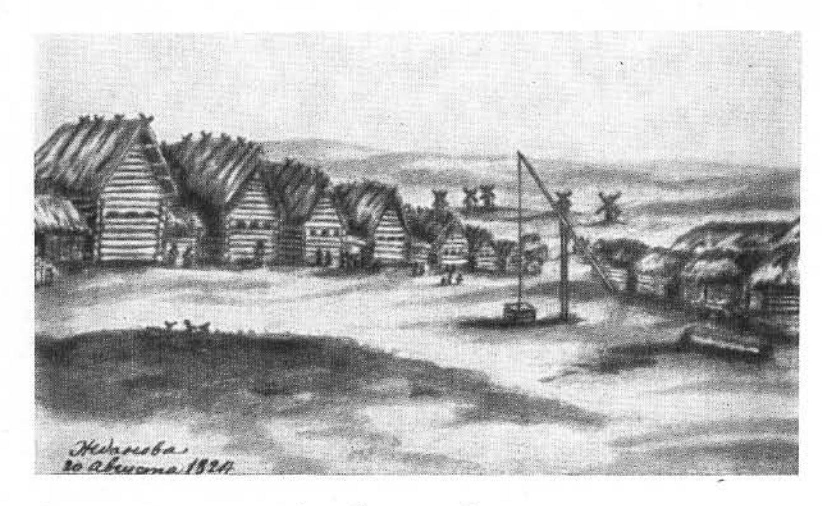
Пословица несудима.

ИЗДАНІЕ ИМПЕРАТОРСКАГО ОБЩЕСТВА ИСТОРІИ И ДРЕВНОСТЕЙ РОССІЙСКИХЪ ПРИ МОСКОВСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

МОСКВА.

ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

1862



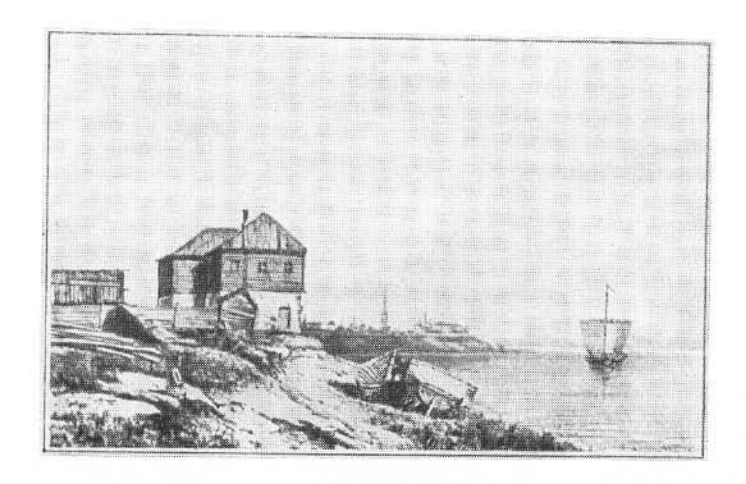
Деревня Нижегородской губернии. Рисунок неизвестного художника.

Бурлаки. Гравюра неизвестного художника.





Бурлаки. Рис. В. И. Даля (?).



Поволжская деревня. Рис. XIX в.

Его очерки — простые описания натуры, такою, какова она есть. Эти очерки имеют огромную ценность правдивых исторических документов.

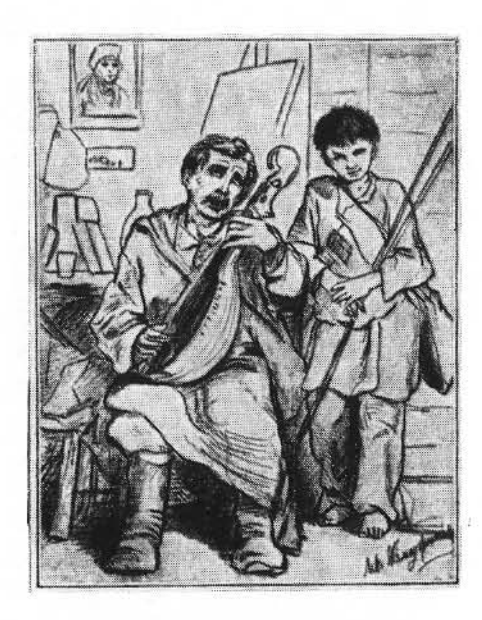
М. Горький

Я с родным чувством читаю и вспоминаю все, относящееся до южной Руси и Украйны.

В. И. Даль



Молодица.
Рис. И. И. Соколова.



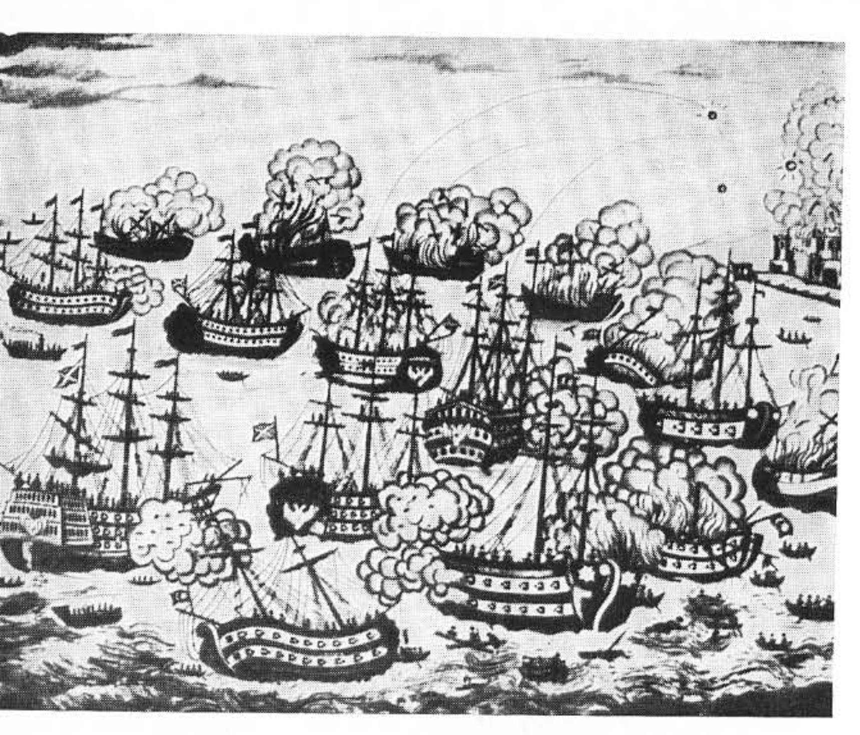
Бандурист.
Рис. из альбома
худ. Л. Жемчужникова
«Живописная
Украина».
1861.

Но в этом отечестве есть еще и родина моя (и, кажется, твоя) — Малая Русь. Ведь и для нее собирал ты, кажется, и пословицы и слова.

П. Г. Редкин — В. И. Далю

Малороссы. Из альбома XIX в.





Синопское сражение. Лубок. 1854. Фрагмент.

— Будет ли взят Севастополь? — я спрашивал у матросов.
— Не надеемся-с, — отвечали они...

Н. И. Пирогов

НАУКА в том значении, как понимает слово это народ, великое дело, а она, конечно, послужит нам не к худу, а к добру.

В. И. Даль

МАТРОССКІЕ ДОСУГИ.

—

сочиненія

В. И. Даля.

—

ИЗДАНО
по высочайшему повелѣнію,
Морскимъ Ученымъ Комитетомъ.

(Изданіе второе).

ЧАСТЬ II.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
Въ Типографіи Морскаго Министерства.
1859.

В. И. Даль. «Матросские досуги». Титульный лист издания 1859 года.



Подвиг матроса Шевченко. Худ. И. Прянишников.



Москва-река у Кремля. Фотография начала 1860-х годов.



Московский сбитенщик и ходебщик. Лубок. 1858.

Толкучий рынок на Новой площади. Середина XIX в.



В Москву идти — голову нести.

Пословица

По прибытии его в Москву, зимою на 1860-й год, Общество любителей русской словесности, почтившее его уже до сего званием члена своего, пожелало узнать ближе, в каком виде обрабатывается словарь и что именно уже сделано.

В. И. Даль



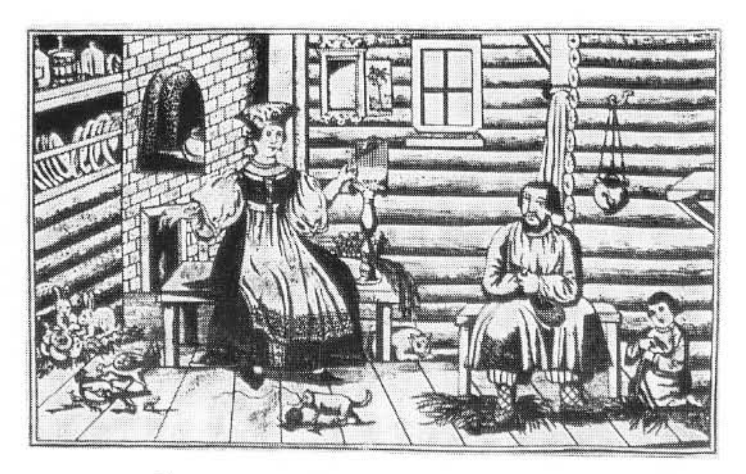
Русская крестьянская свадьба. Лубок. 1868.



Русская песня. Лубок. 1857.

Остается одна только кладь или клад — родник или рудник — но он зато не исчерпан. Это живой язык русский, как он живет поныне в народе... Русские выражения и русский склад языка остались только в народе.

В. И. Даль



Пряди, моя пряха. Лубок. Вторая половина XIX в.

КЪ 25-ЛѢТІЮ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ МАВРИКІЯ ОСИПОВИЧА ВОЛЬФА.

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ
ЖИВАГО
ВЕЛИКОРУСКАГО ЯЗЫКА.

Владиміра Даля.

Второе изданіе, исправленное и значительно умноженное по рукописи автора.

Словарь названъ толковымъ, потому что онъ не только переводитъ одно слово другимъ, но толкуетъ, объясняетъ подробности значенія словъ и понятій, имъ подчиненныхъ. Слова *живаго великорускаго языка*, указываютъ на объемъ и направленіе всего труда.

Прим. автора.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

А — З.



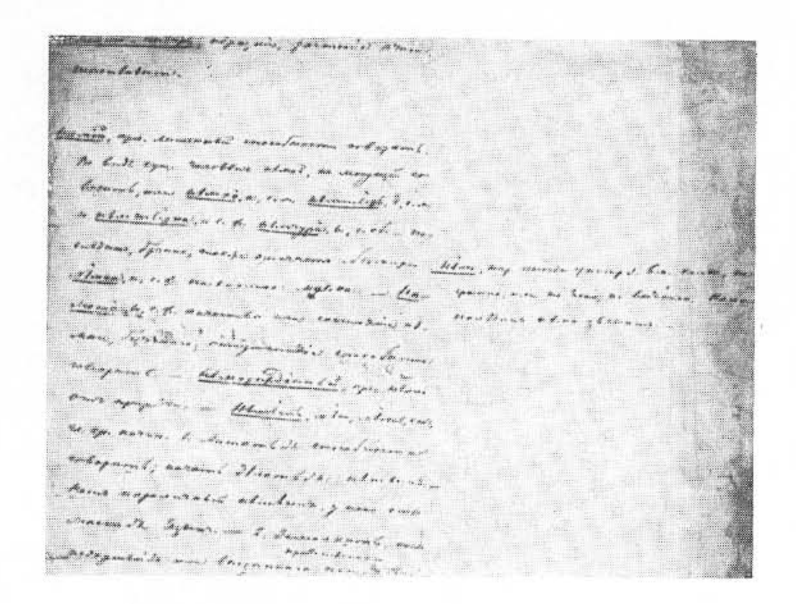
ИЗДАНІЕ КНИГОПРОДАВЦА-ТИПОГРАФА М. О. ВОЛЬФА.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ | МОСКВА.
Гостиный дворъ, №№ 17 и 18. | Кузнецкій мостъ, д. Михалкова.

1880 г.

Много еще надо работать, чтобы раскрыть сокровища нашего родного слова, привести их в стройный порядок и поставить полный, хороший словарь; но зато без подносчиков палаты не строятся; надо приложить много рук, а работа черна, невидная, некорыстная...

В. И. Даль



Черновая заметка В. И. Даля к «Толковому словарю». Гнездо «НЕМОЙ».

зываетъ, отрицаетъ, ни въ чемъ не соглашается.

Нѣкій, нѣкоторый, нѣкто нпр. см. нѣ

Нѣмóй, отъ природы лишенный речи, языка или слова; немогущій говорить, по неустройству словесныхъ снарядовъ, по глухотѣ отъ рожденья (глухонѣмой), или по другимъ природнымъ или болѣзненымъ недостаткамъ; безсловесный, безъязыкій.|| *Нѣмой палецъ, рука,* онѣмѣвшая, лишенная чувства, или обмершая. *Нѣмая азбука,* условные знаки пальцами. *Нѣмая карта,* безъ названій мѣстъ. *Нѣмая ночь,* безмолвная, тихая. *Нѣмая печаль,* молчаливая. *Онъ глухъ и нѣмъ къ просьбамъ,* не хочетъ слышать и не отвѣчаетъ. *Нѣмое вино,* окуренное сѣрой, чтобы не бродило; имъ подправляютъ вина, чтобы не кисли. **Нѣмо,** тихо, глухо, неясно, незвучно. *Дитя говоритъ нѣмо,* **нѣмовато,** *картаво. Колокольчикъ нѣмо звенитъ. Онъ нѣмоватъ,* принѣмываетъ, говоритъ нечисто, неясно, иныхъ буквъ не произноситъ. *Палка нѣма, а дастъ ума. Нѣмой нѣмаго передразнивалъ. Нѣмъ, да свое пьмъ; а речистъ, да не плечистъ, анъ голодный сидитъ. Нѣмая бесѣдушка. Пошелъ посолъ нѣмъ, принесъ грамату неписану, подалъ читать неученому?* (голубь, Ной и вѣтка). **Нѣмость** ж. или **нѣмотá** ж. свойство и состоянье нѣмаго; **нѣмовáтость,** состн. и свойст. нѣмоватаго. **Нѣмтырь** м. **нѣмтырка** ж. **нѣмáка** м. **нѣмка** и **нѣмтóй** *сиб.* **нѣмталóй** *прм.* **нѣмкó** м. **нѣмчурá** об. нѣмой, **нѣмецъ, нѣмка,** стар. а мѣстами и донынѣ въ народѣ, нѣмой, или же || неговорящій по-руски, всякій иностранецъ съ запада, европеецъ (азіятцы *бусурмане),* въ частности же, германецъ. *Дѣвка нѣмка: говоритъ не умѣетъ, а все разумѣетъ;* ради скромности, молчитъ, даже не

Гнездо «НЕМОЙ» «Толковый словарь». Изд. 1880 года.



В. И. Даль. Рис. Э. Дмитриева-Мамонтова. 1860-е годы.

военные, «стратегические»; высказанные в трудную, «лихую» для отчизны годину, они привлекают опять-таки трезвостью, здравомышлением и оптимизмом, о котором Даль пишет в словаре: «убежденье, что все на свете идет к лучшему». Враг «может занять стотысячною армиею любую береговую местность, сделать внезапную вылазку, но он может держаться на ней только доколе будет стоять в таких силах и не углубится в материк, — пророчит старый вояка Даль. — ...Устойчивость наша должна взять верх. Чем более неприятель захватит, тем труднее ему оградить и удержать занятое, тем легче будет нам обходить его и поражать по частям».

4

Думая о том, что происходит *сегодня* на Крымском полуострове, Даль не может оградить себя от мыслей о *завтра*, об итогах войны, и, несмотря на лихую пору, убежденье, что все идет к лучшему, опять берет в нем верх: «Рано ли, поздно ли золото всплывет из этой грязи и возьмет свое», «отчизна наша должна выйти из борьбы со славою и честию; *наука*, в том значении, как понимает слово это народ, великое дело, а она, конечно, послужит нам не к худу, а к добру».

Думы Даля о будущем отечества неизбежно приводят его к мысли, что никакая наука, вынесенная русским народом и обществом из затяжной и в конечном счете проигранной войны, невозможна без высказанной вслух правды: «Не в силе бог, а в правде», — пишет любитель пословиц Даль.

Чтобы извлечь уроки из поражения, надо осознать его причины; чтобы осознать причины, надо знать и осмыслить истинное положение вещей. С пятидесятых годов тема правды становится одной из ведущих в письмах Даля: «Пошли нам, господи, святую *правду* свою, вот мы чем оскудели. Разреши, господи, уста наши на такие речи, чтобы слушать их и царю, и народу». Великому князю Константину Николаевичу он смело пишет о том, что лишь открытое и справедливое освещение «положения дел наших» (вместо «немногих и весьма неясных слов») может поддерживать «всеобщее, единодушное и живое участие всех сословий в настоящих событиях» (то есть Крымской войне). И суть дела тут не в личных свойствах «правдивого» Даля — в жизни общества наступает

пора, когда потребность знать правду о положении дел становится острой, как боль, общественной необходимостью.

Рядом с Далевым «не слыть, а быть» становится девиз Пирогова «быть, *а не казаться*». Люди узнавали правду из «Севастопольских писем» Пирогова и «Севастопольских рассказов» Льва Толстого: «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души... и который всегда был, есть и будет прекрасен, — правда».

«ВЕРНЫЕ ПОНЯТИЯ» И «ОПАСНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ»

1

После Крымской войны общество оживилось, люди бурно обсуждали «злобы дня» — у всех нашлось что сказать. Мудрено ли, что Даль, который ехал в Нижний «жить тихо» и похвастывался «одиночеством», откладывал по временам словарь, чтобы и свое слово сказать о том, что волновало всех.

Среди прочих «злоб дня» обернулись неотложными и важными задачи образования и воспитания. «Вопрос о воспитании, — отмечал Писарев, — сделался современным, жизненным вопросом, обратившим на себя внимание лучших людей нашего общества».

Первым заговорил вслух о воспитании журнал «Морской сборник»; поводом послужили предстоящие перемены в военно-морских учебных заведениях, но о них речь шла меньше всего. «Морской сборник» многое мог себе позволить: журнал находился под опекой великого князя Константина Николаевича. Разговор о воспитании открылся статьей Бэма, которого Морской ученый комитет представлял как опытнейшего педагога. Обстоятельная статья оказалась хорошей «затравкой»; Бэм громко высказал мысль, давно у многих вызревшую: «Дурное направление и недостатки воспитания юношества всегда неразлучно связаны с общим дурным направлением общественной жизни»...

На «вызов» Бэма быстро отозвались двое: профессор Московского университета Давыдов и Владимир Иванович Даль. Тема воспитания и тема «общественной правды» в статье Даля сливаются воедино: «Что вы хотите сделать из ребенка? Правдивого, честного, дельного человека, который думал бы не столько об удобствах и выгодах личности своей, сколько о пользе общей, не так ли? — Будьте же сами такими; другого наставления вам *не нужно*»... «*Кто полагает, что можно воспитывать* ребенка обманом ...кто дело воспитания считает задачею ловкого надувательства, тот жестоко ошибается и берет на себя страшный ответ».

2

Мысли Даля о воспитании были бы, несомненно, более замечены и общественно более признаны, если бы среди статей, напечатанных в «Морском сборнике», не появился двумя месяцами позже труд Пирогова «Вопросы жизни», труд, несомненно, более широкий по взгляду и глубокий по провидению, чем Далев, хотя во многом ему близкий и с ним совпадающий. Появление статьи Пирогова вообще обесценило журнальный спор: по всей России *откликались уже не на то*, что продолжало еще появляться в «Морском сборнике», а на «Вопросы жизни». «О сущности дела, о коренных вопросах образованному человеку невозможно думать не так, как думает г. Пирогов», — писал Чернышевский. «Все, читавшие статью г. Пирогова, были от нее в восторге, — вторит Добролюбов. — ...Статья г. Пирогова... не старается подделаться под существующий порядок вещей, а, напротив, бросает прямо в лицо всему обществу горькую правду».

Иногда (чтобы Даля «приподнять»?) называют «Вопросы жизни» «откликом» на статью Даля, но если и была преемственность, то обратная: труд Пирогова написан много раньше, еще в конце сороковых годов. Напечатать его, понятно, нельзя было, но списки по рукам ходили. Пущин из ссылки, из Ялуторовска, сообщал брату: «Вопросы» читаю с истинным удовольствием... Будь спокоен и успокой Пирогова — рукопись его не будет в чужих руках». Если рукопись до Ялуторовска дошла, трудно предположить, что Даль ее не читал.

Оценивая общественное воздействие выступлений Пирогова, нельзя не учитывать и личности автора: Пирогов — великий хирург, герой войны, чье имя, как писал «Современник», «по всем концам России» «произносят с благоговением», великий лекарь, который объявил во всеуслышание, что желает лечить не больных людей, а

«больное общество» и оттого переходит на поприще педагогическое.

Однако и Даль в обществе человек известный и уважаемый, и статья его о воспитании замечена, прочитана и одобрена — самим Пироговым, в частности. Едва ознакомившись со статьей Даля, Тургенев спешно сообщал Некрасову: «Это вещь необыкновенная». Да и Чернышевский до появления «Вопросов жизни» из всего, что сказано было в «Морском сборнике» о воспитании, отметил статью Даля: ему принадлежит «заслуга напомнить» об истине, «которая имеет существеннейшую важность», «выставить на вид» эту истину, «совершенно новую точку зрения на предмет». Громадную выписку из «размышления» Даля («или, скорее, рассказа») Чернышевский напутствует высокой похвалой: мысли Даля «заслуживают величайшего внимания как по своей справедливости, так и по редкой откровенности, с какою сообщил он нам результаты своей известной наблюдательности».

3

Даль все «проговаривался», а тут пришла пора — заговорил.

В том же 1856 году в третьем номере «Русской беседы» появляется его «Письмо к издателю А. И. Кошелеву». Начинается оно с привычных оговорок — отстал-де, отжил, занят другим, обработкой словаря («до окончания коего, конечно, не доживу»). Но «Письмо» написано задорно и даже задиристо — сразу видно, Далю понравилось высказывать людям истину: «Одна только гласность может исцелить нас от гнусных пороков лжи, обмана и взяточничества и от обычая зажимать обиженному рот и доносить, что все благополучно».

«Письмо» Даля к издателю «Русской беседы» составлено очень свободно, раскованно, в нем выплеснулось многое, что волновало и занимало Далев ум: мысли о нравственности простонародных обычаев, о русской грамматике, о сельских промыслах и фабричном производстве, о неразумных способах ведения земледелия и скотоводства. Видимо, разнообразие поднятых Далем вопросов задержало общественный отклик на письмо: третий номер «Русской беседы» появился в ноябре 1856 года, а ответ на «Письмо к издателю» — лишь через год, в октябрьском номере «Современника». Незамеченное вроде бы поначалу «Письмо» Даля вдруг стало предметом ожесточенного обсуждения, и не обсуждения даже — резких нападок на автора; и не все «Письмо», а лишь несколько страниц, едва составляющих пятую часть его.

4

Сразу скажем: несколько «злополучных» страниц не были, с точки зрения самого Даля, ни ошибкой, ни обмолвкой. Через год, отвечая на укоры, Даль в короткой и ясной заметке, помещенной в «Санкт-Петербургских ведомостях», вновь повторил сказанное, но сетовал, что его неправильно поняли.

Речь на нескольких страницах «Письма» и в заметке из «Санкт-Петербургских ведомостей» шла о просвещении и о грамотности. В те годы широко заговорили о распространении грамотности среди простого народа, о народном просвещении; разговоры взволновали Даля — он решил гласно высказать по этому поводу свою истину.

Грамотность не есть просвещение, а только средство к достижению его; просвещение же есть прежде всего образование нравственное, писал Даль, и тут вряд ли кто стал бы с ним спорить, не поверни он к выводам поистине «удивительным»: коли так, то нечего особенно и стараться о распространении в народе грамотности. «Грамота, сама по себе, ничему не вразумит крестьянина; она скорее собьет его с толку, а не просветит. Перо легче сохи; вкусивший без толку грамоты норовит в указчики, а не в рабочие, норовит в ходоки, коштаны, мироеды, а не в пахари; он склоняется не к труду, а к тунеядству». Что писать крестьянину непросвещенному, но обученному грамоте, «разве ябеднические просьбы и подложные виды»?..

Даль начал «за здравие» (грамотность есть средство к достижению просвещения), а кончил «за упокой» («можно просветить человека в значительной степени без грамоты»). Еще-де неизвестно, чего больше в грамотности — добра или зла. «Нож и топор — вещи необходимые; а между тем сколько было зла от ножа и топора». Народ привык жить по совести, но «грамота вытесняет совесть»... Салтыков-Щедрин, высмеивая «некоторых любителей просвещения», писал, что по-Далеву получается,

будто «слесарь-грамотей» неизбежно «видит в ключе и замке лишь средство отмыкать казнохранилища, принадлежащие его ближнему».

В газетной заметке, отвечая на резкие обвинения несогласных с ним, Даль объясняет, что не восстает собственно против грамотности, а только «против злоупотреблений ее, тесно связанных с нынешним бытом народа и с обстановкою его», что, «сделав человека грамотеем, вы возбудили в нем потребности, коих не удовлетворяете ничем, а покидаете его на распутии», и повторяет тут же: «Грамота без всякого умственного и нравственного образования и при самых негодных примерах почти всегда доводит до худа...» Даль не отвечает и, понятно, не может ответить на вопрос, как внедрить «умственное и нравственное образование» без грамоты. Он не знает и, понятно, не может знать, какой «меркой» надо распространять грамотность, чтобы не оделить ею народ «с излишком», не вызвать «злоупотреблений», не «возбудить потребностей», которых «при нынешнем быте народа» и при всем существующем порядке вещей удовлетворить не только нечем, но попросту невозможно...

5

Мнение Даля Салтыков-Щедрин высмеял в «Губернских очерках»: «Итак, прежде нежели распространять грамотность, необходимо распространить «истинное» просвещение. Вам, может, странно покажется, что тут дело будто с конца начинается, но иногда это, так сказать, обратное шествие необходимо и вполне подтверждается русской пословицей: «Не хвались, идучи на рать...» К мыслям Даля насчет народной грамотности Щедрин возвращался всякий раз, когда выпадал случай. И через пять лет — «известно, что как только простолюдин начинает понимать буки аз—ба, то он в то же время незаметно и постепенно наполняется ядом». И через пятнадцать — «г. Даль в оное время отстаивал право русского мужика на безграмотность».

Достоевский, не называя Даля, и через семнадцать лет вернется к его высказываниям: «Известен факт, что грамотное простонародие наполняет остроги. Тотчас же из этого выводят заключение: не надо грамотности»; но «грамотность и действует привилегиальными своими неудобствами, что у нас она и есть привилегия», — надо

«уничтожить исключительность», «сделать ее достоянием всех»...

Как видим, мысли Даля о народной грамотности долго обсуждались и осуждались; они определили отношение к Далю известного круга людей.

Чернышевский — полгода не прошло, как хвалил Даля за статью о воспитании, — вынужден порицать «мнения, впасть в которые имел несчастье г. Даль»: «Грустно думать, что человек, умеющий говорить на наречии чуть ли не каждого уезда Русской империи, как истый туземец, собравший от народа чуть ли не 40 000 пословиц, так мало знает нужды нашего народа». С этого времени, с разговора о грамотности, в отношении Чернышевского к Далю перелом: и сочинения его никому не нужны, и «все его знание» «ровно никакой пользы» не приносит, и слухи, будто бы Даль «по выговору каждого встречного простолюдина отгадывает... откуда этот человек», вызывают у Чернышевского насмешливое сомнение. Добролюбов писал, что вопрос о грамотности «поднят был не напрасно: г. Даль обнаружил в себе упорного врага крестьянской грамотности». И Чернышевский и Добролюбов отмечают «единодушие, с которым десятки голосов раздались против его опасного заблуждения».

6

Не станем приводить в с е г о сказанного против Даля: первым откликнулся на размышления его о грамотности и разобрал их подробно в «Современнике» педагог и публицист Евгений Карнович; Чернышевский и Добролюбов неизменно отсылают читателей к статье Карновича.

Вот — коротко — ответ Карновича (по объему ответ впятеро превышает размышления Даля).

Грамотность — «главная и единственная основа всеобщего просвещения». Без грамоты народ не просветишь: «одна т о л к о в о и ч е с т н о написанная книга несомненно может, с а м а п о с е б е, бросить множество добрых семян в течение длинного ряда поколений». Грамотность предшествует просвещению, «как заря предшествует солнцу», — кроме нее, нет «никаких способов к распространению в народе добрых начал и верных понятий о чем бы то ни было».

«Что перо легче сохи, это правда», но «вкусивший без

толку грамоту норовит в указчики, а не в пахари... не вследствие грамоты, а вследствие своего понятия о том, что указчиком быть лучше, чем пахарем». Даль утверждает, будто крестьянину, обученному грамоте, кроме «ябеднических просьб», и писать-то нечего. «А что писать нашим боярыням и боярышням? — спрашивает в ответ Карнович. — А если исключить служебную переписку, то что же писать нашим барам? Разве подписывать заемные письма и счеты из разных магазинов?» Да и «ябеды» кто-нибудь должен сочинять: безграмотность помогает произволу: легче «держать темный народ в черном теле, легче зажать обиженному рот и донести, что все благополучно».

Сам разговор, затеянный Далем, — надо ли распространять в народе грамотность, — как бы отрицает всеобщее право на грамотность, которое дано любому человеку от рождения: «Надобно слишком не уважать нравственные силы русского народа и надобно слишком не доверять ему, чтоб бояться его, если он сделается грамотным, и считать грамоту каким-то запрещенным плодом, который он не может вкусить в сыром виде, но который должны для него приготовить избранные мудрецы». А как же гласность, наконец, — гласность, за которую ратует Даль? Для кого произносить вслух истину? Для «избранных мудрецов»?

7

Кажется, что ясно: Даль не прав, прав Карнович, прав «Современник». «Один говорит: «ты пьян», другой говорит: «ты пьян», а коли третий скажет — ступай да ложись»; но Даль «не ложится», твердит в письмах к знакомым — «не поняли», «не поняли»: «Спор, очевидно, завязался по недоразумению, в котором я вину охотно принимаю на себя. Но нельзя же не допустить, что в словах моих, кроме преувеличения, есть и истина».

«Несмотря на оговорку мою, что я не восстаю собственно против грамотности, а только против злоупотреблений ее, тесно связанных с нынешним бытом народа и с обстановкою его, меня все-таки упрекают в том, чего я не говорил... У нас есть заботы и обязанности относительно народа гораздо важнейшие и полезнейшие, чем указка и перо»... Даль просит прислушаться к убеждению его «хотя во уважение того», что у него «под рукою 37 тысяч крестьян в девяти уездах».

Именно в эти годы — нижегородские — Даль как никогда приблизился к крестьянскому быту и крестьянским нуждам. Его служебные письма — бесконечная и самоотверженная борьба с произволом властей. Там, где кончались служебные донесения управляющего удельной конторой, начинались рассказы писателя В. Даля, и в них снова — крестьянское бесправие, чиновничья взятка, неправедность судей, полицейский разбой. Даль наивно убежден («пределы воззрений»), будто достаточно согласиться с ним в том, что «относительно народа» есть заботы и обязанности «гораздо важнейшие», чем распространение грамотности, как ошибочные его взгляды на сей счет и ошибочные выводы сами по себе обернутся всего лишь «недоразумением». Но спор шел не о чем другом, а именно о грамотности; в распространении ее те, кто спорил с Далем, видели также обязанность «важнейшую и полезнейшую». Публицист Карнович в резком и страстном ответе Далю говорил, между прочим, и об иных «сторонних» его замечаниях: «Такие замечания весьма важны, но они слишком общи... Другое дело, если они будут более развиты и будут подкреплены какими-нибудь доводами, тогда они могут составить особый предмет прения».

Декабрист Пущин писал из Нижнего: «С Далем я ратоборствую о грамотности. Непременно хотелось уяснить себе, почему он написал статью, которая всех неприятно поразила. Вышло недоразумение, но все-таки лучше бы он ее не писал, если не мог, по некоторым обстоятельствам, написать, как хотел и как следовало. Это длинная история...»

Видимо, и Добролюбову сказал Даль что-то о «нынешнем быте народа и обстановке его», что хотел сказать и не сказал в «Письме».

Добролюбов, не склонный к любезной снисходительности, летом 1857 года (через полгода после «Письма» Даля в «Русской беседе») сообщал, также из Нижнего: «Самое отрадное впечатление оставил во мне час беседы с Далем. Один из первых визитов моих был к нему, и я был приятно поражен, нашедши в Дале более чистый взгляд на вещи и более благородное направление, нежели ожидал. Странности, замашки, бросающиеся в глаза в его статьях, почти совершенно не существуют в разгово-

ре, и, таким образом. общему приятному впечатлению решительно ничто не мешает. Он приглашает меня бывать у него, и сегодня я отправляюсь к нему...» И все же «упорным врагом крестьянской грамотности» Добролюбов назвал Даля после встреч в Нижнем!..

Можно прислушаться к Далю «во уважение того», что у него 37 тысяч крестьян «под рукою», и «во уважение того», что в беседах взгляд его был более «чистый» и «благородный» по «направлению», чем виделся в его статьях критикам «Современника», но при всех оговорках и частностях, которые обнаруживаются при скрупулезном исследовании и в высказываниях Даля, и в возражениях его противников, Далев взгляд на внедрение народной грамотности, в конечном счете, не «недоразумение», а ошибка, «опасное заблуждение».

Известный педагог Ушинский писал: «Правдивые факты, приводимые г. Далем, свидетельствующие о том, как быстро и в каком множестве портятся наши бедные грамотеи, показывают не то, как вредна грамота для русского человека, но то, до какой страшной степени заражена та среда, в какую вводит их грамота, и как беззащитен и безоружен остается в ней простой и, может быть, прекрасный человек».

Даль в заметке, написанной для «Нижегородских губернских ведомостей», привел расчет: из пятисот человек, обучавшихся в течение десяти лет в девяти сельских училищах, двести стали «негодяями». Но мы на этот расчет с иной, не с Далевой, стороны глянем: получается — из 37 тысяч крестьян оказывалось в каждом училище лишь пять человек в год! Ну как тут вновь не возвратиться к Ушинскому: «Уже одно простое увеличение числа грамотеев уменьшит зло. Чем больше будет людей грамотных, тем менее будет для них соблазна пользоваться неграмотностью других»...

В Нижнем Даль пытался ограничивать произвол властей и владельцев и тем обеспечивать народу права. Он полагал, что и к просвещению надо подвигать народ постепенно, улучшая быт и меняя исподволь «обстановку». Даль как бы шел от противного: обеспечьте здоровый народный быт, «обстановку», которая сама бы вела к нравственному образованию, и на почве этой внедряйте грамотность. «Обеспечьте», «не запрещайте учиться грамоте, но не смешивайте средства с целью»; наклонение глагола не такая пустячная вещь — у Даля оно словно подразумевает внедрение и грамоты, и просвещения, и изменений в народном быту извне, дарование их народу теми «избранными мудрецами», о которых насмешливо писал Карнович. И это было уже в предложениях Даля об отмене крепостного права, где тоже предлагалось не произносить вслух слова «воля», но втихомолку готовить для народа эту «волю».

«Опасное заблуждение» Даля начиналось там, где он предлагал приготовлять народ к распространению грамоты, вместо того чтобы, всемерно распространяя грамотность, дать народу возможность самому составлять «верные понятия о чем бы то ни стало», взять в свои руки устройство своего быта и перемену «обстановки» — и таким образом прийти к нравственному развитию и просвещению истинному.

«УТОРОПЬ», «ЗАБЕДРЫ», «МАС ВОЛЮ СЛЕМЗИТЬ» (ВМЕСТО ОТВЛЕЧЕНИЯ)

«Грамотей не пахарь», но «Грамоте учиться всегда пригодится» — эти пословицы в «Толковом словаре» поставлены рядом. Даль, человек дельный, на деле не находил иных путей для просвещения и нравственного развития, чем печатное слово.

В «Письме к издателю» «Русской беседы» он сетует: «А что читать нашим грамотеям? Вы мне трех путных книг для этого не назовете». Известны слова Даля о «необходимости заготовить книги» для народного чтения. Сам он начал «заготовлять» такие книги вскоре после вступления своего на литературное поприще. Еще в тридцатые годы (мы упоминали об этом) написал он книжку коротких простонародных рассказов, перемежаемых пословицами и загадками, — «Солдатские досуги» [1]. Официальные статейки — «служи строго, а о прочем не заботься: на то бог, государь и справедливое начальство» — не определяют состава сборника и часто противоречат другим рассказам и притчам, где российские сол-

[1] Современный исследователь пишет, что это «первая книга, написанная для солдат со знанием их языка, психологии и интересов» (см. Г. Г. Шаповалова, Опыт издания первых книг для народа. Труды Ин-та этнографии имени Миклухо-Маклая, т. 85. М., 1963).

даты как раз заботятся «о прочем» и побеждают врага собственной доблестью, смекалкой, умением и справедливостью.

Позже Даль писал: «...Я был уверен, что могу на этом пути быть полезным; для нашего брата пишут и печатают много, для народа ровно ничего... Грамотность и просвещение не одно и то же, но первая должна служить путем ко второму; а заботясь о грамотности народа, без сомнения надо позаботиться также о чтении: возбудив жажду чтения. Было время, когда я готов был посвятить себя этому великому в глазах моих делу».

В 1843 году увидела свет составленная В. Одоевским и публицистом А. Заблоцким первая книжка «Сельского чтения», за ней последовало несколько новых выпусков, но переиздавались и старые; за пять лет первая книжка «Сельского чтения» выдержала семь (!) изданий, в ней напечатаны притчи Даля.

Белинский приветствовал выход «Сельского чтения»: «Явление такой книжки, как «Сельское чтение», должно радовать всякого истинного патриота, всякого друга общего добра. Бедна наша учебная литература, беднее нее наша детская литература... беднее всех их наша простонародная литература, если бы только у нас существовала какая-нибудь литература для простого народа». «Сельское чтение», по словам Белинского, «знает, с кем имеет дело», «постоянно держится в сфере быта и положения простого человека — в сфере чисто практической». Примечательно, что, разделяя «статьи» «Сельского чтения» на учебные и нравственные, Белинский относит притчи Даля к нравственным.

Белинский будто провидел острый спор, который вспыхнет через полтора десятилетия: «Есть люди (каких людей не бывает на белом свете!), которые от души убеждены, что крестьянину нужны щи да каша, а грамота бесполезна. Слава богу, время начинает обнаруживать ту великую истину, что без ума не будет и щей с кашей, а ум родит грамота...»

В Нижнем Даль как бы продолжил свой давний труд: по предложению Главного морского штаба подготовил книжку «Матросских досугов». С этой целью он пересмотрел и разобрал обширнейшие запасы — множество записанных рассказов очевидцев, песен, сотни книг и журналов. Когда «Матросские досуги» были напечатаны «в пользу автора», Даль попросил прислать ему всего

двадцать экземпляров, а остальные предназначил для бесплатной раздачи нижним чинам.

Письма свидетельствуют, что здесь же, в Нижнем, Даль подумывал над сборником рассказов для удельных крестьян.

«Досуги» и солдатские, и матросские, если придерживаться деления Белинского, надо отнести частью к разряду учебному, частью к нравственному, а всего вернее — к учебно-нравственному: рядом со сведениями об устройстве вселенной встречаем рассказы из русской истории, преимущественно военной; описания подвигов солдат и матросов сменяются нравоучительной притчей или хитрой байкой. По Далевым словам, в «досугах» найдет читатель «складчину всякого добра, и на смех и на горе, и на время и на безвременье, и на дело и на безделье»; главное же, хотелось Далю, чтобы читатель «еще научился из книжки его чему доброму».

...*В книжке, для народа предназначенной, не то лишь* важно, что сказано, не менее важно — как. Белинский, разбирая «Сельское чтение», писал: «Избегая книжного языка, не должно слишком гоняться и за мужицким наречием... Простота языка должна, в этом случае, быть только выражением простоты и ясности в понятиях и мыслях».

...Встретившись на берегах Урала с Жуковским, Даль — *как бы на выбор* — предложил ему два разных способа выражения одного и того же понятия. Человек, привыкший говорить «по-книжному», скажет: «Казак седлал лошадь как можно поспешнее, взял товарища своего, у которого не было верховой лошади, к себе на круп и следовал за неприятелем, имея его всегда в виду, чтобы при благоприятных обстоятельствах на него напасть», — длинно и скучно. Зато до чего точна и выразительна речь уральского казака: «Казак седлал уторопь, посадил бесконного товарища на забедры и следил неприятеля в назерку, чтобы при спопутности на него ударить!»

Даль знал слова еще непонятнее, чем «уторопь» и «забедры»: «Ропá кимáть, полумéркоть, рыхлó закурéщат ворыхáны». Далю известны были языки, с которыми знакомы лишь редчайшие из полиглотов, — язык офенский (он же афтюринский, ламанский, галивонский, кантюжный, матройский тож), языки костромских и нижегородских шерстобитов, калужских прасолов, рязанских нищих и столичных мошенников; он прислушивался к имевшему

свои разновидности «тарабарскому языку» школьников. Даль хотел собрать все слова, звучащие по всей Руси великой, и потому не мог не проявить любопытства к языкам условным, или, как он их называл, искусственным. Даль сперва даже думал к своему «Толковому словарю» приложить «словарики офенский и шерстобитов»; словарики не приложены, но составлены Далем и сохранились поныне [1].

В конце лета — начале осени офени покидали родной дом и отправлялись в долгий и дальний путь — кто с тележкой, вроде некрасовского дядюшки Якова, кто с коробом через плечо, вроде некрасовских же коробейников. Желание «открыть новые места», где «хорошо пойдет» товар, уводило их на окраины — на «украйны», как тогда говорили («область с краю государства», — объясняет Даль): в Архангельскую губернию и Восточную Сибирь, на границы «киргизских» степей и в Закавказье. «Корень офеней» (выражение Даля) — Ковровский уезд Владимирской губернии, там и начал складываться язык офенский, он же ламанский, кантюжный и проч. От других условных языков офенский отличался большим запасом слов, относящихся к тому же не только до ремесла. В русско-офенском словаре Даля дан перевод около трех тысяч слов, в «обратном», офенско-русском, — около четырех тысяч. Два офени — они называли себя «масыками», — повстречавшись на постоялом дворе, могли коротко поговорить не только о товаре, торговле, прибыли. «Мас волю слемзить» означает: «Я хочу сказать».

Даль составил еще словарь «языка» костромских шерстобитов (около семисот слов) и совсем небольшой (всего сто тридцать слов и два десятка выражений) словарик, озаглавленный «Условный язык петербургских мошенников, известный под именем музыки или байкового языка» [2]. «Бедность не грех, а до греха доводит», — говорит пословица. — «Бедность крадет. а нужда лжет». Справедливость «мнения народного» вполне подтверждается примерами из Далева словарика: «Три ночи гопал, три дня жохом ходил, поглядел на Знаменье да с тех пор уж и пошел по музыке» («Три ночи ночевал на улице, три дня без гроша жил, высекли меня плетьми на площади, с тех пор я уж и пустился на воровство»).

[1] ГПБ, ф 234, № 7 и 8.
[2] Там же, № 9

Возвратимся, однако, на берег Урала и в 1837 год, где мы оставили Даля в ожидании ответа Жуковского. Маститый поэт «уторопь», «забедры» и «назерку» не поддержал; он отвечал Далю, что таким способом можно говорить только с казаками и притом о близких им предметах. Жуковский прав: в общем-то, «три ночи гопал» тоже четче, короче и выразительнее, чем «три ночи ночевал на улице». Но не стоит доказывать, как иногда делают, будто Даль в творчестве своем шел от местных речений. Даль увлекался точностью и образностью не только вообще народного, но «тутошнего» языка.

В рассуждениях и статьях Даль подчас хватал через край: отказывал в народности чуть ли не всей тогдашней литературе, требование сблизить язык разговорный и письменный (книжный) оборачивалось в пылу спора требованием заменить письменный язык разговорным. Но сам же Даль утверждал очень определенно: «Нет, языком грубым и необразованным писать нельзя, это доказали все, решавшиеся на такую попытку, и в том числе, может быть, и сам составитель словаря».

Даль справедливо считал, что для создания русского литературного языка «простонародный язык» — «главный запас», что «самобытность и дух языка» должно искать там, «где он стоит еще на своем корню, не подкошенный, и живет на своем соку». Даль понимал, что есть «областные, местные выражения, которые могли бы испортить язык наш», «но, — продолжал он, — там же, в Сибири, в Олонце, на Дону, на Урале, на Украйне — словом, всюду, где только живут русские люди, вы услышите множество превосходных, незаменяемых выражений, которые должны быть приняты в письменный язык наш; это скажет вам русское ухо и русское чувство». И выводил: «Изучать нам надо народный язык, спознаться через него с духом родного слова, и принимать или перенимать с толком, с чувством, с расстановкой».

Рассказы и повести свои Даль не писал «тутошним» языком; когда ради выразительности вставлял он в речь свою местное словечко, то спешил его объяснить. Даль беседовал с Жуковским, горячо (будем думать — горячо) доказывал, что «при спопутности» лучше, нежели «при благоприятных обстоятельствах»; в письменном столе его лежали только что написанные (а возможно, и недописанные еще) «Солдатские досуги» — в них «уторопи» и «назерки» нет. Даль знал множество уральских слов, от-

носящихся до рыболовства, но даже о промысле уральских казаков Казак Луганский рассказывает без казачьих словечек: «Лед казался всюду крепким, погода стояла хорошая, опасности до времени никакой не предвиделось» — просто и ясно. Даже сами казаки объясняются в рассказах Даля без «спопутности»: «Мы сели верхом и поехали все трое отыскивать аханы свои, которые унесло льдом»; к слову «аханы» сноска — «рыболовные сети».

Даль знал, что вятичи «не говорят: резать, бить, колоть скотину, а всегда молить». Но у Даля в рассказах люди молят бога и молят злого да богатого не делать худа; скотину в Далевых рассказах режут, колют, бьют. Другое дело, что Даль хорошо знал, когда надобно сказать «бьют», когда «режут», когда — «колют». В «Толковом словаре» найдем и «уторопь», и «назерку», но Даль говорил: «Я никогда и нигде не одобрял безусловно всего, без различия, что обязан был включить в словарь: выбор предоставлен писателю». Салтыков-Щедрин смеялся над писателями, которые «для народности» ловко выхватывают «тутошние» словечки из Далева словаря. Сам Даль понимал: написать «молить редру птрусеню» вместо «резать рыжую корову» — право, не более понятно, чем «мас волю слемзить»: тот же «условный» язык.

Слова Белинского, что не «мужицкое наречие» в книгах для народа нужно, а простота языка как «выражение простоты и ясности в понятиях и мыслях», глубже, чем могут показаться на первый взгляд. В пору всеобщей неграмотности книжный язык ученой статьи или чиновничий слог деловой бумаги был не более понятен мужику, чем «уторопь» уральского казака, чем беседа остановившихся на ночлег офеней или быстрое словцо городского мошенника.

В «Солдатских досугах» Даль поместил рассказец «Письмо»: «Принялся писать, так не мудри... а напиши лучше просто, вот как бы ты стал говорить с кем-нибудь; только старайся писать толком, ясно, без путаниц, чтобы сам понимал и другие понимали». Право, здесь не одно лишь назидание полуграмотному солдату — скорее завет пишущему для народа.

Можно спорить с Далем, как спорил с ним в дневнике своем Тарас Шевченко, — надо ли было приниматься за переложение народным языком Апокалипсиса и библии. Можно спорить о пользе задуманного Далем труда, но цель труда ясна: язык священного писания для народа так же непонятен, как язык «масыков», как всякий условный знак. Несколько десятилетий спустя Толстой тоже начнет пересказывать евангелие живым народным языком. И многозначительно: духовная цензура труд Даля не одобрила; Даль, казалось бы, старался сделать понятнее для народа основы «истинной веры», но «жрецам» условный язык выгоднее понимаемых истин.

ПРО ПОЛТИНУ И ПОДВОДУ

1

Даль радушно принимал гостей, предлагал партию в шахматы, чай, музицирование дочерей, интересную беседу — во время разговора он не переставал тасовать карточки с записями слов, делать выписки, — он рассказывал и слушал работая. Это вечерами; в одиннадцать (строго по часам — часы в гостиной высокие, с боем) он задувал стоявшую рядом свечу: утром Даль «всегда в конторе».

Десять нижегородских лет Даль упрямо и старательно выполнял свое намерение превратить службу в дело. В первых же донесениях из Нижнего он возмущается привычкой «бездействовать и отписываться». Надежды, с которыми он покидал Петербург, гаснут в нем не сразу; поначалу кажется, что можно стать хозяином в провинции и вершить дело по-своему. Но «бумажная цепь» — оковы крепкие: «я бессилен», «связан», «неразрывными путами связан», — жаловался в официальных письмах Даль. Ему отвечали о необходимости «срочной отправки целых стоп ведомостей по новейшим образцам «сокращенной» переписки».

С годами ничего не менялось, в отчаянии Даля появляется какая-то неизбежность: «...По бумажной части у меня беспорядки точно такие, как у других, может быть и более, по ненависти моей к этому занятию, поколику оно составляет прямую цель службы и трудов; а между тем ревизия наездом не даст средств вникнуть в сущность управления. Хорошо, если б можно было спросить тридцать семь тысяч крестьян; этому суду я бы с радостью подчинился».

2

Про эту «сущность управления» Даль писал: «Не говорите мне, что я затеваю ссору из-за безделиц... Из таких безделушек соткана вся жизнь мужика; у него нет тяжбы из-за наследства графа Шереметева; речь всегда только идет о напрасных побоях, о взятке за полтину, о самоуправном наряде подводы и проч.». В словах про «полтину» и «подводу» открывается цель, с которой ехал Даль в Нижний и к которой упрямо стремился.

«Кому полтина, а кому ни алтына», «Не ждет Мартын чужих полтин, стоит Мартын за свой алтын», — Даль помогал кому-то добыть положенный алтын, помогал Мартыну за свой алтын стоять. Он высоко оценил труды мелкого служащего конторы, который, конечно же, подвергался гонениям: «Этот человек десять лет день и ночь препирался с грабителями, со всеми властями в губернии, вырывая у них день за день по клоку и возвращая обиженному...» Девять лет, изо дня в день, продвигал сам Даль «Дело по жалобе крестьян деревни Нечаихи Логина Иванова и Татьяны Калминой об оспариваемых у них полковницей Л. Г. Гриневич сенных покосах в количестве четырех десятин», — продвигал, несмотря на противодействия судов и палат, несмотря на жалобы, рассылаемые полковницей губернатору, в столицу, государю. Годами, буквально «обстреливая» письмами министра Льва Перовского и, через него, самого царя, добивался Даль пересмотра «безбожного» дела об отдаче в солдаты несовершеннолетнего крестьянского сына Василия Печального (богатый мужик несправедливо обвинил Василия в воровстве, избил до полусмерти, а затем подкупил следствие). «Все следствие, от начала и до конца, произведено ложно; показания крестьян изменены и руки за них приложены самим следователем или его подручными», приговор «основывался на мошенническом следствии», — докладывал Даль министру, царю.

Этот Василий Печальный (одна фамилия чего стоит!) словно символ проходит через служебную переписку Даля[1]. Лев Алексеевич Перовский морщится, отписывается: «Вам необходимо наблюдать, чтобы крестьянские дела решаемы были на месте с должным беспристрастием и справедливостью»; но Даль продолжает свое: «Дел, вроде

[1] ЦГАЛИ, ф. 179, оп. 1, ед. хр. 7 и 9.

Печального,... у меня несколько... Всеми силами стараюсь оканчивать их здесь — могу ли доводить обо всех до Вашего сведения и можно ли беспрестанно докладывать Государю? А между тем не могу допустить и такой вопиющей неправды». И тут же, через несколько строк: «О заклеймении... удельного крестьянина, у которого лошадь ушла с базару и он, отыскивая ее, зашел в чужой уезд, приговор вошел в законную силу... К счастью, я узнал об этом и успел остановить; чем кончится — бог знает». А напоследок любезному Льву Алексеевичу язвительно: «Во всей губернии один только исправник, каким он быть должен: расторопный, умный, добросовестный, — это Бетлинг, тот самый, которому на днях отказали в ордене».

Сам Даль награду получил, вот его благодарность министру: «Ваше Сиятельство! Смею принести искреннюю благодарность мою за столь существенную для меня награду, которой я не мог еще ни заслужить, ни ожидать... Но если б я не боялся понести укор неблагодарности — как человек ничем не довольный, — то я бы стал просить еще другой, большей милости; а именно: позволения Вашего Сиятельства представить Вам записку о служебных неудобствах и препятствиях такого рода, которые доводят нашего брата постепенно до безнадежного отчаяния, а с тем вместе уничтожают все добро и благо, к коему стремится благодетельное Управление наше. Жалобы эти будут резки, но правдивы. Чем усерднее я борюсь за дело, тем я теснее связан неразрывными путами по рукам и по ногам. Положение неловкое и для пользы дела бедственное».

3

Удельные крестьяне были собственностью царской семьи — те же российские крестьяне с деревянной сохой в поле, розгами на конюшне и без права «самовольно» выходить замуж, делить имущество, переселяться, передвигаться, строить даже сараи и оставлять завещания. Их объявили «свободными сельскими обывателями», но свобода в рублях стоила пять тысяч — поди скопи их при бесконечных поборах, «законных» и «незаконных» (оброк, повинности, налоги, отбираемые «излишки» умножались на воровство, вымогательство, произвол чиновников и полиции).

Даль с упорной старательностью сообщает о «невыно-

симом своевольстве полиции» — «истинный бич для крестьян»: «Что делает в Нижегородской губернии полиция с крестьянами, этого не только правительство не знает, но и не поверит, если услышит о том, в уверенности, что в наш век и время, в самой середине России, в Нижнем, не может быть речи об ужасах, известных по преданию давно минувших лет. Не стану говорить теперь об отчаянно-буйном и самоуправном управлении Княгининского городничего Шугурова, который хозяйничает в городе, как в неприятельской земле, дела его вялы и ничтожны в сравнении с делами семеновского исправника Бродовского... Исправник, подобрав себе из подчиненных шайку, разъезжает по уезду и грабит, грабит буквально, другого слова помягче нет на это; он вламывается в избы, разузнав наперед, у кого есть деньги и где они лежат, срывает с пояса ключ и ищет запрещенных раскольничьих книг в сумках и бумажниках, а беглых попов в сундуках и, нашедши деньги, делит их тут же с шайкою своею и уезжает». Это не из частного письма, не из очерка — тоже из деловой переписки с Петербургом. Губернатор, жалуется Даль, объявил, что исправник Бродовский — его доверенный чиновник и потому «россказни» о разбойничьих действиях его — клевета.

Нижегородский губернатор Анненков шутил: «Законы в России, как железо. Когда вынут из печи, так до него пальцем дотронуться нельзя, а через час хоть верхом садись на него». Законы не исполнялись ни «в самой середине России, в Нижнем», ни восточнее — в Оренбурге, где в пятидесятые годы снова губернаторствовал Перовский Василий, ни западнее — в Петербурге, где управлял удельным ведомством другой Далев «благодетель» — Перовский Лев.

Даль докладывал министру «о совершенной неспособности» городецкого бурмистра управлять вотчиной. «Замените другим», — приказывал Перовский. «Но каким образом соединить подобное распоряжение Вашего сиятельства с правом общества избирать своего бурмистра?..»

«Не может быть речи об исправлении погрешностей, ошибок — их нет, а все ложно, от начала и до конца... — объяснялся с министром Даль. — Все управляющие находятся точно в том же положении, как и я, но никто не смеет этого высказать». Министр поучал Даля в раздраженных ответах-советах: «Смотрите на вещи более с прозаической точки зрения, менее пускайтесь в предположения и держитесь сколько возможно существующих постановлений»; «Вы сами вызываете отказы, на которые жалуетесь, оттого что не идете к цели постепенным и установленным порядком, а хотите, чтобы по каждому Вашему представлению переменяли законы и постановления»; «При сем нахожу нужным изъяснить, что представляемые Вами предположения большею частью относятся к таким предметам, которые требуют принятия какой-либо общей меры и Департамент принужден отказывать Вам именно по невозможности привести в исполнение общую меру» [1].

Сколько пылу и чернил потрачено, дабы доказать, как благоденствовал «преданный друг» Даль «под рукой» у Перовского. Он, «преданный друг» Даль, мог писать министру всякую, даже «слишком смелую» правду, не страшась отказа (наверно, и в Дале такая надежда теплилась, когда он покидал Петербург). Ответы Перовского делают определение «преданный друг» двусмысленным.

Даже Лазаревский, товарищ Даля и доверенный человек Перовского, даже он, повторяя привычное — Перовский «был все» для Даля, признает: «Но винты многолетней дружеской связи начали уже хлябать в местах». В главных местах — добавим: именно в последние годы управления и жизни Перовского Даль заговорил о гласности, о правде во всеуслышание ради искоренения общественных пороков — на законы, на частную переписку, на милость министра он уже не надеялся.

«Торгуй правдою, больше барыша будет» — в пословице скрыт двойной смысл: народ полагал, что правда всего дороже, но вокруг наживали барыши, торгуя самой правдой оптом и в розницу. На закате жизни Даль напишет сердито и решительно: «Молодому поколению предстоит сильная борьба за правду, вместо которой нам, старикам, только показывали кукиш»...

4

Осенью 1856 года умер Лев Алексеевич Перовский, и взамен ему пришел Михаил Николаевич Муравьев, в прошлом — член Союза благоденствия, отошедший от заговора, в будущем — палач польского восстания, за-

---

[1] Разрядка наша. — *В. П.*

клейменный в истории кличкой «вешатель». Осенью 1856 года нижегородским губернатором был назначен брат нового министра Муравьев Александр Николаевич, в прошлом — один из основателей первых тайных обществ, осужденный на шесть лет в каторгу, но ввиду «чистосердечного раскаяния» просто сосланный в Сибирь без лишения чинов и орденов и вновь начавший восхождение по ступеням служебной лестницы.

Мельников-Печерский рассказывает, что новый губернатор «сначала жил с Далем душа в душу... Но впоследствии между этими друзьями, вследствие наветов и бабьих сплетен, пробежала черная кошка... Даль забыл, что не всякий министр есть Перовский, написал к его преемнику такое же откровенное письмо», но «получил от него замечание... и попал в отставку».

История отставки Даля выглядит как случайность, как частность, как семейная ссора: родственники, бабьи сплетни, черная кошка, родной брат.

Но Муравьеву-министру Даль тоже писал вполне откровенно. Революционер-шестидесятник Н. В. Шелгунов, служивший под началом Муравьева, вспоминает: «Муравьев был честолюбив, властолюбив и деспотичен; прощать он не умел и всегда увлекался личными чувствами», «людей он вообще ценил невысоко»; «но этот же самый Муравьев умел и уважать. Даля, который был тогда управляющим Нижегородской удельной конторой, Муравьев принимал не как министр подчиненного, а как какого-нибудь президента академии». (А «благодетель» граф Перовский на просьбу Даля разрешить приезд в Петербург отвечал уклончиво, но твердо: «Не нахожу нужным отвлекать Вас от того круга деятельности, в котором Вы приносите так много пользы».) Муравьев-министр предлагал Далю управлять Московской удельной конторой, «но, зная, в каком она запустении и как тяжело было бы там воевать с великими мира сего, а также соразмеряя ветхие силы свои, я струсил и отступил» [1].

Муравьев-губернатор взялся за дело круто: «При проклятом Мураше никто покоен не был. Того и гляди, бывало, ляжешь спать судьей, а проснешься свиньей». Несколько неожиданных губернаторских наездов, несколько разоблаченных воров, лихоимцев, грабителей — и Даль, конечно же, с Муравьевым. Во всех присутствиях горячим шепотком честят «проклятого Мураша», а Даль пишет восторженно: «Покуда Александр Николаевич здесь, не хочется покидать чести места»; «если бы Бог велел ему прожить и пробыть здесь лет десяток, то губерния наша... приняла бы по управлению вид благословенный».

[1] ГБЛ, Пог. II, 10/18.

Принимая назначение в Нижний, Муравьев не скрывал, что связывает будущие труды свои с «желанием» государя освободить крестьян.

Не без нажима нового губернатора нижегородские дворяне первыми «отозвались» на призыв правительства создавать дворянские комитеты и приступить к составлению проектов «об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян». Потом целые легенды возникли — в них Муравьев умно побивает злодеев-крепостников (легенды записал Короленко), но работа комитета, по существу, захлебнулась. В комитете тотчас начались распри: дрались «из-за уступок», да так дрались, что сам Александр Второй, посетив Нижний, просил господ членов комитета пресечь «ссоры и личности».

Нет, не «черная кошка»: как бы хорош ни казался губернатор, столкновение с ним Даля было неминуемо. Если бы они собирались «вершить дела» несправедливо, им легче было бы сговориться; но каждый хотел невозможного (и полагал, что сумеет) — добиться правды там, где правда в лаптях, а кривда в сапогах, где за правдивую погудку смычком по рылу бьют.

На место одного неправедного судьи, который «проснулся свиньей», садился другой — такой же Шемяка; взамен одного «грабителя» исправника, смещенного по представлению Даля, назначался другой, такой же «разбойник», но уже «доверенный человек» губернатора. А кого можно было назначить, если сам Даль в записке о преобразовании земского суда [1] предлагал увеличить жалованье полицейским чинам: это хоть и не поднимет нравственности чиновников, но позволит честному человеку существовать на полицейскую должность.

«Служебные отношения» Даля не оттого ухудшились, что министр и губернатор сменились, а оттого, что управление не переменилось. Оно и не могло перемениться в одной губернии тщаниями одного губернатора, тем более что губернатор (как и Даль, впрочем) надеялся придать

[1] ЦГАЛИ, ф. 179, оп. 1, ед. хр. 3.

губернии «благословенный вид» в рамках старого, обычного порядка управления.

И хотя (этого даже доброжелательный биограф А. Н. Муравьева не скрывает) с подчиненными губернатор бывал несправедлив — потакал любимцам, «потворствовал родственникам и в особенности родственницам, которые имели большое влияние на дела, во все вмешивались», причина его ссор с Далем («бабьи сплетни») — это не «светские» в губернаторской гостиной размолвки. Даль окончательно разуверился в возможности справедливого управления.

5

В последние годы службы появилось еще одно определение Даля — «грубый». Неожиданно, однако не лишено основания.

Он сообщает в Петербург, что губернатор представил его к награде: «На это я отвечал. Во-первых, мне кажется, что это не идет и будет некстати. Во-вторых, ордена и чина мне дать невозможно; их надавали мне и так не в меру. В-третьих, и то и другое мне всегда было в тягость, а не в радость; особенно охотно сложил бы я с себя последний чин и звезду, которая пристала мне, как... пословица вам известна. Остается денежная награда, но денег мы и так получаем много, и надо в этом отношении совесть знать; к тому же у вас нет на это казны, а из чужого кармана, кажется, просить наград нельзя. Наконец, в доказательство искренности моей, выскажу и лишнюю правду: вы представляете к наградам за отличие в числе прочих таких людей, что я бы считал первым для себя отличием не быть отличаему с ними вместе, чтобы сторонние не сочли меня за такого же негодяя...» Даль просит доложить министру, «что и как было».

Он не устает разоблачать негодяев перед губернатором (только на одного исправника, губернаторова любимца, подал шестнадцать жалоб): «Ни страха, ни боязни, потому что нет никакого взыскания. В любимцы вдруг попали самые выжиги, буквально какие-то опричники, Ноздревы с компаниею... Целая цепь непотребного заступничества образовалась исподволь и заступила дорогу порядочным людям... Ненависть полицейского легиона к нашему брату может быть понятна тому только, кто видит на месте, как мы вырываем из зева ее один лакомый кус за другим». Он разоблачает негодяев перед губернатором, а губернатора перед братом его, министром, — вот ведь какой грубиян! Даже Лазаревский входит в «положение министра, перед которым видно поставленный подчиненный так резко и горячо обличает в противозаконном произволе правительственных действий... любимого брата». Да и сам Даль не отказывается, не оправдывается — «другого оружия у меня нет»: только «за мою грубую правду на словах нельзя карать крестьян неправдою на деле».

Задолго до Нижнего Даль рассказал в повести о «несносно честном и правдивом человеке», который пытался «крупинками», малыми благодеяниями и «добрыми делами» побороть большую и всеобщую неправду: «Трудно было жить и служить... Всякая несправедливость казалась мне дневным разбоем, и я выступал против нее с такою же решимостию и отчаянием, как противу человека, который душил бы подле вас кого-нибудь, ухватив его за горло: где кричат караул, туда я бросался со всех ног. Но я большей частью оставался в дураках, заслужив только прозвание беспокойного человека, а горю помогал очень редко».

Даль требовал от губернатора справедливости, а губернатор полагал, что и так справедлив. Когда Муравьев решил помириться с «выжившим из ума» управляющим удельной конторой, Даль сказал: «Мы не малые ребята, не поссорились за пряничек, и объятия ни к чему не поведут; подписываю мировую сейчас же на одном только условии: не кривите делом в угоду любимцам, а судите отныне право, не давайте удельных крестьян в обиду и на произвол полиции». Муравьев пожал плечами и уехал — иначе он должен был признать, что судит неправо, что правит несправедливо.

В связи с высочайшим указом о разрешении удельным крестьянам лично подавать просьбы и ходатайствовать по своим делам, губернское правление отказало Далю в праве заступаться за крестьян, вести за них дела.

Попытка Даля «остановить произвол» была «признана оскорблением и превышением власти»; Даль получил замечание от министра.

«ВЫСЛУЖИЛ СТО РЕП»

1

Еще весной 1859 года Даль долго сочинял прошение — марал лист за листом, выбирал слова: «По болезненному состоянию моему, осмеливаюсь испрашивать милостивого разрешения на двухмесячный отпуск для отдыха и пользования кумызом. Если попытка эта не принесет мне пользы, то сочту долгом, для пользы службы...» [1] Но в те же дни он счел долгом и для пользы службы сочинил письмо губернатору — грубиян Даль:

«Много времени тому назад я говорил Вам, что, противуборствуя неправде без всякой самонадеянности, не могу выйти из этой отчаянной борьбы победителем, но что обязан свято исполнить долг свой...

Дело сталось! Я побежден в конце и изгнан — но не завидую славе победителя. Не верьте льстецам, которые будут оправдывать перед Вами дело это — и не верьте словам своим, если станете, в свое утешенье, ободрять таких людей: это будут одни слова, одни звуки, а за самое дело неминуемо будет корить совесть.

Не верьте и тому, будто Вы изгоняете меня за грубость мою: это один предлог. Всякая правда груба: это не прямой луч, а кривая рогатина, которой друг не боится, а боится недруг.

Притом здесь следствие берется за причину: дело не началось грубостью, а кончилось ею.

Чиновники Ваши и полиция делают, что хотят, любимцы и опричники не судимы. Произвол и беззаконие господствуют нагло, гласно. Ни одно следствие не производится без посторонних видов, и всегда его гнут на сторону неправды. В таких руках закон — дышло: куда хочешь, туда и воротишь...

Вот почему прямым, честным и добросовестным людям служить нельзя. Их скоро не будет при Вас ни одного... Не верьте, чтобы кто-нибудь прославлял Вас за такие подвиги; самые негодные люди, радуясь этому, не менее того понимают, что добросовестность и справедливость идут в ссылку, а самочинность и беззаконие торжествуют.

Но судить нас будут не родные братья наши, в каких бы ни были они высоких званиях, а рассудит нас народ...»

---

[1] ЦГАЛИ, ф. 179, оп. 1, ед. хр. 14.

2

Он опять про эти тридцать семь тысяч. С приездом Даля удельным крестьянам Нижегородской губернии стало казаться, будто где-то есть правда. Они приходили в Нижний со всех концов губернии — обманутые, обобранные, ни за что побитые, — терпеливо дожидались господина управляющего удельной конторою и долго, коряво жаловались, что становой («грабитель») ни с того ни с сего велел принести трешницу («А где ее взять?»), что исправник («пьяница») избил мужика до полусмерти, что приезжали в село власти и с ними какие-то люди, набрали у крестьян разного товару, а потом денег не отдали и еще грозились в Сибирь загнать. Даль слушал терпеливо, не перебивал — разве что, проверяя себя, вдруг угадывал: «Макарьевского уезда?» или «С Ветлуги, что ли?» Мужики разводили руками: откуда такое ведомо? А Даль посмеивался — он знал, что в Макарьевском уезде поособому мягко цокают, а на Ветлуге говорят протяжно, напевно, необычно растягивая иные слоги. «Окажи милость, ваше превосходительство», — но Даль-то знал, сколько трудов надо положить, чтобы выполнить самую пустячную мужицкую просьбу...

Можно красиво рассказать про нижегородскую службу Даля — про больницу, построенную им для удельных крестьян, про училище для крестьянских девочек, про беседы с мужиками, про объезды имений, главное — про «полтины» и «подводы»...

Его превосходительство влезает в тряскую колымагу; не глядя на зной и стужу, тащится по уездам, чтобы возвратить Татьяне четыре десятины земли, Ивану — рублевку, Василию — вязанку дров.

От медицины Даль тоже не мог убежать: врачей почти не было, а болезни знай себе глодали деревни. К управляющему удельной конторой шли лечиться — Даль накладывал повязки, рвал зубы, вскрывал нарывы, иногда даже серьезно оперировал. Он приходил в темную душную избу, чтобы дать лекарство ребенку, бредившему от жара, или мужику, измученному лихорадкой.

Бабы просили: «Я-то что! Не дай погибнуть, благодетель, — коровенку вылечи». Даль читал ветеринарные справочники, в деревнях ходил по хлевам, по конюшням. Мужик, заглядывая ему через плечо, толковал соседу: «Видал, как с жеребенком-то управляется? А говорит —

не деревенский!» Он был врач, да вот беда — от нищеты и неправды, от голода и холода у него лекарств не имелось.

Можно обойтись и без «картинок», ограничиться скупыми — но о том же — строками воспоминаний. Дочери Даля, Марии Владимировны: «...Всякий шел к нему со своей заботой: кто за лекарством, кто за советом, кто с жалобой на соседа, даже бабы нередко являлись в город жаловаться на непослушных сыновей. И всем им был совет, всем была помощь. И долго-долго после отъезда Владимира Ивановича в Москву крестьяне посылали ему поклоны...» Опять же Мельникова: «И до всякого-то, братцы, до крестьянского дела какой он доточный», — говаривали про своего управляющего крестьяне[1]. «Там борону починил, да так, что нашему брату и не вздумать, там научил, как сделать, чтобы с окон зимой не текло, да угару в избе не было, там лошадь крупинками своими вылечил, а лошадь такая уж была, что хоть в овраг тащи»[2].

Но это все «крупинки». В борьбе, которую Даль, по собственным его словам, вел «день и ночь, до последнего вздоха», «крупинки» — слабое оружие. Принцип гомеопатии — *лечить подобное подобным, только иными дозами*, — при социальных болезнях мало подходящ: нужна хирургия.

3

Осенью 1859 года Владимир Иванович Даль «уволен, согласно прошению, за болезнию, в отставку, с мундирным полукафтаном». Был чин действительного статского советника, ордена и медальки кое-какие, а в общем-то, служил сто лет, выслужил сто реп. В самом деле, за спиной флот, турецкая война, Оренбург, Петербург, Нижний, литература, статьи, пословицы, этнография, проекты, служебные поездки, высочайшее неудовольствие, естественное отделение Академии наук, Географическое общество, друзья — Пушкин и Жуковский, Пирогов и Нахимов, — другому на две жизни, а все еще вроде бы не наш Даль, все вроде бы: «Век мой позади, век мой впереди, а на руке ничего нет».

Но на руке уже половина «Толкового словаря». Главное дело Даля еще не завершено, еще для всех не явно — в этом смысле век его впереди. Впереди у него бесконечно долгий век. Возле дома на углу Большой Печерской и Мартыновской грузят подводы, бывший хозяин собирается в Москву — последний переезд. «Служить больше нельзя», — сообщал он приятелю об отставке. В сказках герой строит за ночь город, пашет поле, сеет пшеницу и хлеб убирает, — потом оказывается, что все это службишка — не служба. Служба — изловить жар-птицу, обрести вечную молодость.

Старый Даль вез из Нижнего в Москву «словарь окончательно обработанный до буквы П».

---

[1] Доточный — «искусник», сведущий и опытный». В. Даль, Толковый словарь.

[2] В газете «Северная пчела» от 20 октября 1860 года нами обнаружена большая статья В. И. Даля «Гомеопатическое лечение сибирской язвы». В ней обобщена медицинская практика Даля в деревне. Статья начинается так: «Распоряжения начальства о способах предохранения и советы аллопатической медицины известны. Посмотрим также, что о сибирской язве говорят гомеопаты; не пропустим и народной медицины».



ПОДВИГ

ПОДВИЖНИК — ...доблестный делатель.

В. Даль,
Толковый словарь

Будешь во времени — и нас вспомяни.

Пословица

...Это не есть труд ученый и строго выдержанный; это только сбор запасов из живого языка, не из книг и без ученых ссылок; это труд не зодчего, даже не каменщика, а работа подносчика его; но труд целой жизни, который сбережет будущему на сем же пути труженику десятки лет. Передний заднему мост.

В. Даль

«А ОН ПОЕХАЛ БОРОНИТЬ...»

1

Старый дом на Пресне огромен — тридцать четыре комнаты. но долго пустовал и стоил недорого. Считается, что построил его князь Михаил Михайлович Щербатов, историк.

Дом был немолод, владельцы менялись, от каждого на лице дома оставались, как морщины, следы. Невольно

улыбнешься, узнав из воспоминаний, что Даль, в его темно-коричневой блузе и валенках, с его пристрастием к простому укладу жизни («днем работать, а ночью спать»), к простой пище («наедаться досыта одним блюдом»), к простому слову («мужицкой речи Далева словаря, от которой издали несет дегтем и сивухой, или по крайности квасом, кислой овчиной и банными вениками» — самого Даля слова), к простому ремеслу («рукомеслу»), улыбнешься, узнав, что Даль, с его «простота, чистота, правота — наилучшая лепота», восседал в зале, где потолок украшен был тремя плафонами: в среднем, продолговатом, — Аврора с розовым шарфом над головой, на золотой колеснице, запряженной белыми конями, а в крайних, круглых, — амурчики с лирой и факелами.

Это не по Далеву вкусу, когда дом для фасада строится — «красно глядеть, а жить негде». В доме на Пресне было где жить всем чадам и домочадцам и бесконечным гостям-постояльцам (кстати, и Мельников-Печерский, перебравшись с семьей в Москву, «взял маленькую квартирку в доме В. И. Даля») — облик покоев и горенок выдавал нрав и привычки владельцев: одна дочь собирала фарфоровые статуэтки; другая увлекалась музыкой; супруга, Екатерина Львовна, предпочитала тяжелые шторы; Павел Иванович Мельников привык к кабинету, заваленному книгами и бумагами. Жил еще постоянно в доме какой-то отставной солдат-гвардеец Гусев, бывший сторож Нижегородской удельной конторы, не пожелавший расставаться с Владимиром Ивановичем; Даль звал его «Гусенькой» и передал ему все ключи от дома, кладовых и домовых построек.

Но в письмах Даля снова: «Я живу, как вы знаете, одиноко; человек я весьма не публичный, в людях не бываю, люблю общество тесное, близкое, родное»[1]. Послушать его — он всю жизнь провел в одиночестве и не встречал никогда никого. Но именно про дом на Пресне академик Грот писал, что ворота его всегда были открыты. Сюда приходили знакомые Даля, старые и новые, и знакомые его чад и домочадцев, и «собратья» его по делу (а сколько разных дел было в жизни его — «братство» оказывалось широким), да и «общество близкое, родное», как подсчитать всех, кто ежедневно или почти ежедневно сходился к Далю, — тоже добрых два-три десятка че-

[1] ПД, № 16189/Сб. 11.

ловек. Сам он и впрямь выезжал, кажется, не часто: в бумагах его находим письма и записки знакомым москвичам, обитавшим неподалеку. Есть записка, в которой он просит прислать билеты в университет на какое-то заседание или чтение и спрашивает, в чем быть — «в мундирах, фраках (коих у меня нет), в сюртуке?». Записка свидетельствует одновременно и о том, что выезжал, и о том, что выезжал редко.

Молодой Кони встречал Даля на вечерах у давнего друга его писателя Вельтмана («раз в неделю сходились старые сослуживцы по военной службе в турецкую войну»); встречи эти происходили в кабинете, по-мужски, запросто — можно было без фрака. Даль вообще фрака не любил, фалды упрямо называл «хвостами», он поминает фрак, говоря о «светском» языке: «Распахнув ворота настежь на запад, надев фрак и заговорив на все лады, кроме своего...» Уцелела фотография Даля в черном сюртуке, одна мемуаристка сообщает, что Владимир Иванович носил темно-серую русскую поддевку и сапоги, но для нас старик Даль все-таки в темно-коричневой с вишневым оттенком блузе: мы привыкли к Далю, изображенному Перовым на знаменитом портрете.

Даль сидит неподвижно в глубоком старинном кресле; пристально смотрит куда-то: то ли видит нечто за годами и верстами, то ли заглядывает в себя. Руки спокойно сложены, но не кажутся бездельными, незанятыми; пальцы длинные и тонкие, но кисти крепки и жестки — Даль и в старости не забросил токарного станка, мастерил ларцы, пристрастился вырезать рогатые мотовила для наматывания пряжи. В кресле Даль не отдыхает — работает: он думает. Перову можно верить.

2

В залу с розовой Авророй на потолке Даль являлся рано утром. Зала была и рабочий кабинет его, и гостиная. Письменный стол Даль поставил возле больших окон, выходивших в тихий дворик, — зеленая лужайка, обсаженная липами, заросшая бузиной и шиповником. Летом, когда жены нет в комнате (Екатерина Львовна боится сквозняков), Даль, наверно, отворял окно — слушал, как птицы щебечут, как жужжат пчелы, вдыхал медовый запах липового цвета («липец» — белый душистый мед, который собирают пчелы с липового цвета; так же в старину именовали месяц июль). Возле окон стояли кадки с растениями. Обои на стенах имели вид изразцов — орнамент (узор, прикраса) был тоже растительный. В глубине залы стоял широкий диван, кресла, лежали азиатские ковры из Оренбурга.

Даль являлся в залу рано утром; поглядывая в окно, принимался за дело — тихий дворик, заросший бузиной и шиповником, приятен для глаз, помогает сосредоточиться. Многие помнят, что, садясь за работу, Даль клал по правую руку красный фуляровый платок и табакерку. Старые высокие часы отбивают время; дочери (а позже — и внуки), старушки родственницы, знакомые, ставшие у Далей на постой — у каждого свои покои, — тянутся по привычке в залу, где обосновался со своей работой хозяин и где можно громко разговаривать, шуметь, смеяться — уединения Даль так и не полюбил: «Хотя тесно, да лучше вместе. В тесноте люди песни поют, на просторе волки воют».

3

Часы отбивают время: Далю под шестьдесят, за шестьдесят, семьдесят — в доме на Пресне он проживет до самой смерти, безвыездно. Но от переезда в Москву до холмика на Ваганьковском у Даля тринадцать лет — можно сказать, вся жизнь впереди, потому что та настоящая *жизнь впереди*, которая не кончается холмиком земли, была обретена Далем в эти тринадцать лет.

Старый Даль частенько ходит гулять на кладбище, но нередко поворачивает и в другую сторону, к Пресненским прудам. Там открыли недавно зоологический сад, зимою устраивают катки и горки, по праздникам гулянья, водят хороводы и песни поют; в толпе ходят кукольники с веселым другом Петрушкой, смешливые деды-прибауточники — «Чудак покойник: помер во вторник, в среду хоронить, а он поехал боронить! Ох-ох, хе-хе-хе»...

Далю шестьдесят, за шестьдесят, семьдесят... Пока ноги ходят, он ходит; пока уши слышат — не перестает слушать: ему все еще нужны слова. Он все боронит свое поле. Сколько воды утекло с того вьюжного дня, когда, повинуясь внезапному порыву, какой-то смутной тревоге от «несообразности письменного языка нашего с устной речью простого русского человека», нацарапал он у себя в тетради знаменитое «замолаживает»? У бывшего мич-

мана борода, седая, мягкая, как бы стекает со щек и подбородка; он по-прежнему очень худ — те, кто с ним встречается, обращают внимание на впалость его щек; под четко очерченными бровями очень ясные, много знающие и чуть удивленные глаза.

«ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ»

1

В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов, когда работа над словарем вошла в силу и подвигалась к концу, общество было занято множеством наболевших и острых вопросов — «горячих и шипучих», по выражению Даля. Все знали, что есть Даль, что словарь делается, но было не до него; слава Даля, подвиг его были «глухи». Он это понимал: «Современные коренные и жизненные перевороты, каких не было даже при Петре, отвлекают от медленных умственных трудов и успехов — все летит вперед на парах — и путного слова о деле, ползущем на черепашьих лапках, не услышишь» [1].

И все же, напутствуя свой словарь в долгий и счастливый путь, Даль писал: приходит время — «общее стремление берет иное направление и с жаром подвизается на новой стезе». Он видел, что у многих образованных людей появилась потребность «родимости», «свойскости» не только слов, которыми они говорят, со словами народными, но и духа — «свойскости языка и свойскости ума и сердца». С этой точки зрения «История России» С. М. Соловьева, «Народные русские сказки» А. Н. Афанасьева, «Песни» П. В. Киреевского, «Былины» П. Н. Рыбникова, «Пословицы» и «Словарь» Даля как бы вливаются в одно русло.

Даль понимал, что придется труд огромный взвалить целиком на свои плечи: «Помощников в отделке словаря найти очень трудно, и правду сказать, этого нельзя и требовать: надо отдать безмездно целые годы жизни своей, работая не на себя, как батрак». Дело было новое, неизведанное — никто не хотел рисковать; Даль и это понимал: «Собиратель не пугался того, что на дело это едва ли станет всего остатка жизни его, предоставив раз

[1] ПД, № 16189/Сб. 11.

навсегда заботу о жизни и смерти его провидению; но он робел перед трудностию задачи, считал ее непосильною для себя, и потому счел нужным обсудить и взвесить наперед беспристрастно силы и средства свои, то есть познания и способности». Иногда он отчаивался — не помощи просил, но поддержки: «Я делал век свой и наконец кончил, почти без одобрительного слова, в полном одиночестве и, говоря прямо, сам еще не знаю, что такое вышло!» [1]

Одобрительные слова все же произносились, особенно когда дело подходило к концу; сторонники у Даля были, были даже добровольные помощники, «датели», — сподвижников не было. В «Толковом словаре» читаем: сподвижник — «соучастник в каком-либо общем подвиге». «Толковый словарь живого великорусского языка» — подвиг самого Даля. А уж если искать ему не сторонников, не сочувствующих, но сподвижников, то не в ученом собрании, не в литературном салоне, не в издательстве, а в затерянных среди лесов и полей деревнях, в солдатской казарме, в шумных ярмарочных рядах — всюду, где по-русски говорят, поют, сказки сказывают, где слышно бесценное народное слово.

Историк Погодин пекся о славе Даля: общество, приобретая труд его, ничем не вознаградило того, кто жизнью пожертвовал для этого труда, — «Даль есть московская знаменитость. Его надо отыскивать русскими путешественниками и показывать иностранцам». Кто-то из деловитых литераторов советовал: чем прославлять Даля, лучше за счет общества нанять ему помощника. Пока шли споры, «московская знаменитость» Даль держал корректуры, то есть читал и правил оттиски с набора. Над Далевым словарем типографским наборщикам пришлось изрядно потрудиться: много непривычных слов в тексте, часто приходилось менять шрифты — Даль просил для наглядности главное слово в словарном гнезде набирать прописными буквами, производные слова жирным курсивом (искосью), толкования слов прямым светлым шрифтом, примеры светлым курсивом; на протяжении нескольких строк шрифт иной раз менялся четыре-пять раз. Обычно читают две или три корректуры, но в словаре ни одной опечатки быть не должно — Даль держал четырнадцать корректур: четырнадцать раз подряд с величайшей тща-

[1] ПД, № 16189/Сб. 11.

тельностью, цепляясь за каждую буковку, за каждую запятую, он прочитал две тысячи четыреста восемьдесят пять больших страниц плотного текста. Вздыхал: «Для одной пары старых глаз работа и впрямь тяжела и мешкотна». А приятели горячились, спорили, как прославить Даля, как сделать глухую славу его шумной и блестящей.

Но Даль был нешумлив: в участии и одобрении «каждый труженик нуждается не ради тщеславия, а ради поддержки сил, требующих убеждения, что ...труд пошел на общую пользу». Даль был нешумлив; не любил говорить громко и не любил громких фраз; поэтому, когда в частном письме, среди деловых заметок, горьких жалоб и грустных размышлений, он вдруг — не проговаривается уже — *прорывается*: «Я полезу на нож за правду, за отечество, за Русское слово, язык!» — ему веришь.

2

Даль скромно именовал себя лишь «сборщиком», «подносчиком»: «составитель словаря не указчик языку, а служитель, раб его», труд составителя — поднести запасы для будущего работника «на сем же пути». В этом есть истина, но Даль, право, слишком скромен (не из тех, кто своим добром похваляется, чужое под лавку хоронит), — словарь не просто скопище слов, на титульном листе читаем «Примечание автора»: «Словарь назван *толковым*, потому что он не только переводит одно слово другим, но толкует, объясняет подробности значения слов и понятий, им подчиненных. Слова: *живого великорусского языка*, указывают на объем и направление всего труда».

В 1847 году появился «Словарь церковнославянского и русского языка», составленный отделением Академии наук: в нем 114 749 слов — почти вдвое меньше, чем в Далевом. Позже отделением академии составлены были «Опыт областного великорусского словаря» и «Дополнение» к нему. Даль не пренебрег академическими (и иными) словарями, пособлял отчасти их созданию, внимательно их изучал, в известной мере основывал на них свою работу [1].

[1] Объясняя *способ* составления «Толкового словаря», Даль писал: «При обработке словаря своего составитель его следовал такому порядку: идучи по самому полному из словарей наших, по академическому, он пополнял его своими запасами; эта же работа пополнялась еще словарями... и затем, собрав слова по гнездам, составитель пополнял и объяснял их по запискам и по крайнему своему разумению... Независимо от пополненного, противу прочих словарей, числа слов, много прибавлено объяснений по различным их значениям».

Сам Даль замечает, что в труде его восемьдесят три тысячи слов, которых ни в одном словаре нет [1]. Богатство несметное, но значит ли замечание это, что Даль лишь восемьдесят три тысячи слов *добрал* к тем, которые у других были? Ко времени, когда академические словари вышли в свет, Даль уже тридцать лет копил свои сокровища; слова, попавшие в словари академии, могли храниться и в Далевых сундуках. Иначе получится, что Даль все эти годы собирал только те слова, которых «не окажется» в напечатанных через три десятилетия словарях [2].

Министр просвещения предлагал Далю *продать* академии свои запасы; ему давали по пятнадцать копеек за каждое слово, пропущенное в академическом словаре, и по семь с половиной копеек за дополнение и поправку. «Я предложил, взамен этой сделки, другую: отдаться совсем, и с запасами, и с посильными трудами своими, в полное распоряжение академии, не требуя и даже не желая ничего, кроме необходимого содержания; но на это не согласились, а повторили первое предложение. Я отправил 1000 прибавочных слов и 1000 дополнений, с надписью: *тысяча первая*. Меня спросили, много ли их еще в запасе? Я отвечал, что верно не знаю, но во всяком случае десятки тысяч. Покупка такого склада товара сомнительной доброты, по-видимому, не входила в расчет, и сделка оборвалась на первой тысяче». Сохранилась расписка, весьма постыдная (академики от словесности сочли приличным торговать словами по пятиалтынному за штуку), — Далю переслали 157 рублей серебром, но просили «приостановиться дальнейшею высылкою собранных вами слов впредь до нового со стороны Отделения требования».

[1] ПД, № 16189/Сб. 11. В «Напутном слове» Даль писал, что таких слов будет «не менее 70 и до 80 т.», но точно он сможет это подсчитать «по окончании всего труда».

[2] Даль писал: «Не воображайте однако, чтобы прибавка эта состояла вся из слов коренных или неслыханных доселе областных выражений; напротив, девять десятых из них простые, обиходные слова, не попавшие доселе в наши словари именно по простоте, по безвычурности и обиходности своей...»

Какое счастье, что Даль смолоду не посвятил себя лишь ученым занятиям, что он искал свою судьбу, искал спрятанные за пояс рукавицы! Какое счастье, что довелось Далю колесить по Руси, менять профессии, изучать ремесла, встречать на пути своем тысячи разных людей! Какое счастье, что путь к словарю не лег перед Далем прямым, наезженным трактом! Не то могло случиться, и словаря бы не было; Далева — наверняка.

Сидел бы Владимир Иванович в тихом, пропыленном кабинете, листал толстые книги в кожаных переплетах, выписывал слова на розовые и желтые карточки.

Что мог бы Владимир Иванович, просидевший всю жизнь в тихом кабинете, рассказать, допустим, о конских мастях? Разве что черную лошадь называют вороной, а рыжую — гнедой? Но Даль приводит более полусотни наименований мастей: тут и подвласая, и каракова я, и игреняя, и соловая, и розовая, и голубая, и изабеловая, и фарфоровая, и чанкирая; чтобы узнать про них, надо было служить в армии, смотреть, как объезжают коней в казацких станицах, тереться между цыганами, толкаться среди барышников в ярмарочной толпе. И ни в одной самой увесистой книге не вычитал бы кабинетный Даль таких необычных имен очень простой вещи — весла: потесь, бабайка, слопец, лопастина, навесь, гребок, стерно; чтобы услышать их, надо было служить на флоте, проводить часы с корабельными мастерами, плавать с рыбаками по Яику. И лишь от очень многих людей из очень многих мест можно было узнать полтораста, если не больше, названий грибов, обыкновенных грибов, которые по всей Руси выносят в лукошках из лесу.

«Сидя на одном месте, в столице, нельзя выучиться по-русски, а сидя в Петербурге, и подавно, — писал Даль. — Это вещь невозможная. Писателям нашим необходимо проветриваться от времени до времени в губерниях и прислушиваться чутко направо и налево». Не холодные сведения из справочников — страницы живой жизни Даля стоят за страницами его словаря.

Но надо было составлять словарь. Двести тысяч слов не гора золота; слова не ухватишь в ладони, не насыплешь по карманам — гору слов не унесешь. Словарь — волшебный ларец, в который можно уложить сокровище и, бессчетно умножив с помощью печатных машин, отдать людям; каждый сумеет унести с собой золотую гору, перекованную в четыре тома.

Когда Даль надел рукавицы и взялся за словарь — он снова понял: служба впереди. Как расставить эти двести тысяч, чтобы каждое слово чувствовало себя вольно и на своем месте? Даль снова тасует «ремешки», карточки — ему бы мертвую и живую воду из сказки, чтобы срастить воедино тело богатыря и оживить его, чтобы связать, слить в одно целое десятки тысяч разрозненных слов и превратить их в словарь живого русского языка. Расположить материал в словаре оказалось не проще, чем в сборнике пословиц.

Опять-таки самое легкое — придерживаться алфавита. Аз-буки-веди — вроде бы и для слепого ровная дорожка. Но алфавит, как ни странно, не объединяет — часто разъединяет слова. Вот, к примеру, слова-родственники, близкие родственники: *бывалый, быль, быть*; в словаре, как и в языке, они должны стоять рядом, бок о бок, в одном гнезде. Но попробуй перемешать их и расставить по алфавиту: между *бывалым* и *былью* окажутся и *быдло* и *бык*, а между *былью* и *быть* целое семейство *быстрых — быстрина, быстрота, быстряк*, да вдобавок сложные — *быстроглазый, быстроногий, быстроходный*. Между словами-близнецами *ездить* и *ехать* ляжет в алфавитном списке более сотни слов, ничего общего ни с какой ездой не имеющих и объединенных тем только, что все начинаются на Е: *елка, емкость, енот, епископ, еретик, ерш, естественный, ефрейтор*. Даже неловко — *епископ* и *еретик*, а тут еще *ерш*, как назло!

Нет, Даля не устраивал привычный алфавитный порядок: «Самые близкие и сродные речения, при законном изменении своем на второй и третьей букве, разносятся далеко врозь и томятся тут и там в одиночестве; всякая живая связь речи разорвана и утрачена; слово, в котором не менее жизни, как и в самом человеке, терпнет и коснеет...» До чего же прекрасно:

в слове не менее жизни, как и в самом человеке, — здесь сердечность отношения Даля к слову, душевность, чувство; СЛОВО — не просто «сочетание звуков, означающее предмет или понятие», но, по возвышенному толкованию Даля, — «исключительная способность человека выражать гласно мысли и чувства свои, дар говорить, сообщаться разумно...». Нет, Даля не устраивал привычный алфавитный порядок: «Мертвый список слов не помощь и не утеха»; Даль составлял не мертвый список — живой словарь.

Отказался Даль и от размещения слов по общему корню (так построен был «Словарь Академии Российской») — во главе гнезда ставится самый корень, затем следуют слова, от него произведенные. Тут иная крайность — пришлось бы объединять слова, строить гнезда в словаре примерно так: ЛОМ — *ломать* — *ломкий* — *вламываться* — *выламывать* — *надлом* — *обломиться* — *перелом* — *разломить* — *сломать* — *уламывать* и т. д. (Или — пример Даля — «не только *брать, бранье, бирка* и *бирюлька* войдут в одну общую статью, но тут же будет и *беремя,* и *собирать, выбирать, перебор, разборчивый, отборный*».) Даль в ужасе: этак «в каждую статью, под общий корень войдет чуть ли не вся азбука»! Но того мало: читатель должен быть превосходно образован — найти корень слова не всегда легко, есть корни устаревшие, иноземные, есть корни, происхождение которых темно и неясно, Даль объясняет: «...Способ корнесловный очень труден на деле, потому что знание корней образует по себе уже целую науку и требует изучения всех сродных языков, не исключая и отживших, и при всем том основан на началах шатких и темных, где без натяжек и произвола не обойдешься; сверх сего порядок корнесловный, при отыскании слов, предполагает в писателе и в читателе не только равные познания, но и одинаковый взгляд и убеждения на счет отнесения слова к тому либо другому корню».

После долгих раздумий Даль избрал средний путь. «Вглядываясь в эти бесконечные столбцы слов» не по-кабинетному — по-человечески вглядываясь, он узрел в них не только «мертвый» азбучный порядок и не только «коренной», тоже по-своему формальный (то бишь «с соблюдением околичностей по установленному порядку»), — он узрел соединение слов «целыми купами» и в них «очевидную семейную связь и близкое родство».

Тут опять, в объяснении Даля, удивительно человечное отношение к слову как к живому — «семья», «родство». Даль приводит пример: «Никто не усомнится, что *стоять, стойка* и *стояло* одного гнезда птенцы». Птенцы! И от этих «птенцов» самое слово «гнездо», кроме ученого, приобретает сразу новый оттенок — живой, природный! Неожиданное слово «купа» тоже очень точно употреблено: купный — «совокупный, вместный, совместный, соединенный» («Купное старанье наше», — приводит пример Даль) — слова купно стараются обнаружить, раскрыть себя и послужить человеку.

Даль избрал путь средний; слово «средний» имеет для него значение не только сухое, формальное, но и житейское — «между крайностями».

Внешне словарь построен по алфавиту, но слова не отрываются одно от другого «при изменении на второй и третьей букве», не «томятся в одиночестве» (!) — они собраны в купы, в гнезда, все одного гнезда птенцы. В каждом гнезде — слова, образованные от одного корня; за исключением тех, что образованы с помощью приставок (приставочные образования помещены под теми буквами, с которых они начинаются). Теперь глагол ЛОМАТЬ возглавляет большое гнездо — в нем пятьдесят семь слов. Тут слова, всем известные: *ломаться, лом, ломка, ломать.* И слова, мало кому известные: *ломаник,* что по-псковски означает — силач; *ломыхать,* что по-новгородски значит — коверкать, ломать со стуком; *ломзиться,* что значит по-тверски — стучаться. Тут и любопытные значения известных, казалось бы, слов: *ломовая дорога* — крайне дурная, *ломовая пушка* — осадная, *ломовая работа* — тяжелая, *ломовой волос* — поседевший от забот и трудов. Слова, произведенные «от того же корня с помощью приставок, нужно искать уже не на «Л», а, допустим, на «О» *(обламывать, отламывать)* или на «П», *(переламывать).* Там обнаружим новые гнезда, как бы дополняющие главное (перелом, переломный. переломок), узнаем, например, что перелом: по-воронежски — вторичная вспашка, по-владимирски — глазная болезнь, а на языке любителей охотничьей роговой музыки — смена мотива, колено.

Теперь живут рядом слова-близнецы *ездить* и *ехать*

(у Даля они в последнем томе на букву «ять»). Дружно вылетают из одного гнезда на окрепших крыльях *бывалый, быль, быть* — и с ними большая их родня: *былина, быт, былой, бывальщина.* И *ерш* колючий, если к *епископу* или *еретику* касательство имеет, то потому лишь, что, кроме названья рыбы, означает также строптивого, сварливого человека (а стать ершом значит «упереться», «противиться», *ерши по телу пробежали* значит «мороз пробежал, гусиной шкурой подернуло»; можно также *ершить гвозди* — «делать насечку, зазубрины»).

Даль считал, что при таком построении словаря одно слово как бы тянет за собою другое, они выстраиваются звеньями, цепью, гроздьями, открываются и действуют совокупно, понятными и наглядными становятся смысл и законы образования слов.

5

Ученые находят в словаре Даля ошибки, оплошности — они и в самом деле есть: *простой* и *простор* оказались почему-то в одном гнезде, а *дикий* и *дичь*, *круг* и *кружить* в разных: чтобы найти *звено осетрины* («ломоть во всю толщину рыбы»), надо догадаться залезть в гнездо под глаголом *звенеть* (видимо, для Даля: звено — часть цепи, которое издает звон — звенит).

Даль и сам видел в словаре «пропасть неисправностей»: «Порядок проведен у меня не строго, в нем нет полной научной последовательности, этого я не достиг». В «Напутном слове» он признавался открыто: познаний и способностей «для глубокого ученого труда было недостаточно... недоставало даже и того, что у нас называют основательным знаньем своего языка, то есть научного знанья грамматики, с которою составитель словаря искони был в каком-то разладе, не умея применить ее к нашему языку и чуждаясь ее, не столько по рассудку, сколько по какому-то темному чувству опасения, чтобы она не сбила его с толку, не ошколярила, не стеснила свободы пониманья, не обузила бы взгляда», — сказано, наверно, чересчур горячо, но искренне до предела, и в сказанном опять же горячее чувство Даля к живому языку вылилось вполне.

Даль не страшился, что «пропасть неисправностей» будет обнаружена, — желал этого; для блага и совершенствования собственного труда желал, того более — во имя будущего. Он понимал неизбежность движения, изменения людей и общества с течением времени и оттого не канонизировал великий труд свой — наоборот: это «попытка собрать сырье, которая должна заставить последователей моих работать не по-старому, а глядеть на дело с другой точки зрения» [1].

Каков Даль! Словарь выйдет в свет, Даля объявят знаменитостью, захотят показывать заезжим путешественникам, а он себе с усмешкою — «Меня теперь шестом не достанешь» — и требует: «Что делать, без промаха нельзя, а русскому человеку подавно... Но кто разбирает книгу, а не человека, тот должен быть строг без пощады. Тут речь идет о деле, не об личности».

6

Огромный труд — расселить слова, но Даль не просто словарь живого языка составлял — толковый словарь. Даль, кажется, первый и применил к словарю определение «толковый»: «Толковый словарь — дающий какое-либо толкованье, кроме прямого перевода слов, или расположенный по толкам, объясняющий производство слов». Даль шутил: словарь не оттого назван толковым, что мог получиться и бестолковым, а оттого, что слова растолковывает, «объясняет подробности слов и понятий, им подчиненных».

Объяснять слова — нелегкое занятие, Даль боялся пустых мудрствований и навязчивой назидательности: «При объяснении и толковании вообще избегались сухие и бесплодные определения, порождения школярства, потеха зазнавшейся учености, не придающая делу никакого смысла, а, напротив, отрешающая от него высокопарною отвлеченностью». Нередко приходится слышать, будто Даль вообще избегал определений, старался лишь объяснить одно слово через другое, близкое по смыслу, — это не так: определения были, есть — и в них отразились вполне и время, когда создавался словарь («пространство в бытии»), и личность создателя («самостоятельное отдельное существо»), и преломление времени через личность, «дух времени», «клеймо современности».

---

[1] Подробный разбор «Толкового словаря» Даля дан в исследовании М. В. Канкавы «В. И. Даль как лексикограф». Тбилиси, 1958.

Нет, Даль не отказывался вовсе от определений и в «довесках» к ним мелким шрифтом, как бы походя дополнял взгляд, мысль чувством, но полагал: «Передача и объяснение одного слова другим, а тем паче десятком других, конечно, вразумительнее всякого определения, а примеры еще более поясняют дело». Даль выстраивал ряды синонимов — «однословов», «тождесловов»; ему указывают, что у всякого тождеслова свой оттенок значения, — Даль это и сам понимал: «И в тождесловах всегда заключаются тонкие оттенки различия». «Перевод одного слова другим очень редко может быть вполне точен и верен; всегда есть оттенок значения, и объяснительное слово содержит либо более общее, либо более частное и тесное понятие; но это неизбежно и отчасти исправляется большим числом тождесловов на выбор читателя. Каждое из объяснительных слов найдется опять на своем месте и там, в свою очередь, объяснено подробнее».

Тонкий оттенок значения слова трудно, а подчас невозможно выявить и в широко развернутом определении; цепочка тождесловов поневоле зовет читателя к сопоставлению — тончайший оттенок, который трудно высказать, объяснить вслух, подчас ощущается в сопоставлении. Тождесловы, приведенные Далем, иногда произвольны — Даля можно упрекнуть за это, — но слово, объясненное «десятком других», оттенок каждого из которых для русского читателя (Даль говорит: для «русского уха») ощутим, становится словно бы объемным. Чтобы еще точнее ощутить и уяснить эти оттенки, Даль предлагает читателю поискать «на своем месте» объяснение объяснительных слов — тождесловы к тождесловам, он пролагает маршруты («путевники») увлекательных странствий по словарю.

7

Гнездо Далева словаря начинается так: «МЛАДОЙ, **молодой,** нестарый, юный; проживший немного века: невозрастной, невзрослый, незрелый, неперематоревший еще...» (если тут же заглянуть в «перематореть», узнаем, что это «перерасти известный возраст», но также «потучнеть не в меру, пережиреть» — можно путешествовать дальше). Затем следует цепочка подробностей: *молодой квас, пиво* — неубродившие; *молодой месяц* — новый и т. д.

Слова, помещенные внутри гнезда, также объясняются сходными по значению, но Даль подчеркивает (вернее — двумя отвесными чертами отчеркивает), что значения одного слова могут быть разные — цепочка тождесловов как бы разделена на звенья: *«Молодец* — юноша, парень, молодой человек; ‖ холостой, нестарый, холостяк; ‖ малый, прислужник, помощник, половой, сиделец; ‖ видный, статный, ловкий человек; расторопный, толковый, сметливый, удалой». К знакам препинания тоже следует присматриваться: запятая или точка с запятой — разница! «Препинаться» (останавливаться, задерживаться в движении, читая) надо на разный срок. Или: *«Молодцовать, молодечествовать* — храбриться, выказывать молодечество и удаль, хвалитьс̆я удальством на деле, пускаться в отвагу на славу; ‖ над кем насмехаться, трунить, дурачить кого».

Даль пускает в дело огромные, нетронутые запасы местных речений: объясняя привычные слова, открывает новые, удивительные значения, которые они приобрели в разных местах *(молодка* — не только «молодая баба, замужняя нестарая женщина», но по-вологодски и по-рязански — курица, по-тверски и по-псковски — молодая или новоезжая лошадь), и наоборот — местные слова приспосабливает для объяснений и дополнений, просто приводит для сведения (*молодятник — сиб.* молодежь; *ряз.* молодой, начинающий расти лес, *молодыга — кстр.* щеголиха; *молодушник — пск., твр.* сельский волокита).

8

Особые отношения у Даля с иностранными словами. Даль старается перевести их на русский язык или объяснить подходящими народными словами: «К чему вставлять в каждую строчку: моральный, оригинальный, натура, артист, грот, пресс, гирлянда, пьедестал и сотни других подобных, когда без малейшей натяжки можно сказать то же самое по-русски? Разве: нравственный, подлинный, природа, художник, пещера, гнет, плетеница, подножье или стояло, хуже?» Подыскание тождесловов приобретает особый смысл — «высказать ясно, отчетисто и звучно все то, что другие могут вымолвить на своем языке; но высказать так, как оно должно отозваться в

русском уме и сердце, сорваться с русского языка». Мысль Даля о неотделимости языка от быта и жизни, от душевного склада народа тут очень отчетлива. Даль хочет — более того, Даль убежден, — что почти всегда найдется русское слово, равносильное по смыслу и по точности иностранному. Здесь слова местные, «тутошние», Далю особенно с руки — вот ведь нашли где-нибудь в Твери или на Урале исконно русское обозначение понятия, которое привычно выражается словом иноземным (архангельское о в и д ь или орловское о г л я д ь вместо горизонта). Иногда он употребляет «тутошнее» слово «в таком значении, в каком оно, может быть, доселе не принималось»: «соглас» («согласие») вместо «гармония», и презанятное пояснение — «музыкальное созвучие, дающее в русской музыке г л а с, а в западной т о н»!..

Даль в увлечении переступал границу, говорил о праве «составлять и переиначивать слова, чтобы они выходили русскими», предлагал вместо к л и м а т — п о г о д ь е, вместо а д р е с — н а с ы л, вместо а т м о с ф е р а — к о л о з е м и ц а или м и р о к о л и ц а, вместо г и м н а с т и к а — л о в к о с и л и е (а г и м н а с т — л о в к о с и л), вместо а в т о м а т — с а м о д в и г а, ж и в у л я, ж и в ы ш. Даля обвиняли, что сам сочиняет слова; он сердился, но про тождесловы к иноземным речениям спорил осторожно: «В переводах чужих слов могут попадаться в словаре изредка вновь сочиненные слова, но в красной строке или в числе объясняемых слов сочиненных мною слов нет».

Но дело вовсе не в том, сочинил Даль «живыша» или «насыл» или подобрал где-нибудь в Ардатове или на Сухоне, как подобрал некогда за Уралом «забедры» и «назерку», — дело не в том! Среди тождесловов, подобранных Далем к иноземным речениям, есть немало таких, которые и сегодня нужны нам, — Далев словарь сохранил для нас множество замечательно метких и красочных народных слов. Но вот предложенные Далем «самодвиги» и «колоземицы» не привились, не прижились — видно, не нужны были. «Словесная речь человека — это видимая, осязательная связь, звено между... духом и плотью», — писал Даль. «Самодвиги» и «ловкосилы», видно, чужды были духу народному и оттого вслух не выговорились — народ во всем, и в языке тоже, не любит нарочитого, навязанного...

Определения и тождесловы — основа толкования, они открывают гнездо; «примеры еще более поясняют дело». При том: «Не всегда я ставил примеры самого простого и всем известного значения слова; напротив, что всякому ведомо, то нечего жевать, а надо указать на забытое или затертое невниманием значение слов».

Примеры у Даля — прежде всего пословицы и поговорки. Подчас его упрекают, что они-де в словарь слишком щедро насыпаны; Даль словно предвидел упреки: «Для простого словаря или словотолковника их местами нанизано слишком много; ради примера было бы достаточно двух или трех, а десятки можно бы выкинуть. Но я смотрел на это дело иначе: при бедности примеров хорошей русской речи решено было включить в словарь н а р о д н о г о я з ы к а все пословицы и поговорки, сколько их можно было добыть и собрать; кому они не любы, тот легко может перескочить через них... а иной, может быть, вникнув в этот дюжий склад речи, увидит, что тут есть чему поучиться». Не позабудем к тому же: когда Даль взялся за составление словаря, рукопись сборника пословиц его была под запретом. «Толковый словарь» стал как бы еще одним изданием сборника «Пословицы русского народа».

Оказалось, можно поставить рядом две пословицы и показать тончайшие оттенки в значениях слова. Среди примеров к слову с к а з ы в а т ь находим: «Нужда придет, сама скажется» (то есть обнаружит себя, объявится), и рядом — «Сказался груздем, ин полезай в кузов» (то есть объявил себя, назвался). Возле слова с к а з ы в а т ь приведено для примера пятьдесят пять пословиц и поговорок! Но это совсем не предел: при слове д о б р о их шестьдесят, при слове в о л я — семьдесят три, при слове г о л о в а — восемьдесят шесть, при слове г л а з — сто десять!..

Есть в словаре примеры, сочиненные самим Далем (они в качестве суждений его о том или ином предмете нам особенно дороги), есть строки из народных песен, из летописей, из «Слова о полку Игореве». «Примеров книжных у меня почти нет, не потому, чтобы я ими небрег — нет, я признаю это за недостаток словаря, — а потому, что у меня недостало времени рыться за ними и отыскивать их...» И все же встречаются (редко) книжные —

из Ломоносова, Державина, Фонвизина, Карамзина, Жуковского, Гнедича, Дмитриева, Гоголя, Пушкина, чаще из Крылова и Грибоедова.

Даль, к слову сказать, один из первых почувствовал «Горе от ума» не только как гениальную комедию, но как громадное явление в языке. «О стихах я не говорю, половина — должны войти в пословицу», — говорил про «Горе от ума» Пушкин. Даль эту пословичность языка комедии один из первых почувствовал. Про значение комедии для нашего языка Даль писал еще в тридцатые годы; он отмечал, между прочим, что комедия до того, как вышла в свет, была в десятках тысяч списков распространена по России. Любопытно: несколько главок повести Даля «Цыганка», напечатанной тремя годами раньше, чем появилось первое полное издание «Горя от ума», и все главки ранней повести «Расплох» снабжены эпиграфами («оголовками») из грибоедовской комедии. Даль писал, что в языке литературы нашей «Горе от ума» — «выскочка»: «Оно ушло вперед от современников и показывает, чего можно ожидать от потомства». И дальше: «Горе от ума» стоит само по себе, одно, на своем месте первым, и указчика ему нет». Подумав, Даль добавляет: «То же самое должно сказать о баснях Крылова».

Поверим Далю — должно быть, и в самом деле у него недоставало времени подбирать литературные примеры для своего словаря. Но Даль, похоже, и не ставил перед собою такой задачи: в языке литературном, за исключением гениальных «выскочек», он не находил той самобытности слова, которая поражала, восхищала его в «дюжем складе речи» пословиц и поговорок. Словарь Даля открывал людям пути к исконному русскому слову, народному «дюжему складу речи», но не для тех открывал, кто выдергивал из словаря «тутошнее» словцо, чтобы механически («безотчетно», сказал бы Даль) вставить его в инородную, стонущую от насилия фразу. «Родная словесность... требует родного духа и родного языка. Первый появится, когда все русское сделается нам доступным, сделается своим, родным; тут необходимо полное и совершенное знание русского ума и русского сердца; знание русского — не одного простонародного быта, духовного и телесного. Для второго, для языка, надобно знать основательно все русские слова и выражения, надобно знать русский язык гораздо короче и лучше всех других; надобно мыслить, думать по-русски, тогда и обороты и

склад языка будет русский. Надобно подобрать и обусловить русские слова, надобно привыкнуть к русскому складу».

10

«Его можно читать как книгу», — писали о «Толковом словаре» современники.

Кажется, слова собраны, и расставлены, и объяснены, и примеры приведены — чего ж еще? Но Даля переполняют, через край выплескиваются его знания, бывалость, опыт. Науки и ремесла, производства и промыслы, орудия труда и предметы обихода, народные обычаи, занятия, поверья, нравы — словарь насыщен сведениями до предела. Иногда перенасыщен: тогда, как в растворе, они выпадают кристаллами — толкования слов разворачиваются в заметки, статейки, очерки о народной жизни.

Скупые заметки увлекательнее иных Далевых рассказов и повестей. Это как бы рассказы Даля, из которых убрано то, что ему менее всего удавалось, — попытки придумать для героев приключения; зато осталось то, что Даль умел лучше всего, — описание обстановки, образа жизни, быта. Из заметок в словаре узнаем, в каких избах жили крестьяне, какие печи топили, на каких телегах ездили, как сохою поле пахали, как боронили, какие щи хлебали, как невест сватали, какие платки на голову повязывали и какими руки утирали. Узнаем, какие барки по Волге плавали и как их бурлаки тянули.

Для нас бурлаки — толпа изнуренных, запряженных в лямки людей. Из Далева словаря узнаем, что каждый член бурлацкой артели имел свое звание и обязанности. «По всей Волге судорабочие бурлаки идут ежегодно со вскрытием рек в низовые губернии, с лямками, для подъема судов бичевою. Старший из них водолив, он же плотник, отвечающий за подмочку товара; затем лоцман, дядя, шуточно букатник, правящий судном, шишка, передовой в лямке, и двое косных, в хвосту, кои обязаны лазить на дерево, мачту, а при тяге ссаривать бичеву (то есть, по объяснению того же Далева словаря, «отцеплять бичеву, которою тянутся, от деревьев, кустов, перекидывая ее». — *В. П.).* Коренные бурлаки, взятые на всю путину, с задатком; добавочные, взятые временно, где понадобится, без сроку и без задатков». Запоминаем несколько пословиц про бурлаков:

«Надсадно бурлаку, надсадно и лямке», «Кобылку в хомут, а бурлака в лямку», «Дома бурлаки бараны, а на плесу — буяны». Выясняем даже такую деталь: вывеска бурлака — ложка на шляпе. Какие шляпы носили бурлаки, тоже расскажет словарь: круглые, кверху суженные, похожие на опрокинутый чугунок. Про русские шляпы у Даля статейка с одиннадцатью рисунками.

Мы читаем Далев словарь «просто как книгу», постигаем, читая, «духовный и телесный быт народа»; но, по мысли самого же Даля, в словаре его (как во всяком творении науки и художества) должен был проявляться и господствовать «дух времени». «Дух» этот в «Толковом словаре» проявляется по-своему, через слово, через толкование его, — и проявляется не в одних лишь объяснениях, но и в выборе слов, в роли, которая тому или иному слову отведена.

Лапти теперь не носят, они ушли из жизни, мирно дремлют в музеях; лапти для большинства людей стали словом, сочетанием звуков, почти утратили вещность свою (вещь, по Далю, — «все, что доступно чувствам»); свойства, определяющие лапти как вещь, для нас общи, неопределенны, туманны — обувь, лыко, плести, серожелтое, тускло-золотое. Сто лет назад чуть не вся Россия была обута в лапти — мудрено ли, что о них в Далевом словаре целый рассказ. Вещь уходящая (а вместе с ней время, частицу быта которого эта вещь составляла) обретает в словаре Даля утраченную вещность.

11

«Толковый словарь» Даля берут в руки не для того лишь, чтобы отыскать нужное слово. Даль говаривал: если словарь его понадобится русскому человеку, чтобы «отыскивать встреченное где-либо, неизвестное ему, русское слово», то «один этот, довольно редкий случай не вознаградил бы ни трудов составителя, ни даже самой покупки словаря». «Толковый словарь» открывают как величайшую сокровищницу языка нашего. Как богатейшее собрание пословиц — хранилище народной мудрости. Его читают как повесть. Его изучают как своеобразную энциклопедию жизни русского народа.

Но Даль составлял словарь живого русского языка. Когда через тридцать лет после смерти Даля выходило в свет третье издание «Толкового словаря», редактор

включил в него двадцать тысяч слов, которых у Даля не было. Даль много размышлял о «духе времени» и потому часто говорил о последователях, о «будущих тружениках», «более даровитых и ученых».

Время рождает слова. Но время и убивает их. С недоумением встречаем у Даля туманное слово ипакои; Даль его объясняет: «стихира по третьей песни на утрени». Объяснение нам ничего не объясняет: умирающие слова — чтобы понять их, опять-таки надо рыться в словарях. Многих «простых» нынешних слов у Даля нет, как нет многих значений, толкований, ныне более принятых, чем те, которые приводит Даль. Но оттого, что рождаются новые слова и умирают старые, что слова могут быть юными, со звонким петушиным голосом, и древними, седобородыми, недовольно ворчащими на нынешнее поколение, — от этого дело жизни Даля становится особенно значительным. Оно не покоренная вершина, а вершина вечно непокорная. Даль сделал все, что мог, и сделал очень много. Труд его беспримерен: и по сей день — великий подвиг.

В. И. Ленин написал замечательно точно: «Исторические заслуги судятся не по тому, чего *не дали* исторические деятели сравнительно с современными требованиями, а по тому, что они *дали нового* сравнительно с своими предшественниками» [1]. Такой мерой мы судим Даля.

Владимир Ильич Ленин высоко ценил словарь Даля. «Толковый словарь» стоял на этажерке рядом с письменным столом в совнаркомовском кабинете Ленина. По воспоминаниям В. Д. Бонч-Бруевича, Владимир Ильич постоянно изучал словарь Даля, интересовался «поговорками и пословицами, которые там были приведены», читал словарь как увлекательную книгу и «высказывал свое восторженное изумление перед разнообразием эпитетов и другими образными выражениями русского языка». Н. К. Крупская вспоминала: «Чтобы понять, какая образность близка крестьянину, Владимир Ильич, между прочим, особенно внимательно читал и изучал словарь Даля, настаивал на его скорейшем переиздании» [2].

Вместе с тем В. И. Ленин предлагал создать словарь современного *(«настоящего»)* русского языка — «словарь

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 2, стр. 178.

[2] Н. К. Крупская, Педагог. соч., т. 8. М., 1957—1963, стр. 82.

слов, употребляемых *теперь* и *классиками*, от Пушкина до Горького» [1]. Ленин писал о труде Даля: «Великолепная вещь, но ведь это *областнический* словарь и устарел» [2]. В этой оценке содержится и признание «исторических заслуг» Далева труда, и «современные требования».

Даль недаром повторял свое «передний заднему мост» — движению вперед нет конца, новые поколения продолжают дела минувших: «Найдутся люди, которые родятся и образуются под влиянием и при спопутности других и более счастливых обстоятельств, нежели мы, и попытки их будут удачнее». Даль старался для «более даровитых и ученых тружеников, которым уже легче будет дополнять, чего недостает, найдя одну часть дела готовою».

Новым Далям не приходится начинать в чистом поле. Четыре тома «Толкового словаря» — большая высота. Новым Далям по проложенным уже мостам легче идти к вершине, но и они никогда ее не достигнут. Потому что, пока есть жизнь, — нет конца словам. И делу, начатому Далем, нет конца... [3]

НЕ ПОВОРОТИШЬ!..

1

Рассказывает Даль (о себе, как он любил, — в третьем лице):

«...Составитель обязан объявить, по какому случаю словарь его, вовсе неожиданно, поступил в печать.

По прибытии его в Москву, зимою на 1860-й год, Общество Любителей Русской Словесности, почтившее его уже до сего званием члена своего, пожелало узнать ближе, в каком виде обрабатывается словарь и что именно уже сделано. Отчет в этом отдал он запискою, читанною в заседании Общества 25-го февраля...

Горячо и настойчиво отозвалось на это все Общество, под председательством покойного А. С. Хомякова, и тотчас же предложено было, не откладывая дела, найти средства для издания словаря.

Дело составителя было при сем заявить о всех затруднениях и неудобствах, какие он мог предвидеть, давно уже сам обсуждая это дело. Словарь доведен только до половины, и едва ли прежде десяти или восьми лет может быть окончен; собирателю под 60 лет; издание станет дорого, а между тем, вероятно, не окупится; кому нужен неоконченный словарь?

Но нашлось несколько сильных и горячих голосов — и первым из них был голос М. П. Погодина, — устранивших все возражения эти тем, что если видеть всюду одни помехи и препоны, то ничего сделать нельзя; их найдется еще много впереди, несмотря ни на какую предусмотрительность нашу; а печатать словарь надо, не дожидаясь конца его и притом не упуская времени. Самая печать неминуемо должна продлиться несколько лет, а потому будет еще время подумать об остальном, лишь бы дело пущено было в ход.

Тогда поднялся еще один голос, А. И. Кошелева, с другим вопросом: чего станет издание готовой половины словаря? И по ответу, что без трех тысяч нельзя приступить к изданию, даже рассчитывая на некоторую помощь от выручки, деньги эти были, так сказать, положены на стол».

2

Александр Иванович Кошелев, публицист и общественный деятель, славянофил, издатель «Русской беседы», был человек деятельный (это слово хорошо заменить Далевым тождесловом — поступающий), Кошелев был поступающий человек: все суди-

---

[1] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., т. 51, стр. 122.

[2] Там же.

[3] Выполняя завет В. И. Ленина, советские ученые завершили недавно работу над 17-томным «Словарем современного русского литературного языка» «Словарь охватывает с возможной полнотой общеупотребительную лексику русского литературного языка, книжного и разговорного, от пушкинской поры до наших дней», — говорится во «Введении». «В словаре находят место те областные, провинциальные слова, которые являются материалом общенационального языка, а не достоянием только местных говоров». Академик М. В. Келдыш писал: «Этот словарь, содержащий свыше 120 тысяч слов, являющийся по своему типу толково-историческим и нормативным одновременно, дает наиболее полное и разностороннее описание словарного состава русского литературного языка в нашу эпоху. Этот выдающийся научный труд имеет большое теоретическое и общественно-культурное значение» («Правда», 21 апреля 1970 года). Труд советских ученых удостоен Ленинской премии.

ли-рядили, а он положил на стол три тысячи. С этих трех тысяч началось издание Далева словаря — вот эта первая литера, строчка первая: «А, первая буква русской азбуки, аз».

Ни один издатель не поверил, что выпуск в свет «Толкового словаря» окупится, ни одно российское учреждение не нашло средств на его издание — словарь, подобного которому нигде и никогда в мире не было, получил право на жизнь благодаря милости богатого покровителя.

Словарь поначалу издавался выпусками (а Даль держал корректуру и продолжал «обрабатывать» новые буквы). К шестому выпуску деньги, пожертвованные Кошелевым, стали иссякать; Даль писал Погодину: на обертке седьмого выпуска придется сообщить, что дальнейшее печатание словаря будет зависеть от сбыта его[1].

В начале шестидесятых годов министром народного просвещения стал Головнин, давний знакомый Даля по службе при Льве Перовском; министр помог старому сослуживцу — доложил о Далевом словаре царю. Государь император «соизволил пожаловать на продолжение словаря 2500 рублей» (на пятьсот меньше, чем Кошелев!), зато «Его Величество соизволил, чтобы начиная с 9-го выпуска объявлено было, что печатание их предпринято на Высочайше дарованные средства», — пожелал прилепить к словарю свое имя, счел за честь! А ретивый Далев друг и первый жизнеописатель Мельников-Печерский не знает, как расшаркаться перед «державным покровителем наук»: «...Если мы имеем теперь «Словарь...», то этим мы всецело обязаны народолюбивому и народом любимому царю нашему», — всецело!..

3

Раскланявшись перед «державным покровителем наук», Мельников-Печерский сетует, что Даль мало в своей отчизне прославлен: «Как бы загремело имя Даля, если б это был словарь немецкий, французский, английский!» Будто не слыхал никогда, что в своей земле никто пророком не бывает (так Даль говорил), будто и не ведал, что в английской, французской, немецкой землях достойнейшие люди умирали в бесславии и забытьи!..

[1] ПД, № 27478/CXCVI б. 16.

«Я не знал человека скромнее и нечестолюбивее Даля, но и его удивило такое равнодушие», — но Даля не то удивило, что имя его не «загремело» (еще неизвестно, жаждал ли он «греметь»!), — Далю хотелось видеть подробные разборы своего труда, хотелось понять, «что такое вышло». Разборов подробных и впрямь появилось немного — «надобно отодвинуться» во времени, чтобы «обнять вдруг умом». О «Толковом словаре» Даля хорошо и обстоятельно писали, однако, известные ученые Срезневский, Грот, Савваитов, Котляревский; за границей о нем тоже писали.

Нечего сокрушаться — славу свою прижизненную, поелику возможно, Даль получил: Академия наук присудила «Толковому словарю» Ломоносовскую премию (Даль труд свой на академическую награду не представлял — «коли захотят, то дадут и без моих поклонов»), Географическое общество увенчало словарь Константиновской золотой медалью, Дерптский университет также присудил почетную премию за успехи в языкознании бывшему своему питомцу, Общество любителей российской словесности просило Даля «оказать Обществу высокую честь — принять звание почетного его члена».

Известна знаменитая речь Погодина: «Словарь Даля кончен. Теперь русская Академия Наук без Даля немыслима. Но вакантных мест ординарного академика нет. Предлагаю: всем нам, академикам, бросить жребий, кому выйти из Академии вон, и упразднившееся место предоставить Далю. Выбывший займет первую, какая откроется, вакансию». Желающих бросить жребий не нашлось; академическое начальство вспомнило, что для избрания в действительные члены кандидат должен жить (иметь «постоянное пребывание») в Петербурге, — все прославляли Далев словарь, но действительным академиком Даля не избрали. Даль стал почетным членом Академии наук.

Но «почетный член», по толкованию самого же Даля, — избранный «в почет, без всяких обязанностей». Даль не любил жить без всяких обязанностей; он объяснял: «Кондитерские генералы — приглашаемые для почета на заказные пиры; кухмистеры в Москве спрашивают: «А генералы ваши или наши будут?» Один русский ученый пошутил как-то: разница между академиком и почетным академиком примерно та же, что между государем и милостивым государем.

Даль смеялся: подняли меня на ходули, и шестом не

достанешь. Про академическую Ломоносовскую награду он писал: «А тут, кстати, пришел разносчик — купил для раздачи к праздникам на платья 285 аршин ситцев» (дело шло к рождеству, а семья-то большая!).

Наверно, дороже всякого грома и почетных наград был для Даля поток писем от благодарных соотечественников разного чина и звания, от учителей, офицеров, писателей, чиновников. «С глубоким почтением я преклоняюсь перед сотворенным Вами вечным памятником о себе; перед Вашим терпением, лишениями и неколебимой стойкостью, которые Вы принесли в дар Отечеству... Вы не остались в долгу в этой жизни, но заплатили десятилетиями за все, что получили в ней», — писал Далю сослуживец по Нижегородскому удельному ведомству (тот самый, которого обошли орденом). И несколько лет спустя, услышав о смерти Даля, писал тоже давний его сослуживец Иван Сергеевич Тургенев: «Итак, мой бывший начальник по Министерству внутренних дел Владимир Иванович Даль приказал долго жить. Он оставил за собою след: «Толковый словарь» и мог сказать: «Exegi monumentum».

4

Даль не желал быть «кондитерским» генералом и «милостивым» государем — в своем царстве слов он был государь и полный генерал, в своем царстве слов он имел незыблемые обязанности; надо было их исполнять. У него было дело: «Что касается до составителя, то, конечно, одна только смерть или болезненное одряхление его могли бы остановить начатое».

Труд Даля не прекратился, потому что конца у Далева дела не было. «Напутное слово» завершалось так: «Составитель... просит всякого сообщать ему и впредь, на пользу дела, пополнения к словарю, замечания и поправки, на сколько что кому доступно». Письма «о пропасти неисправностей», о намерении не только внести поправки, но даже «пополнить его другими славянскими языками», письма, проникнутые сожалениями о том, что мало кто присылает замечания и дополнения, написаны через год, и через два, и через три после выхода в свет первого издания словаря. О дряхлости своей — обручи падают, заклепки не держатся — Даль писал за пять лет, и за десять, и за пятнадцать до выхода в свет словаря.

К семидесяти Даль, конечно, не помолодел, не окреп,

продолжает сетовать на дряхлость: «Из дряхлости своей я, как изволите видеть, едва вожу рукой». Но строки эти написаны вполне твердо и аккуратно, рукой Даль водит весьма уверенно — в этом же письме он благодарит адресата за присланный словарь сербского языка. «Я плох стал, едва могу написать связно несколько строк» — это из письма к другому знакомому. Но способности писать связно Даль не потерял: он снова взялся за «Картины русского быта»; в эти же годы он готовит словарь к переизданию, выступает с задиристыми статьями на разные темы (в частности, заводит спор с Погодиным об употреблении иностранных слов), пишет и составляет книжки для детей.

5

В доме появились внуки — Даль любит смотреть на их возню. Внуки пристрастились играть под бильярдом; бильярд огромный, старинный, на двенадцати толстых ножках, соединенных перекладинами.

Даль ласково прислушивается к лепету внуков, терпеливо подсказывает взамен иностранных русские слова. Смеясь, учит малышей шутливой прибаутке: «Дедушка не знал, что внучек корову украл; дедушка спал, а внук и кожу снял». Но дедушка Даль все знает и не спит; голове и рукам он покоя не дает. Ходить ему, правда, трудновато — сидит возле кадок с густо разросшейся зеленью, пишет, раскладывает и перекладывает вечные листки со словами; бывает, отложив перо, берет нож, что-то режет по дереву. Иногда сорвет листок с прижившегося в кадке деревца, разотрет между ладонями, ладони пахнут лесом, Зауральем, Заволжьем; до леса ему теперь не добраться. Шаркая ногами, он идет к бильярду, ловко разбивает пирамидку, удар за ударом загоняет в лузы восемь шаров. Внуки высовывают из-под бильярда носы, глядят зачарованно. Он смотрит на внуков и думает, что они, наверно, увидят правду.

Он пишет для внуков крохотные повестушки, сказки, он размышляет о детской литературе: в ней не должно быть «ни приторности, ни докучливого умничанья» — все «и просто, и дельно» [1]. Он обрабатывает для детей народные сказки, подбирает песни, загадки, пословицы; он хочет, чтобы дети росли русскими, не просто любили свой

[1] ЦГАЛИ, ф. 179, оп. 1, ед. хр. 22,

народ, но знали, то есть понимали и чувствовали его. Пушкин писал когда-то из Михайловского: «Вечером слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостатки проклятого своего воспитания». Даль хотел, чтобы дети не называли, подрастая, свое воспитание «проклятым»: народные сказки, песни, пословицы он соединяет в сборники, посылает в печать. Сборники называются: «Первая первинка полуграмотной внуке», «Первинка другая. Внуке грамотейке с неграмотною братиею»; типографские машины печатали сборники — Далевыми внуками оказались многие тысячи детей по всей великой Руси. В «Напутном» к сборнику Даль писал: «Человек, не приуроченный с пелен к своей почве, едва ли к ней приживется. А как ему к ней приурочиться, коли он соком ее не питался и едва ее знает? Книжечка эта русская, по духу, по отношениям к быту, к жизни народа»...

6

Правду, за которую предстоит бороться внукам, Даль не знал и не провидел: это была правда нового поколения и нового времени, до которого Даль не дожил.

В «Новых картинах русского быта» он рассказал о «дедушке Бугрове», удельном крестьянине Семеновского уезда Нижегородской губернии, который стал богатейшим и значительнейшим подрядчиком, — он ухватывал все наиболее крупные и ценные строительные работы в Нижнем и окрестностях. Далю нравилось, что «дедушка Бугров» до всего дошел своим умом, что тысячи рублей в золоте и бумажках не мешали «дедушке» ездить по городу на дрогах, есть из деревянной миски и на досуге плести лапти. Далю нравилось, что «дедушка» живет «по правде» и «по вере»: «А моя вера вот какая: идешь либо едешь, глядишь, мужик по дороге с возом в канаву попал... ну, как быть, надо свое дело покинуть, надо подскочить, пособить; вот моя вера какая!»; это похоже на записанную Далем народную легенду о Николае-угоднике, пособившем мужику вытащить увязший в грязи воз.

Даль именует «дедушку Бугрова» «благодетелем народа» — «Поговорка его была: «Так делай, чтоб тебе было хорошо, а никому не худо»; он описывает восторженно, как по субботам сотни рабочих «толпа за толпой валили к нему в дом, на Нижний базар, зная, что в канцелярии дедушки, то есть в голове его, готов был расчет каждому,

а в большой деревянной чашке стояло наготове и казначейство хозяина». Но Даль не пишет (и не знает), почему «казначейство» стояло лишь в чашке у одного «дедушки Бугрова», и почему сотни рабочих довольствовались рублевками, а не тысячами, и почему из тридцати семи тысяч удельных крестьян Нижегородской губернии богатеем-откупщиком стал один Петр Егорович Бугров, а остальные старались удержать последнюю полтину, отлитую из пота и слез.

Даль видел, что все поворотилось и укладывается по-новому, что «родная земля наша» пошла вперед по новому пути, «как течет Днепр и Волга» — не поворотишь! Он рассчитывал, что на новом пути дело возьмут в руки патриархальные («простые, кроткие, семейно-домашние») «дедушки Бугровы». Но времена «дедушек» тоже уходили в прошлое, наступали времена просто Бугровых или Бугровых и К°. Потянулись вверх, обволакивая черной гарью небо, трубы заводов и фабрик, накрепко стягивала землю стальная сеть железных дорог. Все чаще слышалось меткое словцо «горячка» — «железнодорожная горячка», «биржевая горячка» (а в Далевом словаре «горячка» — «общее воспаление крови, жар, частое дыхание и бой сердца»); вспыхивали в речах, мелькали на газетных полосах и другие бурно ворвавшиеся в обиход слова: «акция», «концессия», «облигация», «спекуляция» — все какие-то не Далевы слова. Но по тем же улицам, где на домах возле родовых гербов появлялись вывески банкирских контор и акционерных обществ, по тем же улицам проходили участники студенческих демонстраций, юноши из тайных обществ и кружков проносили на груди под рубахой боевые прокламации, которые в Далевом словаре объясняются: «торжественное обнародование, воззванье, объявленье».

7

Есть еще очень много неведомых слов — они отыскивают тихий дом на Пресне, приходят к старому Далю: они не могут миновать его. Когда-то Гоголь собирал материалы для словаря; потом, после Даля, пустится на охоту за словами драматург Островский; но ни к кому слова так не шли, как к Далю: к нему — будто рыбы на свет. Достоевский после смерти Даля, рассказывая, как ввел в язык словцо «стушеваться», говорил, что излагает исто-

рию «для какого-нибудь будущего Даля». Поэт Алексей Константинович Толстой тоже после смерти Даля писал огорченно, что припас полсотни слов, пропущенных в Далевом словаре, а кому их теперь передать — кто продолжит дело?

Но пока жив, Даль сам продолжает дело: с утра садится за стол, кладет по правую руку табакерку, красный платок, подвигает ближе клейстер, ножницы. На столе стоят в стакане ручки с металлическими перьями, но Даль по старинной привычке (тоже — «дух времени») пишет гусиным — этак буквы получаются круглее и четче; писать мелко, неразборчиво он не имеет права — неизвестно, успеет ли переписать. Между страницами одного экземпляра словаря Даль вплел листы чистой бумаги — на них он заносит новые слова, поправляет ошибки в расположении слов, улучшает и дополняет толкования. Для второго издания Даль внес около пяти тысяч поправок и дополнений — восемь тысяч печатных строк убористого шрифта! Он бормочет под нос старую прибаутку: «А когда досуг-то будет? А когда нас не будет».

Даля не стало 22 сентября 1872 года. За полгода до смерти он совсем ослабел: в заросший садик и то не выходил; даже до кадок не было сил добраться, сидел не в кресле своем — в кровати. Но он горел по-прежнему, как мичман, нацарапавший то далекое «замолаживает», он жил в своем «Толковом словаре», которому судьба — бессмертие. Друг Даля, посетивший его за несколько месяцев до смерти, свидетельствовал: «Сегодня был я у В. И. Даля, которого нашел в несколько лучшем положении и который много говорил о своем словаре. Он показывал мне свой экземпляр словаря, где сделано чрезвычайно много исправлений и дополнений». Даль делал свое дело...

Говорят, перед смертью Даль подозвал дочь, попросил: «Запиши словечко...» Кажется, это быль. Но, возможно, легенда — предание, как сказал бы Даль. Предание, объясняет Даль, — «память о событии, перешедшая устно от предков к потомкам», «переданная одним поколением другому», и вместе с тем «заповедь, завет». Наверно, нужно нам, чтобы последнее слово Даля было о словах.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ В. И. ДАЛЯ

1801, 10 ноября — В Лугани родился Владимир Иванович Даль.
1814—1819 — Учился в Морском кадетском корпусе.
1817 — Участвовал в плавании в Швецию и Данию.
1819—1824 — Служил на Черноморском флоте.
1823 — Отдан под суд за сочинение «пасквилей».
1824—1825 — Служил на Балтийском флоте.
1826—1829 — Учился на медицинском факультете Дерптского университета.
1827 — Стихи В. Даля напечатаны в журнале «Славянин».
1829—1832 — Служил военным врачом. Участвовал в русско-турецкой войне и «польской кампании».
1830 — В «Московском телеграфе» напечатана повесть В. Даля «Цыганка».
1832 — Вышли в свет «Русские сказки Казака Луганского» («Пяток первый»).
1833—1840 — Служил чиновником особых поручений при оренбургском военном губернаторе.
1833—1839 — Вышли в свет «Были и небылицы Казака Луганского».
1838 — Избран членом-корреспондентом Академии наук.
1839—1840 — Участвовал в Хивинском походе.
1841—1849 — Служил чиновником особых поручений при министре внутренних дел и секретарем при министре уделов.
1845 — Участвовал в учреждении Русского географического общества.
1846 — Вышли в свет «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского».
1849—1859 — Служил управляющим Нижегородской удельной конторы.
1859 — Вышел в отставку и переехал в Москву.
1861 — Вышли в свет сочинения В. Даля в восьми томах.
1861—1862 — Изданы «Пословицы русского народа».
1863—1866 — Издан «Толковый словарь живого великорусского языка».
1868 — Избран почетным членом Академии наук.
1872, 22 сентября — Владимир Иванович Даль умер.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ[1]

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ В. И. ДАЛЯ

В. Даль, Сочинения. Новое полн. изд. Т. 1—8 Пб., 1861.

В. Даль, Сочинения, т. 1—8. Пб. — М., 1883—1884.

Полное собрание сочинений Владимира Даля (Казака Луганского). Т. 1—10. Пб. — М., 1897—1898.

В. И. Даль, Повести. Рассказы. Очерки. Сказки. М. — Л., 1961.

В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка. Ч. 1—4. М., 1863—1866.

В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1—4. М., 1955.

Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. М., 1862.

Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. М., 1957.

О В. И. ДАЛЕ

Ленин В. И., Письмо А. В. Луначарскому. 18 января 1920 г. Полн. собр. соч., т. 51, стр. 121—122.

Даль В. И., Автобиографическая записка. 1841. «Русская старина», 1878, № 5.

Даль В. И., Автобиографическая записка 1872. «Русский архив», 1872, № 11.

Азадовский М. К., История русской фольклористики. Т. 2. М., 1963.

Бабкин А. М., Толковый словарь В. И. Даля. В кн.: В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. М., 1955.

Барсуков Н., Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 1—22. Пб., 1888 — 1910 (см. по указателю).

Бартенев П. И., Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей в 1851—1860 годах. М. — Л., 1925.

Белинский В. Г., Полн. собр. соч. Т. 1—3, 5, 6, 8—10. М., 1953—1956 (см. по указателю).

Гоголь Н. В., О «Современнике» (Письмо к П. А. Плетневу). В кн.: Собр. соч. Т. 6. М., 1950.

Горький М., История русской литературы. Т. 1. М., 1939.

Григорович Д. В., Литературные воспоминания. М., 1961.

Грот Я. К, Воспоминания о В. И. Дале (с извлечениями из его писем). Записки имп. Академии наук. Т. 10. 1873, № 9.

Даль Е. В., В. И. Даль (По воспоминаниям его дочери). «Русский вестник», 1879, № 7.

Добролюбов Н. А., Собр. соч. в 9-ти тт. М., 1961—1964 (см. по указателю).

Канкава М. В., В. И. Даль как лексикограф. Тбилиси, 1958.

Карнович Е., Нужно ли распространять грамотность в русском народе? «Современник», 1857, № 10.

Козлова Л., В. И. Даль. В кн.: В. И. Даль, Повести. Рассказы. Очерки. Сказки. М. — Л., 1961.

Кулешов В. И, Натуральная школа в русской литературе XIX века. М., 1965.

Лазаревский В. М., Из бумаг. «Русский архив», 1894, № 8.

Лотман Л. М., Проза 40-х годов. В кн.: История русской лит-ры, т. 7. Изд-во АН СССР, 1955.

Майков Л. Н., Пушкин и Даль. В кн.: Пушкин. Пб., 1899.

Мельников П. И. (А. Печерский), Владимир Иванович Даль. Критико-биографический очерк. В кн.: Полн. собр. соч. В. Даля, т. 1. Пб. — М., 1897.

Модестов Н Н., Даль в Оренбурге Оренбург, 1913.

Пирогов Н. И., Севастопольские письма и воспоминания. М., 1950.

Полевой П., В. И. Даль. Биографический очерк. В кн.: В. Даль, Сочинения. Т. 1. Пб. — М., 1883.

Пушкин в воспоминаниях и рассказах современников. Л., 1936.

Пущин И И., Записки о Пушкине. Письма. М., 1956.

Пыпин А. Н., История русской этнографии. Т. 1. Пб., 1890.

Семевский В. И., Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX века. Т. 2. Пб., 1888.

Степанов Н. Л., Проза 20—30-х годов. В кн.: История русской лит-ры, т. 6. Изд-во АН СССР. М. — Л., 1953.

Тургенев И. С., Повести, сказки и рассказы Казака Луганского. В кн.: Тургенев И. С. Собр. соч. Т. 11. М., 1956.

Ухмылкина Е. В., В. И. Даль в Нижнем Новгороде. Уч. зап. Горьковского пед. ин-та им. М. Горького, серия филологич., вып. 42. Горький, 1963.

Фетисов М. И., Литературные связи России и Казахстана. М., 1956.

Чернышевский Н. Г., Полн. собр. соч. Т. 3, 4, 7. М., 1947—1950 (см. по указателю).

Чичеров В., Сборник В. Даля «Пословицы русского народа». В кн.: Пословицы русского народа. Сборник В. Даля. М., 1957.

Шаповалова Г. Г., Опыт создания первых книг для народа. Труды Института этнографии им. Миклухо-Маклая. Т. 85, 1963.

Шахнович М., Краткая история собирания и изучения русских пословиц. В кн.: Советский фольклор, № 4—5. М. — Л., 1936.

Шевченко Т. Г., Дневник. М., 1939.

Шолохов М. А., Сокровищница народной мудрости. В кн.: Пословицы русского народа. Сборник В. Даля М., 1957.

[1] Подробнее см. в кн.: «История русской литературы XIX века». Библиографический указатель. Под ред. К. Д. Муратовой. М.—Л., 1962. (В указателе учтены материалы, опубликованные до 1959 года.)

В книге использованы материалы, хранящиеся в центральных государственных архивах Литературы и искусства, Октябрьской революции, Военно-Морского Флота СССР, в рукописных отделах Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина, Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина, Института русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), Государственного исторического музея. Автор сердечно благодарит работников названных учреждений, а также сотрудников Государственной публичной исторической библиотеки за внимание и дружескую помощь.

В качестве заставок к главам использованы силуэты Федора Толстого (20-е годы XIX века).

СОДЕРЖАНИЕ

Порудоминский Владимир Ильич
ДАЛЬ М., «Молодая гвардия», 1971.
384 с., с илл. («Жизнь замечательных людей». Серия биографий. Вып. 17 (505))
8Р1

Редактор *С. Резник*
Серийная обложка *Ю. Арндта*
Фотомонтаж лубка на обложке *Р. Тагировой*
Художественный редактор *А. Степанова*
Технический редактор *Н Михайловская*
Корректоры *Г. Василёва, З. Харитонова*

Подписано к печати с матриц 19/I 1972 г. А06807 Формат 84×108¹/₃₂. Бумага № 2 Печ. л. 12 (усл 20,16) + 25 вкл. Уч.-изд. л. 22,9. Тираж 100 000 экз Цена 98 коп Т П 1970 г. № 396. Зак. 149.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва, А-30, Сущевская, 21